

Генрик Сенкевич

Пан Володыевский



Генрик Сенкевич
Пан Володыевский
Серия «Трилогия», книга 3

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=18975983

Аннотация

«После окончания войны с венграми и состоявшегося вскоре венчания пана Андрея Кмицица с Александрой Билевич все ждали еще одной свадьбы: рыцарь не менее доблестный и знаменитый, полковник лауданской хоругви пан Юрий Михаил Володыевский намеревался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской.

Однако свадьба эта волею судеб откладывалась. Панна Борзобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и без ее благословения не решалась на такой серьезный шаг. Времена стояли беспокойные, поэтому пан Михаил, оставив девушку в Водокгах, один отправился в Замостье за благословением княгини...»

Содержание

Пролог	6
Часть первая	9
Глава I	9
Глава II	22
Глава III	29
Глава IV	42
Глава V	50
Глава VI	67
Глава VII	88
Глава VIII	102
Глава IX	115
Глава X	133
Глава XI	146
Глава XII	163
Глава XIII	177
Глава XIV	187
Глава XV	195
Глава XVI	207
Глава XVII	216
Глава XVIII	229
Глава XIX	245
Глава XX	254
Часть вторая	261

Глава I	261
Глава II	272
Глава III	292
Глава IV	308
Глава V	321
Глава VI	334
Глава VII	363
Глава VIII	382
Глава IX	401
Глава X	410
Глава XI	422
Глава XII	433
Глава XIII	444
Глава XIV	452
Глава XV	460
Глава XVI	472
Часть третья	481
Глава I	481
Глава II	502
Глава III	511
Глава IV	525
Глава V	554
Глава VI	565
Глава VII	573
Глава VIII	581
Глава IX	591

Глава X	600
Глава XI	610
Глава XII	620
Глава XIII	640
Глава XIV	651
Глава XV	677
Глава XVI	699
Глава XVII	709
Глава XVIII	719
Глава XIX	737
Глава XX	766
Эпилог	779

Генрик Сенкевич

Пан Володыевский

Пролог

После окончания войны с венграми и состоявшегося вскоре венчания пана Андрея Кмицица с Александрой Биллевич все ждали еще одной свадьбы: рыцарь не менее доблестный и знаменитый, полковник лауданской хоругви пан Юрий Михаил Володыевский намеревался жениться на Анне Борзобогатой-Красенской.

Однако свадьба эта волею судеб откладывалась. Панна Борзобогатая была воспитанницей княгини Вишневецкой и без ее благословения не решалась на такой серьезный шаг. Времена стояли беспокойные, поэтому пан Михаил, оставив девушку в Водокгах, один отправился в Замостье за благословением княгини.

Но княгини он не застал. Желая дать образование и воспитание сыну, она уехала в Вену, к императорскому двору.

Володыевский отправился вслед за ней, хотя поездка эта была ему и некстати. Уладив дело, он возвратился домой, исполненный надежд. Но дома застал волнения и смуту: солдаты вступали в союзы, на Украине не было мира, да и на востоке пожар не унимался. Для защиты границы собирали но-

вое войско.

Еще по пути в Варшаву гонцы вручили пану Михаилу письмо с приказом от русского воеводы. Ставя благо отчизны выше собственного счастья, он отложил свадьбу и уехал на Украину. Несколько лет провел он вдали от родных мест в огне, опасности и воинских трудах, не всегда имея возможность послать хотя бы весточку истомившейся невесте.

Потом его направили для переговоров в Крым, а скоро вслед за тем началась война с Любомирским, в которой пан Михаил сражался против этого забывшего стыд и совесть вельможи на стороне короля, и наконец под водительством Собеского снова двинул свой полк на Украину. Слава его росла, его называли «первым воином Речи Посполитой», но жизнь его проходила в тоске, во вздохах и ожидании.

Только в 1668 году, получив по распоряжению пана каштеляна отпуск, он в начале лета поехал за невестой в Водокты, чтобы оттуда повезти ее в Краков.

Княгиня Гризельда к тому времени уже вернулась из Вены и, желая быть посаженной матерью невесты, приглашала у себя отпраздновать свадьбу.

Молодые супруги Андрей и Оленька остались в Водокгах и на время забыли о Михаиле, тем более что все мысли их были о новом, госте, появления которого они ожидали. До сей поры Бог не послал им детей; но теперь должна была наступить долгожданная и столь милая их сердцу перемена.

Год выдался на редкость урожайный, хлеба были такие

обильные, что сараи и овины не могли вместить зерна, и на полях, куда ни глянь, виднелись скирды высотой чуть не до неба. По всем окрестностям поднялся молодой лесок, да так быстро, как прежде, бывало, не вырастая и за несколько лет. В лесах полно было грибов и всякого зверя, в реках – рыбы. Щедрое плодородие земли передавалось всему живому.

Друзья Володыевского говорили, что это добрый знак, и предсказывали ему близкую свадьбу, но судьба решила иначе.

Часть первая

Глава I

Однажды, в чудный осенний день, пан Андрей Кмициц сидел в тени беседы и, попивая послеобеденный мед, поглядывал сквозь обвитые хмелем прутья на жену, которая прогуливалась в саду по чисто выметенной дорожке.

Она была женщиной удивительной красоты, светловолосая, с кротким, как у ангела, лицом. Исполненная покоя и умиротворения, она ступала медленно и осторожно.

Было заметно, что Андрей Кмициц влюблен в жену, словно юноша. Он глядел на нее преданными глазами, словно пес на хозяина. При этом он то и дело улыбался и подкручивал усы и каждый раз на лице его появлялось выражение бесшабашной удали. Видно было, что малый он лихой и в холостяцкие лады покуролесил немала.

Тишину сада нарушали лишь стук падающих на землю спелых плодов да жужжание пчел. Было начало сентября. *Солнечные* лучи, не такие жаркие, как прежде, освещали все вокруг мягким золотым светом. В этом золоте среди матовой листвы поблескивали красные яблоки в таком изобилии, что казалось, деревья усыпаны ими сверху донизу. Ветки слив прогибались под плодами, покрытыми сизым налетом.

Первые предательские нити паутины на ветках чуй. вздрагивали *т* дуновения ветерка, такого легкого, что в саду не шелохнулся ни один лист.

Должно быть, дивная эта погода наполняла сердце пана Кмицица радостью, потому что лицо его светлело все больше и больше. Наконец он отпил еще глоток меда и сказал жене:

– Оленька, подойди сюда! Я тебе что-то скажу. – Лишь бы не то, что мне и слушать не хочется.

– Клянусь Господом, нет! Ну, иди, я скажу на ушко.

С этими словами он обнял жену, коснувшись усами ее белого лица, и прошептал:

– Если родится сын, Михаилом назовем.

Она опустила глаза, смущенно покраснела и, в свою очередь, шепнула:

– Но ведь ты же на Гераклиуша согласился.

– Видишь ли, в честь Володыевского.

– А почему не в память деда?

– Моего благодетеля. Гм! И правда. Но второй-то уж будет Михаил! Непременно!

Тут Оленька встала и хотела было высвободиться из объятий пана Андрея, но он еще сильнее прижал ее к груди и стал целовать ей глаза, губы, повторяя при этом:

– Ах ты, моя рыбка, любушка моя, радость ненаглядная!

Дальнейшую их беседу прервал слуга, который бежал издалека прямо к беседке.

– Что скажешь? – спросил пан Кмициц, отпуская жену.

– Пан Харламп приехали и изволят в доме дожидаться, – отвечал слуга.

– А вот и он сам! – воскликнул Кмициц, увидев почтенного мужа, приближавшегося к беседке. – О Боже, как у него усы поседели! Здравствуй, старый друг и товарищ, здравствуй, брат!

Сказав это, он выскочил из беседки и с распростертыми объятиями бросился навстречу пану Харлампу.

Но пан Харламп сперва склонился в низком поклоне перед Оленькой, которую в прежние времена нередко встречал в Кейданах, при дворе виленского князя-воеводы, приложился своими пышными усами к ее ручке и только потом обнял Кмицица и, припав головой к его плечу, зарыдал.

– Боже милосердный, что это с вами? – воскликнул удивленный хозяин.

– Одному Господь послал счастье, у другого отнял. Только вам я и могу поведать мое горе.

Тут Харламп бросил взгляд на жену пана Андрея, и она, догадавшись, что при ней он не решается заговорить, сказала мужу:

– Я велю прислать еще меду, а пока оставляю вас одних.

Кмициц повел пана Харлампа за собой в беседку и, посадив на скамью, воскликнул:

– Что случилось? Не могу ли я чем-нибудь помочь тебе? Располагай мною, как другом!

– Со мной ничего не случилось, – отвечал старый солдат, –

и мне не надо никакой помощи, пока я в состоянии владеть вот этой рукой и саблей, но друг наш, достойнейший кавалер во всей Речи Посполитой, находится в страшном горе, так что я не знаю, жив ли он.

– Господи Иисусе! Неужели что-нибудь случилось с Володыевским?

– Да! – отвечает Харлам, рыдая. – Анна Борзобогатая приказала вам долго жить.

– Умерла! – крикнул Кмициц, хватаясь обеими руками за голову.

– Как птица, сраженная стрелой.

Настала минута молчания. Только падающие яблоки с деревьев нарушали тишину, ударяясь о землю то там, то сям. Харлам, удерживаясь от слез, все громче сопел. Между тем Кмициц повторял, ломая руки и качая головой:

– Боже мой! Боже мой! Боже мой!

– Вы не удивляйтесь, что я плачу, – проговорил наконец Харлам, – если у вас при одном известии об этом несчастье так страшно сжимается сердце, то каково же мне, который смотрел на ее кончину и на его мучительное отчаяние.

В это время пришел слуга с кувшином и стаканами на подносе, а за ним пришла и жена Андрея, которая не могла побороть в себе любопытство послушать, что будет говорить Харлам. Взглянув в лицо мужа и прочтя на нем глубокую скорбь, она живо спросила.

– Что случилось? Не скрывайте от меня. Если что худое,

то я буду ободрять вас, насколько возможно, поплачу вместе с вами или что-нибудь посоветую.

– Нет, и твой совет бесполезен в этом случае, – отвечал Кмициц. – К тому же я боюсь, как бы тебя не опечалило это известие.

– О, не беспокойся. Гораздо хуже мучиться неизвестностью.

– Ануся умерла, – с грустью произнес Кмициц.

Александра слегка побледнела и тяжело опустилась на скамейку. Кмициц ожидал, что она упадет в обморок, но, видно, сожаление взяло верх над неожиданностью известия, и она начала плакать, вторя обоим рыцарям.

– Саша, – сказал наконец Кмициц, желая направить ее мысль на другой предмет. – Неужели ты думаешь, что она не в раю?

– Не о ней я сожалею и плачу, но о том, что она осиротила Володыевского; что же касается ее вечного блаженства, то я столько же уверена в нем, сколько желала бы и себе. Не было достойнейшей, добрейшей и честнейшей девицы, чем она... Ах, моя Анечка, моя милая Анечка!

– Я видел ее смерть, – сказал Харлам, – и дай Бог каждому умереть с таким благочестием, как умерла она.

Наступило молчание, и когда слезы понемногу облегчили их горе, Кмициц отозвался:

– Ну, расскажите же, как *все* это случилось, и в самых трогательных местах своего рассказа заливайте горе медом.

– Спасибо, – сказал Харламп, – я буду пить, потому что горе сжимает мое сердце и, как волк, хватает за горло, а если уж раз оно схватит, то может совсем задушить, пока кто не подоспеет на помощь. Дело было вот как. Я ехал домой из Ченстохова, чтобы на старости лет отдохнуть, поселившись у себя в деревне. Довольно с меня этой войны ведь я еще подростком начал воевать. Впрочем, если обстоятельства сложатся неблагоприятно, то я снова примкну к какому-нибудь отряду. В сущности, война чрезвычайно опротивела мне; благодаря всем этим вооруженным союзам и междоусобицам, служившим только потехой для неприятеля и гибелью для отечества, я совсем поседел: Это напоминает мне слова Свидерского: пеликан кормит кровью своих детей! Но ведь и крови не хватает уже для отечества!

– Ах, милая моя Ануся! – прервала, плача, жена Кмицица. – Что было бы со мной, и со всеми нами, если бы не ты, моя дорогая! Ты одна была нашей защитницей, нашим убежищем и подспорьем, золотая моя!

После непродолжительного молчания, Кмициц снова спросил.

– Ну, а где же вы встретили Володыевского?

– Я встретил его вместе с нею в Ченстохове. Он мне сейчас же сказал, что едет с невестой в Краков, к княгине Гризельде Вишневецкой, с целью получить ее благословение, без которого молодая девушка ни за что не хотела венчаться. Красенская была еще тогда здорова, а он беззаботен,

как птица. Вот, говорит, Господь наградил меня за мои труды. Уж и кичился же он этой наградой, – утешь его, Господи! И как подсмеивался надо мной, просто беда, потому что мы, видите ли, повздорили когда-то из-за нее и хотели драться.

– Где-то она, бедная, теперь.

– Ты говоришь, что она была здорова! Как же это с ней так сразу случилось?

– Действительно неожиданно. Она жила тогда у жены Мартына Замойского, которая в это время с мужем была в Ченстохове. Володыевский просиживал у нее целые дни и часто жаловался на проволочку, говоря, что они за целый год не доедут до Кракова, если их будут везде задерживать по пути. И не удивительно! Такого солдата, как Володыевский, каждый рад угостить, и кто уж раз поймает его, тот и держит. Меня он также водил к своей невесте; и часто, смеясь, угрожал изрубить меня в котлету, если я осмелюсь влюбиться в нее. Но ей было не до меня: она только и видела его. Смотря на них, мне делалось действительно тошно, в особенности когда я думал, что под старость я остался один, точно гвоздь в стене. Однажды ночью ко мне вбежал Володыевский и в страшном отчаянии воскликнул: «Бога ради! Не знаешь ли ты какого-нибудь доктора?» – «Что случилось?» – спрашиваю я. – «Да больная меня даже не узнает!» – «Какая больная?» – «Да Ануся!» – «Когда же она захворала?» Говорит, что его самого только что известили, и он сам еще не знает когда. Конечно, дело ночное!.. Где тут найти

доктора, если мы сами в монастыре, а в городе большеtrupов, чем людей. Однако, хотя с большим трудом, я отыскал какого-то фельдшера, который не хотел было идти, но я заставил его силою, и он пошел со мной. Но тут уже нужен был не фельдшер, а священник, которого мы и застали там: уважаемый отец Паулин привел ее в сознание своими молитвами, так что она смогла приобщиться святых тайн и попроситься с Михаилом. На другой день, после полудня, ее не стало. Фельдшер утверждал, что ее отравили, но я не верю этому. Ах, если бы вы видели, что было с Володьевским! Что он говорил!.. Да простит его Иисус Христос и не поставит ему этого в вину, потому что человек в отчаянии не может подыскивать подходящих слов. Да, я должен вам сказать. При этом Харлампович понизил голос и почти шепотом прибавил:

– Ведь он в беспамятстве богохульствовал и роптал на Бога, как язычник!..

– Неужели? – удивился Кмициц.

– Да. Он вышел в сени, а из сеней на двор да и начал валяться, как пьяный, по земле, и кричать: «Так вот какая мне награда за мои труды, за кровь и любовь к отечеству!» Одна говорит, была у меня утеха, и ту отнял Ты у меня. Господь! Отнять у вооруженного человека женщину – дело, говорит. Божье, но задушить ее, как невинного голубя, может только дьявол!..

– Тсс!.. – прервала его жена Кмицица. – Не произносите

его имя и не накликайте несчастья на наш дом!

Харламп перекрестился.

– Думал бедный солдат, что дослужился награды, а тут вот тебе какая награда. Но Бог лучше знает, что делает, и не нам судить о его делах своим слабым умом. Вслед за этим он встал, потом опять упал на землю и начал богохульствовать. Священник вынужден был прочесть над ним молитву, чтобы Господь удалил от него злого духа и простил ему прегрешения.

– Ну, а скоро ли он пришел в себя?

– Около часу пролежал на земле, как мертвый, а потом, когда пришел в себя, вернулся в свою квартиру и никого не принимал. На похоронах я сказал ему: «Миша, молись и не забывай Бога!» Но он все молчал. Потом я еще три дня пробыл в Ченстохове, так как мне не хотелось уезжать оттуда, не повидавшись с ним; но напрасно я стучал в дверь: он не отпер ее. Я призадумался, не зная, что делать. Как, думал я, оставить человека без всякой помощи и ободрения? Однако, убедившись, что ничего из этого не выйдет, я решил поехать к Скшетускому. Он ведь лучший его друг, как и Заглоба; может быть, они как-нибудь уломают его, в особенности Заглоба: тот лучше меня сумеет уговорить.

– Ну, и вы были у Скшетуских?

– Был, но и тут мне не повезло, он и Заглоба уехали в Калиш, к Станиславу Скшетускому, и никто не мог сказать, когда они вернутся. Тогда я подумал, что все равно мне надо

ехать в Жмудь, поэтому заеду к вам и расскажу, что случилось.

– Я всегда считал тебя добрым приятелем и благодарю тебя за память, – с чувством отвечал Кмициц.

– Не обо мне тут речь, а о Володыевском, – возразил Харлам, – и я, признаюсь, ужасно боюсь, чтобы этот бедняга не спятил с ума.

– Господь спасет его от этого, – отвечала жена Кмицица.

– Если и спасет, то лишь для того, чтоб он сделался монахом. Я никогда не видал подобной скорби. А жаль, он был славный солдат, очень жаль!

– Почему жаль? Ведь если он пойдет в монастырь, то этим только умножит число воинов Христа, – возразила Александра.

Харламп зашевелил усами и начал тереть лоб.

– Вот видите ли, сударыня, – сказал он, – может быть, умножит, а может быть, и не умножит. Посчитайте-ка вы, сколько он истребил неверных еретиков в своей жизни и этим наверняка больше угодил Спасителю и его пресвятой Матери, чем какой-нибудь ксендз своими проповедями! Гм!.. Есть над чем призадуматься! По-моему, пусть лучше каждый старается угодить Богу по своим силам, как может, а не с принуждения. Довольно и без него иезуитов, а меча такого, каков его меч, едва ли можно найти во всей Речи Посполитой.

– Вот это правда, ей-Богу, правда, – подтвердил Кми-

циц. – Что же он теперь, остался в Ченстохове или уехал?

– Он там был, когда я уезжал, а что случилось после моего отъезда, я не знаю. Знаю только, что с ним приключилась беда или болезнь, которая часто идет бок о бок с отчаянием, и что он остался один как перст, без всякой помощи, без родных, знакомых или приятелей.

– Да охранит тебя Пресвятая Дева от всякого зла, мой верный друг! – внезапно воскликнул Кмициц. – Друг, который мне сделал добра больше брата!

Жена Кмицица сильно призадумалась, и все молчали; наконец она подняла свою русую головку и живо сказала:

– Андрюша, помнишь ли, чем мы ему обязаны?

– Как можно забыть!.. Ведь не собачьи же у меня глаза! Иначе я не мог бы взглянуть на этого честного человека!

– В таком случае ты не должен его оставить в этом положении.

– Как так?

– Поезжай к нему.

– Вот удивительное сердце, вот достойная женщина! – крикнул Харлам, хватая ее руки и покрывая их поцелуями.

Но Кмицицу, по-видимому, не понравился совет жены, и он отрицательно покачал головой.

– Я бы поехал к нему на край света, – сказал он, – но... ты сама знаешь, я не могу. Если бы ты еще была здорова – дело другое. Сохрани Бог вдруг какое-нибудь несчастье, испуг, о, тогда бы я умер от беспокойства. Жена мне ближе,

чем первый друг. Мне жаль Михаила... но... ты сама знаешь.

– Да ведь я останусь здесь под защитой ляуданских стариков. Теперь здесь тихо, да я и не такая пугливая. Без Божьей воли не упадет волос с моей головы, а там, может быть, Михаил и впрямь нуждается в помощи.

– Ой, и как еще нуждается! – вмешался Харламп.

– Слышишь, Андрюша, я здорова. Никто меня не обидит. Я знаю, что тебе не хочется уезжать.

– Я бы охотнее пошел сражаться с кочергой против пушек. – перебил Кмициц.

– Неужели ты думаешь, что если ты не поедешь, то тебе не будет горько вспомнить о покинутом друге! Поверь, что за это и Господь не пошлет нам своего благословения.

– Ты всегда права. Я боюсь лишиться этого благословения, – отвечал Кмициц.

– Спасти такого друга, как Михаил, это твоя священная обязанность.

– Я люблю Михаила всем сердцем. И если нужно ехать, то ехать сейчас же, потому что каждый час дорог. Сейчас пойду в конюшню, и. Но, Господи Боже мой! Неужели нельзя ничего другого сделать!.. И зачем это они поехали в Калиш!.. Ведь я не о себе забочусь, моя бесценная. Я бы лучше согласился потерять все свое состояние, чем прожить хоть один день без тебя. Если бы мне кто сказал, что я могу оставить тебя ради дружбы, то я бы ему саблю воткнул в горло. Ты говоришь: моя священная обязанность? Пусть будет так,

и дурак тот, кто раздумывает, но если бы это был не Михаил, а кто-нибудь другой, то я бы ни за что не поехал!.. Пойдемте в конюшни, – прибавил он Харлампу, – и осмотрим лошадей! А ты сама прикажи уложить мои вещи. Пан Харламп! Погости у нас недельки две; присмотришь за молотобой, и за моей женой. А может быть, найдется и у нас поблизости какая-нибудь аренда. Возьмите хоть Любичи. Но пойдемте. Через час я буду готов. Надо – значит надо.

Глава II

Еще до заката солнца Кмициц отправился в путь; плачущая жена вручила ему на прощанье крест с частицей священного дерева в золотой оправе. Привыкший с Детства к неожиданным походам, Кмициц выехал из дому и полетел, словно вихрь или погонщик за татарами, которые убегали с добычей.

Проезжая через Луков, он узнал, что Скшетуский с детьми и Заглобой день тому назад вернулись из Калиша, поэтому он решил заехать к ним, посоветоваться о средствах для спасения Володыевского. Он был принят с радостью, которая, однако, тотчас превратилась в слезы: Кмициц объявил им о цели своего путешествия.

Заглоба целый день не мог успокоиться и, сидя у пруда, так горько плакал, что, – как он потом рассказывал, – вода в пруду поднялась и нужно было открыть шлюзы. Наконец, наплакавшись вволю, он глубоко призадумался и в конце концов посоветовал следующее:

– Ян не может ехать, потому что он выбран «каптуровым» судьей. И так как после войны явилось много недовольных, то и процессов будет немало. Судя по тому, что говорит Кмициц, можно заключить, что аисты останутся на зиму в Водоктах, так как их вписали в рабочий инвентарь и обложили работами. А имея такое хозяйство, как ваше, вам трудно пред-

принять длинное путешествие, тем более что вы не знаете, надолго ли оно. Вы уже доказали свое расположение, выехав из дому, но советую вам от души вернуться назад, потому что там нужен закаленный человек, который бы не обращал внимания на то, что его будут бранить и не захотят видеть. В этом случае нужно много опытности и терпения, а у вас есть только одна привязанность, которой далеко не достаточно для Михаила. Надеюсь, вы не сердитесь, поверьте, что мы с Яном стариннейшие его приятели и много всего перевидели. О, если бы вы знали, сколько раз я его и он меня спасали от всяких опасностей!

– А нельзя ли мне отказаться от судейства, – перебил Скшетуский.

– Что вы, это ведь общественная обязанность! – возразил Заглоба.

– Господь свидетель, – продолжал опечаленный Скшетуский, – что я люблю своего двоюродного брата Станислава, но Михаил мне дороже брата.

– А мне он дороже родного, тем более что его у меня никогда не было. Однако не время спорить о чувствах. Будем говорить о деле... если бы это несчастье случилось с Михаилом недавно, то я бы тебе сказал: брось все и поезжай! А так как после этого прошло немало времени, то тебе незачем ехать. Рассчитай, сколько прошло дней, пока Харламп съездил в Жмудь, а Андрей из Жмуди к нам... Ввиду этого теперь следует ехать не тебе, а мне, чтобы уговорить его, раз-

веселить и утешить забавными рассказами, больше некому ехать, как только мне, и я поеду. Если я застаю его в Ченстохове, то привезу сюда, а если не застаю, то поеду за ним, хоть бы он уехал на край света, и буду его искать до последнего издыхания, когда окажусь не в состоянии поднести к носу щепотки табаку.

Оба воина стали обнимать Заглобу, который до того расчувствовался, думая о несчастье Михаила и о своей поездке, что даже прослезился. Однако ему скоро надоели излишества друзей, и он сказал:

– Пожалуйста, вы не благодарите меня за Михаила, потому что вы ему ничуть не ближе меня.

– Мы благодарим вас не за Володыевского, – возразил Кмициц, – а за ваше доброе сердце. Какие мы были бы люди, если б не оценили вашей готовности принять на себя ради дружбы такое путешествие и беспокойство, в ваши лета. Другой в ваши годы только и думает о теплой лежанке, между тем как вы, словно юноша, готовы на все.

Хотя Заглоба не скрывал своих лет, но вообще не любил, когда ему напоминали о старости как о спутнице беспомощности; поэтому он с неудовольствием взглянул на Кмицица и живо возразил:

– Милостивый государь! Когда мне пошел семьдесят седьмой год, то мне было так тошно, как будто бы надо мной висел дамоклов меч, но зато, когда мне минуло восемьдесят, то я так был бодр, что еще жениться думал. Интересно знать,

кто из нас мог бы первый похвастаться чем-нибудь особенным?

– Я не хвалю себя, но для вас не пожалел бы никаких похвал.

– И я наверняка победил бы вас, как некогда победил гетмана Потоцкого в присутствии короля. Он тоже стал делать мне разные замечания по поводу моих лет, и я тогда же предложил ему: попробовать, кто из нас может больше раз перекувыркнуться. И что же вышло? Он кувыркнулся раза два-три и растянулся; лакеи подхватили его, потому что сам он и встать не мог. А я так кругом перемахнул раз тридцать пять. Спросите вот у Скшетуского. он сам это видел.

Скшетуский знал, что Заглоба привык всегда ссылаться на него как на очевидца своих подвигов, и поэтому даже глазом не моргнул и продолжал говорить о Володыевском. Между тем Заглоба погрузился в молчание и глубоко о чем-то задумался. После сытного ужина он повеселел немного и обратился к товарищам.

– Знаете ли, что я скажу вам? Я полагаю, что наш Михаил легче перенесет этот удар, чем сначала могло показаться.

– Дай Бог! Но почему вы так думаете? – спросил Кмициц.

– Гм!.. Чтоб понять это, надо иметь много природной сообразительности и большой опытности, которой у вас нет, и поэтому вы не можете понять Михаила. У каждого человека есть свои особенности. Иной так встречает всякие несчастья, как будто, выражаясь фигурно, он бросает в реку ка-

мень. В это время кажется, что вода пишет себе потихоньку, а между тем камень, лежа уже на дне, задерживает естественное ее течение, он мешает и препятствует ей до тех пор, пока она не снесет его в глубину. Тебя, Ян, можно причислить к таким людям, но им живется хуже, потому что они больше страдают. Есть и такие, которые относятся к своему несчастью так, как будто кто его ударил кулаком по спине. Сразу он как бы опечалится, а потом, когда пройдет боль, он совсем забудет о том. Такому человеку хорошо жить на свете.

Оба воина внимательно, слушали умные речи Заглобы, и последний, довольный, что его слушают, продолжал.

– Я прекрасно знаю Михаила, и Бог свидетель – не хочу его осуждать, но мне кажется, что ему больше жаль расстроившейся свадьбы, чем этой девушки. Это ничего не значит, что он впал в такое страшное состояние, это несчастье для него выше всех других несчастий, потому что в нем нет ни жадности, ни гордости, ни корыстолюбия; он так же легко относился к утрате имущества, как и к приобретению его, он никогда не добивался никакой награды, но за все свои труды, за все заслуги ждал и от Бога, и от Речи Посполитой жены. И он был уверен в душе, что ему достанется этот хлеб, но в то время, когда он хотел взять его в рот, у него вдруг как будто кто-то вырвал кусок и сказал: «На-ка вот! Съешь!..» Поэтому неудивительно, что он в таком отчаянии. Разумеется, я не хочу сказать этим, что ему действительно не жалко девушки, но ей-Богу, ему больше жаль женитьбы,

хотя он и сам, быть может, готов присягнуть, что это неправда.

– Дай Боже! – сказал Скшетуский.

– Подождите! Пусть только его душевные раны заживут и покроются новой кожей, как вы увидите, что у него появятся все прежние желания. Вся опасность состоит в том, чтобы он, в припадке отчаяния, не сделал себе чего-нибудь или не дал такого обета, о котором потом и сам будет жалеть. Но что должно было случиться, то уже случилось, потому что в отчаянии человек быстро решается на все. Все это говорю я не потому, что мне не хочется ехать, а лишь потому, чтобы ободрить вас. Вон, мой человек уже укладывает мои вещи. Значит, скоро в путь.

– Опять вы станете целительным пластырем для Михаила! – сказал Скшетуский.

– Так же, как я был и для тебя. Помнишь? Только бы мне его скорее найти. Я боюсь, чтоб он не спрятался в какой-нибудь пустыне или не пропал в степях, к которым он привык смолоду. Вы, господин Кмициц, заметили насчет моих лет, но я вам скажу, что если я стану тащиться, как какая-нибудь баба с кувшином молока, то заставьте меня, когда я вернусь назад щипать корни, лущить горох или дайте мне прялку. Меня ничто не может задержать: ни неудобства, ни гостеприимство, ни еда, ни питье. О, вы еще не знаете меня, я и теперь уже не могу усидеть, словно меня кто-нибудь коллет шилом из-под лавки. Я уже велел вымазать себе дорож-

ную рубаху козлиным салом, в предохранение от всяких насекомых. Вот я какой!.. А то лета. При чем тут лета!..

Глава III

Однако Заглоба не так скоро ехал, как обещал себе и товарищам. Подъезжая к Варшаве, он ехал все медленнее. Это было время, когда король Ян Казимир, усмирив беспорядки и освободив Речь Посполитую как бы от потопа, отказался от короны. Он подавил все нападения внешних врагов, но когда предпринял внутренние реформы, то, вместо помощи, встретил лишь сопротивление народа; ввиду этого он добровольно снял с головы корону, которая стала для него невыносимой.

Все маленькие сеймики и большие сеймы уже кончились, и примас Пражмовский уже назначил новое собрание на 5 ноября. Разные партии враждовали между собою, и хотя все недоразумения должны были решиться только при выборе короля, однако все сознавали, какое важное значение имел для всех сейм. Послы от всех обществ ехали в Варшаву в экипажах и верхом, с челядью и прислугой; туда же стремились и сенаторы, сопровождаемые множеством дворян.

Дороги были запружены, гостиницы заняты так, что трудно было найти себе ночлег. Хотя все уступали место Заглобе из уважения к его преклонным летам, но в то же время его известность заставляла его терять много времени. Заедет он, бывало, в какой-нибудь кабак, а там так полно, что и яблоку негде упасть; сановник, который занял его со своим двором,

выйдет любопытствовать, кто приехал, и при виде старца с белыми, как молоко, усами и бородой, почтительно пригласит;

– Милости просим пожаловать в горницу закусить, чем Бог послал.

Заглоба был вежлив и никогда не отказывался от приглашения; он знал, что каждому будет приятно познакомиться с ним. И когда хозяин, пропустив его в дверь, спрашивая. «Кого имею честь видеть?», он величественно подбоченивался и отвечал в двух словах.

– Заглоба sum!¹

Никогда не случалось, чтобы после этого объявления ему не раскрывали объятия и не восклицали:

– А! Это счастливейший день в моей жизни.

Вслед за этим гостеприимный хозяин обращался к дворне или товарищам и говорил:

– Смотрите, господа, вот образец лучших рыцарей всей Речи Посполитой.

Все обыкновенно с удивлением смотрели на Заглобу, а молодежь целовала полы его дорожного платья; после этого вынимались разные выпивки и закуски, и начинался пир, продолжавшийся иногда несколько дней. Все думали, что он едет в качестве посла на сейм, но когда Заглоба опровергал их мнение, то все обыкновенно удивлялись, почему он не посол *Он* объяснял, что уступил свое право Домашевско-

¹ Я – Заглоба (лат.).

му, «чтобы и молодежь привыкала участвовать в решении общественных дел». Только немногим он открывая истинную цель своей поездки, а некоторым на все распросы отвечал приблизительно следующее:

– Я так привык с детства к войне, что и на старости лет захотел потягаться с Дорошенкой.

После этого все еще с большим удивлением смотрели на него. Всякий ценил Заглобу, даже узнав, что он ехал не в качестве посла: ведь простой наблюдатель бывает иногда гораздо важнее. Впрочем, каждый сенатор рассчитывал на то, что месяца через два начнутся элекции (общие собрания), когда всякое слово такого знаменитого воина будет иметь громадный успех. Все, даже самые знатные вельможи, кланялись и обнимали Заглобу. Подляский пан три дня поил его, а господа Пацы, которых он встретил в Калушине, даже носили его на руках.

Часто случилось, что паны приказывали своим слугам укладывать потихоньку в повозку Заглобы вина, водки и даже более ценные подарки, как, например, богато отделанные сабли и пистолеты.

Хорошо было и слугам Заглобы, но сам он, вопреки решению и обещанию, ехал до того медленно, что только через три недели прибыл в Минск.

Но зато он не остановился в Минске. Выехав на рынок, он увидел многочисленную дворню, какой еще нигде не встречал по пути: там были разодетые дворяне и пехо-

та, без которой нельзя было ехать на сейм, и хоть она была не вооружена, но зато такая стройная, что даже шведский король мог позавидовать ей: она была стройнее его гвардии. Там же стояла масса вызолоченных повозок с обоями и коврами, которые везли для обивки комнат в корчмах и постоянных дворах, множество возов с посудой и провизией; но вся почти дворня состояла из иностранцев, говоривших на непонятном для него языке.

Наконец Заглоба заметил одного человека, одетого по-польски, и остановился; будучи уверен, что его хорошо примут, он спустил одну ногу из повозки и спросил.

– Чья это такая стройная дворня?

– Чьей же ей быть, как не князя – конюшего литовского, – отвечал дворянин.

– Кого? – повторил Заглоба.

– Вы глухи, что ли? Князя Богуслава Радзивилла, который едет на голосование и – Бог даст – после элекции будет электором².

Заглоба быстро спрятал ногу в повозку.

– Поезжай! – крикнул он вознице. – Здесь нам нечего делать.

И он уехал, трясясь от негодования.

– Великий Боже! – говорил он – Непонятны для нас Твои дела, и если Ты не сразишь громом этого изменника, то разве только потому, что скрываешь свои намерения, которых

² Т. е. лицом, непосредственно участвующим в выборах короля.

мы не можем постичь; судя с человеческой точки зрения стоило бы порядком наказать этого разбойника. Но плохо же, как видно, обстоят дела в Речи Посполитой если такие перебежчики без стыда и чести едут себе безнаказанно, да еще исполняют общественные функции. Видно, нам суждено погибнуть, потому что ни в какой стране, ни в каком государстве не может случиться ничего подобного. Да! Чересчур уж был добр король Ян Казимир, все прощал и этим приучил всякого верить в безнаказанность. Впрочем, не один он тому причиной. Ясно, что и в народе притупились всякие понятия о совести и добродетели. Тьфу! Тьфу!.. Он посол! Ему вручают попечение о целостности и невредимости отечества – ему, бесчестному и опозоренному, в его руки, которыми он это же отечество терзал и заковывал в шведские цепи. Нет, видно настал час нашей гибели!.. И его же прочат в короли!.. Впрочем, как видно, все возможно в таком государстве. Но странно, какой же он посол?.. Ведь в законе довольно ясно сказано, что состоящие на иностранной службе не могут быть послами, а ведь он исправляет должность главного губернатора княжества Пруссии у своего дядьки. Ну, погоди же. Попадешься ты у меня. «А ну-ка, удалить его с сейма!» – скажут ему... Но если я не пойду в залу заседания и не возьмусь за это дело, хотя бы как частное лицо, то пусть я сейчас же сделаюсь бараном, а мой возница – моим коновалом. Найдутся такие послы, которые поддержат меня. Не знаю, удастся ли мне удалить этого влиятельного

изменника из посольства, но что я поврежу ему на элекции – это так же верно, как я – Заглоба. Бедный Михаил. Теперь ему придется подождать меня ради доброго общественного дела.

Так раздумывал Заглоба, твердо решившись хлопотать и частным образом склонять послов к удалению Радзивилла. Ввиду этого он поспешил в Варшаву, чтобы не опоздать к открытию конвокационного сейма³.

Заглоба приехал довольно рано, но всевозможные послы и прочие приезжие до того переполнили все гостиницы и частные дома, что некуда было пристроиться ни в Варшаве, ни на Праге, ни даже за городом. В одной комнате помещалось по нескольку человек. Первую ночь Заглоба провел у одного торговца, некоего Фукера, до того весело и приятно, что, протрезвившись на следующий день на своей плетеной повозке, не знал хорошенько, что ему делать.

– Боже! Боже! – восклицал он, осматривая Краковское предместье, по которому проезжал. – Вот Бернардинский монастырь, а вот и развалины замка Казановских. Неблагодарный город! Отнимая его у неприятеля, я проливал за него свою кровь и пот, а он жалеет теперь угла для меня, его защитника.

Но город однако не жалел угла, а просто его не было. Од-

³ Конвокационный сейм созывался в Речи Посполитой 16–18 вв. после смерти или отречения короля для поддержания законности и являлся высшим органом власти до выборов нового короля.

нако счастье не покидало Заглобу, и только что он подъехал к замку Конецпольских, как вдруг чей-то голос крикнул вонизе:

– Стой!

Тот остановил лошадей; в ту же минуту к Заглобе подошел какой-то незнакомый господин с веселым лицом и, кланяясь, воскликнул:

– А господин Заглоба! Что, не узнаете меня?

Заглоба посмотрел на мужчину лет тридцати в рысей шапке с пером, свидетельствовавшем о беспорочной службе, ярком жупане и темно-красном кунтуше, подпоясанном золоченым кушаком. Незнакомец был очень красив собою. Бледный цвет лица, тронутого легким загаром, голубые глаза с выражением задумчивости и грусти и правильные черты чрезвычайно шли к его остальной фигуре. Несмотря на польскую одежду, у него были длинные волосы и подстриженная на заграничный манер борода. Подойдя к повозке, он раскрыл свои объятия, и Заглоба обнял его за шею, хотя и не помнил, кто он.

Они сердечно целовались, отодвигаясь по временам друг от друга, чтобы получше присмотреться; наконец Заглоба сказал:

– Извините, пожалуйста, но до сих пор я не могу припомнить.

– Гасслинг-Кетлинг!

– Боже мой! Лицо как будто знакомое, но в этом платье вас

не узнать; вы раньше носили кавалерийскую куртку. Так вы уже по-польски одеваетесь!

– Потому что я считаю Речь Посполитую своей матерью, которая приютила меня, бездомного горемыку, приласкала и накормила. Вы знаете, что я получил право гражданства после войны.

– Это приятное известие. Значит, вам посчастливилось.

– Да, как в этом, так и в другом. Я встретил на жмудской границе, в Курляндии, своего однофамильца, который усыновил меня, приписал к своему гербу и дал состояние. Он живет в Курляндии, но у него есть имения и по эту сторону. Одно из них, имение Шкуды, он записал на меня.

– Пошли вам Бог счастья. Так значит, вы бросили военную службу?

– Да, но явлюсь непременно на войну, когда надо будет. Поэтому-то я и отдал в аренду свое имение, а сам ожидаю здесь.

– Вот это по-рыцарски! Вот что значит горячая кровь. Точь-в-точь, как я в молодости. Правду сказать, что и теперь не вода течет в моих жилах. Что же вы в Варшаве поделяваете?

– Я избран послом на избирательный сейм.

– О, Господи! Так вы уже по форме поляк!

Молодой воин улыбнулся.

– Я поляк душою, а это гораздо важнее.

– Вы женаты?

Кетлинг вздохнул.

– Нет.

– Этого вам только и недостает. Но неужели у вас не прошла прежняя страсть к Биллевич?

– Коли тебе и это, сударь, ведомо, а я полагал, что это моя тайна, так знай, нет у меня пока другого предмета для вздыханий.

– Опомнись, братец! Она вот-вот нового Кмицица нам подарит. Опомнись! Неблагодарное это занятие вздыхать по той, что давным-давно в мире и согласии с другим поживает. Сказать по правде, это смешно.

Кетлинг, вознес грустные очи к небу.

– Я сказал лишь, что пока другого предмета нету!

– Ну это уже полбеды! Женим мы тебя. Вот увидишь! По собственному опыту знаю, что в любви излишнее постоянство одни неприятности сулит. И я в свое время был постоянен, как Троил, а уж как настрадался, сколько добрых партий упустил!

– Дай Бог каждому такой бодрости в столь преклонные годы!

– Жил всегда в благочестии, потому ни один суставчик у меня не болит! Где остановился, братец, нашел ли себе пристанище?

– Домик мой под Мокотовом, хорош и удобен, я после войны его стают.

– Счастливчик. А я со вчерашнего дня по всему городу

гоняю, и без толку.

– Любезный друг. Сделай одолжение! Милости прошу ко мне. Уж в этом ты мне не откажешь! Поживи у меня – во дворе, кроме дома, флигель, конюшни. И для челяди, и для лошадей места хватил.

– Видно, небо мне тебя послало, ей-богу.

Кетлинг забрался в повозку, и они поехали.

Всю дорогу Заглоба рассказывал ему, какое с паном Володыевским стряслось несчастье, а Кетлинг, впервые об этом слыша, в отчаяньи ломал руки.

– Твое известие и для меня нож острый, быть может, ты и не знаешь, как мы с ним в последнее время дружили. В Пруссии вместе крепости брали, шведов выкуривали. С паном Любомирским воевали и на Украину хаживали, во второй-то раз после смерти князя Иеремии, под началом коронного маршала Собеского. Из одной чашки ели, одно седло нам подушкой служило. Кастором и Поллуксом нас называли. И только, когда Михаил за панной Борзобогатой на Жмудь поехал, час *separationis*⁴ настал, но кто мог подумать, что счастье его, уподобившись стреле на ветру, столь мимолетным оказалось.

– Нет ничего вечного в сей юдоли печали, – отвечал Заглоба.

– Ничего, кроме истинной дружбы... Хорошо бы разведать, где он теперь. Может, коронный маршал даст совет,

⁴ разлуки (лат.).

он Михала как родного сына любит. А коли нет, так ведь сюда выборщики со всех сторон понаехали. Быть не может, чтобы никто ничего о столь славном рыцаре не слышал. Я вам, сударь, помочь рад и для брата родного не сделал бы больше.

Так, беседуя, добрались они и до кетлингского домика, который на деле изрядным доминой оказался. Там было и богатое убранство, и немало диковинок всяких – среди них и купленные, и трофеи всевозможные. А уж оружия – видимо-невидимо. Пан Заглоба расчувствовался вконец:

– Ого! Да ты, я вижу, и двадцать человек принял бы без труда. Видно, фортуна мне улыбнулась, нашей встрече способствуя. Я мог бы и у пана Антония Храповицкого остановиться, он старинный мой друг и приятель. И Лацы меня к себе заманивали, они против Радзивиллов людей собирают, но я тебе предпочтение отдал.

– Слышал я от стороны литовской, – сказал Кетлинг, – что теперь, когда до Литвы черед дошел, маршалом сейма Храповицкого назначат!

– И поступят верно. Человек он почтенный, судит здраво, впрочем, пожалуй, чересчур. Для него согласие важнее всего. Уж очень он всех мирить любит. А это пустая затея. Но все же, скажи мне по чести, что думаешь ты о Богуславе Радзивилле?

– С той поры, как татары Кмицица и меня под Варшавой в полон захватили, слышать о князе не хочу. Службу свою я оставил и больше о ней хлопотать не стану – сила у князя

большая, но человек он злой и коварный. Вдоволь я на него нагляделся, когда он в Таурогах на добродетель этого ангела, этого небесного создання покушался.

– Небесного? Подумай, что говоришь! Она из той же глины, что и все прочие, вылеплена и, как любая другая кукла, разбиться может. Да, впрочем, не о ней речь!

Заглоба вдруг покраснел и вытаращил глаза от гнева.

– Подумать только, это шельма – депутат?!

– О ком ты? – удивленно спросил Кетлинг, у которого Оленька все еще была на уме.

– Да о Богуславе Радзивилле. Но проверка полномочий на что? Слушай, ты ведь и сам депутат, можешь этой матери коснуться, а уже я подам сверху голос, не бойся! На нашей стороне закон, а они его обойти хотят, ну что же, можно и среди арбитров смуту устроить, да такую, что кровь прольется.

– Не затевай смуты, сударь, Христом-Богом молю. Матери сей я коснусь, это резонно, но Боже избави на сейме посеять смуту.

– Я и к Храповицкому пойду, хоть он ни рыба ни мясо, а жаль. У него, как у будущего маршала, многие судьбы в руках. Я и Пацев на князя напушу. Про все его проделки объявлю публично. Ведь слышал же я в дороге, что пройдоха этот в короли метит!

– До полного падения должен дойти народ, да и не заслуживает иной участи, ежели изберет себе такого короля, – от-

вечал Кетлинг. – А теперь, ваша милость, отдохните хорошенько, а потом наведемся к пану коронному маршалу – может, что о Михале разузнаем.

Глава IV

Через несколько дней завершился сейм, где, как и предсказывал Кетлинг, маршальский жезл был вручен пану Храповицкому, тогдашнему подкоморию смоленскому, ставшему позднее воеводой витебским. Речь шла об определении дня выборов и назначении высокого совета. Интриги разных сторон в подобных делах значили не слишком много, и потому казалось, сейм пройдет мирно. Но с самого начала спокойствие было нарушено проверкой выборных полномочий. Когда депутат Кетлинг усомнился в выборных правах пана бельского писаря и его друга князя Богуслава Радзивилла, из толпы арбитров тотчас же раздался зычный бас: «Предатель! Чужим господам служит!» Этот голос был подхвачен и другими, их примеру последовал кое-кто из депутатов, и неожиданно сейм распался на две враждующие партии: одна хотела лишить бельских депутатов выборных прав, другая всячески их выгораживала. Пришлось обратиться в суд, который утихомирил спорщиков, признав права Радзивилла законными.

И все же для князя конюшего это был тяжкий удар, одно то, что кто-то посмел усомниться в его правах, *coram publice* заявил про его измены и вероломство во время последней войны со шведами, опозорив его перед всей Речью Посполитой, выбило у честолюбца почву из-под ног. Ведь он, ра-

зумеется, рассчитывал на то, что, когда сторонники Конде схватятся с приверженцами Нейбурга и Лотарингии, не говоря уж о всякой мелочи, депутаты подумают: не лучше ли поискать достойного человека среди своих, и выбор их падет на соотечественника. Гордыня да и льстецы нашептывали ему: доблестный, знатный, сиятельный рыцарь, словом – он, и никто другой.

Храня дела свои в глубокой тайне, князь давно уже раскинул сети в Литве, а теперь забросил их и в Варшаве, и тут на тебе, сеть тотчас прорвали, да так, что вот-вот уйдет вся рыба. На суде, разбиравшем дело, князь скрежетал зубами от злости, но Кетлинг был ему не подвластен, и тогда Радзивилл посулил награду тому, кто укажет на арбитра, вслед за Кетлингом провозгласившего на весь зал: «Изменник и предатель!»

Пан Заглоба был слишком известен, чтобы имя его могло оставаться в тайне, да он и не таился. А князь, проведав, с кем имеет дело, хоть и пришел в ярость, но не решился все же выступить против всеобщего любимца.

Пан Заглоба, разумеется, знал себе цену и, услышав про угрозы князя, при всей шляхте сказал невзначай:

– Ежели с моей головы упадет хоть волос, кое-кому солоно придется. Коронация не за горами, а тут, коли собрать братски сабель тысяч сто, недолго и до резни.

Слова эти дошли до князя, он закусил губу в презрительной усмешке, но в душе признал, что Заглоба прав.

Уже на другой день он, должно быть, переменял свои намерения и, когда на пиру у князя кравчего кто-то вспомнил про Заглобу, сказал:

– Слышал я, этот шляхтич меня не жалует, но я так старых рыцарей ценю, что все ему наперед прощаю.

А через неделю на приеме у пана гетмана Собеского он повторил эти слова самому Заглобе.

Увидев князя, Заглоба и бровью не повел, лицо его по-прежнему хранило спокойствие, и все же ему было не по себе, все знали, что князь человек влиятельный и опасный, сущий злыдень. А князь между тем обратился к нему с другого конца стола с такими словами:

– Почтеннейший пан Заглоба, до слуха моего дошла весть, что вы, не будучи депутатом, задумали меня ни за что ни про что моих полномочий лишить, но я по-христиански вам прощаю, а коли надо, готов и протекцией послужить.

– Коли обо мне речь, то я следовал конституции, – отвечал Заглоба, – что долгом каждого шляхтича почитаю, *quod affiner*⁵ протекции, то в мои-то годы ее мне может составить только Бог ведь мне как-никак под девяносто.

– Почтенный возраст, если жизнь ваша была столь же добродетельной, сколь и долгой, в чем, впрочем, я ничуть не сомневаюсь.

– Служили отчизне и своему господину, об иных господах не помышляя.

⁵ что касается (лат.).

Князь слегка поморщился.

– А против меня замышляли недоброе, почтеннейший, слыхан я и об этом. Но да будет меж нами мир. Все забыта, даже и то, что вы, сударь, натравляли *contra me*⁶ моих завистников. Быть может, с давний недругом моим я еще и сочтусь, но вам готов протянуть руку дружбы.

– Чином я не вышел, да и слишком высокая это для меня честь. Для такой дружбы мне пришлось бы все время подпрыгивать или карабкаться, а это на старости лет куда как тяжко. Ежели вы, ясновельможный князь, с моим другом Кмищцем счеты свести намерены, то от души советую: откажитесь от такой арифметики.

– Разрешите узнать, почему?

– В арифметике четыре действия. Может, у пана Кмишща доход и неплохой, да по сравнению с вашими богатствами это мелочь, стало быть, делить его он не согласится; умножением занят сам; отнять у себя ничего не позволит мог бы, пожалуй, кое-что добавить, да не знаю, ваша княжеская милость, по вкусу. *т будет* вам *его* угощение.

И хотя князь не раз принимал участие в словесных поединках, то ли рассуждения, то ли дерзость старого шляхтича до того его поразили, что он онемел. У гостей животы затряслись от смеха, а пан Собеский, громко расхохотавшись, сказал:

– Узнаю старого зборажца? У него не только сабля,

⁶ против меня (лат.).

но и язык остер! Лучше такого не задирать.

Князь Богуслав, видя, что Заглоба непреклонен, не пытался больше его переманивать, но во время застолья невзначай бросал на старого рыцаря злые взгляды.

Гетман Собеский, войдя во вкус, продолжал разговор:

– Великий вы, сударь, искусник в любом поединке, одно слово – мастер. Найдутся ли равные вам в Речи Посполитой?

– Саблей Володыевский владеет не хуже, – отвечал довольный Заглоба. – Да и Кмициц прошел мою школу.

Сказав это, он взглянул на Радзивилла. но князь притворился, что не слышит, и как ни в чем не бывало о чем-то беседовал с соседом.

– О да! – согласился гетман. – Я Володыевского не раз в деле видывал и готов довериться ему, даже если речь пойдет о судьбах всего христианства. Жаль, такого солдата беда словно буря подкосила.

– А что так? – спросил Сарбевский, цехановский мечник.

– Суженая его по дороге домой, в Ченстохове, отдала Богу душу, – сказал Заглоба. – но хуже всего, что я никак узнать не могу, куда он сам девался.

– Стойте! – воскликнул краковский каштелян пан Варшицкий. – Так ведь я встретил его, едучи в Варшаву, сказал он, что, от мирской суеты устав, решил на Mons regius удалиться, дабы там в посте и молитвах свой земной путь закончить.

Заглоба схватился за поредевший чуб.

– Камедулом заделался, камедулом, не иначе! – крикнул он в отчаянии.

Рассказ пана Варшицкого взбудоражил всех.

Гетман Собеский, который в солдатах души не чаял и лучше, чем кто другой, знал, как нужны они отчизне, опечалившись, сказал с досадою:

– Человеческой вольной воле и славе Божьей противиться грех, а все же жаль, не буду от вас скрывать, большая это потеря. Солдат он был хоть куда, старой выучки, школы князя Иеремии, такой в любом бою хорош, а уж против, орды и нечисти всякой надежней защитника не найти. В степях у нас всего лишь несколько таких наездников найдется: у казачков – пан Пиво, а в нашей войске пан Рушич, ко куда им до Володыевского.

– Счастье еще, что времена теперь поспокойнее, – заметил цехановский мечник, – и что нехристи эти блюдут подгаецкие тракты, несравненным мечом моего благодетеля добытые.

Тут пан мечник склонился перед гетманом Собеским, а тот, польщенный высказанной при всех похвалой, отвечал:

– Всевышнего надо благодарить за то, что он дозволил мне лечь, как верному псу, на дороге Речи Посполитой и врагов ее покусать без жалости. Да еще солдатикам нашим за верную службу спасибо. Хан был бы рад следовать трактатам, это доподлинно мне известно, но и в самом Крыму согласия нет, а уж белгородская орда и вовсе из повиновения вышла.

Известие пришло, что на молдавских рубежах собираются тучи, вот-вот буря фянет, я приказал следить за дорогами; да только солдат мало. Нос вытащишь – хвост увязнет, а уж старые вояки, те, что орду со всеми ее уловками знают, и во-все наперечет, потому я и говорю; худо нам без Володыевского!

Тут Заглоба, который все еще держался за голову, взмахнул руками и воскликнул:

– Клянусь, не будет он камедулом; не: допущу до этого, пусть даже мне придется налет на Mons regius устроить и силой его увести. Завтра с утра за ним еду. Может, он меня послушает, а нет – я до генерала всех камедулов; до самого ксендза примаса доберусь, даже если ради этого мне в Рим ехать придется. Не хочу я умалять славу Божью, но какой из него камедул, у него и волосы-то на подбородке не растут. Их не более, чем на моем кулаке. Ей-Богу! Он и молитвы-то петь не умеет, а если и запоет, то все крысы из монастыря разбегутся, подумают, кот замяукал, свадьбу справляя. Не взыщите, что я в простоте душевной это вам говорю. Был бы у меня родной сын, не любил бы я его так, как этого молодца. Бог ему судья! Ну ладно, бернардинцем стал бы, а то на тебе – камедул. Нет, покуда я жив, не бывать этому. С самого утра к ксендзу примасу пойду, просить письма к приору.

– Пострижения еще быть не могло, – перебил его мечник – Но ты, сударь, его не торопи, а то заупрямится, да ведь и то

сказать, вдруг в этом желании воля Божья таится.

– Воля Божья – да вдруг? Вдруг черт берет на испуг, говорит старая поёвовица. Если бы на то Божья воля была, я давно бы в нем призвание почуял, да только он не ксендз, а драгун. Если бы он доводам разума следовал, я бы смирился, но Божья воля не налетает на человека, как ястреб на птичку. Я принуждать его не стану. По дороге обдумаю во всех тонкостях, как дело повести, дабы он из-под рук моих не ушел, но на все воля Божья! Всегда наш солдатик моим суждениям больше, чем своим собственным, верил, даст Бог, если он хоть немного на себя похож, и на сей раз так будет.

Глава V

На другой день, заручившись письмом от ксендза примаса и обсудив весь план действий с Кетлингом. Заглоба позвонил в колокольчик у монастырских ворот на Mons regius. С волнением ждал он, как-то примет его Володыевский. При одной мысли об этом сердце его билось чаще; разумеется, он обдумал предстоящий разговор во всех тонкостях и теперь размышлял, с чего начать, понимая, что многое решат первые мгновенья. С этой мыслью он зазвонил в колокольчик, раз-другой, а когда в замке скрипнул ключ и калитка слегка приоткрылась, не слишком церемонясь, решительно подался вперед, а оторопевшему монашку сказал:

– Знаю, у вас свои законы, сюда не каждый войдет, но вот у меня письмо от ксендза примаса, не откажи в любезности, *carissime frater*, передать сие послание отцу приору.

– Желание ваше будет исполнено, – сказал монашек, склонившись в поклоне при виде примасовой печати.

Промолвив это, он потянул за прикрепленный к язычку колокольчика ремень, раз-другой, чтобы позвать кого-то, потому что сам отойти от ворот не смел.

По зову колокольчика явился другой монах и, забрав письмо, в молчании удалился, а пан Заглоба положил на лавку узелок, который держал в руках, и сел тут же, с трудом переводя дух.

– Fater, – сказал он наконец, – давно ли ты в монахах ходишь?

– Скоро пять лет, – отвечал привратник.

– Подумать только, такой молодой – и пять лет. Теперь, поди, даже если бы и захотелось покинуть эти стены, поздно. Небось тоскуете иногда *по* мирской жизни, одного военная служба влечет, другого – забавы да пирушки, у третьего вертихвостки всякие на уме...

– Apage⁷! – сказал монашек с чувством и перекрестился.

– Так как же? Неужто соблазны не смущали? – повторил Заглоба.

Но монашек с недоверием глянул на этого посланца духовной власти, речи которого звучали столь непривычно, и сказал:

– Тому, за кем эти двери закрылись, назад дороги нет.

– Ну это мы поглядим! Как там пан Володыевский? Здоров ли?

– Тут нет никого, кто носил бы это имя.

– Брат Михаил, – сказал наудачу пан Заглоба. – Бывший драгунский полковник, что недавно к вам пожаловал?

– Это, должно быть, брат Ежи, но обета он не давал, срок не подошел.

– И не даст, наверное, потому что и не поверишь, fater, какой это был сердцеед! Другого такого повесы и греховодника ни в одном монасты... тьфу ты пропасть, я хотел сказать,

⁷ Изыди! (лат.)

ни в одном полку не сыщешь, хоть все войско перебери!

– Такие речи мне и слушать негоже, – сказал монах, дивясь все большие и больше.

– Вот что, fater! Не знаю, где у вас мода гостей принимать, если здесь, советую удалиться, вот хотя бы в ту келью у ворот, потому как у нас разговоры пойдут мирские.

– Уйду хоть сейчас, от греха подальше, – сказал монах. Тем временем появился Володыевский, иначе говоря, брат Ежи, но Заглоба не узнал его, так сильно он переменялся.

В белом монашеском одеянии Михаил казался чуть выше, чем в драгунском колете, когда-то лихо закрученные вверх, чуть ли не до самых глаз усы теперь обвисли. Брат Ежи, должно быть, пытался отпустить бороду, и она топорщилась русыми клочьями не более чем на полпальца в длину; он отощал и даже высох, а главное, глаза у него потускнели. Опустив голову и спрятав на груди под рясой руки, бедняга шел, едва передвигая ноги.

Заглоба поначалу не узнали его и, решив, что сам приор вышел его встретить, встал с лавки и начал первые слова молитвы:

– Landetur...

Но, присмотревшись, раскинул руки и воскликнул:

– Пан Михаил! Пан Михаил!

Брат Ежи не противился объятиям, что-то похожее на рыданье всколыхнуло его грудь, но глаза по-прежнему оставались сухими.

Заглоба долго прижимал его к груди и наконец заговорил:

– Не одинок ты был, оплакивая свое несчастье. Плакал я, плакали Кмищицы и Скшетуские. На все воля Божия! Смирись с нею, Михаил! Пусть же тебя отец милосердный вознаградит и утешит! Мудро ты поступил, отыскав себе сию пристань. В час скорби мысли о Боге – лучшее утешение. Дай-ка еще раз прижму тебя к сердцу. Вот и не вижу тебя совсем – слезы глаза застыт.

Пан Заглоба, глядя на Володыевского, и в самом деле расстрогался до слез, а выплакавшись, сказал:

– Прости, брат, что вторгся в тихую твою обитель, но не мог я поступить иначе, да и сам ты с этим согласишься, доводы мои послушав! Ах, Михаил, Михаил! Сколько мы вместе пережили и дурного и хорошего! Нашел ли ты за этой оградой хоть какое-то утешение?

– Нашел, – отвечал пан Михаил, – нашел в словах, что денно и ночью тут слышу и твержу и готов твердить до самой смерти. Memento mori! В смерти мое утешение.

– Гм! Смерть куда легче на поле битвы найти, чем в монастыре, где жизнь идет день за днем, будто кто понемногу клубок разматывает.

– Тут нет жизни, нет земных дел, и душа, еще не расставшись с телом, уже в ином мире обитает.

– Коли так, не стану тебе говорить, что белгородская орда на Речь Посполитую зубы точит, твое ли это теперь дело?

Усы пана Михаила вдруг встопорщились, правая рука

невольню потянулася влево, но, не найдя сабли, снова исчезла под одеянием. Он опустил голову и сказал:

– Memento mori!

– Верно, верно! – сказал Заглоба, с явным нетерпением моргая здоровым глазом. – Только вчера гетман Собеский сказывал: «Пусть бы Володыевский еще и эту бурю с нами встретил, а потом пусть идет в любой монастырь. Господь на него за это не разгневается, наоборот, был бы монах хоть куда». Но трудно и удивляться, что собственное спокойствие тебе покоя родины дороже, как говорится: *prima Caritas ab ego*⁸.

Наступило долгое молчание, только усы у пана Михала дрогнули и встопорщились.

– Обета не давал? – спросил вдруг Заглоба. – Стало быть, хоть сейчас можешь отсюда выйти?

– Монахом я не стал, потому что ждал на то Божьего благословения и того часа, когда горестные мысли перестанут томить душу. Но Божья благодать на меня снизошла, спокойствие возвратилось, стены эти я покинуть могу, но не хочу; приближается срок, когда я с чистым сердцем, земных помыслов чуждый, дам наконец обет.

– Не хочу я тебя отговаривать, да и рвение твое мне по душе, хотя, помнится, Сюиетуский, падумав постричься в монахи, ждал, когда над отечеством стихнет буря. Делай как знаешь. Ей-ей, не стану отговаривать, я ведь и сам ко-

⁸ Здесь: своя рубашка ближе к телу (лат.).

гда-то о монастырской обители мечтал. Было это полвека назад, помнится, стал я послушником; с места мне не сойти, коли вру. Но увы, Господь распорядился иначе. Об одном тебя только прошу, Михаил, выйди отсюда хоть на денек.

– Зачем? Оставьте меня в покое! – отвечал Володыевский.

Заглоба заплакал в голос, утирая слезы поллой кунтуша.

– Для себя, – говорил он, – для себя не ищю я помощи и защиты, хотя князь Богуслав Радзивилл только и помышляет о мести да убийц ко мне подсылает, а меня, старого, уберечь и оградить от него некому. Думал, что ты. Ну да полно об этом. Я все равно тебя как сына любить буду, даже если ты в мою сторону и не глянешь. Об одном прошу, молись, за мою душу, потому что мне от рук Богуславовых не уйти!.. Будь что будет! Но знай, что другой твой товарищ, который последним куском с тобой делился, лежит на смертном одре и непременно повидать тебя хочет, дабы облегчить и успокоить свою душу перед кончиной.

Пан Михаил, с волнением слушавший рассказ о грозивших Заглобе опасностях, тут не выдержал и, схватив его за плечи, спросил:

– Кто же это? Скшетуский?

– Не Скшетуский, а Кетлинг!

– Бога ради, что с ним?

– Меня защищая тяжело ранен был приспешниками князя Богуслава и не знаю, протянет ли еще хоть денек. Ради тебя, Михаил, решились мы на все, только для того и в Варшаву

приехали, об одном помышляя, как тебя утешить. Выйди отсюда, хоть на два денечка, порадуй больного перед смертью. А потом вернешься, примешь обеты. Я привез письмо от отца примаса к приору, это чтобы тебе не ставили препоны. Торопись, друже, медлить некогда.

– Боже милостивый! – воскликнул Володыевский. – Что я слышу! Препоны мне ставить и так не могут, я здесь всего лишь послушник. Боже ты мой, Боже! Просьба умирающего-свята! Ему я отказать не могу!

– Смертельный был бы грех! – воскликнул пан Заглоба.

– Истинная правда! Всюду этот предатель Богуслав! Вовек не увидать мне этих стен, если я за Кетлинга отомстить не сумею. Уж я его приспешников, убийц этих, разыщу, я им головы посшибаю! Боже милостивый, уже и мысли грешные одолевать стали! Memento mori! Послушай, друг, я сейчас переоденусь в прежнее платье, в этом исходить мне в мир не пристало.

– Вот одежда! – крикнул Заглоба, протягивая руки к узелку, который лежал тут же на скамье. – Все я предусмотрел, все приготовил. Тут и сапоги, и сабля отменная, и кунтуш.

– Прошу ко мне в келью, – торопливо сказал маленький рыцарь.

Они скрылись в келье, а когда появились снова, то рядом с Заглобой шел уже не монашек в белом одеянии, а офицер в желтых ботфортах, с саблей на боку, с белой портупеей через плечо.

Заглоба знай себе подмигивал, а увидев привратника, который с явным возмущением открыл ворота, улыбнулся в усы.

В сторонке от монастыря, чуть пониже, стоял возок пана Заглобы с двумя челядинцами: один сидел на козлах, придерживая вожжи отлично запряженной четверкой, которую пан Володыевский невольно окинул взглядом знатока, другой стоял рядом – в правой руке он держал заплесневелую бутыль с вином, в левой – два кубка.

– До Мокотова путь неблизкий, – сказал Заглоба, – а у лоджа Кетлинга ждет нас великая скорбь. Выпей, Михаил, чтобы легче тебе было снести удары судьбы, а то ослаб ты, как погляжу.

Сказав это, Заглоба взял из рук у слуги бутыль и наполнил кубки загустевшим от старости венгерским.

– Достойный напиток, – заметил он, поставив бутыль на землю и беря в руки кубки. – За здоровье Кетлинга!

– За здоровье! – повторил Володыевский. – Едем! Залпом опрокинули кубки.

– Едем! – повторил Заглоба. – Наливай, мальчик! За здоровье Скшетуского! Едем!

Снова выпили залпом, и в самом деле пора было в *путь*.

– Садимся! – воскликнул Володыевский:

– Неужто ты за мое здоровье не выпьешь? – с чувством спросил Заглоба.

– Давай, да поживее!

В третий раз опрокинули кубки, Заглоба выпил залпом, хотя в кубке было эдак с полкварты, и, не успев даже обтереть усов, жалобно завопил:

– Был бы я тварью неблагодарной, если бы не выпил и за тебя. Наливай, мальчик!

Наконец бочонок опустел, и Заглоба, схватив его за горлышко, разбил вдребезги, так как не мог видеть пустой посуды. Вслед за тем они поспешно сели и поехали.

Благородный напиток приятно подействовал на них: в сердца их вселилась какая-то бодрость, и по всему телу разлилась приятная теплота; у брата Юрия заиграл легкий румянец на щеках, и глаза заблестели необыкновенным огнем. Он по-прежнему начал покручивать свои усики, так что вскоре они приняли остроконечное направление к глазам, при этом он с большим любопытством смотрел по сторонам, словно впервые видел эту местность.

Вдруг Заглоба ни с того ни с сего хлопнул себя по коленям и громко вскричал:

– Го! Го! Я уверен, что Кетлинг тотчас же выздоровеет, как только увидит тебя!

И он схватил Володыевского за шею и начал крепко обнимать его.

Не желая оставаться в долгу, брат Юрий тоже обнял его.

После этого они ехали в приятном молчании до самого города, пока по обеим сторонам дороги не замелькали домики предместья.

Перед каждым домиком происходило сильное оживление: мещане, солдаты и дворяне, почти все хорошо одетые, двигались в разных направлениях.

– Однако, многого приехало шляхты на выборы, – сказал Заглоба. – Положим, что многие приехали просто так послушать да посмотреть. Но все дома и гостиницы до того переполнены, что трудно найти отдельную комнату... Но, Миша, чтобы ты знал, сколько шляхтянок гуляет по улицам, – просто страсть! Больше, чем у тебя волос на бороде. Есть, шельмы, такие хорошенькие, что так бы вот и захлопал крыльями, как петух, да и запел. Посмотри-ка вот на эту чернявую, за которой гайдук несет зеленую шубку... Не правда-ли, какая смазливая? Да?

При этом Заглоба толкнул локтем в бок маленького рыцаря. Тот приосанился, зашевелил усиками, но тотчас же сконфузился и, опомнившись, свесил голову и произнес:

– Memento mori!⁹

Заглоба не утерпел и, схватив его опять за шею, воскликнул.

– Если ты хоть каплю любишь и уважаешь меня, то женись, сделай милость. Столько есть на свете порядочных девушек, что положительно нельзя не жениться!.. И ты женишься!..

Брат Юрий с изумлением взглянул на Заглобу и решил, что Заглоба говорит все это только потому, что много выпил.

⁹ Помни о смерти! (лат.).

Но Заглоба мог выпить втрое больше и нисколько не опьянеть, а говорил он все это от избытка чувств. Наконец Володыевский сурово взглянул в лицо Заглобы и спросил:

– Не слишком ли вы много выпили?

– От души советую тебе жениться! Володыевский посмотрел на него еще строже.

– Memento mori!

Но Заглоба не унимался.

– Послушай, Миша, если ты любишь меня, то поцелуй мою собаку в нос *со* своими «Memento». Говори, что тебе угодно, но я все-таки не перестану думать о том, что предназначено Господом. Ясно, что Бог создал тебя не для монашества, а для войны, если позволил тебе усовершенствоваться в этом искусстве; если бы Он хотел, чтобы ты был попом или монахом, то поверь мне, наверное Он дал бы тебе совсем другие способности, и ты бы любил больше книги и латынь, а не рыцарский меч. Заметь также, что в небе святые почитают солдат не хуже монахов, потому что они также сражаются с дьявольскими войсками, и когда возвращаются с победными знаменами, то Господь собственноручно награждает их за это. Все это такие истины, против которых ты ничего не можешь сказать.

– Не спорю, потому что трудно бороться с вашим умом, но ведь согласитесь, что лучше выплакать горе в монастыре, чем в миру.

– Тем более не стоит ради этого затворяться в монасты-

ре. Дурак тот, кто кормит свое горе, а не морит его голодом, чтобы оно подошло поскорее.

При таком аргументе трудно было что-нибудь возразить, и поэтому Володыевский замолчал и только немного спустя заговорил печальным голосом:

– Не напоминайте мне, пожалуйста, о женитьбе, потому что во мне пробуждается прежняя скорбь. Нет у меня прежней охоты, да и года уже не те. ведь я уже лысеть начинаю. Шутка ли – сорок два года и двадцать пять походов!

– Господи, прости ему это богохульство! – сказал Заглоба. – Сорок два года! Тьфу! Ведь мне вдвое больше твоего, а и то приходится подчас умирять жар в крови. Ты бы вспомнил дорогую покойницу! Хорош ведь ей был, а для других плох, стар сделался?

– Довольно, довольно!.. Оставьте, – жалобно взмолился Володыевский. И слезы потекли по его усикам.

– Ну, не буду больше! – сказал Заглоба. – Только дай мне рыцарское слово, что ты не покинешь нас в этом месяце, что бы там ни случилось с Кетлингом. Тебе надо и Скшетуского повидать. А потом никто не помешает тебе возвратиться в монастырь, если пожелаешь.

– Даю честное слово, что останусь! – отвечал Володыевский.

И они переменили разговор.

Заглоба начал рассказывать о сейме и о том, как он возбудил вопрос о неправильном избрании Богуслава, и о Кетлин-

ге. По временам он прерывал свой рассказ и задумывался, но мысли эти, по-видимому, были самого веселого свойства, так как Заглоба часто повторял, хлопая себя по коленям:

– О-о!..

По мере того как они приближались к Мокотову, лицо Заглобы принимало беспокойное выражение и внезапно, обращаясь к Володыевскому, он спросил:

– Помни, что ты обещал не уезжать от нас целый месяц, что бы ни случилось с Кетлингом.

– Я дал слово и останусь верен ему, – отвечал маленький рыцарь.

– Вот и дом Кетлинга! – воскликнул Заглоба. – Не правда ли, как он прилично устроился?

Потом прибавил, обращаясь к вознице:

– Ну-ка, хлопни бичом!.. Сегодня праздник в этом доме!

Возница щелкнул бичом, словно выстрелил из ружья. Но не успели они въехать в ворота, как на крыльце показались товарищи и друзья Володыевского. Там были и старые соратники времен Хмельницкого, и молодые товарищи последней войны. Два из них, Василевский и Нововойский, хоть были еще юноши, но уже пристрастились к войне; они удрали из школы почти детьми и уже несколько лет служили под начальством Володыевского, который их очень любил.

Старшими из всех были некто Орлик Новина, у которого голова была пробита шведской гранатой и запаяна золотом,

а также Рушич, этот дикий степной зверь и лихой наездник, уступавший в доблести только одному Вopoдыевскому.

Много было еще других гостей; все они, увидев двух знакомых мужчин в повозке, крикнули в один голос:

– Вот он, вот он! Молодец Заглоба!

Все бросились к повозке, схватили на руки маленького рыцаря и понесли его на крыльцо.

– Здорово, дорогой товарищ! – кричали они. – Теперь мы тебя ни за что не отпустим. Да здравствует Володыевский, гордость и слава нашего войска! В степи с нами! В дикие поля!.. Там улетит с ветром грусть твоя!..

На крыльце товарищи выпустили Володыевского, который приветствовал их; он был очень растроган таким радушным приемом.

– Ну, как Кетлинг? Жив ли он еще?

– Жив, жив, – отвечали все хором, но при этом странная улыбка появилась на лицах старых солдат. – Пойдем к нему, он ужасно хочет видеть тебя и, пожалуй, не дождетя твоего прихода.

– Значит, ему не так плохо, как говорил мне Заглоба, – отвечал маленький рыцарь.

Все вошли в сени, а оттуда в просторную горницу, посреди которой стоял стол с приготовленными яствами, а в углу – скамейка, покрытая белой лошадиной кожей; на ней лежал Кетлинг.

– Товарищ дорогой! – сказал Володыевский, поспешно

подходя к нему.

– Миша! – крикнул, вскакивая, Кетлинг и начал крепко сжимать его в своих объятиях.

Оба так сильно и радушно обнимались, что даже приподнимали друг друга на воздух.

– А мне, братец, велели притвориться опасно больным, – начал шотландец, – но я не мог улежать при виде тебя. Я, слава Богу, здоров как рыба, и ничего со мной не случилось. Все это мы придумали для того, чтобы извлечь тебя из-за монастырских стен. Прости нам, Миша! Одна любовь к тебе заставила нас придумать такую ловушку.

– В дикие поля с нами! – снова крикнули хором рыцари, хлопая по саблям своими мускулистыми руками, так что в комнате послышался грозный звон.

Володыевский с недоумением посматривал на друзей, в особенности на Заглобу, и наконец сказал;

– Ах, вы предатели! А я в самом деле думал, что Кетлинг изрублен в куски и лежит при смерти.

– Что ты, что ты, Миша! – возразил Заглоба. – Неужели ты сердишься за то, что Кетлинг здоров, и сожалеешь, что он еще жив. Видно, брат, твое сердце до того очерствело, что ты хочешь, чтобы мы все умерли – и Кетлинг, и Орлик, и Рушич, и эти молодчики, даже Скшетуский и я – я, который любит тебя, как сына.

Заглоба закрыл глаза и почти со слезами продолжал:

– Что нам, господа, в этой жизни, когда кругом нас царит

одна черная неблагодарность!

– Ах, Боже мой! – живо отвечал Володыевский. – Ведь я не желаю вам зла, я только хочу этим сказать, что вы не захотели пощадить моего горя.

– Нет, тебе досадно, что мы живы! – повторял Заглоба.

– Успокойтесь, Бога ради.

– Мы проливали столько слез, жалея его, а он еще упрекает нас, что мы не пощадили его горя. Но Бог мой свидетель, что мы все, как истинные друзья, готовы разметать твою печаль своими саблями. А ты, коль скоро дал слово пробывать с нами хоть месяц, то держи его и люби нас, по-крайней мере хоть это время.

– Да я вас буду любить до смерти! – отвечал Володыевский.

Разговор их был прерван приходом нового гостя, приезда которого друзья не заметили и увидели только тогда, когда он уже вошел в комнату. Это был высокий плотный мужчина с величественным лицом, как у римского цезаря, выражавшим власть и вместе с тем царственную доброту и приветливость. По своему росту он резко выделялся из остальных воинов и стоял, подобно орлу, окруженному ястребами, сарычами, кончиками.

– Великий Гетман! – воскликнул Кетлинг и, как хозяин, вскочил приветствовать его.

– Пан Собеский – повторили остальные.

Все с уважением поклонились ему. Все, исключая Воло-

дыевского, знали, что гетман приедет, так как обещал Кетлингу, однако приезд его, по-видимому, сильно поразил присутствующих, так что никто не смел открыть рта. В *сущности*, это была необыкновенная милость со стороны Собеского; но он любил солдат, как братьев, а в особенности тех, которые дрались с татарами; поэтому-то он решился повидать Володыевского и утешить его своим милостивым вниманием, чтобы удержать его в рядах своих войск.

Приветствовав Кетлинга, он протянул руку маленькому рыцарю и обнял *его* за голову; в свою очередь Володыевский обнял колени гетмана.

– Ничего, мой старый рыцарь, ничего, – сказал гетман. – Господь испытал тебя, и Он же утешит, все это пройдет. Ведь ты теперь останешься с нами?.

Из груди Володыевского вырвалось рыдание.

– Останусь! – сказал он сквозь слезы.

– Вот это похвально, побольше бы нам таких воинов, как ты. Ну, а теперь, старый товарищ, припомним то время, когда мы пировали в русских степях под наметами. Мне хорошо среди вас. Ну-ка, хозяин!

– Виват! – закричали все.

Началось пирование, продолжавшееся до позднего вечера. На следующий день гетман прислал Володыевскому прекрасного буланого жеребца.

Глава VI

Кетлинг и Володыевский опять решили не расставаться и, по возможности, ездить рядом, сидеть при одном огне и спать на одном седле.

Но неделю спустя судьба разлучила их.

Из Курляндии прибыл вестник и объявил Кетлингу, что Гаслинг, который усыновил его, внезапно занемог и желает его видеть. Молодой рыцарь, недолго думая, отправился в путь.

Уезжая, он просил Заглобу и Володыевского распорядиться его домом, как своим собственным, и жить в нем, пока им не надоест.

– Может быть, на элекцию приедут Скшетуские, – говорил он, – по крайней мере, он сам наверное будет а если бы даже и все его семейство пожаловало к нам, то найдется место для всех Ведь у меня нет родных, кроме вас, а вы для меня дороже братьев.

Заглоба чувствовал себя очень хорошо в доме Кетлинга, а потому был очень рад что его пригласили остаться Но и Володыевскому понравилось это приглашение.

Скшетуский не приехал, а вместо него сестра Володыевского, бывшая замужем за стольником лятычевским, Маковецким, оповестила его о скором своем прибытии. Человек, посланный ею, приехал к гетману с целью разузнать что-ни-

будь о маленьком рыцаре, и ему тотчас указали на дом Кетлинга.

Володыевский не видал сестры несколько лет и очень обрадовался ее приезду, но, узнав, что она не нашла ничего лучшего и остановилась в жалкой хижине на Рыбаках, тотчас же поехал к ней, чтобы пригласить ее в дом Кетлинга. Уже смеркалось, когда Володыевский явился к сестре; он сразу узнал ее, несмотря на то, что с нею были еще две женщины. Она бросилась обнимать брата. Оба плакали, не будучи в состоянии выговорить ни слова, между тем как две другие женщины стояли в стороне, смотря на их свидание.

Гатония Маковецкая заговорила первая тонким и довольно писклявым голосом.

– Сколько лет, сколько зим! Ах, милый мой братец!.. Я сейчас же поехала, когда услышала о твоём несчастье. Да и муж не удерживал меня, потому что у нас довольно беспокоино. Со стороны Будяка нам угрожает неприятель, да поговаривают также и о белгородских татарах, а они наверняка нападут на нас, потому что появился верный признак войны: целые стаи птиц уже прилетели, как это всегда бывает перед войной. Да утешит же тебя Господь, мой милый братец! Золотой ты мой. Муж мой тоже думает приехать сюда на элекцию. Он сказал мне взять девушек и поехать сюда раньше. Говорит поезжай утешить Мишу, а вместе с этим спасешься и от татар. И я, как видишь, приеха-

ла раньше, чтобы подыскать порядочную квартиру и узнать о тебе. Сам он поехал с соседями на разведку. Войск в крае очень мало. Но у нас всегда так. Ах, милый ты мой Миша! Ну, пойдем к окну; дай мне посмотреть на тебя, как ты выглядишь. Да, похудел! Ну да не беда, и нельзя иначе, при таком горе. Легко было мужу говорить: поезжай, подыщи приличную квартиру. А тут вдруг ни одной, и мы вынуждены были приютиться вот в этой лачужке. Насилу соломы достали для спанья.

– Позволь, сестрица!.. – начал было маленький рыцарь.

Но сестра не хотела позволить и продолжала, как мельничное колесо, без остановки:

– Мы остановились здесь по необходимости, потому что другого места не было. Хозяева тоже смотрят волками, может быть, они злые люди. Положим, что у нас четыре человека прислуги, и сами мы не из робких! Ведь у нас там и женщины должны быть храбры, иначе и жить было бы нельзя. Ввиду этого я постоянно вожу с собою бандельерку, а Бася два пистолета, только Христина не любит оружия. Но мы все-таки хотели бы найти лучшее помещение, да, к несчастью, не знаем расположения города.

– Позвольте, сестрица!.. – повторил Володыевский.

– Где же ты живешь, Миша? Ты должен помочь мне найти квартиру, ведь Варшава тебе хорошо известна.

– Да у меня уж есть для вас помещение, – перебил ее брат, – и, нужно заметить, такое, что и сенатор мог бы поме-

ститься там со своей дворней. Я живу у своего друга капитана Кетлинга и сейчас же отведу вас туда.

– Однако ты прими во внимание, что нас трое да четверо слуг... Ах, Боже мой! Ведь я до сих пор еще не познакомила тебя с моими спутницами.

И она обратилась к женщинам:

– Вы знаете, кто он такой, но он вас не знает, познакомьтесь, хотя здесь и темно. Даже и печь еще не затопили. Это Христина Дрогаевская, а это Варвара Езеровская, – представила она. – Они живут у нас, потому что обе сироты, а мой муж их опекун. Ведь таким молоденьким и хорошеньким девушками неудобно жить отдельно.

Когда Маковсукая объяснила все это, брат ее поклонился по-военному, а барышни, приподняв пальчиками платья, сделали реверанс, причем Езеровская тряхнула своей прекрасной головкой.

– Однако едемте! – сказал Володыевский. – Я живу с моим другом Заглобой, которого просил позаботиться об ужине.

– Это тот знаменитый Заглоба?.. – спросила вдруг Езеровская.

– Тише, Бася! – сказала сестра Володыевского. – Я боюсь, что мы наделаем вам хлопот.

– О, не беспокойтесь!.. Если Заглоба взялся хлопотать об ужине, то наверное хватит на всех, даже если бы нас было вдвое больше. Прикажите укладывать свои вещи... Я и тележку прихватил для них, а мы вчетвером свободно доедем

в шарабанах Кетлинга. Я, знаете ли, вот что думаю, если слуги ваши не пьют, то пусть они останутся здесь до завтра с лошадьми и вещами, а мы пока возьмем только необходимое.

– Им и оставаться незачем, – отвечала сестра, – потому что мы еще не распаковывали вещей. Стоит только запречь лошадей и пускай себе едут. Бася, пойдй присмотри за этим!

Езеровская порхнула в сени, через несколько минут вернулась и объявила, что все уже готово.

– Пора! – сказал Володыевский.

Немного спустя они сидели уже в шарабанах и ехали по направлению к Мокотову. Маковецкая с Дрогаевской поместились на заднем сиденье, а маленький рыцарь и Бася – на переднем. Было уже совсем темно, и Володыевский не мог рассмотреть лиц девушек.

– Вы знаете Варшаву? – обратился он к Дрогаевской, возвышая голос, чтобы заглушить шум колес.

– Нет, – отвечала она звучным, приятным голосом. – Мы провинциалки, не видали никогда ни больших городов, ни знаменитых людей.

При этом она слегка нагнула голову, как бы желая этим выразить, что Володыевский принадлежит к таким людям. Рыцарь, польщенный ее комплиментом, подумал про себя: «Ловкая девушка!» – и начал придумывать подходящий комплимент, которым мог бы отблагодарить ее.

– Если бы этот город был в десять раз больше, – придумал он наконец, – то и тогда вы могли бы быть лучшим его

украшением.

– А почему вы знаете? Ведь теперь темно, и вы не видели нас? – спросила его внезапно Езеровская.

«Вот егоза!» – подумал про себя Володыевский и ничего не сказал. После непродолжительного молчания Езеровская опять обратилась к маленькому рыцарю:

– А хватит ли у вас места для наших лошадей: ведь у нас десять выездных, да две клячи.

– Хоть бы их было тридцать, для всех хватит.

– Фью! Фью! – присвистнула в ответ Варвара Езеровская.

– Бася! – сказала с укоризной Маковецкая.

– Ну что? Все Бася да Бася! А кто всю дорогу заботился о них?

Беседуя таким образом, они подъехали к крыльцу дома Кетлинга.

Ради приезда сестры Володыевского все окна в доме были ярко освещены, а слуги и Заглоба вышли на крыльцо высаживать дам, причем последний, увидев трех барынь, тотчас же спросил:

– В лице которой из трех я имею честь приветствовать мою благодетельницу и сестру моего лучшего друга?

– Это я! – отвечала жена стольника.

Заглоба взял ее руку и начал целовать, повторяя:

– Челом вам, челом!..

Высадив ее из шарабана, он проводил ее до сеней и, почтительно расшаркиваясь, проговорил:

– Прежде чем переступите этот порог, позвольте мне еще раз приветствовать вас.

Между тем Володыевский помогал высаживаться барышням, а так как шарабан был довольно высок и трудно было попасть на подножку, то он схватил в охапку Дрогаевскую, поднял ее в воздух и поставил перед собою. Опираясь, она прикоснулась к нему грудью и на одно мгновение повисла на его шее, проговорив:

– Благодарю вас!

После этого Володыевский хотел высадить и Езеровскую, но та уже выскочила из шарабана с другой стороны.

Маленький рыцарь взял Дрогаевскую под руку и вошел в комнаты.

Там молодые девушки познакомились с Заглобой, который повеселел при виде таких хорошеньких барышень и сразу же пригласил их ужинать.

Кушанья были уже поданы и, как предвидел Володыевский, всего было много, так что вдвое большее общество могло вполне быть сыто.

Все уселись. Пани Маковецкая заняла почетное место; по правую ее руку сел Заглоба, потом Езеровская. С левой стороны поместился Володыевский, рядом с Дрогаевской. Тут только маленький рыцарь смог разглядеть девиц.

Каждая в своем роде могла назваться красавицей. Дрогаевская была брюнетка с черными, как вороново крыло, волосами и бровями. При этом у ней были большие синие

глаза и белый, необыкновенно нежный цвет лица, так что на висках даже голубые жилки просвечивали сквозь кожу. Чуть заметный черный пушок виднелся над верхней губой, как это часто бывает у брюнеток, и оттенял прелестный ротик, как бы созданный для поцелуев. Она была в трауре, который носила после смерти отца, что придавало печальное и строгое выражение ее лицу. На первый взгляд она могла показаться старше своей подруги, но Володыевский тотчас заметил, что под этой прозрачной кожей струилась юная кровь. Чем больше он смотрел, тем больше восхищался ее гордой осанкой, лебяжьей шеей и всеми ее девственными формами.

«У нее, должно быть, возвышенная душа, – думал он, – зато другая – настоящий сорванец!»

И это сравнение было очень меткое.

Езеровская была маленькая, хотя не худенькая, но гораздо ниже Дрогаевской, блондиночка с розовыми щечками. Волосы ее были обрезаны, как видно, после болезни и запрятаны в золотую сетку, из которой они выглядывали во все отверстия, как бы не желая сидеть спокойно на этой беспокойной головке; они висели на лбу до самых бровей, подобно казацкой «чуприне»; эти непокорные волосы, быстрые глазенки и задорное выражение лица придавали ей вид школьника, который только и смотрит, как бы напроказничать.

Несмотря на все это, она была так свежа и молода, что трудно было не восхищаться ею. Ноздри ее тонкого,

слегка вздернутого носика раздувались поминутно, а ямочки на щеках свидетельствовали о веселом нраве.

Теперь она спокойно сидела и с аппетитом ела поставленные на стол яства, посматривая с каким-то детским любопытством то на Заглобудо на Володыевского, точно видела в них что-то особенное. Хотя Володыевский чувствовал, что ему следует занять разговором Дрогаевскую, однако он молчал, не зная с чего начать. Маленький рыцарь был вообще ловким кавалером, но теперь он был сильно опечален, так как девушки воскресили в нем воспоминание о дорогой покойнице.

Зато Заглоба вполне занимал *его* сестру, рассказывая ей о своих подвигах и о подвигах ее брата. В середине ужина он стал вдруг рассказывать о том, как они с княжной Курцевич и Жендяном убегали от целого войска татар и как они вдвоем с Володыевским бросились на отряд татар, чтобы задержать погоню и спасти княжну.

Езеровская так внимательно слушала все это, что перестала есть и, опершись подбородком на руку, поминутно встряхивала волосами. В самых патетических местах она пощелкивала пальцами и повторяла:

– Ага! Ага! Ну и что же! Что же!

Когда же Заглоба стал рассказывать о том, как драгуны Ку-шеля, подоспев нечаянно на помощь, обратили в бегство татар и преследовали их почти полмили, Езеровская не выдержала, захлопала изо всей силы в ладоши и воскликнула:

– Ах, как бы мне хотелось там быть! Ей-Богу!

– Бася, – заметила ей пухленькая пани Маковецкая, своим резким малороссийским выговором, – приехав сюда, постарайся, пожалуйста, отвыкнуть от своего «ей-Богу!» Не хватает только того, чтобы ты стала говорить «ах, черт возьми»... или «ах, чтоб меня все пули били»!..

Панночка расхохоталась своим свежим серебряным смехом и хлопнула себя по коленям.

– Ну, так пусть меня пули бьют, милая тетя!

– Господи! Уши вянут от твоих восклицаний. Ну. извинись по крайней мере перед обществом, – возмущалась сестра Володыевского.

Пани Варвара, желая начать извинения с Маковецкой, вскочила со стула, юркнула под стол, при этом сбросив нож, вилку и ложку.

Пухленькая тетушка не могла больше удержаться от смеха, смеялась же она замечательно: сначала тряслась и как-то дрыгалась, а лотом начинала тонко пищать. Все развеселились, и Заглоба был в восторге.

– Посмотрите только, что за девчонка, – повторяла, трясясь, Маковецкая.

– Прелесть что такое, ей-Богу! – говорил Заглоба.

Между тем Варвара подняла ложку и вилку и вылезла из-под стола; согнувшись под столом, она потеряла там свою сетку, и поэтому все волосы нависли ей на глаза. Она выпрямилась и, раздувая ноздри, произнесла:

– Ага! Вы смеетесь над моим замешательством!.. И отлично.

– Никто не смеется. – сказал убедительным тоном Заглоба, – никто не смеется! Мы только радуемся, что Господь послал нам такое утешение в вашем лице.

После ужина они отправились в гостиную. Там Дрогаевская увидела висевшую на стене лютню, сняла ее и стала слегка наигрывать. Володыевский попросил ее спеть, на что она отвечала просто и добродушно:

– Охотно, если только этим я развлеку вас от вашей печали.

– Благодарю вас! – отвечал маленький рыцарь и с благодарностью посмотрел на нее.

Вскоре раздались звуки лютни, и послышалась песня:

«Поверьте, рыцарь,
Что даже панцирь
От стрел любви не защитит.
Любовь возникнет –
Сквозь сталь проникнет,
Коль купидон стрелу вонзит».

– Не знаю, право, как и благодарить вас, – говорил Заглоба Маковецкой, сидя с ней в глубине гостиной и целуя ей руки, – что вы приехали и, кроме того, привезли с собой таких милых и стройных девушек; все Грации при них могли бы показаться простыми горничными. Особенно этот мальчиш-

ка мне пришелся по вкусу; это такая вострушка и так хорошо умеет разгонять тоску, что и кунце не сумеет лучше разогнать мышей. Ведь вы знаете, что тоска, как мыш, грызет зерна наших сердечных радостей, скрытая в глубине наших сердец. Наш бывший король Ян Казимир любил меня за мои сравнения и не мог прожить без них ни одного дня, вследствие чего я должен был сочинять для него разные поговорки и мудрые изречения и говорить их ему всегда вечером, потому что он, сообразуясь с ними, вел свою политику. Но дело не в том!.. Надеюсь, что наш Миша скоро забудет о своем горе в присутствии этих красавиц. Вы не знаете, что неделю тому назад я насилу увез его из монастыря камедулов. Я добился у папского нунция такого письма, что если бы настоятель не выпустил Володыевского из монастыря, то он сделал бы всех монахов драгунами. К тому же монастырь ничего от этого не потерял. И слава Богу, что он между нами!.. Я знаю его! Вы увидите, что не сегодня, так завтра которая-нибудь из этих двух красавиц вскружит ему голову, и он воспылет к ней, как трут.

Между тем Дрогаевская продолжала петь.

«Если кольчуга
Сего недуга
Мужчин не в силах утрашить,
То уж девице,
Как вольной птице.
Бог и подавно велел любить».

– И женщины боятся этой любви, как собака сала, – шепнул Заглоба своей собеседнице. – Но признайтесь, вы привезли сюда этих пташек не без цели. Это редкие девушки, в особенности этот «мальчишка», право! Хитрая у Миши сестрица, не правда ли?

Маковецкая постаралась придать своему простодушному и доброму лицу очень хитрое выражение, но это ей не удалось.

– Разумеется, пришлось подумать и о них, – сказала она, – так как мы, женщины, всегда проницательны. Мой муж придет сюда позже, а я прихватила их с собою, потому что у нас того и гляди татары нагрянут. Если бы Мише посчастливилось в этом случае, то я бы пешком отправилась куда-нибудь на поклонение чудотворной иконе.

– Наверняка посчастливится, – сказал Заглоба.

– Обе девушки из хорошей семьи и со средствами, а это в наше время чего-нибудь стоит.

– Нечего и говорить мне этого. Володыевский ухлопал все свое состояние на войну. Только некоторые вельможи остались должны ему кое-что. Мы, милостивая государыня, не раз брали крупные деньги, и хотя все обыкновенно отдавалось гетману, однако каждый из нас получал свою часть «с сабли», как у нас говорят солдаты. Случалось, что на долю Михаила выпадало столько, что он мог бы иметь в настоящее время громадное состояние, если бы хранил все это. Но он,

как истый солдат, не думает о завтрашнем дне; ему бы только кутить и, если бы не я, то Миша все бы прокутил. Вы говорите, что эти девушки знатного происхождения?

– В жилах Дрогаевской течет сенаторская кровь. Правда, наши пограничные каштелянства не то, что краковские: есть и такие, о которых мало знают в Речи Посполитой. но ведь кто раз добился сенаторского кресла, то и его потомство может гордиться этим. Что касается Езеровской, то та по рождению выше Дрогаевской.

– Скажите, пожалуйста! Это интересно. Я люблю слушать о родословных, потому что и сам происхожу из рода масагетского короля.

– Конечно, Езеровская не такой крови, как вы, но если вы желаете послушать, то я расскажу вам. Ведь там, у нас, каждый может по пальцам перечесть родню всякого. Она приходится сродни и Потоцким, и Язловецким, и Лащам. Это родство, знаете ли, происходит таким образом.

При этом Маковецкая расправила складки своего платья и плотнее уселась, чтобы ничто не помешало ей начать свой любимый рассказ. Потом она расставила пальцы одной руки и приготовилась на них считать дедов и прадедов, загибая каждый палец указательным пальцем другой руки, и наконец начала так:

– Дочь Якова Потоцкого, Елизавета, от второй его жены Язловецкой вышла за Ивана Сметанко, подольского хорунжего.

– Так!.. – сказал Заглоба.

– От этого брака родился Михаил Сметанко, тоже подольский хорунжий.

– Гм... Прекрасное звание!

– Этот последний был женат в первый раз на Дорогостой... нет! На Рожинской. нет! На Воронич. Забыла совсем!

– Вечная ей память, – сказал Заглоба, – как бы она ни называлась.

– Второй раз он женился на Лашевой.

– Я так и думал! А какой был результат этого брака?

– Сыновья их умерли.

– Все радости непрочны на этом свете.

– Дочерей было четыре. Младшая из них, Анна, вышла за Езеровского, герба Равич, который был сначала комиссаром при размежевании Подолья, а потом, кажется, сделался подольским мечником.

– Да, я помню, он был мечником, – сказал с уверенностью Заглоба.

– Ну вот, от этого, то брака, как видите, и родилась Варвара.

– Да, вижу, также как и то, что она в настоящую минуту метится из мушкета Кетлинга.

Действительно, пока Дрогаевская разговаривала с маленьким рыцарем, Бася, стоя у окна, от нечего делать надела шлем и целилась из ружья.

Видя это, Маковецкая затряслась и запищала.

– Вы не можете себе представить, сколько мне с нею хлопот! Настоящий гайдамак!

– Если бы все гайдамаки были такие, то я сейчас бы пристал к ним.

– Она только и думает о войне, лошадях и ружьях! Раз она отправилась охотиться с винтовкой на уток и залезла куда-то в камыши, вдруг смотрит, тростник раздвинулся и оттуда – что бы вы думали? Голова татарина, который прокрадывался в деревню по камышам!.. Другая бы испугалась на ее месте, а она выстрелила, и татарин упал в воду! Вообразите, она на месте его уложила, и чем? дробью.

При этом Маковецкая опять захихикала и затряслась, а затем прибавила:

– Правда, что этим она спасла нас всех, потому что за татаринომ шел целый отряд Вернувшись с охоты, она наделала такой суматохи, что мы все должны были спастись в лес! И всегда у нас так!..

Лицо Заглобы приняло восторженное выражение; он даже прижмурил глаз и, вскочив, подбежал к молодой девушке и поцеловал ее в лоб. Все это произошло так быстро, что Варвара не успела оглянуться.

– Это вам от старого солдата в благодарность за татарина в камышах, – сказал он при этом.

Девушка по обыкновению тряхнула своими русыми волосами.

– Не правда ли, я задала ему перцу! – отозвалась она све-

жим детским голосом, который как-то не гармонировал с ее словами.

– Ах, милый ты мой гайдамачонок! – сказал растроганный Заглоба.

– Ну, что значит один татарин! Вы тысячи их изрубили, и немцев, и шведов, и венгров. Я ничтожество в сравнении с такими рыцарями, как вы, подобных которым нет во всей Речи Посполитой. О, я это хорошо понимаю!

– Мы будем вас учить владеть саблей, если вы такая храбрая. Правда, я уж немного тяжеловат для этого, но зато Миша мастер своего дела.

Обрадованная таким предложением, молодая девушка даже подпрыгнула от радости, потом поцеловала Заглобу в плечо и сделала реверанс маленькому рыцарю.

– Благодарю вас за обещание! Я уже умею немножко.

Но Володыевский до того был занят разговором с Дрогавской, что как-то рассеянно проговорил:

– Я к вашим услугам, что прикажете?

Сияющий Заглоба опять уселся рядом с Маковецкой.

– Всемиловейшая государыня, – начал он. – Я знаю по опыту – так как долго жил в Стамбуле, – что восточные лакомства очень вкусны, и что много есть до них охотников, но как же, скажите мне, никто не польстился на эту конфетку?

– Что вы! Многие ухаживали за ними обеими. А Басю мы в шутку называли вдовою после трех мужей, потому что

за ней в одно и то же время ухаживали три кавалера: Свирский. Кондрацкий и Цвилиховский. Все это зажиточные дворяне и из хорошей семьи, я даже могу перечислить вам всю их родословную. При этом сестра Володыевского опять расставила пальцы и приготовилась считать по ним, но Заглоба поторопился спросить.

– Что же с ними случилось?

– Всех их убили на войне, вот потому-то мы и зовем ее вдовой.

– Гм! Ну, а как же она перенесла это?

– Да, видите ли... у нас это заурядное явление, и редко кто не умирает на поле сражения. Говорят, что дворянину неприлично даже умирать иначе. Разумеется, она поплакала немножко, бедняжка, в конюшне. У нее всегда так: как только что ее опечалит – она сейчас в конюшню! Однажды я пошла туда и спрашиваю: «О ком ты плачешь?» – «О всех трех!» – отвечала она; из этого я поняла, что ей ни один из них не нравился. Я думаю, что она еще не чувствует требований природы, а поэтому и голова ее занята другим; вот Христина совсем не то, а Бася и не думает, кажется!..

– Почувствует еще и подумает, – сказал Заглоба, – мы это лучше понимаем! И скоро почувствует.

– Да, такое уж наше предназначение! – отвечала жена стольника.

– Именно! Я только что хотел то же сказать!

Разговор их был прерван приближением молодежи. Маленький рыцарь уже смело обращался с Христиной, но она, по-видимому, занимала его только из сострадания к его горю, подобно тому, как доктор занимается больным. Короткое знакомство не позволяло ей выказывать к нему того сочувствия, которое она уже начала обнаруживать. Никого, однако, это не удивляло, потому что Михаил был братом Маковецкой, а молодая девушка – родственницей ее мужа. Варвара оставалась в стороне, и только Заглоба обращал постоянно на нее свое внимание, что, по-видимому, для нее было все равно. Сначала она с удивлением смотрела на обоих рыцарей, потом восхищалась чудным оружием Кетлинга, развешанным по стенам, далее начала понемногу зевать, и глаза ее стали смыкаться, наконец она сказала:

– Теперь я как залягу спать, так разве только послезавтра проснусь.

Вскоре после этого все разошлись, потому что женщины были очень утомлены и ожидали только, пока им приготовят постели.

Когда Заглоба очутился один с Володыевским, то сначала стал ему многозначительно подмигивать, а потом понемногу толкать в бок кулаками.

– Ну, что ж ты, Миша! Точно репы объелся! А? Пойдешь, что ли, в монастырь? А эта ягодка, Дрогаевская. кажется, вкусная? И этот розовенький мальчик – тоже!.. Эх, ты... Ну, что ты скажешь, Миша?

– Что же, ничего! – отвечал маленький рыцарь.

– Но мне ужасно понравился этот мальчишка-девушка...

Знаешь ли, когда я сидел подле нее за ужином, то меня так и жгло от нее, как от жаровни.

– Ну, эта еще девчонка, та гораздо солиднее.

– Дрогаевская – что слива вегнерская, настоящая венгерская слива! Но зато та – орешек!.. Ей-Богу! И если бы у меня были зубы!.. То я!.. Тьфу!.. Я хотел сказать, если б у меня была такая дочь, то я выдал бы ее только за тебя. Одно слово, миндалинка.

Володыевский вдруг вспомнил, что все эти сравнения делал Заглоба и по отношению к Анне Борзобогатой, и ему стало очень фустно. Припомнил он и ее фигуру, и маленькое личико, и темные косы, ее резвость, щебетанье и взгляд Правда, что эти девушки были моложе, но та была в тысячу раз дороже всех для него.

Маленький рыцарь закрыл лицо руками и неожиданно предался сильному отчаянию. Удивленный Заглоба сначала смотрел на него с беспокойством и молчал, а потом отозвался:

– Что с тобой, Миша? Скажи мне, ради Бога!

– Да почему же все живут, все ходят по земле. – проговорил Володыевский, – только нет одного моего ягненочка: ее одну только не увижу я больше!

Тут он не мог больше выдержать и разрыдался; опершись на скамью, он сквозь зубы произносил:

– Боже! Боже! Боже!..

Глава VII

Варвара Езеровская с нетерпением ожидала той минуты, когда она будет учиться фехтованию у Володыевского, который, конечно, не мог отказать ей в этом.

Несмотря на то, что он был влюблен в Дрогаевскую, через несколько дней, он успел полюбить и Басю; да и мудро было не любить ее.

Однажды утром она взяла первый урок; урок этот был вызван тем, что Бася хвасталась своею ловкостью и уверяла, что она хорошо изучила фехтовальное искусство и что не всякий может сравниться с нею.

– Я училась у наших старых солдат, – говорила она, – а ведь все знают, какие у нас ловкие фехтовальщики... Пожалуй, что они не уступили бы вам.

– Что вы говорите, – вскричал Заглоба, – во всем мире нет нам равных!

– Мне бы очень хотелось, чтобы я оказалась равной вам, – конечно, я не надеюсь на себя, однако же хочется испытать.

– Вот если бы вы затеяли стрелять в цель из бандольерки, то и я бы, пожалуй, попробовала, – сказала, смеясь. Маковецкая.

– Да неужели у вас в Летичевском уезде все такие амазонки! – изумился Заглоба и спросил, обращаясь к Дрогаевской; – А вы каким оружием владеете?

– Никаким, – отвечала Христина.

– Как никаким?! – крикнула Бася и запела, копируя ее:

Поверьте, рыцарь,
Что даже панцырь
От стрел любви не защитит.
Любовь возникнет –
Сквозь бронь проникнет,
Коль купидон стрелу вонзит?.

– Вот она каким оружием владеет! – прибавила она, обращаясь к Заглобе и Володыевскому. – Не беспокойтесь, она ловка в этом искусстве!

– Выходите, сударыня! – сказал Володыевский, желая скрыть свое смущение.

– Ах, Боже мой! Если бы только так получилось, как я думаю! – воскликнула Варвара, краснея от радости.

Она стала в позицию с легкой польской саблей в правой руке, а левую заложила за спину. Подняв голову, раздув ноздри и подавшись грудью вперед, она была так свежа и прекрасна, что Заглоба вынужден был шепнуть Маковецкой:

– Самое старое, хотя бы столетнее венгерское не могло бы мне доставить большего удовольствия.

– Заметьте – сказал Володыевский, – что я буду только защищаться, а вы нападайте, сколько вам угодно.

– Хорошо. Но когда вы захотите, чтобы я перестала, то вы

мне скажете.

– Положим, что вы и так перестанете, когда я захочу!

– Как это?

– Да так: я сейчас могу выбить саблю из рук всякого фехтовальщика.

– Посмотрим!

– Что ж смотреть, когда так оно и есть, но я из вежливости не позволю себе сделать этого.

– Причем тут вежливость? Вы только сделайте, что говорите. Я знаю, что у меня нет такой ловкости, как у вас, но уж саблю-то выбить вам не удастся.

– Значит, вы позволяете?

– Позволяю!

– Полно вам, милый мальчик, – сказал Заглоба. – Он это проделывал с величайшими знатоками.

– Посмотрим! – повторила Езеровская.

– Начинайте! – сказал Володыевский, которого вывело из терпения хвастовство девушки.

Фехтованье началось.

Бася нападала с ожесточением, прыгая, как полевая лошадка, а Володыевский спокойно стоял и, по обыкновению, делал незаметные движения саблей, не обращая внимания на атаку.

– А! Вы парируете и отмахиваетесь от меня, как от назойливой мухи! – сказала с раздражением Варвара.

– Ведь это не состязание, а урок! – отвечал маленький ры-

царь. – Хорошо! Недурно для женщины! Руку держите по-койнее!

– Для женщины? Вы меня считаете женщиной! Вот вам! Вот вам!

Но как ни старалась Бася – Володыевский стоял спокойно и даже заговорил с Заглобой, чтобы показать, как мало он обращает внимания на свою соперницу.

– Отойдите от окна, а то панне Варваре темно. У ней хотя сабля не меньше иголки, однако же она владеет ею хуже, чем иглой.

Маленькие ноздри Баси раздулись еще сильнее, а волосы упали на блестящие глазки.

– Вы ни во что меня не ставите? – спросила она, прерывисто дыша.

– Только не вас лично, Боже меня сохрани!

– Терпеть вас не могу!

– Это в награду за мою науку! – отвечал маленький рыцарь и обратился к Заглобе: – Ей-Богу, мне кажется, что снег идет.

– Да, снег, снег, снег! – повторяла Бася с ожесточением.

– Довольно, Бася, будет; ты насилу дышишь, – заметила

Маковецкая.

– Ну, держите же саблю, а то я ее выбью!

– Увидим!

– А вот!

И сабля, как птица, вылетела из рук Баси и упала возле печки.

– Это я сама, по нечаянности! Это не вы! – воскликнула девушка со слезами на глазах и, мигом схватив саблю, снова стала наступать.

– Попробуйте-ка теперь.

– А вот! – повторил Володыевский.

И сабля опять очутилась у печки.

– Ну, довольно, будет пока! – сказал маленький рыцарь.

Сестра Володыевского затряслась и запищала громче обыкновенного, а Бася стояла посередине комнаты взволнованная, оскорбленная и едва дышала; она кусала губы, чтобы удержать слезы, готовые хлынуть из глаз. Молодая девушка чувствовала, что все будут смеяться над нею, если она заплачет, и, видя наконец, что больше ей не выдержать, она убежала из комнаты.

– Господи! – вскричала Маковецкая. – Она, верно, в конюшню удрала!.. Еще простудится, пожалуй: она так разогрелась. Пойти разве за ней!.. Ты не ходи, Христина!..

С этими словами, она вышла из комнаты и, схватив теплую мантилью, побежала в конюшню, а за нею Заглоба, обеспокоившийся о своем «мальчике».

Дрогаевская тоже хотела бежать, но маленький рыцарь удержал ее за руку.

– Вы слышали, что вам было сказано? Я не выпущу вашей руки, пока все не вернется.

И он действительно не выпускал ее маленькой атласной ручки. Володыевскому казалось, что из ее тоненьких паль-

чиков льется теплая, приятная струя и проникает до костей. Он ощущал невыразимое удовольствие и поэтому держал ее еще крепче. На смуглом личике Христины показался легкий румянец.

– Вижу, что я у вас в плену.

– Если бы кому попалась такая пленница, то сам султан охотно бы дал за нее полцарства.

– Но ведь вы не продали бы меня неверным!

– Точно так же, как не продал бы своей души черту.

В этот момент Володыевский смекнул, что он придает слишком большое значение минутному увлечению, и поэтому тотчас поправился.

– Точно так же я не продал бы своей сестры.

Дрогаевская отвечала с достоинством.

– Совершенно справедливо, я люблю вашу сестру, как свою, а вас постараюсь полюбить, как брата.

– От души благодарю вас, – сказал Володыевский, целуя ее руки, – я так нуждаюсь теперь в утешении.

– Знаю, знаю. – сказала молодая девушка, – я ведь тоже сирота!

При этом маленькая слезинка показалась из-под ее ресниц и повисла на пушке, который был на верхней губе девушки.

– Вы добры, как ангел! Мне уже сделалось легче.

Христина ласково улыбнулась.

– Дай Господи!

– Ей-Богу, правда!

Маленький рыцарь предчувствовал, что ему было бы еще легче, если бы удалось поцеловать эту ручку второй раз, но в эту минуту вошла Маковецкая.

– Варвара взяла мантилью. – сказала она. – Она очень сконфузилась и ни за что не хочет вернуться. Заглоба бегаёт за ней по конюшне.

Между тем Заглоба действительно бегал по конюшне за Басей и, не щадя слов, утешал ее; наконец он выгнал ее на двор, думая, что она скорее согласится пойти в комнату. Но девушка убежала от него, повторяя: «А вот не пойду! Пускай себе я замерзну, но не пойду! Не пойду!» Увидав подле дома столб со ступеньками, она, как белка, взобралась на крышу и закричала оттуда:

– Хорошо, я пойду, если вы влезете ко мне!

– Ведь я не кот, чтобы лазить за вами по крышам, – отвечал Заглоба. – Вот как вы платите за мою любовь к вам?

– Я вас тоже люблю, но с крыши!

– Дед свое, а баба свое! Слезайте сейчас же!

– Нет, не слезу!

– Ей-Богу смешно, что вы все так близко принимаете к сердцу. Разве Володыевский поступил так только с вами, милая ласточка; он точно также выбивал шпагу у Кмицица, этого величайшего мастера, и то не в шутку, а на дуэли. Самые знаменитые фехтовальщики из Италии, Германии и Швеции не могли защищаться от его ударов больше пя-

ти минут. И вдруг такая букашка вздумала обижаться. Фу! Как вам не стыдно! Ну слезайте-ка, слезайте! Ведь вы еще учитесь!

– Но я терпеть не могу Володыевского!

– Господь с вами. Неужели за то, что он превосходит вас в том искусстве, которое вы хотите изучить? Вам бы следовало любить его еще больше за это!

Заглоба был прав. Несмотря на свое поражение. Бася боготворила маленького рыцаря, но она отвечала:

– Пусть его Христина любит!

– Ну, слезайте же без разговоров!

– Не слезу!

– Ну хорошо, сидите себе, а только я скажу, что барышне не только смешно, но и неприлично сидеть на лестнице, потому что снизу очень некрасиво.

– Вовсе нет! – отвечала Варвара, оправляя платье.

– Я, старик, пожалуй недогляжу, но я сейчас же приведу всех сюда, пускай полюбуются.

– В таком случае я слезу! – отвечала она.

Вдруг Заглоба оглянулся в сторону дома.

– Смотрите, и впрямь кто-то идет! – сказал он.

И в самом деде из-за угла показался молодой Нововейский, который, приехав верхом и привязав лошадь, обходил кругом дома, чтобы войти с парадного крыльца.

Завидев его, Езеровская мигом очутилась на земле, но увы! Было уже поздно. Нововейский заметил, как она сле-

зала по лестнице и, покраснев, как барышня, он стоял удивленный и сконфуженный. Езеровская также переконфузилась и проговорила:

– Второе поражение.

Обрадованный Заглоба замигал своим здоровым глазом.

– Господин Нововейский. друг и подчиненный пана Михаила, а это панна Драбиновская, Тьфу! Я хотел сказать – Езеровская.

Нововейский быстро оправился и поклонился молодой девушке; он был довольно остроумен и красноречив, а потому непринужденно заговорил с девушкой, глядя в ее чудные глаза.

– Э, да что я вижу! – сказал он. – У Кетлинга в саду цветут на снегу розы!

Варвара сделала реверанс и пробурчала про себя:

– Только не для твоего носа! Затем вежливо прибавила:

– Пожалуйте в комнаты!

Она побежала вперед и, влетев в комнату, где сидел Володыевский с остальной компанией, объявила, намекая на красный мундир Нововейского:

– Снегирь приехал!

Вслед за тем она скромно села на табуретку, сложила ручки крендельком, а губки – бантиком.

Володыевский представил своего молодого товарища сестре и Христине Дрогаевской. Тот вторично сконфузился при виде еще одной хорошенькой девушки.

Поклонившись, Нововейский хотел для храбрости покрывать усики, но последние еще не выросли, и поэтому он погладил только пальцами верхнюю губу и объяснил Володыевскому цель своего приезда.

Дело было в том, что великий гетман желал тотчас же видеть маленького рыцаря, Нововейский догадывался, что гетман хотел дать ему какое-то важное поручение, потому что недавно были получены письма от Вильчковского, Сильницкого, полковника Пиво и от других комендантов с сообщениями о зловещих слухах из Крыма.

– Хан и султан Галго не желали бы нарушить Подгаецкого договора, – сказал Нововейский, – но Будяк шумит, как пчелиный рой; точно так же волнуется и белгородская орда и не хочет слушать ни хана, ни Галго.

– Собеский уже говорил мне об этом и спрашивал моего совета, – сказал Заглоба. – Ну, а что у вас слышно насчет весны?

– Говорят, что эти черви весной выползут снова и что придется опять давить их, – отвечал Нововейский.

При этом он сделал строгое выражение лица и опять стал так крутить свои бедные усы, что верхняя губа даже покраснела.

Езеровская, посмотрев на него, тотчас же заметила это и, зайдя за спину Нововейского, начала тоже крутить себе усы, передразнивая молоденького воина.

Маковецкая строго взглянула на Басю, но не выдержала

ла и тотчас же задрожала, удерживаясь от смеха, Володыевский тоже закусил губу, а Дрогаевская так опустила глаза, что на ее щеках образовалась длинная тень от ресниц.

– Вы молодой человек, но опытный солдат, – сказал Заглоба.

– Мне двадцать два года, – отвечал юноша, – но я уже семь лет служу отечеству. Выйдя из младшего класса пятнадцати лет, я прямо поступил на службу.

– О, он хорошо знает степь, умеет прятаться в траве и внезапно нападать на татар, как коршун на куропатку, – прибавил Володыевский, – это прекрасный наездник, и татарину от него не укрыться в степи!

Нововейский покраснел от удовольствия, услышав такую похвалу от Володыевского в присутствии барышень.

Этот степной коршун был красив собою, имел смуглое загоревшее лицо, по которому проходил рубец от уха до носа, отчего нос был тоньше с одной стороны. Над быстрыми глазами, привыкшими свободно смотреть вдаль, были густые, черные брови, сросшиеся на носу наподобие татарского лука. На выбритой голове торчал в беспорядке черный чуб. Несмотря на то, что он понравился вострушке Басе и лицом, и фигурой, последняя не переставала его передразнивать.

– Как это приятно, нам, старикам, – сказал Заглоба, – что после нас останется такое достойное поколение.

– Пока еще не достойное! – возразил Нововейский.

– Люблю такую скромность! Я думаю, вам скоро станут

доверять командование небольшими отрядами.

– Как же! – воскликнул Володыевский. – Он уже не раз командовал отрядами и поражал неприятеля.

Нововойский стал с таким ожесточением крутить свои усы, что чуть не оторвал себе губу.

А Бася, не спуская с него глаз, старалась подражать ему во всем.

Но вскоре догадливый воин заметил, что глаза всех были устремлены вбок, именно туда, где сидела девушка, которую он видел на лестнице. Он сообразил, что она затеяла что-нибудь против него.

И, сделав вид будто разговаривает по-прежнему, он стал опять теревить усы. Наконец, улучив минуту, молодой человек обернулся так быстро, что Варвара не успела отвернуться и спрятать руки.

Это так переконфузило молодую девушку, что она сама не знала, что ей делать, и встала со стула. Все немного смутились и замолкли. Вдруг она хлопнула себя по платью и воскликнула своим серебристым голосом:

– Третье поражение!

– Милостивая государыня, – обратился к ней Нововойский. – Я уже давно заметил, что вы строите какие-то козни против меня. Признаюсь, мне жаль, что у меня нет усов, и я, может быть, потому только не дождусь их, что умру, сражаясь за отечество, но надеюсь, что это обстоятельство вызовет у вас слезы, а не смех.

Эта искренняя речь молодого человека так смутила Езеровскую, что она стояла, потупив глаза.

– Вы должны простить ей, – сказал Заглоба, – она еще слишком молода и потому резва, зато сердце у ней золотое.

И, как бы желая подтвердить слова Заглобы, молодая девушка прошептала:

– Извините меня, пожалуйста.

Нововейский поцеловал ей руку.

– Ах, Боже мой! Зачем же вы так близко принимаете все к сердцу. Ведь я не варвар какой-нибудь. Я должен извиниться перед вами, что смутил ваше веселье. Мы, солдаты, тоже любили дурачиться. Простите меня и позвольте мне еще раз поцеловать эти прелестные ручки. А если вы позволите мне целовать их до тех пор, пока я не получу прощения, то, ради Бога, не прощайте меня до вечера.

– Видишь, Бася, какой любезный кавалер! – сказала Маковецкая.

– Вижу! – отвечала Бася.

– Вот мы и помирились! – воскликнул Нововейский.

Говоря это, он выпрямился и хотел по обыкновению покрутить усы, но тотчас же спохватился и весело расхохотался, за ним засмеялась Бася, а за Басей все остальные. Все развеселились. Заглоба скомандовал принести меду из погреба, и началось угощение. Нововейский ерошил свой чуб, постукивал шпорами и страстно поглядывал на Басю, которая ему очень понравилась. У него явилось красноречие, и он на-

чал рассказывать разные новости, которые слышал при дворе гетмана. Он рассказывал о конвокационном сейме и, к общему удовольствию слушателей, о том, как в сенате обвалилась печь. После обеда он уехал, и голова его была занята только Басей.

Глава VIII

Тот же день маленький рыцарь явился к гетману, который велел впустить его к себе и объявил: – Я должен послать в Крым Рущича, чтобы он следил там за тем, что делается, и чтобы хан не нарушал нашего договора. Не хотите ли поступить опять на службу и занять его место? Вы, Вильчиковский, Сильницкий и Пиво будете следить за Дорошенкой и татарами, а то ведь им нельзя довериться вполне.

Володыевскому сделалось грустно. Все лучшие годы он провел на службе, и целые десятки лет прошли в огне, в дыму, в трудах, голоде, холоде и бессонице, часто не имея не только крыши над головой, ни даже соломы для спанья. Чьей только он не проливал крови! И до сих пор все еще не женился и не отдохнул. Сколько товарищей его, бедных и менее заслуженных, добились почестей и наград и спокойно отдыхали в настоящее время, а он был гораздо богаче, когда поступал на службу, и все оставался в том же положении. Но вот он опять понадобился, и его, как старую метлу, хватают, чтобы мести снова. Душа его была истерзана, и теперь, когда нашлась дружественная рука, которая начала перевязывать и лечить его душевные раны, ему вдруг предлагают бросить все это и лететь в пустынную и отдаленную окраину Речи Посполитой, нисколько не обращая внимания на его душевную скорбь и муку. Если бы только не было этих ко-

мандировок и этой службы, то он мог бы пожить по крайней мере годика два со своей Анусей.

Горько сделалось Володыевскому, когда он так раздумывал, но объяснять все это гетману казалось ему делом недостойным рыцаря, а потому он коротко отвечал:

– Хорошо, я поеду.

– Не состоя на службе, вы можете отказаться, – заметил гетман. – Вам, может быть, не хочется сейчас туда ехать.

– Мне и до смерти не долго осталось жить! – возразил Володыевский.

Собеский долго ходил по комнате, наконец остановился перед маленьким рыцарем и, дружески положив ему руку на плечо, сказал:

– Если ваши слезы еще не высохли по вашей невесте, то степной ветер высушит их. Погоревали вы в своей жизни довольно, да нечего делать, погорюйте еще. Если когда-нибудь посетят вас невеселые мысли, что все о вас забыли, что вы не выслужили себе ни наград, ни отдыха, что вместо вкусных яств у вас только черный хлеб, вместо наград – раны, а вместо отдыха – мука, то скажите, скрепя сердце: «Тебе, о родина!» Теперь ничего больше не могу сказать вам в утешение, а скажу только, хоть я и не пророк, что вы дальше уедете на своем вытертом седле, чем многие другие в роскошных каретах, запряженных шестеркой лошадей, и что найдутся такие двери, которые откроются для вас, но не для них.

«Тебе, о родина!» – повторил в душе Володыевский, удивляясь в то же время, как гетман мог угадать его сокровенные думы; тем временем Собеский уселся против маленького рыцаря и продолжал:

– Я буду говорить с вами не как с подчиненным мне лицом, но как с другом, даже больше! Как отец с сыном! Еще в то время, когда мы с таким трудом боролись с неприятелем у Подгаец и на Украине, а здесь, в сердце края, огражденные нашими плечами, злые люди ловили рыбу в мутной воде, мне не раз думалось, что Речь Посполитая должна погибнуть, потому что своеволию и личным интересам приносится в жертву общественное благо и порядок. Ни в одном государстве нет ничего подобного и в такой степени возмутительного. Эти тревожные мысли преследовали меня; и днем, и ночью, и в поле, и в палатке мне все думалось: «Положим, мы, солдаты, погибаем, считая это своим долгом. Но, если бы мы за это имели хоть то утешение, что кровь, которая течет из наших ран, послужила спасением для отечества. Так нет же! Не было и этого утешения!» Ох, тяжелое переживал я время у Подгаец, хотя старался казаться вам веселым и довольным, чтобы вы не подумали, что я усомнился в победе. «Нет людей, – думал я, – нет людей, истинно любящих отечество». И мысль эта, как острый нож, врезалась мне в грудь! И вдруг однажды, это было в последний день в подгаецком обозе, – когда я послал двухтысячный отряд против двадцатитысячной орды, вы так охотно и с та-

кими веселыми возгласами полетели на верную смерть, что я невольно подумал: «А, это мои солдаты», – и в ту же минуту Господь снял тяжелый камень с моего сердца, и я повеселел. «Вот эти, – сказал я, – гибнут только из-за любви к отечеству, они не изменяют и не перейдут на сторону неприятеля. Они составят священный союз и школу, в которой будет учиться молодое поколение. Их пример, общество и преданность повлияют на край так, что бедный народ переродится, забудет домашние невзгоды и неурядицы и, как мы, восстанет сильный и смелый на удивленье всему миру». Вот такое братство я мечтал сделать из моих солдат.

Собеский воодушевился, поднял голову, подобно римскому цезарю, и, простирая руки, воскликнул:

– Господи! Не пиши на наших стенах «мене, текел, фарес»¹⁰! А позволь мне спасти мое отечество, возродить его!

Наступило молчание.

Маленький рыцарь сидел, свесив голову и чувствуя, что дрожь пробегает по всему его телу.

Тем временем гетман прошелся по комнате и, остановившись перед маленьким рыцарем, продолжал:

– Нам нужен наглядный пример, такой пример, который бы обратил на себя внимание. Послушайте, Володыевский, я вас причислил первым к этому союзу. Хотите ли вы

¹⁰ «Мене, текел, фарес» (по другой версии – «мене, мене, текел, упарсин») – по преданию, слова, появившиеся на стене в разгар пира, устроенного вавилонским царем Валтасаром, и предрекавшие гибель и раздел Вавилона.

участвовать в нем?

Маленький рыцарь встал и, наклонясь, обнял колени гетмана.

– О! – сказал он взволнованным голосом. – Я счел себя обиженным, когда услышал, что мне опять надо ехать и что мне не дали оправиться от моего горя, но теперь я вижу свою ошибку и... каюсь, что возымел такую мысль, я не могу говорить, потому что мне стыдно.

Гетман молча обнял его и прижал к своей груди.

– Теперь нас только маленькая горсть, – сказал он, – но скоро все остальные последуют нашему примеру.

– Куда мне ехать? – спросил маленький рыцарь. – Могу и в Крым, я уже бывал там.

– Нет, – сказал гетман. – Туда я пошлю Рущича, там у него есть побратимы и однофамильцы, кажется, даже двоюродные братья, которых татары взяли в плен еще детьми, обасурманили и дали им важные должности. Они помогут ему во всем, а вы нужны в поле, потому что вряд ли кто умеет так хорошо драться с татарами, как вы.

– Когда же мне ехать? – повторил маленький рыцарь.

– Не позже чем через две недели. Мне надо поговорить с коронным подканцлером и с подскарбием, лотом приготовить письма и инструкции для Рущича. Но вы будьте готовы на всякий случай, а то я буду спешить.

– Завтра же я буду готов!

– Спасибо за готовность, но вы так скоро еще не понадо-

битесь! Опять же вам не придется надолго уехать, потому что вы мне нужны будете во время элекции. Вы слышали о кандидатах? Ну, что говорят об этом дворяне?

– Я только что вышел на свет Божий из монастыря, а там не думают о мирских делах, и знаю только, то, что мне сказал Заглоба.

– Правда, я могу все это узнать от него. Его очень все уважают. А вы за кого дадите голос?

– Еще сам не знаю, думаю только, что нам бы надо было воинственного монарха.

– Да, да, вот именно! У меня есть такой на примете... одно его имя способно навести панику на соседей. Нам надо воинственного короля, как Стефан Баторий¹¹. Ну, будь здоров, солдатик!.. Да, нам надо воинственного монарха. Вы всем это говорите. До свидания. Господь да наградит вас за вашу готовность!

Михаил попрощался и вышел.

Дорогой он стал обдумывать свой разговор с гетманом и порадовался, что ему дали две недели сроку, потому что он так отрадно и хорошо себя чувствовал в обществе Христины Дрогаевской. Радовало его и то, что он вернется в Варшаву на выборы. Вообще Володыевский возвращался домой вполне успокоенный. Степь также имела для него свою особенную прелесть и очарование. Маленький рыцарь, сам то-

¹¹ Стефан Баторий (1533–1586) – польский король и полководец, участник Ливонской войны 1558–83 гг.

го не сознавая, грустил по ней. Он привык к неизмеримому простору этих попей, где каждый казак чувствует себя птицей, а не человеком.

«Эх, – говорил он про себя, – поеду в эти безграничные степи, в эти станции и к могилам, опять окунуть в прежнюю жизнь, опять стану делать набег и, как журавль, бушуя весною в траве, оберегать границы. Да, поеду, непременно поеду».

И он пустил вскачь своего коня: ему хотелось опять испытать прежние ощущения и свист ветра в ушах.

Была сухая, морозная погода. Твердый снег покрывал землю и скрипел под ногами коня, который выбрасывал твердые комки снега из-под копыт. Володыевский так летел, что слуга его остался далеко позади.

День клонился к вечеру; заря светила еще на небе, бросая фиолетовую тень на снежное пространство. Первые мерцающие звезды и серебряный серп месяца появились на румянном небе. Рыцарь все летел по пустынной дороге, изредка перегоня какой-нибудь воз и, наконец завидев дом Кетлинга, приостановил коня, чтобы слуга догнал его.

Вдруг он увидел, что какая-то стройная женщина идет к нему навстречу. Это была Христина Дрогаевская.

Узнав ее, Володыевский спрыгнул с коня и отдал его слуге, а сам побежал ей навстречу; он был удивлен, но еще более обрадован, видя ее перед собою.

– Солдаты говорят, – начал он, – что на заре можно встре-

тить сверхъестественных существ, которые могут предвещать дурное или хорошее, но для меня не может быть большего счастья, как встреча с вами.

– Господин Нововейский приехал, – отвечала девушка, – и теперь занят с Басей и тетей, а я нарочно вышла к вам на встречу, потому что я ужасно беспокоилась о том, что вам скажет гетман.

Это чистосердечное признание тронуло маленького рыцаря.

– Неужели вы и впрямь так беспокоились обо мне? – спросил он, смотря ей в глаза.

– Да, – отвечала Христина.

Никогда еще она не казалась Володыевскому такой красивой, как в эту минуту, и он не спускал с нее глаз. Белый мех атласного капора окаймлял ее кроткое бледное личико, на котором при свете луны так ясно вырисовывались темные брови, опущенные вниз глаза, длинные ресницы и едва заметный пушок над губами. Лицо ее выражало спокойствие и доброту.

В эту минуту Володыевский понял, что значит «сердечный друг», и поэтому сказал:

– Если бы не было слуги, который едет за нами, то я тотчас бы, вот на этом снегу, стал на колени и поклонился вам в ноги от благодарности.

– Не говорите так, – отвечала она. – Я не стою поклонов, но в награду лучше скажите мне, что вы остаетесь с нами

и что я буду еще утешать вас!

– Нет, не останусь, – отвечал Володыевский.

Христина вдруг остановилась.

– Не может быть!

– По долгу службы я поеду на Русь, в дикие степи.

– Долг службы?.. – повторила Христина.

И, замолчав, торопливо пошла к дому. Несколько смущенный Володыевский шагал рядом с ней, и на душе у него было тяжело и глухо. Он хотел что-то сказать, вернуться к прежнему разговору, но это ему не удавалось.

Теперь-то и следовало, по его мнению, сказать Христине многое, так как они были одни и никто не мешал им.

«Лишь бы только начать, – думал он, – а там уже пойдет само собой.»

– А Нововойский давно приехал? – спросил он внезапно.

– Кажется, недавно. – отвечала Дрогаевская.

И разговор опять прервался.

«Нет, не с этого надо начинать, – подумал Володыевский, – так я никогда не скажу того, что хочу. Видно, горе лишило меня красноречия».

Он молча шел за Дрогаевской, и его усики все больше шевелились.

Перед самым домом он наконец остановился и выпалил:

– Я слишком долго ждал своего счастья, служа отечеству, так разве теперь я не могу принять вашего утешения?

Володыевскому казалось, что этот простой аргумент дол-

жен сразу подействовать на Христину, но она печально и кротко отвечала:

– Чем больше я узнаю вас, тем больше ценю и уважаю.

Сказав это, она вошла в дом. Еще в сенях слышались возгласы Езеровской, которая кричала: «Алла! Алла!»

Войдя в гостиную, они увидели Нововейского с завязанными глазами и вытянутыми руками, который старался поймать молодую девушку, но та пряталась во все углы, объявляя о своем присутствии возгласами «Алла!» Маковецкая разговаривала с Заглобой.

Игра эта была прервана приходом Христины и маленького рыцаря. Нововейский сбросил платок и побежал к ним навстречу, Заглоба, сестра рыцаря и запыхавшаяся Бася начали наперебой его расспрашивать.

– Ну что? Что сказал гетман?

– Если хотите, сестрица, послать письмо к мужу, то можете передать его через меня: я еду на Русь, – сказал Володыевский.

– Тебя уже посылают! О Господи!.. Зачем ты обременяешь себя такими поручениями? Не езд, – жалобно заговорила Маковецкая. – Ни минуточки отдохнуть не дали!

– Тебя в самом деле командировали на Русь? – спросил с грустью Заглоба. – Правду сказала пани Маковецкая, что тобой можно вертеть как угодно.

– Рушич едет в Крым, а я займу его место и буду командовать его отрядом, потому что весной наверняка зачернеют

дороги от татар, как говорил Нововейский.

– Неужели мы одни должны стеречь Речь Посполитую, как собаки стерегут двор своих господ от воров! – воскликнул Заглоба. – Многие не знают, с какой стороны стреляют из мушкета, а нам и отдохнуть некогда.

– Перестань! Не стоит об этом говорить! – отвечал Володыевский. – Служба прежде всего! Я дал гетману слово, что отправлюсь туда, и должен исполнить его раньше или позже...

При этом Володыевский приложил палец ко лбу и повторил тот же аргумент, которым думал убедить Христину.

– Видите ли, господа, я долго ждал своего счастья, потому что служил отечеству, и теперь могу ли я отказаться от этого счастья, которое испытываю, находясь с вами.

Никто не возражал, только одна Езеровская надула губки и сказала, как капризное дитя:

– Как жаль пана Володыевского!

Маленький рыцарь весело расхохотался.

– Ах, какая вы шутница! Ведь вы еще вчера сказали, что ненавидите меня, как дикого татарина!

– Ну, вот еще! Я вовсе и не думала говорить «как дикого татарина!» Вы будете там биться с татарами, а мы здесь – скучать.

– Успокойтесь, милый мальчик; извините, что я вас так называю, но словно это ужасно идет вам. Гетман обещал скоро вернуть меня оттуда. Через неделю или две я уеду,

а на элекцию непременно вернусь в Варшаву, потому что сам гетман так хочет, даже если Рущич не вернется из Крыма к маю месяцу.

– Ах, как это хорошо!

– Вероятно, и я поеду со своим полковником, – сказал Новейский, пристально глядя на Варвару.

– Без вас наберется достаточно, – возразила она. – Но, я думаю, приятно служить под начальством такого хорошего командира! Поезжайте, поезжайте!.. Пану Володыевскому будет веселее с вами.

Молодой человек вздохнул и провел широкой рукой по волосам, потом расставил руки, как бы играя в жмурки.

– Но прежде всего я поймаю вас, панна Варвара, ей-Богу, поймаю.

– Алла! Алла! – закричала Варвара, убегая.

В это время Дрогаевская подошла к маленькому рыцарю с отпечатком тихой радости на лице.

– Нехороший вы, право; для Баси вы лучше, чем для меня!

– Это я – нехороший? Я лучше для Баси? – спрашивал с удивлением рыцарь.

– Басе вы сказали, что вернетесь на элекцию, а мне нет. А я так опечалилась, что вы уезжаете.

– Ах, мое золот... – воскликнул Володыевский. Но тотчас же спохватился и прибавил:

– Дорогой мой друг! Я сказал вам так мало потому что

совсем потерял голову.

Глава IX

Володыевский понемногу собирался в путь; он не переставал давать уроки Езеровской, которую очень полюбил, и не оставлял прогулок с Христиной, ища утешения в ее словах. Казалось, что спокойствие начало возвращаться в его наболевшее сердце, и расположение духа делалось с каждым днем лучше. По вечерам он принимал иногда участие в играх Варвары с Нововейским. Этот молодой человек сделался постоянным гостем в доме Кетлинга. Обыкновенно он приезжал с утра или после обеда и просиживал до вечера, и так как все полюбили его, то скоро на него стали смотреть как на члена семьи. Он ездил с дамами в Варшаву, исполняя разные их поручения, а по вечерам играл с увлечением в жмурки, повторяя, что должен поймать ловкую девушку перед отъездом. Но Варвара всегда успевала увернуться, хоть Заглоба и говорил ей:

– Попадетесь в конце концов кому-нибудь. Не он, так другой поймает вас.

Было, однако же, очевидно, что именно этот молодой человек старался поймать ее. Даже девушка, казалось, догадывалась о том и иногда так задумывалась, что волосы ее совсем закрывали глаза. Заглобе не нравилось это ухаживание, и у него была на то особая причина. Однажды вечером, когда все разошлись, он постучался в комнату маленького рыцаря.

– Мне так жаль, что мы должны расстаться, и я пришел еще раз посмотреть на тебя. Бог весть, когда придется нам свидеться!

– Я непременно приеду сюда на элекцию. – отвечал Володыевский, обнимая Заглобу. – И вот почему: гетман хочет, чтобы мы набрали побольше голосов для его кандидата. И так как я, слава Богу, пользуюсь любовью шляхты, то гетман желает видеть меня здесь. Он также надеется и на вас.

– Ба! Задумал он ловить меня большим неводом, но я думаю, что, несмотря на свою толщину, проскользну как-нибудь сквозь отверстие этой сети. Я не стану держать сторону француза!

– Отчего же?

– Потому что это была бы абсолютная глупость.

– Конде, как и каждый другой, обязан присягнуть и охранять законы Речи Посполитой. А полководец он известный.

– Нам, слава Богу, незачем искать королей во Франции. У нас Собеский не хуже Конде. Заметь, Миша, что французы, как и шведы, носят чулки, а потому, верно, и те и другие не умеют сдержать присяги. Карл Густав готов был присягать каждую минуту. Для них это так легко, как орех раскусить. Но что в той присяге, когда нет чести!

– Надо же однако защитить Речь Посполитую! Вот если бы жил еще князь Иеремия Вишневецкий, то мы все единогласно избрали бы его и присягнули ему.

– А сын *его*, та же кровь?

– Да, но это уже не то! Жаль даже смотреть на него, он больше похож на простолюдина, чем на князя, особенно такой крови. В другое время, конечно, но не теперь, когда на первом плане должна быть польза для отечества. Скшетуский вам то же самое скажет. Во всяком случае, я буду делать то же, что гетман, потому что я верю, как в Евангелие, в его искреннюю привязанность к отечеству.

– Пора бы теперь подумать об этом, но нехорошо, что ты уезжаешь.

– А вы что будете делать?

– Я уеду к Скшетуским. Мне скучно, когда я долго не вижу их.

– Если после выборов будет война, то Скшетуский наверняка пойдет с нами. И вы, пожалуй, не выдержите. Может быть, придется воевать вместе на Руси. Много мы там всего перевидели.

– Правда! Ведь, ей-Богу, мы провели там лучшие годы своей жизни. Хотелось бы иногда взглянуть на те места, которые были свидетелями нашей славы.

– Так поезжайте теперь вместе со мной. Нам будет весело, а там через пять месяцев мы опять вернемся к Кетлингу, тогда и он приедет, и Скшетуские.

– Нет, Миша, я не поеду теперь, зато когда ты там женишься на богатой, то я обещаю поехать туда с тобой, чтоб водворить вас на новом местожительстве.

– Где мне думать о женитьбе; вы сами видите, что я иду

на войну.

– Вот это-то меня и убивает, потому что я все думал: не одна, так другая приглянется тебе. Миша, ради Бога, подумай о себе, где ты найдешь лучший случай, чем в настоящую минуту. Помни, что настанет время, когда ты скажешь: у всех есть жены, дети, а я, как пень, торчу один в поле. И скучно, и горько сделается тебе. Если б ты еще женился на Анусе и она оставила тебе детей, а то может случиться, что вокруг тебя не будет ни одной души, которая пожелала бы тебе добра, так что ты поневоле спросишь: не на чужбине ли я?

Володыевский молчал и думал, а Заглоба, глядя в лицо маленького рыцаря, продолжал:

– Сердце мое выбрало для тебя этого розового мальчика, потому что, во-первых, это золото, а не девушка; во-вторых, вы произвели бы таких здоровых солдат, каких свет не видал доньше.

– Это ветер!.. Впрочем, за ней уж Нововойский ухаживает.

– Вот то-то и есть! Теперь она согласилась бы выйти за тебя, потому ей лестно, что ты так знаменит, а потом, когда ты уедешь и он останется здесь, – а я знаю наверное, что он, шельма, останется, – совсем будет не то; он останется, потому что это еще не война, а Бог вещь что такое.

– Бася ветреница! И пускай она достанется Нововойскому!.. Это хороший малый.

– Миша! – сказал с мольбой Заглоба. – Подумай только,

какое бы вышло от вас поколение.

Маленький рыцарь ответил на это очень наивно.

– Я знал двух славных солдат Балло, которые родились от Дрогаевской.

– Гм! Я так и знал! Так вот куда ты речь повел? – крикнул Заглоба.

Володыевский чрезвычайно сконфузился, долго шевелил усиками, желая скрыть свое смущение, и наконец проговорил:

– Что вы говорите! Я так только вспомнил, потому что у Баси совсем солдатские замашки, и что у Христины больше женственности. Они всегда вместе, так что когда говоришь об одной, то другая невольно приходит на ум.

– Ну хорошо, хорошо! Дай вам Бог счастья с Христиной, хотя, ей-Богу, если бы я был молодым, то влюбился бы в Басю. В случае войны такую жену незачем оставлять дома; она всегда может быть с мужем. Она пригодится тебе и в палатке, а когда придет ей время, хотя бы во время битвы, то она будет стрелять хоть одной рукой. Зато какая она честная, добрая! Эх, мой милый мальчик! Не сумели тебя оценить, но если бы я был лет на шестьдесят моложе, то я бы знал, кто будет панна Заглоба.

– Я ведь не говорю, что Бася хуже Христины, и не отрицаю ее достоинств!

– Дело не в том, что ты отрицаешь или не отрицаешь ее достоинства, но в том, что ей нужен муж. Но ведь тебе нра-

вится Христина!

– Я считаю Христину другом.

– Другом, а не подругой? Разве только потому, что она с усами? Друзья твои – это я, Скшетуский и Кетлинг, но тебе нужны не друзья, а подруга, ты бы так и говорил сразу. Эй, берегись, Миша, друга-женщины, хотя бы и с усиками, потому что кто-нибудь из вас предаст другого. Дьявол всегда бодрствует в таких случаях и охотно готов помогать таким друзьям, – например, Адам и Ева до того подружились, что у Адама костью в горле стала эта дружба.

– Прошу вас не оскорблять Христину, потому что я этого не позволю.

– Бог с нею! Я всегда скажу, что она добрая девушка, но что мой мальчик не в пример лучше ее. Не в обиду будь ей сказано, что когда ты сидишь с ней рядом, то и щеки-то у тебя горят, как в огне, и усики шевелятся, и чуб топорщится, и солишь ты, и переминаешься, и топчешься, как лесной голубь, а все это признак страсти. Говори кому хочешь о дружбе, а меня, старого воробья, не проведешь.

– Да, именно старого, потому что вы видите даже то, чего нет.

– Дай-то Господи, чтобы я ошибся! Чтобы он увлекся моим мальчиком!.. Спокойной ночи, Миша. Бери мальчика, он лучше! Бери, бери его! – С этими словами Заглоба встал и ушел из комнаты.

Володыевский метался всю ночь, не будучи в состоянии

уснуть от беспокойных дум. Казалось, он смотрел в глаза Дрогаевской с длинными ресницами и видел темный пушок на ее губах. Подчас его одолевала дремота, но видение не исчезало. Проснувшись, он думал о словах Заглобы и о том, как он ловко умел все подметить. То мелькало ему в полусне румяное личико Баси, и он успокаивался, но вдруг, на смену Басе, являлась Христина, и наш бедный рыцарь поворачивался к стене; там он видел ее глаза, поворачивался на другую сторону и опять видел ее глаза, томные и как бы ободряющие его; по временам они закрывались, как бы говоря: «Пусть будет по-твоему!» При этом Володыевский даже садился на кровати и набожно крестился.

К утру он совсем выбился из сна; ему сделалось тяжело, досадно и даже стыдно: он стал себя упрекать в том, что видит не ту, горячо любимую покойницу, но думает и видит только эту, другую. Он воздерживался от этих, по его мнению, преступных мыслей и, вскочив с постели, стал читать утренние молитвы, хотя было еще темно.

Кончив молитву, он приложил палец ко лбу и про себя сказал: «Надо уезжать поскорее отсюда и подавить в себе эти дружеские порывы, а то Заглоба, пожалуй, окажется прав...»

Успокоенный этими мыслями, Володыевский явился к завтраку. После завтрака он фехтовал с Варварой и в первый раз заметил, что она была поразительно хороша с этими раздутыми ноздрями и волнующейся грудью. Маленький рыцарь старался избегать Христины, которая, заметив

это, следила за ним широко раскрытыми от удивления глазами. Но он избегал даже ее взгляда и выдерживал до конца, несмотря на то, что сердце его разрывалось надвое.

После обеда Володыевский отправился с Варварой в кладовую Кетлинга, где был еще склад оружия; там он показывал молодой девушке оружие и объяснял способ его употребления; потом они стреляли в цель из астраханских луков.

Довольная и счастливая этим, девушка разошлась донельзя, так что Маковецкой пришлось унимать ее.

Так прошел день, второй, а на третий маленький рыцарь с Заглобой отправились в Варшаву, чтобы узнать во дворце Даниловича о том, когда придется ехать на Русь. Вечером Володыевский объявил дамам, что через неделю он уезжает.

Он старался говорить об этом небрежно и весело, причем посмотрел даже на Христину.

Молодая девушка обеспокоилась этим и попробовала было расспрашивать его о разных вещах; Володыевский отвечал вежливо и дружелюбно на все ее вопросы, но не отходил от Варвары.

Заглоба потирал от удовольствия руки, думая, что это последствие его советов. Но так как ничто не могло от него укрыться, то он заметил и печаль Христины.

«Обеспокоилась, бедная, обеспокоилась, – думал он. – Досадно ей, как видно! Ну, ничего! Это всегда так у женщин. Ну, молодец Миша: я и не думал, что он так скоро обратится на путь истинный. Это добрый малый, только ужасно непо-

стоянен в любви, да и останется таким всегда!»

Но Заглоба был очень добр, и поэтому ему тотчас же сделалось жаль Христину.

«Прямо-то я ей ничего не скажу, – подумал он, – а придумаю какое-нибудь утешение». И, пользуясь правом седовла- сого старца, он подошел к ней после ужина и стал гладить ее по черным шелковистым волосам. Девушка сидела тихо, изредка приподнимая на него свои кроткие, благородные глаза и немного удивляясь такой неожиданной нежности.

Вечером, у дверей комнаты Володыевского, Заглоба толкнул его в бок.

– А что? – сказал он. – Ведь мальчик лучше?

– Милый ребенок! – отвечал Володыевский. – Она одна наделает в комнатах больше шума, чем четыре солдата; настоящий барабанщик!

– Барабанщик? Дай-то Господи, чтобы она поскорее ходила с твоим барабаном!

– Спокойной ночи!

– Спокойной ночи! Странные эти женщины! Ты не заметил, как Христина огорчилась, что ты больше занялся Басей?

– Нет... я не обратил внимания! – отвечал маленький рыцарь.

– Как будто кто ее с ног сбил!

– Спокойной вам ночи! – повторил Володыевский и быстро ушел в свою комнату.

Как ни был ветрен маленький рыцарь в глазах Заглобы,

однако последний сделал неловкий промах, говоря ему о беспокойстве Христины: это до того взволновало Володыевского, что речь его так и остановилась в гудии.

«Так вот как я ее благодарю за доброту и сочувствие! – рассуждал он сам с собою. – Ба! Да что же я сделал ей худого! Что? Я три дня не обращал на нее внимания, а это было даже невежливо! Я пренебрег милой девушкой, любимым существом! И это за то, что она хотела лечить мои душевные раны!.. Скверно же я отблагодарил. Ах, если бы я мог удержаться от нашей опасной дружбы и не выказывать ей пренебрежения, но, как видно, я неспособен на такую политику.»

Володыевский был зол на себя, и вместе с тем ему сделалось жаль девушку, о которой он невольно думал как о любимом и обиженном существе. Досада против самого себя росла в нем каждую минуту.

«Я варвар и больше ничего!» – повторил он.

И образ Христины вытеснил мысль о Варваре. «Нет, пусть кто хочет женится на этой ветренице, трещотке, болтушке, – говорил он себе, – мне все равно, будь это Нововейский или сам дьявол».

Он злился и досадовал на бедную Басю, но ни разу не подумал, что может обидеть ее больше своим гневом, чем Христину напускным равнодушием.

Женский инстинкт подсказал Христине, что с Володыевский совершается какой-то переворот. Ей было отчасти досадно и горько, что маленький рыцарь старался избегать ее,

но она чувствовала, что должно что-то совершиться, после чего они не будут дружить по-прежнему, но гораздо больше или совсем перестанут.

Ею овладевало беспокойство, когда она думала о скором отъезде Володыевского. Христина еще не чувствовала сознательной любви, но в сердце ее и в крови была полная готовность любить.

Очень возможно, что ее опьяняла слава Володыевского как первого воина в Речи Посполитой. Все рыцари вспоминали с почтением его имя; сестра превозносила его честность до небес; его несчастье придавало ему особую прелесть, и вдобавок, живя с ним под одной кровлей, девушка привыкла к его маленькой фигурке.

Христине нравилось, чтобы ее любили, и поэтому равнодушие Володыевского в последние дни страшно ее огорчало. Природная доброта девушки не позволяла ей обнаруживать ни нетерпения, ни досады, и она решила покорить рыцаря своей добротой.

План ее удался как нельзя лучше, потому что на следующий день Володыевский казался смущенным и не только не избегал взгляда Христины, но даже смотрел ей в глаза, как бы говоря: «Извини, что я вчера пренебрегал тобою».

Взгляд рыцаря был до того выразителен, что кровь приливала к лицу молодой девушки, и она сильнее беспокоилась, предчувствуя: скоро должно совершиться что-то важное. Так и случилось. После обеда Езеровская и Маковец-

кая поехали к ее родственнице, жене львовского подкомория, которая гостила в Варшаве, Христина же притворилась больной; она хотела узнать, что скажет ей Володыевский, когда останется с нею наедине.

Заглоба тоже остался и пошел по обыкновению вздремнуть часа на два после обеда. Он утверждал, что этот отдых придает ему бодрости и остроумия, и потому, побалагурив еще часик, он ушел в свою комнату. Сердце Христины сильно забилося.

Но каково же было ее разочарование, когда она увидела, что Володыевский тоже встал и ушел за Заглобой.

«Сейчас придет», – подумала Христина. И, взяв пяльцы, стала вышивать золотом доньшко для шапки, которую она хотела приподнести Володыевскому перед отъездом.

Она смотрела поминутно на данцигские часы, стоявшие в углу гостиной. Прошел час, другой, а Володыевский не показывался.

Девушка перестала вышивать, скрестила на пяльцах руки, и сказала вполголоса:

– Он боится, но пока он осмелится, наши могут приехать, и мы ничего не скажем друг другу, к тому же и Заглоба может проснуться.

В эту минуту ей казалось, что им в самом деле надо поговорить о важном деле, чего они не успеют сделать из-за медлительности Володыевского.

Наконец в соседней комнате слышались его шаги.

– Он не решается войти, – подумала молодая девушка и усердно принялась вышивать.

Володыевский действительно не решался войти и ходил по комнате. День уже близился к вечеру, и солнце делалось красным.

– Пане Володыевский! – позвала вдруг Христина.

Он вошел и застал ее за шитьем.

– Вы меня звали?

– Я хотела убедиться, нет ли здесь кого чужого. Я часа два сижу здесь одна.

Володыевский придвинул стул и сел на самом краю.

Долго сидели они; маленький рыцарь молчал, шаркал ногами, стараясь задвинуть их подальше под стул, и шевелил усиками.

Христина перестала шить и взглянула на него; взоры их встретились, и они вдруг оба смутились и опустили глаза.

Когда Володыевский поднял их снова, то лицо Христины, освещенное последними лучами солнца, было прекрасно, а волосы в изгибах блестели, как золото.

– Вы уезжаете через два дня, – сказала она так тихо, что Володыевский насилу расслышал ее слова.

– Нельзя иначе!

Они опять замолчали, потом Христина продолжала:

– Мне показалось, что вы в последнее время сердитесь на меня.

– Бог с вами! – вскричал Володыевский, – Если б я сер-

дился, то не смел бы взглянуть на вас, но дело не в том.

– А в чем? – спросила Христина, подняв на него глаза.

– Скажу вам откровенно, а я думаю, что откровенность лучше притворства, но. но я не могу высказать, как приятно и отраднo мне было с вами и как я в душе был вам благодарен!

– Ах, если бы так было всегда! – отвечала Христина, сложив на пальцах руки.

– Да, если бы всегда так было, – с грустью отвечал Володыевский. – Но Заглоба сказал мне (сознаюсь вам, как на исповеди). Заглоба сказал, что дружба с женщиной очень опасная вещь, и подобно тому, как огонь может скрываться в золе, так другое чувство может скрываться под видом дружбы. Тогда я подумал, что Заглоба, пожалуй, совершенно прав, и – простите мне, простому солдату, – другой бы поступил как-нибудь поделикатнее, а я... у меня сердце обливается кровью, когда подумаю, как я поступал с вами в последние дни... я и сам не рад этому...

Сказав это, Володыевский быстро зашевелил усиками.

Христина свесила голову, и две слезинки показались на ее ресницах.

– Если вам будет легче, когда я не буду обнаруживать своих братских чувств, то я постараюсь скрыть их.

И вторая пара слез, а за нею и третья, повисли на щеках. Этого уж Володыевский не мог вынести: сердце его разрывалось, он бросился к Христине и схватил ее руки. Вышивание

полетело, но рыцарь, не обращая ни на что внимания, начал целовать ей пальцы.

– Не плачьте! Ради Бога, не плачьте! – говорил он, не переставая покрывать поцелуями ее руки даже тогда, когда она забросила их за голову, как это обыкновенно делают люди, находящиеся в глубоком горе; напротив, он целовал их еще горячее, пока жар от лба и волос не опьянил его до одурения.

Наконец, он сам не знал, как и когда, губы его коснулись ее лба и стали целовать его, потом – ее заплаканных глазок, отчего у него все вдруг завертелось в голове; вслед за тем он почувствовал нежный пушок ее губ, и уста их невольно слились в продолжительном поцелуе. В комнате было совсем тихо, только один маятник гданьских часов монотонно стучал, напоминая им о существовании времени.

Вдруг в передней раздалось топанье ног и детский голосок Варвары, которая повторяла;

– Мороз! Мороз! Мороз!

Володыевский отскочил от Христины, как испуганная рысь от своей жертвы, но в эту же минуту влетела Бася, повторяя:

– Мороз! Мороз! Мороз!

Вдруг она споткнулась о пяльцы Христины, лежавшие на середине комнаты, и, остановившись, посмотрела с удивлением на Христину и на маленького рыцаря.

– Что это? Никак вы бросали друг в друга этими пяльцами!

– А где же тетя? – спросила Дрогаевская, стараясь говорить как можно спокойнее и натуральнее.

– Тетя потихоньку вылезает из саней, – отвечала неестественным тоном Варвара.

И ее подвижные ноздри задвигались. Она еще раз взглянула на Христину и на Володыевского, который поднимал в это время пядьцы, и быстро вышла из комнаты. Но в ту же минуту ввалилась в комнату Маковецкая, а за нею Заглоба, который явился сверху, и начался разговор о жене львовского подкомория.

– Я не знал, что она крестная мать Нововойского, – сказала Маковецкая. – Он, вероятно, признался ей в своих чувствах, потому что она страшно преследовала им Басю.

– А что же Бася? – спросил Заглоба.

– Бася хоть бы что! Говорит: «У него нет усов, а у меня нет ума, так что неизвестно, кто чего раньше дождется».

– Я знаю, что она всегда найдется, но кто разгадает, что она думает на самом деле. Все это женские хитрости!

– У Баси что на уме, то и на языке. Впрочем, я вам уже говорила, что она еще не чувствует надобности выходить замуж... Вот Христина, та больше.

– Тетушка! – взмолилась Христина. Разговор их прервал слуга, который оповестил присутствовавших, что ужин уже подан. Все отправились в столовую, только не было Варвары.

– Где же барышня? – спросила Маковецкая у слуги.

– Барышня в конюшне. Я им докладывал, что ужин подан,

а они сказали «хорошо» и ушли в конюшню.

– Неужели случилось с нею какая-нибудь неприятность? Она была так весела! – сказала Маковецкая, обращаясь к Заглобе.

Вдруг маленький рыцарь, у которого совесть была не совсем чиста, беспокойно сказал:

– Я сбегая за ней!

Он побежал и нашел ее за дверью конюшни, сидящую на вязанке сена. Девушка так задумалась, что даже не заметила, кто вошел.

– Панна Варвара! – сказал маленький рыцарь, наклоняясь над нею.

Варвара вздрогнула, как бы проснувшись от сна, и подняла на него глаза, в которых Володыевский, к величайшему удивлению, заметил две крупные слезы.

– Боже мой! Что с вами? Вы плачете?

– И не думаю! – воскликнула она, вскочив. – И не думаю даже! Это от мороза.

И она засмеялась весело, хотя несколько принужденно. Потом, желая отвлечь от себя внимание, она указала на клетку, в которой стоял подаренный гетманом жеребец Володыевского, и поспешно проговорила:

– Вы говорили, что нельзя войти к этой лошади? А вот посмотрим! – И не успел Володыевский удержать ее, как она уже была в клетке. Дикая лошадь присел и начал топтать и прижимать уши.

– Он убить вас может! – крикнул Володыевский и вошел за нею.

Но Езеровская уже трепала рукою по шее коня, повторяя:

– Пусть убьет, пусть убьет, пусть убьет!

А конь обернулся к ней мордой и тихо заржал, довольный лаской девушки.

Глава X

Ни одна ночь не была такой беспокойной, как та, которую провел Володыевский после всего случившегося с Христиной. Он сознавал, что грешит против памяти дорогой покойницы, что злоупотребляет доверием и дружбой другой девушки, что у него есть другие обязанности, и вообще он чувствовал, что поступает бесчестно. Другой солдат на его месте не придавал бы такого значения одному поцелую и при одном воспоминании об этом с гордостью покручивал бы только усы, но Володыевский был очень мнителен, особенно после смерти Ануси Красненской, так как сердце и душа его были истерзаны. Что же ему оставалось делать и как поступить?

До отъезда оставалось только несколько дней, и все кончится само собою. Но хорошо ли уехать, не сказав ни слова Христине, и оставить ее, как простую горничную, у которой он украл поцелуй? Мужественное сердце маленького рыцаря трепетало при этой мысли. Но при одном воспоминании о Христине и ее поцелуе приятная дрожь пробирала его, даже и в минуты такой душевной тревоги. Он злился на самого себя, но не мог избавиться от чувства удовольствия. Впрочем, он всю вину взваливал на себя.

– Я сам довел ее до этого, – горько упрекал он себя. – А раз уж довел, значит, не следует уезжать, не переговорив с нею.

Как же быть? Разве сделать Христине предложение и уехать уже женихом?

В эту минуту Володыевскому показалась белая фигура Ануси Борзобогатой с бледным, как бы восковым лицом, какое у нее было во время похорон.

– Так вот как ты жалеешь и тоскуешь обо мне, – как будто говорила она. – Сначала ты хотел сделаться монахом и всю жизнь оплакивать меня, а теперь ты думаешь жениться на другой прежде, чем душа моя успела долететь до неба. Ах! Подожди немного: дай успокоиться моей душе, дай уйти ей в высоту, и *тогда* я перестану смотреть на эту землю...

И рыцарю казалось, что он нарушает присягу, данную этому невинному существу, память о котором он, как святыню, обязан был почитать. Он стыдился, презирал себя и хотел умереть.

– Ануся! – повторял он на коленях – Я не перестану плакать о тебе до смерти, но что же мне теперь делать?

Белый призрак ничего не отвечал и рассеивался, как туман, а вместо Ануси ему чудились глаза Христины и покрытые пушком ее губы, а с ними являлся и тот соблазн, от которого бедный солдат отбивался, как от татарских стрел.

Так колебался маленький рыцарь, мучимый сомнением, огорчением и тоскою с обеих сторон. Ему хотелось пойти к Заглобе, высказать все ему и просить совета. Он знал, что этот умный человек умел найти выход в самых затруднительных случаях. Не он ли предугадал и сказал заранее,

что может выйти из женской дружбы.

Именно эта мысль удерживала Володыевского. Он вспомнил свои дерзкие слова Заглобе: «Прошу вас не оскорблять Христину!» А кто же теперь оскорбил ее? Кто думает о том, не лучше ли оставить ее, как горничную, и уехать?

– Я не стал бы думать ни минуты, если бы не та бедняжка, – сказал про себя маленький рыцарь. – И с какой бы стати я стал мучить себя! Напротив, я был бы рад отведать это лакомое блюдо!

Он замолчал и потом прибавил:

– Да я бы сто раз готов испробовать его.

Видя, что он снова поддается искушению, Володыевский отбросил эти мысли и стал рассуждать иначе.

– Конечно! Если я поступил с нею, как человек, ищущий не дружбы, а удовлетворения страсти, то мне остается только продолжать и завтра же сказать Христине, что я желаю иметь ее своей женой.

Он опять замолчал и затем так продолжал:

– После этого предложения мое сегодняшнее свободное обращение не будет казаться таким неловким, а завтра я смогу опять себе позволить.

Но он вдруг прервал себя, закрыв рукою рот.

– Тьфу! – сказал он. – Видно, у меня за воротником сидит целый полк чертей.

Мысль о предложении не покидала Володыевского, он размышлял так. если уж придется оскорбить память по-

койницы, то он может заслужить ее прощение молитвами и панихидами и этим же доказать, что всегда помнит ее и беспокоится о ней. А если люди будут удивляться и подсмеиваться над ним за то, что он две недели тому назад до того грустил по покойнице, что хотел постричься в монахи, а теперь женится на другой, то ведь стыдно будет только ему, а иначе придется краснеть за него Христине.

– В таком случае, я завтра же сделаю ей предложение, – сказал он наконец и, значительно успокоенный, помолился Богу за усопшую душу Ануси Красненской и уснул.

Проснувшись на следующий день, он повторил:

– Сегодня сделаю ей предложение.

Однако это было не так легко исполнить, потому что Володьевскому хотелось поговорить раньше с Христиной, а потом объявить всем, если окажется нужным. Но еще с утра приехал Нововейский, и некуда было укрыться от него.

Христина ходила весь день, как убитая, бледная, усталая; она каждую минуту опускала глаза, то краснея до ушей, то как бы плача и шевеля губами, то опять делалась сонной и слабой.

Ввиду всего этого маленькому рыцарю неловко было остаться с нею наедине; даже подойти к ней не было возможности. Положим, он мог ее вызвать на прогулку, так как погода была прекрасная, но раньше это можно было сделать просто, а теперь, теперь он не мог ему казаться, что все сейчас же догадаются и узнают о его предложении.

К счастью, его выручил Нововейский, который, поговорив о чем-то в сторонке с Маковецкой, вернулся с нею в комнату, где сидел маленький рыцарь с молодыми девушками и Заглобой.

– Что вы сидите дома, – сказала Маковецкая. – Покатались бы парами. Дорога славная, а снег так и блестит.

При этом Володыевский живо нагнулся к уху Христины и сказал;

– Поедем. Вы сядете со мной. Мне нужно с вами поговорить о многом.

– Хорошо, – отвечала Дрогаевская.

Потом они побежали с Нововейским и Варварой в конюшню, и через несколько минут двое саней были уже поданы к крыльцу. В одни сел Володыевский с Христиной, а в другие Нововейский и Езеровская, и отправились без кучера.

По отъезде молодых людей Маковецкая сказала Заглобе:

– Завтра крестная мать Нововейского, жена львовского подкомория, хочет приехать ко мне, чтобы переговорить насчет Баси, и поэтому Нововейский просил меня позволить ему хоть намеком сказать о себе Басе, чтобы узнать, как она к этому отнесется.

– И потому-то вы их отправили кататься?

– Да! Мой муж очень деликатен на этот счет и несколько раз говорил мне: «Я опекун только их имущества; что касается их самих, то пусть каждая выбирает себе мужа по своему усмотрению, я не стану препятствовать им, даже если

окажется неравенство брака, только бы человек был порядочный». Впрочем, каждая из них в таком возрасте, что может сама решать свою судьбу.

– А что же вы намерены сказать жене львовского подкомория?

– Я предоставлю это моему мужу, который приедет в мае; но я думаю, что лучше всего сделать так, как Бася захочет.

– Нововейский так молод!

– Но ведь сам Володыевский говорил, что он хороший солдат и уже прославился своими военными подвигами. Состояние у него тоже приличное, а *все* родство его мне перечислила жена подкомория. Это, видите ли, так было: прадед его, рожденный от княжны Сенютович, был первый раз женат на...

– Что мне за дело до его родства, – прервал ее Заглоба, не скрывая досады, – он мне ни брат, ни сват, только я этого «мальчика» выбрал для Миши, потому что едва ли найдется на свете девушка лучше и честнее ее из числа двуногих существ, и если я ошибаюсь, то пусть лучше я с этой минуты стану ходить на четырех, как медведь.

– Володыевский еще ни о чем не думает, а если и думает, то скорее о Христине. Ну, да это в Божей воле.

– Я напыюсь от радости, если этот безусый юноша получит отказ! – прибавил Заглоба.

Между тем в санях решалась судьба обоих рыцарей. Володыевский долго не мог заговорить, но наконец собрался

с духом и сказал Христине.

– Не думайте, ради Бога, что я легкомысленный и пустой человек. Ведь уж и лета мои не такие.

Христина ничего не отвечала.

– Простите мне, пожалуйста, мое вчерашнее поведение, я поступил так, не будучи в состоянии удержать моих чувств к вам... Но, милая, дорогая моя, примите во внимание, что я простой солдат, который провел всю свою жизнь на войне. Другой сначала объяснился бы в любви, а потом уже так поступал, но я поступил наоборот. Заметьте, что подчас даже хорошо объезженный конь, закусив удила, разносит седока, что же сказать о любви? Только любовь моя к вам заставила меня забытья. О, дорогая Христина! Вы достойны руки каштеляна, сенатора, но если вы не побрезгаете солдатом, служившим не без славы отечеству, то я готов упасть перед вами на колени, целовать ваши ноги, чтоб вымолить ответ хотите ли вы быть моей женою?.. Можете ли вы подумать обо мне без отвращения?

– Ах, Миша!.. – воскликнула Христина.

И руки ее, выскользнув из муфточки, очутились в руках рыцаря.

– Вы согласны? – спросил маленький рыцарь.

– Да! – отвечала Христина. – Я знаю, что благороднее вас человека нет во всей Польше.

– Да благословит вас Бог, милая Христина! – сказал рыцарь, покрывая ее руку поцелуями. – Большого счастья я

и не мог ожидать! Успокойте же меня, и скажите, что вы не сердитесь на меня за вчерашнее.

Христина прищурилась.

– Нет, не сержусь! – отвечала она.

– Жаль, что в санях мне неудобно поцеловать ваши ноги! – воскликнул Володыевский.

Несколько времени они ехали молча, только полозья саней поскрипывали по снегу, да стучали об сани комки снега, вырывавшиеся из-под копыт лошадей.

Володыевский первый заговорил.

– Мне даже странно, что вы любите меня.

– А меня гораздо больше удивляет то, что вы так скоро полюбили меня, – отвечала Христина.

При этом лицо маленького рыцаря приняло серьезное выражение.

– Послушайте, Христя! Быть может, и вы порицаете меня за то, что я полюбил вас, не успев оправиться от горя; но признаюсь вам, как на исповеди, что в свое время я был довольно легкомыслен, но теперь совсем не то. Я не забыл о той бедняжке и никогда не забуду; я всегда люблю ее, и если бы вы знали, как я грущу и плачу о ней, то вы бы сами заплакали со мною...

При этом голос Володыевского дрогнул, до того он был взволнован. Они замолкли опять на время, но на это раз Христина отозвалась первой.

– Я постараюсь насколько возможно утешить вас.

– Потому-то я и полюбил вас так скоро, – возразил маленький рыцарь, – что вы в первый же день стали лечить мои душевные раны. Я был для вас посторонним человеком, между тем вы близко приняли к сердцу мое горе. И если бы вы знали, как я вам благодарен за это! Кто не знает всего этого, тот готов смеяться надо мною, что я в ноябре месяце хотел постричься в монахи, а в декабре собираюсь жениться. Заглоба первый готов посмеяться над этим, потому что он рад придраться ко всякому случаю, но пускай себе смеется на здоровье! Мне все равно, тем более что не над вами, а надо мною будут смеяться.

Христина задумалась, потом посмотрела на небо и наконец сказала;

– Разве необходимо говорить всем о нашей помолвке?

– А как же иначе?

– Ведь вы уезжаете через два дня?

– Я сам не рад этому, но должен.

– Я тоже ношу траур по отцу, и поэтому ни к чему удивлять людей. Пусть наша помолвка останется втайне для всех, пока вы не вернетесь из Руси. Хорошо?

– Вы не хотите даже, чтобы я сказал сестре?

– Я сама ей скажу, когда вы уедете.

– А Заглоба?

– Заглоба употребил бы свое остроумие надо мною... Нет, лучше всего не говорить ничего! Бася тоже станет издеваться... Она сделалась такая странная в последнее время.

Ах, нет, лучше не будем говорить никому.

При этом Христина подняла вверх свои синие глаза.

– Пусть Бог будет нам свидетелем, а люди останутся в неведении.

– Я вижу, что вы одарены умом и красотой в равной степени. Хорошо! Пусть только Бог будет нашим свидетелем – аминь! Обопритесь же вашим плечиком на мое плечо, не стесняйтесь, раз мы считаемся женихом и невестой. Не бойтесь! Я не могу повторить вчерашнего, потому что должен править лошадьми.

Христина исполнила желание рыцаря, между тем как он продолжал:

– Называйте меня по имени, когда мы одни.

– Мне как-то совестно, – отвечала она улыбаясь. – И я никак не осмелюсь!

– А я уже осмелился.

– Потому что вы рыцарь, вы храбрый, вы солдат.

– Христя! Дорогая ты моя!

– Миш...

Но Христина не кончила и закрыла лицо рукавом.

Немного спустя, Володыевский поворотил лошадей домой; они уже мало говорили, и только, подъезжая к воротам, маленький рыцарь спросил еще раз:

– А после вчерашнего, грустно тебе было?

– Да, и стыдно, и грустно, но... хорошо! – прибавила она тихо. Они старались казаться равнодушными, чтобы никто

не догадался о происшедшем.

Но это было совершенно напрасно, потому что никто не обращал на них внимания. Хотя Заглоба с Маковецкой и выбежали в сени им навстречу, однако глаза их были обращены на Варвару и на Нововейского.

Варвара вся покраснелась от мороза, а быть может, и от волнения, неизвестно, между тем как Нововейский приехал словно в воду опущенный. Тут же в сенях он стал прощаться с Маковецкой. Напрасно она и Володыевский, который был в превосходном настроении, упрашивали его остаться на ужин, но он отказался и уехал.

Тогда Маковецкая, не говоря ни слова, поцеловала Варвару в лоб, но последняя помчалась в свою комнату и вышла только к ужину.

На следующий день Заглоба, встретив ее одну, спросил:

– Что это с Нововейским сделалось, милый мальчик?

– А-а! – отвечала она, кивая головой и моргая глазами.

– Скажите, что вы ему ответили?

– Какой вопрос, такой и ответ, он человек быстрый и решительный, ну да и я тоже не уступлю ему и поэтому ответила: нет!

– И прекрасно сделали! Позвольте обнять вас за это! Что же он? Так и не настаивал?

– Он спрашивал, может ли он надеяться. Мне было очень жаль, но нет, нет, ничего не может выйти из этого.

При этом Варвара раздула ноздри и в задумчивости

встряхнула потихоньку волосами.

– Скажите же мне ваши основания.

– Он тоже хотел знать их, но напрасно; я не сказала ему и никому не скажу.

– А может быть, вы скрываете в сердце своем какое-нибудь тайное чувство? – спросил Заглоба, пристально смотря ей в глаза.

– Какое там чувство; кукиш, а не чувство! – воскликнула Бася. И вскочила, как бы стараясь скрыть свое смущение.

– Не хочу я Нововейского, не хочу Нововейского, – повторяла она, – и никого не хочу! Что вы ко мне пристаёте? Отчего все пристаёт ко мне?.. – И она неожиданно расплакалась. Заглоба старался утешить ее по возможности, но она целый день скучала и злилась.

– Ты уезжаешь, Миша, – сказал за обедом Заглоба, – и к нам приедет Кетлинг, а он ведь красавец, каких мало! Не знаю, как наши барышни будут себя вести, но думаю, что они обе влюбятся в него по уши до твоего возвращения.

– Ну, ничего, – отвечал Володыевский. – Мы ему сейчас панну Варвару посватаем.

Варвара, как рысь, вперила в него свои глаза.

– А отчего же вы меньше беспокоитесь о Христине? Слова эти смутили маленького рыцаря, и он отвечал:

– Вы еще не знаете Кетлинга, а вот когда увидите, то не устоите против его обаяния.

– А отчего же Христина устоит?.. Ведь я не пою:

«То уж девице,
Как вольной птице,
Бог и подавно велел любить».

Тут пришла очередь смутиться Христине; между тем маленькая ехидна продолжала:

– В конце концов я попрошу Нововейского одолжить мне свою броню, когда вы уедете, но я, право, не знаю, чем Христина будет защищаться в случае опасности.

Но Володыевский уже опомнился и несколько строго сказал:

– Сумеет она защитить себя получше вас.

– Каким образом?

– Она не ветрена, постояннее и рассудительнее вас.

Заглоба и Маковецкая ожидали, что вспыльчивая Бася сейчас станет ссориться, но, к величайшему их удивлению, она опустила вниз голову и через несколько минут тихо проговорила:

– Если вы сердитесь, то прошу вас и Христа извинить меня...

Глава XI

Володыевскому разрешено было ехать по какому угодно пути, и поэтому он поехал на Ченстохов, с тем чтобы посетить могилу Ануси. Наплакавшись вдоволь, он отправился дальше, но под впечатлением проснувшихся воспоминаний ему казался преждевременным тайный сговор с Христиной. Он чувствовал, что скорбь и траур, который он носил, имеют в себе что-то священное, неприкосновенное, к чему нельзя прикасаться до тех пор, пока оно само собой, подобно туману, не развеется по неизмеримому пространству. Правда, что некоторые женщины спустя месяц или два после овдовения выходили замуж, но они не поступали с отчаяния в монастырь и не были на пороге к счастью, которого ждали целые годы. Наконец, хорошо ли подражать тем, которые не почитали священную скорбь?

Так ехал Володыевский на Русь и мучился угрызениями совести, которые следовали за ним, как неизменные спутники. Он был, однако, справедлив и считал виновным только себя одного, а не Христину, и даже беспокоился, что девушка будет в глубине души порицать его за эту поспешность.

– Сама она не поступила бы так, – рассуждал Володыевский, – и, имея возвышенные чувства, она поневоле должна быть требовательна к другим.

И он боялся, что не угодил ей.

Но это был ложный страх Христина не обращала внимания на траур Володыевского, и разговор о нем не только не пробуждал в ней сострадания, но, напротив, дразнил ее самолюбие. Неужели она, живая, была хуже той, умершей? Или вообще она так мало стоила, что Ануся могла быть ее счастливой соперницей? Если б Заглоба был посвящен в эту тайну, то он наверное успокоил бы Володыевского тем, что женщины не слишком сострадательны друг к другу.

После отъезда Володыевского Христина недоумевала, неужели все уже было кончено. Собираясь в Варшаву в первый раз в жизни, она воображала себе все иначе. На конвокационный сейм съедутся отовсюду епископы и сановники со своими придворными, а также знаменитые рыцари. Сколько будет веселья, шума и блеска! И вдруг, среди этой суеты и сонма рыцарей, явится «он», какой-нибудь незнакомый рыцарь, каких девушки видят только во сне; внезапно восплает он любовью к ней, станет играть на цитре серенады под ее окнами, будет устраивать прогулки на лошадях, и долго так будет он любить и вздыхать, долго будет носить на сабле ленту своей возлюбленной, пока наконец, после долгих страданий и многих препятствий, не упадет к ее ногам и не услышит, что он любим взаимно.

И вдруг ничего подобного не случилось. Розовые мечты поблекли и разрушились; перед ней действительно явился рыцарь, не какой-нибудь, но прославившийся своим мужеством и победами во всей Речи Посполитой, но как же он

был далек от «того» рыцаря! Ничего не было, ни кавалькад, ни игры на цитре, ни турниров, ни состязаний, ни лент на оружии, ни сонма рыцарей, ни увеселений – ничего того, что, как майский сон, как чудная интересная сказка, могло бы заинтересовать ее, чем она могла бы насладиться, как запахом цветов, что могло бы ее увлечь, как песнь соловья; ничего такого, от чего бьется сердце, пылает лицо и трепет пробегает по телу.

Был только загородный дом, а в доме том Володыевский, а потом объяснение в любви – и все! Остальное пропало, исчезло, как исчезает луна, когда набегут на нее тучи. Если бы этот Володыевский явился в конце сказки, то было бы лучше. Часто Христина раздумывала о его славе, о честности и мужестве, которое страшило неприятеля и прославляло его имя, она чувствовала, что любит его, но все-таки считала себя лишенной чего-то и как бы обиженной отчасти быстротою всего случившегося.

Таким образом эта поспешность была как бы камнем преткновения, который упал обоим на сердце, и так как они удалялись друг от друга, то этот камень несколько беспокоил их. Очень часто в человеческом чувстве зарождается маленькая колючка, которая беспокоит его; иногда она не чувствуется, а иногда до того раздражает, что наполняет все существо какою-то болью и горечью и отравляет любовь. Но им еще далеко было до этого. Особенно приятно и отрадно было Володыевскому вспоминать о Христине, и мысль о ней следо-

вала, как тень, за маленьким рыцарем. Он думал, что по мере того, как он будет удаляться от своей невесты, последняя будет казаться ему милее, и он еще больше станет вздыхать и печалиться. Христине было гораздо тяжелее, потому что со времени отъезда маленького рыцаря никто не посещал загородного дома Кетлинга, а дни шли за днями монотонно и скучно.

Жена стольника поджидала своего мужа, считая дни и минуты до наступления сейма, и не переставала говорить о нем. Варвара страшно приуныла, а Заглоба подсмеивался, что она скучает по Нововейском и жалеет, что отказала ему. Иногда Варвара не прочь была видеть хоть этого молодого воина, но он уехал вскоре вслед за Володыевским, решив, что ему нечего здесь делать. Заглоба тоже собирался вернуться к Скшетуским, но, будучи тяжелым на подъем, все откладывал свою поездку со дня на день, а Варваре говорил, что он влюблен в нее и хочет сделать ей предложение, поэтому никак не решается уехать отсюда.

Заглоба между тем старался занимать Христину, когда Маковецкая уезжала с Варварой к жене львовского подкомория, которая, несмотря на свою доброту, недолюбливала Христину, и потому последняя никогда не ездила к ней. Иногда Заглоба ездил в Варшаву и, проведя там приятно время в веселой компании, возвращался на следующий день домой немного навеселе; Христина же сидела одна все это время и раздумывала отчасти о Володыевском, отчасти о том,

что могло бы случиться, если бы она не дала ему слово, но чаще всего о том, как выглядит тот неизвестный соперник Володыевского, тот сказочный принц.

Однажды она сидела у окна и, задумавшись, смотрела на дверь комнаты, на которую падал свет заходящего солнца, как вдруг послышался колокольчик с другой стороны дома. Христина подумала, что это вернулась Маковецкая с Басей, и продолжала мечтать, не отрывая глаз от двери, которая тем временем отворилась и в глубине ее, на темном фоне, глазам девушки представилась фигура какого-то незнакомого мужчины.

Явление было так чудесно, что в первую минуту Христине показалось, будто она видит перед собой картину или сон. Незнакомец был одет в черное заграничное платье с белым кружевным воротником, который доходил ему до плеч. Христина еще в детстве видела раз генерала конной артиллерии пана Арцишевского, который был точно так же одет и запомнился ей потому, что был еще и необыкновенно красив. Этот юноша был красивее Арцишевского и всех других мужчин на земле. Его чудные волосы были ровно обрезаны и лежали светлыми кольцами по обеим сторонам лица; темные брови отчетливо выделялись на белом, как мрамор, лбу, глаза его смотрели хоть грустно, но нежно; усы и борода были русые.

Вообще лицо его было необыкновенно привлекательно и соединяло в себе мужество и благородство: это было лицо

рыцаря и в то же время ангела.

Дыхание замерло в груди Христины, она не верила своим собственным глазам и не могла понять, мечта ли это, сон или то был настоящий человек. А он все стоял неподвижно, удивленный или только желающий показать, что его поразила красота Христины; наконец, войдя в комнату и опустив руку со шляпой, он начал раскланиваться и мести перьями шляпы пол. Христина встала, ноги ее дрожали, она то бледнела, то краснела и, наконец, закрыла глаза.

В этот момент она услышала голос вошедшего, который был мягок и нежен, как бархат.

– Кетлинг оф Эльгин, друг и сослуживец пана Володыевского. Прислуга сказала мне, что я имею честь видеть и принимать под моим кровом сестру и родственниц моего палладина, но простите мне, милостивая государыня, мое смущение, прислуга не предупредила меня о том, что я увижу здесь, и глаза мои не в состоянии вынести вашей красоты и блеска...

Таким комплиментом приветствовал Кетлинг Христину, но та не отблагодарила его тем же, потому что вовсе не знала, что ей сказать. Она только поняла, что он, окончив свое приветствие, кланялся ей второй раз, и слышала, как он водил перьями шляпы по полу.

Христина чувствовала также, что ей нужно, непременно нужно сказать что-нибудь в ответ на его комплимент, что иначе он сочтет ее простушкой, между тем дыхание ее

останавливалось в груди, кровь билась в висках и в руках, а грудь высоко подымалась и опускалась, словно от усталости. Она не могла открыть глаза, а он стоял перед нею, склоня голову с выражением восторга и уважения на своем чудном лице. Христина, дрожащими руками взялась за платье, чтобы сделать реверанс, но к счастью за дверью комнаты раздалась в эту минуту возгласы: «Кетлинг! Кетлинг!» И в комнату влетел запыхавшийся Заглоба с раскрытыми объятиями.

Воины обнялись, а девушка постаралась в это время прийти в себя и успела уже взглянуть два или три раза на молодого воина. Между тем он искренно обнимал Заглобу, но с тем оттенком благородства во всех движениях, которое он или унаследовал от предков, или приобрел при дворе короля и вельмож.

– Ну, как поживаешь? – кричал Заглоба. – Я очень рад что ты наконец вернулся в свой дом. Дай-ка взглянуть на тебя! А! Ты похудел! Не любовь ли какая-нибудь? Ей-Богу, ты похудел! Знаешь, Володыевский уехал в полк!.. Он теперь и думать забыл о монастыре! Здесь живет его сестра с двумя барышнями. Девушки – прелесть. Одна Езеровская, а другая Дрогаевская. Господи! Да ведь здесь панна Христина. Извините, пожалуйста, но пусть у того вылезут глаза, кто не признает, что вы обе хорошенькие, впрочем, этот кавалер наверняка успел уже оценить вашу красоту.

Кетлинг наклонил в третий раз голову и сказал с улыбкой:

– Я уехал и оставил мой дом арсеналом, а теперь застаю его Олимпом, потому что вижу на первом плане богиню.

– Ну, как ты поживаешь, Кетлинг? – спросил еще раз Заглоба, которому мало было прежнего приветствия, и он стал снова обнимать его.

– Это ничего, – говорил он. – Ты еще не видел «мальчика»! Одна гладка, но и другая – настоящий мед, да! Ну, как ты поживаешь? Дай тебе Боже здоровья. Я буду с тобой на ты! Хорошо? Мне, старику, как-то чувствуется ловчее. Рад ли, что у тебя гости, а?.. Пани Маковецкая заехала сюда, потому что трудно было найти квартиру, но теперь это гораздо легче, так что она, наверное, уедет, потому что ей неловко жить в доме холостяка с барышнями, а то, пожалуй, станут еще говорить что-нибудь.

– Ах, Боже мой! Да я никогда не позволю этого! Разве я не друг Володыевскому; я брат и потому могу принимать у себя пани Маковецкую, как сестру. Прежде всего я обращаюсь к вам, сударыня, за ходатайством, итогов просит вас об этом на коленях, если будет нужно.

Говоря это, он стал на колени перед Христиной, схватил ее руки и прижал к своим губам, с мольбою смотря ей в глаза; молодая девушка покраснела, в особенности когда Заглоба воскликнул:

– Ах ты, шут эдакий!.. Не успел приехать, уже и на колени. Я, право, скажу пани Маковецкой, что застал вас в такой позе!.. Ловко, Кетлинг!.. Учитесь, Христина, придворным ма-

нерам!

– Я не знаю, какие манеры при дворе, – прошептала смущенная девушка.

– Могу ли я надеяться на ваше ходатайство? – спрашивал Кетлинг.

– Встаньте, сударь!..

– Могу ли я надеяться? Я, брат Михаила? Вы обидите его, если уедете отсюда!

– Мое желание ничего не значит, – отвечала смелее девушка, – но все-таки благодарю вас за внимание.

– Благодарю вас! – отвечал Кетлинг, целуя ее руку.

– Гм! На дворе мороз, а Купидон без платья, однако я полагаю, что он не замерз бы в этом доме! – воскликнул Заглоба. – От одних вздохов сделается оттепель. Только от одних вздохов!..

– Перестаньте – сказала Христина.

– Слава Богу, что вы всегда в веселом расположении духа! – отвечал Кетлинг. – Веселье – признак здоровья.

– И чистой совести, и чистой совести! – прибавил Заглоба. – Какой-то мудрец сказал, что тот чешется, у кого свербит, а у меня ничего не чешется, потому я и весел. Фу ты, Господи! Да что я вижу? Ведь я тебя видел в польском платье, в рысей шапке и при сабле, а теперь ты опять превратился в какого-то англичанина и ходишь, как журавль на тоненьких ножках.

– Потому что я жил долго в Курляндии, где не носят поль-

ского платья, а теперь я провел два дня у английского резидента в Варшаве.

– Так ты возвращаешься из Курляндии?

– Да, мой второй отец, усыновивший меня, умер и оставил мне второе имение.

– Вечная ему память! Ну, а он был католик?

– Да.

– Вот это хорошо, по крайней мере утешение тебе. А ты не уедешь от нас в свою Курляндию?

– Здесь я бы хотел жить и умереть! – отвечал Кетлинг, смотря на Христину.

Она опустила вниз свои длинные ресницы.

Маковецкая приехала уже в сумерках; Кетлинг вышел за ворота, чтобы встретить ее и проводить ее в свой дом с таким почтением, как удельную княгиню.

На следующий день она хотела искать себе квартиру в городе, но все это не привело ни к чему. Молодой воин умолял ее остаться, ссылаясь на братское родство с Володыевским и до тех пор стоял перед нею на коленях, пока она не согласилась остаться в его доме. Они решили, что Заглоба тоже останется с ними, чтобы охранять их от пересудов и толков людей. Тот, конечно, охотно согласился, потому что страшно привязался к «мальчику» и даже начал строить разные планы, которые и заставили его остаться.

Обе девушки были очень довольны, а Варвара сразу стала на сторону Кетлинга.

– Мы все равно не можем уехать сегодня отсюда, – уговаривала она Маковецкую, – а потом будет все равно: одни сутки или двадцать.

Кетлинг нравился вообще всем женщинам, а потому понравился Басе точно так же, как и Христине; кроме того, первая никогда не видела заграничного кавалера, исключая офицеров заграничной пехоты, которые были не так изящны и гораздо проще, поэтому она ходила вокруг него, встряхивая волосами, раздувая ноздри и глядя на него с детским любопытством, но до того дерзким, что Маковецкая даже побранила ее. Несмотря на замечание, она все-таки не перестала всматриваться в него, словно желала изучить его и сделать ему оценку как солдату; наконец, она стала спрашивать о нем Заглобу:

– Известный ли это воин? – спросила она тихо у старого шляхтича.

– Такой известный, что известнее и быть не может. Он закалил себя в боях, потому что сражался против англичан за веру четырнадцатилетним ребенком. Это высокородный дворянин, это видно и из его манер.

– Вы видали его когда-нибудь в огне?

– Тысячу раз! В огне он стоит как вкопанный, даже не поморщится, и только изредка разве потреплет коня по шее и готов говорить о любви.

– А разве можно говорить в это время о любви?

– Отчего же нельзя; все возможно, лишь бы был отпор

для пуль.

– Ну, а один он хорошо может сражаться?

– О, это настоящий шершень!..

– А может ли он сравниться с паном Володыевским.

– Нет, с Мишей он не может тягаться.

– Ага! – весело и гордо воскликнула девушка. – Я знала, что никто не может с ним равняться! Я сразу это угадала!

И она стала хлопать в ладоши.

– Так вот как!.. Значит, вы держите сторону Михаила? – спрашивал Заглоба.

Бася тряхнула головкой и умолкла, но через несколько времени тихо вздохнула.

– Э, да что там! Я все-таки рада, что он наш!

– Но заметьте себе и помните, милый «мальчик», – сказал Заглоба, – что Кетлинг не только опасен на войне, но он гораздо опаснее для женщин, которые страшно влюбляются в него. Он большой мастер в сердечных делах!

– Меня вовсе не интересуют его сердечные дела; вы лучше скажите это Христине, – сказала Варвара и, обращаясь к Дрогаевской, стала звать ее: – Христя, а Христя! Поди-ка сюда на минуточку.

– Что такое? – спросила Дрогаевская.

– Пан Заглоба говорит, что каждая барышня не успеет взглянуть на Кетлинга, как сразу влюбится. Я уже осмотрела его со всех сторон и как-то ничего, а ты? Неужели ты что-нибудь чувствуешь?

– Ах, Бася, Бася! – сказал с укоризной Христина.

– Понравился, что ли?

– Перестань! Будь степеннее и не говори глупостей: смотри, вон Кетлинг идет сюда.

И в самом деле, Христина не успела еще сесть, как Кетлинг уже приблизился и спросил:

– Можно ли мне присоединиться к вашему обществу?

– Милости просим, – отвечала Езеровская.

– Осмелюсь спросить, о чем у вас был разговор?

– О любви! – крикнула необдуманно Варвара.

Кетлинг сел подле Христины. Несколько времени они оба молчали; так как Христина, несмотря на свою смелость и умение владеть собой, странно как-то робела и терялась при нем, поэтому он первый перервал молчание.

– Так это правда, что вы действительно говорили о любви?

– Да! – отвечала Дрогаевская вполголоса.

– Ах, как бы я хотел услышать ваше мнение об этом предмете.

– Простите, но у меня нет ни смелости, ни остроумия, так что, я полагаю, ваше мнение было бы интересней.

– Это правда, – вмешался Заглоба. – А ну-ка, послушаем!

– Спрашивайте, сударыня! – отвечал Кетлинг.

И он задумался, подняв глаза вверх, а потом, не дожидаясь вопроса, начал так, словно отвечал самому себе.

– Любовь – это несчастье: она делает рабом свободного человека. Подобно тому, как раненная стрелой птица пада-

ет к ногам охотника, так точно человек, пораженный любовью, не имеет сил отойти от ног своей возлюбленной... Любовь – это увечье, потому что человек, точно слепой, ничего не видит, кроме своей любви. Любовь – это тоска, во время которой проливается много слез и слышны невеселые вздохи. Кто полюбит, тот забывает о нарядах, об охоте – словом, обо всем и готов сидеть по целым дням тоскуя, словно он потерял кого-нибудь близкого сердцу. Любовь – это болезнь, потому что тогда бледнеет лицо, вваливаются глаза, дрожат руки, худеют пальцы, а сам человек думает о смерти или в беспамятстве бродит с растрепанными волосами, беседует сам с собою и с неодушевленными предметами или пишет дорогое имя на песке, а когда ветер сотрет эту надпись, то он называет это «несчастьем»... и готов рыдать.

Кетлинг умолк и как бы погрузился в размышление. Христина всей душой слушала его. Оттененные усиками уста ее раек рылись, а глаза не отрывались от его белоснежного лица. Волосы Баси нависли на глаза, так что нельзя было узнать, о чем она думает, но она тоже тихо сидела и слушала Кетлинга.

Вдруг Заглоба громко зевнул, засопел и, вытянув ноги, сказал:

– Ну, с такую любовью далеко не уедешь, с нее и собакам сапог не сшить.

– Однако, – продолжал рыцарь, – если тяжело любить, то еще тяжелее не любить, ибо ни роскошь, ни слава, ни бо-

гатство, ни драгоценности не могут удовлетворить человека без любви... Кто не скажет своей возлюбленной: «Ты для меня дороже царства, скипетра, короны, здоровья и жизни»?.. А если каждый готов пожертвовать жизнью ради любви, то она в таком случае стоит больше жизни.

Кетлинг умолк.

Девушки сидели, прижавшись друг к другу, очарованные его прочувствованною речью и выводами, чуждыми польским кавалерам; между тем Заглоба, слушая эту речь, заснул и, когда он кончил, проснулся и удивленно начал смотреть по очереди на всех троих; наконец он опомнился и громко спросил:

– Что вы говорите?

– Мы говорим, спокойной ночи вам! – отвечала Варвара.

– А! Я припомнил: мы говорили о любви. Чем же кончилось?

– Тем, что подкладка оказалась лучше, чем верх.

– Да, это верно!.. Меня даже в сон ударило, слушая ваше влюбленное вздыханье, терзанье. Ну, я подыскал еще одну рифму, а именно: «дреманье», взял да заснул, и полагаю, эта рифма гораздо лучше всех, потому что уже поздно. Спокойной ночи, господа; и вам советую оставить эту любовь в покое!.. Впрочем, кот всегда до тех пор мяучит, пока не съест мышки, а потом только облизывается. Я тоже в свое время был точь-в-точь, как Кетлинг, и так безумно любил, что, бывало, баран мог меня целый час бодать сзади, пока

я это почувствую. Вот как я любил. Однако под старость я предпочитаю выспаться получше, в особенности когда гостеприимный хозяин не только проводит меня, но даже и выпьет со мною на сон грядущий.

– С удовольствием! – отвечал Кетлинг.

– Пойдемте! Пойдемте! Смотрите, как луна уже высоко. Завтра будет хорошая погода, небо расчистилось, и светло, как днем. Кетлинг готов тут вам всю ночь говорить о любви, но помните, что он устал с дороги.

– Нет, я не устал, потому что отдохнул два дня в городе. Но я боюсь, что барышни не привыкли ложиться так поздно.

– Слушая вас, мы не заметили бы, как ночь прошла, – сказана Христина.

– Где светит солнце, там нет ночи, – отвечал Кетлинг.

После этого они разошлись, так как действительно было уже поздно.

Девушки спали вместе и обыкновенно долго разговаривали перед сном, но в этот вечер Варвара ни за что не могла расшевелить Христину, которая на все ее расспросы отвечала полусловами. Несколько раз, когда Бася начала подсмеиваться над Кетлингом, острить и передразнивать, то Христина нежно обнимала ее и просила перестать глупить.

– Бася! Он здесь хозяин, – говорила она. – Мы живем в его доме. Я заметила, что он сразу полюбил тебя.

– Почему ты знаешь? – спрашивала Бася.

– Потому что тебя нельзя не любить. Все тебя любят...

и я... очень даже!

Говоря это, она приблизила свое чудное лицо к лицу Баси и, обняв ее, поцеловала в глаза.

Наконец они улеглись, но Христина долго не могла уснуть. Ею овладело какое-то беспокойство. То сердце ее билось так сильно, что она принуждена была прикладывать обе руки к своей атласной груди, чтобы унять его биение. То казалось ей, особенно когда она старалась закрыть глаза, что какая-то прекрасная, как сон, голова наклонялась к ней и тихий голос шептал:

– Ты для меня дороже царства, скипетра, короны, здоровья и жизни.

Глава XII

Несколько дней спустя Заглоба писал Скшетускому и так заканчивал свое письмо: «А если я не вернусь домой перед элекцией, то вы не удивляйтесь, так как это не будет доказательством моего к вам нерасположения, но того, что лукавый не спит, и я не хочу поймать вместо синицы журавля в небесах. Плохо будет, если я не скажу Михаилу, когда он вернется, что „та“ просватана, а „мальчик“ свободен. Все в Божьей власти, но тогда, я полагаю, не нужно будет принуждать Михаила, и без долгих разговоров вы сразу приедете на обручение. Но пока придется, по примеру Улисса, прибегнуть к некоторым уловкам, причем не обойдется и без прикрас, а это нелегко для меня, который больше всего в жизни любит правду и везде ее преследует. Однако я готов перенести это для Михаила и для „мальчика“, так как оба они – чистое золото. При сем крепко обнимаю вас и дочек и поручаю вас заботам Всевышнего».

Кончив письмо, Заглоба засыпал его песком, щелкнул по нему, прочел еще раз, держа далеко от глаз, и затем сложил письмо, снял с пальца перстень и, посплюнув его, приготовился уже запечатать, как вдруг вошел Кетлинг.

– Здравствуйте!.. С добрым утром!

– Здравствуйте, здравствуйте! – отвечал пан Заглоба. – Погода, слава Богу, превосходная, и я собираюсь снарядить

посла к Скшетуским.

– Передайте им мой поклон.

– Я уже сделал это. Мне пришло в голову, что надо поклониться и от Кетлинга. Они оба обрадуются, когда получат приятные известия. Я не только написал им поклон от тебя, но целое послание, все про тебя да про девиц.

– Как так? – спросил Кетлинг.

Заглоба положил руки на колени и начал постукивать по ним пальцами, а потом, опустив голову, он посмотрел из под бровей на Кетлинга и сказал:

– Милый Кетлинг! Не надо ведь быть пророком, чтобы угадать, что всегда будет огонь там, где есть кремень и огниво. Ты у нас красавец, а о девушках и сам ты не можешь сказать ничего худого.

Кетлинг смутился.

– Не бельмо же у меня на глазу, и не дикий же я варвар, – отвечал он, – чтобы не восхищаться их красотой.

– Ну, вот видишь, – сказал на это Заглоба, глядя в лицо смущенного Кетлинга. – Если ты не варвар, то не следует тебе и метить в обеих, потому что так только турки делают.

– Как вы можете допустить нечто подобное?

– Я ничего не допускаю, а только говорю. А, мошенник! Ты им так напел о любви, что Христина третий день ходит бледная, как после приема лекарства. Да и неудивительно! Я сам в молодости стоял, бывало, с лютней под окном одной брюнеточки – на Дрогаевскую была похожа, – и, помню, пел:

«Ты сладко спишь после труда,
А здесь звучит моя дуда.
Гоп! Гоп!»

Хочешь, я тебе одолжу эту песню или сочиню совсем новую: у меня хватит на это таланта. Заметил ли ты, что Дрога-евская похожа несколько на прежнюю Биллевич, только что у той волосы как лен и нет этого пушка над губами, но есть люди, которые считают это особой прелестью и даже редкостью. Как она посматривает на тебя! Я это именно и написал Скшетуским. Не правда ли, что она похожа на Биллевич?

– В первую минуту я не заметил этого, но весьма возможно, что сходство есть, особенно в фигуре и росте.

– Ну, слушай теперь, что я тебе скажу: попросту, открою тебе семейный секрет, так как ты наш друг и должен знать его: берегитесь, чтобы не сделать зла Володыевскому, так как мы с Маковецкой предназначили ему одну из этих двух девушек.

Заглоба пристально посмотрел в глаза Кетлинга, который побледнел и спросил:

– Которую?

– Дро-га-евскую, – медленно произнес Заглоба.

Кетлинг молчал и молчал так долго, что Заглоба наконец спросил:

– Ну, что ты скажешь? А?

Рыцарь изменившимся голосом, но громко произнес:

– Можете быть уверены, что я не дам воли своему сердцу, если это принесет вред Володыевскому.

– Ты уверен в этом?

– Я много раз побеждал себя в жизни, – отвечал рыцарь. – И вот вам слово честного воина, пароль, что я не позволю себе этого.

Заглоба бросился к нему с раскрытыми объятиями.

– О, Кетлинг! Позволяй себе сколько можешь и сколько хочешь!.. Ведь я шучу и только хотел испытать тебя. Мы Басю наметили для Михаила, а не Дрогаевскую.

Лицо Кетлинга просияло истинною радостью, и он схватил Заглобу, долго сжимал в своих объятиях и, наконец, спросил:

– Разве они уже любят друг друга?

– Кто же может не любить моего мальчика, кто? – отвечал Заглоба.

– Значит, и обручение уже было?

– Нет, обручения еще не было, потому что Михаил не успел опомниться от горя, но все-таки будет, ложись на меня! Хотя девушка все виляет хвостом, как ласточка, но она страшно расположена к нему, так как для нее самое главное – сабля...

– Да, я заметил это, – перебил его сияющий Кетлинг.

– Гм!.. Ты заметил? Миша все еще плачет по прежней невесте, но если ему кто понравится, так это наверное «мальчишка», потому что она больше похожа на Анусю, толь-

ко моложе и потому не так стреляет глазами. Неправда ли, все хорошо складывается? Я ручаюсь, что обе свадьбы будут во время элекции!

Кетлинг, не говоря ни слова, обнял Заглобу и прижался своим белым лицом к красной щеке старого шляхтича, так что тот только засопел. Наконец Заглоба спросил:

– Значит, Дрогаевская порядком задела тебя за живое?

– Не знаю, – отвечал Кетлинг. – Знаю только одно, что едва глаза мои узрели это неземное создание, как я тотчас же подумал, что мое сердце могло бы полюбить только одну ее, и в ту же ночь я предался приятной истоме и вдохам, отгоняя сон от себя прочь. С этого момента она завладела мной, подобно царице, владеющей покорным и верным народом. Любовь ли это, или еще что, я не знаю!

– Но ты знаешь, что это дело сделать – не шапку купить, не три локтя сукна, не подпругу и не подхвостницу; это не колбаса с яичницей и не манерка с водкой. Если ты уверен в этом, то об остальном спроси у Христины, или, если хочешь, я спрошу ее?

– Не делайте этого, пожалуйста, – отвечал, улыбаясь, Кетлинг. – Если уж мне суждено утонуть в этом море любви, то пусть лучше буду думать еще дня два, что я плыву по нему.

– Я вижу, что шотландцы молодцы только на войне, но в амурных делах никуда не годятся. На женщину нужно нападать сразу, как на неприятеля. Пришел, увидел, побе-

дил – это было мое правило.

– Если суждено сбыться моим сокровенным желанием, то со временем я попрошу вас походатайствовать за меня. Хоть я получил индигенат¹² и в жилах моих течет дворянская кровь, однако меня здесь почти не знают, и я не знаю, как пани Макавецкая.

– Макавецкая? – перебил Заглоба. – За нее бояться нечего. Это настоящая шарманка: как я ее настрою, так она и играет. Я пойду сейчас к ней. Надо ее предупредить, чтобы она не смотрела косо на твои ухаживания, потому что у вас в Шотландии своя политика, а у нас своя. Я не буду, разумеется, делать предложения от твоего имени, но только так намекну, что вот, мол, девушка приглянулась и не худо бы заварить кашу из этой крупы. Ей-Богу, пойду сейчас, а ты не бойся, потому что я могу говорить что угодно.

И, несмотря на удерживание Кетлинга, Заглоба встал и ушел.

По пути он встретил бегущую по обыкновению Басю и сказал ей:

– Знаешь, Христина совсем вскружила голову Кетлингу.

– Не одному ему! – отвечала Бася.

– А тебе не досадно?

– Чего досадно? Кетлинг – кукла! Вежливый кавалер, но все-таки кукла! А я вот ушибла себе колено об дышло, да и дело с концом!

¹² подданство, гражданство.

При этом Варвара согнулась и стала растирать себе колено, смотря в то же время на Заглобу.

– Осторожнее, ради Бога, – сказал он, – куда же ты мчишься теперь?

– К Христине.

– А что она-пэделывает?

– Она? С некоторого времени она все целует меня и ласкается, как кот.

– Ты не говори ей, что она влюбила в себя Кетлинга.

– Так вот я и выдержу?

Заглоба отлично знал, что Бася не в состоянии выдержать, потому-то он и приказал ей молчать.

Он отправился дальше, весьма довольный своей хитростью, а Бася влетела, как бомба, к Дрогаевской.

– Я ушибла колено, а Кетлинг по уши влюбился в тебя! – закричала она еще с порога. Я не заметила, что дышло торчит в сарае, и хватать!.. даже искры из глаз посыпались, но это ничего. Пан Заглоба просил не говорить тебе этого. Я ему не обещала молчать и сейчас же сказала тебе, а ты все хотела уверить меня, что он влюблен в меня! Не бойся, не обманешь!.. Все еще болит! Я ничего не говорила о Нововойском насчет тебя, а о Кетлинге, ого! Он теперь ходит по всему дому, сжимает свою голову и рассуждает сам с собою. Хорошо, Христина, очень мило! Шотландец! Шкот! кот! кот!

При этом Бася стала приближать палец к глазам подруги.

– Бася! – останавливала ее Дрогаевская.

– Шкот, шкот, кот, кот!

– Какая я несчастная, какая несчастная! – воскликнула Христина и заплакала. Варвара сейчас же начала успокаивать ее, но это не помогало: девушка разрыдалась так, как никогда не рыдала в жизни.

И в самом деле, никто не знал во всем доме, как она была несчастлива. Несколько дней она ходила как в горячке, лицо ее побледнело, глаза ввалились, грудь дышала коротко и отрывисто; вообще с ней происходило что-то необыкновенное, она будто страшно занемогла, и не постепенно, а сразу: словно вихрь или буря налетела на нее, разожгла ей кровь и ослепила, подобно молнии, ее воображение. Она не могла противостоять такой внезапной и неотразимой силе. Спокойствие покинуло ее, а воля была – как птица с подстреленными крыльями.

Христина не знала, любит ли она или ненавидит Кетлинга; она боялась даже задать себе этот вопрос, но чувствовала, что сердце ее билось только для него, что голова, в силу инерции, думала только о нем и что везде и всюду был только он. И не было у нее сил избавиться от этого! Гораздо легче было не любить, чем забыть его, так как глаза ее были опьянены им, уши очарованы его речами и вся душа была полна им одним. Сон не избавлял ее от этого докучливого видения, потому что девушка не успевала закрыть глаза, как лицо его наклонялось к ней, и он шептал: «Ты для меня дороже царства, скипетра, славы и богатства». И так близко,

близко склонялось над нею это лицо, что она чувствовала его дыхание, чувствовала, как кровь приливает к голове. Горячая кровь русинки сказывалась в ней, и в груди ее пылал какой-то неведомый ей дотоле жар, от которого ей становилось и страшно, и стыдно; какая-то болезненная, но в то же время приятная нега наполняла все существо ее. Ночь не приносила ей облегчения, но еще больше расстраивала и утомляла ее.

– Христина! Христина! Что с тобою? – говорила она сама себе.

Голова ее была все время точно в чаду.

Но ведь ничего еще не случилось, они не сказали друг другу и двух слов, и хотя мысли ее были поглощены Кетлингом, но какое-то инстинктивное чувство подсказывало ей: «Будь осторожна! Избегай его!» И она избегала.

К счастью, все это время девушка не думала о своей помолвке с Володыевским, а не думала она потому, что ничего еще не случилось, и потому, что, кроме Кетлинга, она не думала ни о себе, ни о других. Все это Христина старалась скрыть в глубине души своей и утешалась мыслью, что никто не догадывается и не думает ни о ней, ни о Кетлинге. Как вдруг слова Баси убедили ее, что, наоборот, все догадываются, думают о них и даже мысленно соединяют их, а потому стыд, горе и отчаяние так овладели ею, что она расплакалась, как дитя.

Однако слова Баси были только началом всевозможных

намеков, подмигиваний, покачиваний головы и неоконченных слов, которые ей предстояло видеть, слышать и перенести. Все это за обедом и началось: Маковецкая стала вдруг посматривать то на Кетлинга, то на Христину, чего раньше не делала. Заглоба многозначительно покрывал. Разговор по временам прерывался неизвестно почему, и водворялась тишина, а однажды, во время такого перерыва, растрепанная Бася громко крикнула:

– Я знаю что-то, да не скажу!

Христина вспыхнула, а вслед за тем побледнела, точно какое-нибудь несчастье промчалось над ее головою. Кетлинг тоже смутился. Оба прекрасно сознавали, что это относилось к ним, и хотя они избегали разговоров друг с другом, а Христина боялась даже взглянуть на него, однако было ясно, что между ними что-то совершается, что, собственно, обоим и смущало. Это обстоятельство сближало их и в то же время и разделяло так, что они теряли свободу и переставали быть друзьями. К счастью, никто не обратил внимания на слова Баси, потому что все были заняты тем, что Заглоба собирался ехать в город и привезти оттуда целую компанию гостей.

И в самом деле, вечером дом Кетлинга был освещен многочисленными огнями; приехали несколько офицеров и музыка, которую Кетлинг выписал для развлечения дам. По случаю поста и траура хозяина нельзя было танцевать, но все занимались разговором и слушали музыку. Дамы

оделись по-праздничному; Маковецкая нарядилась в платье из восточной шелковой материи, Бася оделась очень пестро и привлекала внимание офицеров румянцем своих щек и светлым цветом волос, которые поминутно нависали ей на глаза; всех сместили ее остроумные, смелые речи и поражали манеры, в которых проглядывала казачья удаль, шедшая рука об руку со свободной непринужденностью. Христина, кончившая носить траур по отцу, была в белом платье с серебряными разводами. Одни из офицеров сравнивали ее с Юноной, другие с Дианой, но никто из них не посмел подойти к ней ближе, никто не покручивал усов, не шаркал ногами, не закидывал на плечи рукавов кунтуша, не смотрел на нее блестящими глазами и не начинал разговора о своих чувствах. Она только заметила, что все смотрят на нее с каким-то особенным восхищением и даже удивлением, как и на Кетлинга; некоторые даже, подойдя к нему,жимают ему руку, словно бы поздравляют его и чего-то желают; в ответ на это он пожимает плечами и разводит руками, как бы отпираясь от чего-то. Будучи по природе догадливой и проницательной, Христина была почти уверена, что все говорят о ней, считают ее невестой Кетлинга. И так как она не могла предвидеть, что Заглоба уже успел *шепнуть* каждому из них, что она – будущая невеста, то девушке не могло прийти на ум, откуда у всех могло явиться такое предположение.

«Не на лбу ли это у меня написано?» – с беспокойством

думала Христина, будучи сконфужена и опечалена всем происходившим.

До слуха ее стали долетать отрывистые слова, которые говорились громко, но вроде бы не были обращены к ней. «Счастливец Кетлинг!..», «В сорочке родился!..», «Неудивительно, потому что и он красавец!..» и тому подобные слова слышала она.

Некоторые вежливые кавалеры, желая занять ее разговором и сказать что-нибудь приятное, беседовали с Христиной о Кетлинге, хвалили его храбрость, доброту, вежливость и древний род. И девушка должна была слушать все это, невольно ища глазами того, о ком говорили, а когда глаза ее встречались с его взглядом, то очарование овладевало ею с новой силой, и она бессознательно упивалась этим-зрелищем. И как резко выделялся Кетлинг из толпы этих грубых солдат! «Царевич среди своих придворных», – думала Христина, глядя на это благородное аристократическое лицо, на эти гордые глаза, преисполненные истомы и грусти, на этот лоб, окаймленный густыми белокурыми волосами. Сердце ее сжималось и замирало, как будто он был ей дороже всех на свете. Кетлинг видел все это и, не желая усиливать ее смущения, не подходил к ней, когда никого не было подле. С царицей он не мог бы поступать вежливее и внимательнее. В разговоре с нею он наклонял голову и сгибал одну ногу, как бы желая этим показать, что он готов сейчас упасть перед нею на колени. Он всегда говорил серьезно и никогда

не шутил с нею, как с Варварой. В обращении с нею, рядом с уважением, проявлялась тень какой-то тихой грусти. Благодаря этому никто не позволял себе высказываться слишком откровенно или смело шутить; все словно прониклось сознанием того, что эта девушка стоит выше всех по рождению и по достоинству, и всякий боялся быть с нею недостаточно вежливым.

Христина благодарила его в душе за это, и вечер, в общем, прошел для нее очень приятно, хотя несколько тревожно. Около полуночи музыка перестала играть, дамы распрощались с обществом, и только тогда рюмки заходили быстрее вокруг стола, пир начался, и Заглоба сделался распорядителем пира. Бася, довольная балом и веселая, как птичка, побежала наверх и перед молитвой стала шуметь и болтать, передразнивать разных гостей. Между прочим она сказала Христине, хлопая в ладоши.

– Как хорошо, что приехал твой Кетлинг, по крайней мере, у нас всегда будут гости военные! Пусть только кончится пост, так я до упаду натанцуюсь. Вот весело-то будет на твоём обручении с Кетлингом!.. А на вашей свадьбе! Ну, если я не переверну всего дома вверх дном, то пусть меня татары возьмут в плен! А что, если бы они взяли так всех нас? Вот была бы штука, а? Милый Кетлинг! Он будет устраивать разные разности, пока не сделает вот так!

При этом Бася вдруг бросилась на колени перед Христиной и, обняв ее за талию, стала говорить, подражая голосу

Кетлинга.

– Сударыня! Я так люблю вас, что не могу жить без вас. Я вас люблю и пешком, и на лошади, *натощак* и после обеда, вечно и по-шотландски... Хотите ли вы быть моей женой?

– Баська! Я рассержусь! – кричала Христина. Но вместо того, что рассердиться, она обняла ее и, приподняв, стала целовать в глаза.

Глава XIII

Заглоба прекрасно знал, что не Варвара, а Христина нравилась больше маленькому рыцарю, поэтому-то он и решился устранить ее, будучи уверен, что Володыевский, не имея выбора, обратится к Басе, которая до того вскружила голову старого шляхтича, что он не мог себе представить, чтобы кто-нибудь предпочел ей другую.

Он рассудил, что невозможно сделать лучшей услуги Володыевскому, как посватать ему «мальчика», и мысль эта приводила в восторг старого рыцаря. Заглоба злился на Володыевского, а также на Христину; ему хотелось, конечно, чтобы Михаил женился лучше на Христине, чем вовсе не женился, но он решился употребить все средства, чтобы женить своего друга на Варваре Езеровской.

Зная склонность маленького рыцаря к Дрогаевской, он намеревался выдать ее как можно скорее за Кетлинга. Но ответ, полученный от Скшетуского несколько дней спустя, поколебал решение Заглобы.

Скшетуский советовал ему не вмешиваться в подобные дела, чтобы избежать тех недоразумений, которые могут произойти между друзьями. Заглоба был с этим согласен и, чувствуя некоторые угрызения совести, успокаивал себя следующим образом:

– Если Христина дала слово Михаилу, и я стал бы вбивать

Кетлинга, как клин, между ними, это другое дело. Какой-то мудрец сказал: «Не клади пальца между дверью». Но желать может всякий. Впрочем, что же я такого сделал, что?

Говоря это, Заглоба взялся за бока и, оттопырив нижнюю губу, стал вызывающе смотреть на стены своей комнаты, как бы ожидая возражений, но стены не отвечали, и он продолжал:

– Я сказал Кетлингу, что «мальчик» предназначен у нас для Миши. Разве это неправда? Неужели я не могу сказать этого? Да если я желаю ему чего-нибудь другого, то пусть меня блоха укусит.

Стены подтвердили своим молчанием справедливость Заглобы, между тем он продолжал:

– Я сказал Басе, что Христина победила Кетлинга, разве это не правда? Разве он сам не обнаружил этого, *так* сильно вздыхая возле печки, что даже пепел разлетался по всей комнате? А я что сам заметил, то и другим сказал. Скшетуский реалист, ну да и мою сметливость никто не бросит собакам! Я сам знаю, что можно сказать и чего нельзя. Гм, он пишет, чтобы ни во что не вмешиваться! Попробуем. Я не буду вмешиваться, но если я окажусь в комнате с Христиной и Кетлингом, то непременно уйду и оставлю их вдвоем. Пусть они сами говорят, как знают. Ба! Я думаю, они и выскажут, что следует. Не надо им помощи, когда их и без того тянет друг к другу, так что глаза белеют. Кстати, и весна приближается и не только солнце, но и страсти начинают пригре-

вать сильнее. Хорошо, я ничего не буду делать, только посмотрим, что из всего этого выйдет.

Вывод не замедлил обнаружиться. На страстной неделе все обитатели дома Кетлинга переехали в Варшаву и остановились в гостинице на Длугой улице, чтобы, находясь вблизи церкви, помолиться вволю и насытиться зрелищем веселой праздничной толпы.

И здесь Кетлинг считал себя хозяином и, несмотря на свое иностранное происхождение, прекрасно знал столицу и везде имел массу знакомых, благодаря которым он мог все устроить. Он был донельзя предусмотрительным и, казалось, угадывал мысли своих спутниц, особенно Христины. Все искренно любили его; Маковецкая, будучи предупреждена Заглобой, смотрела снисходительно на него и на Христину, но ничего не говорила, потому что Кетлинг молчал тоже. Почтенная тетушка считала очень естественным, что рыцарь ухаживает за барышней, особенно такой рыцарь, которого высоко и низко поставленные люди ценили и уважаяк до такой степени он умел покорить всех своей наружностью, вежливостью, солидностью, щедростью, мягкостью, мужеством и военной доблестью.

– Я не буду мешать им, – думала Маковецкая – Пусть будет так, как Бог даст и как рассудит мой муж.

Благодаря этому, Кетлинг чаще и дольше оставался с Христиной здесь, чем в своем доме. Впрочем, все были всегда вместе.

Обыкновенно Заглоба шел под руку с Маковецкой, Кетлинг – с Христиной, а Варвара, будучи младше всех, бежала одна впереди, то сильно забегая вперед, то останавливаясь перед окнами магазинов посмотреть на товары и на разные заморские чудеса, которых она еще не видывала. Христина постепенно привыкла к Кетлингу и, опираясь на его руку, слушала его речи или смотрела в его благородное лицо; она уже не чувствовала прежнего смущения, сердце ее не билось так беспокойно в груди; она не терялась, но испытывала приятное и опьяняющее ощущение. Они всегда были вместе, в церкви, стоя рядом на коленях, они шептали молитву или присоединялись к церковному пению.

Кетлинг хорошо знал состояние своего сердца, а Христина, по недостатку храбрости или желая обмануть самую себя, не сказала еще «люблю его», но тем не менее они горячо полюбили друг друга.

К этому чувству присоединились еще дружба и привязанность, так что хотя они и не сказали ничего друг другу про свою любовь, но время проходило как сон, и счастье окружало их.

Это спокойствие Христины вскоре должно было нарушиться массой упреков совести. Привыкнув к Кетлингу, подружившись с ним и полюбив его, молодая девушка перестала тревожиться; впечатления ее не были так порывисты, а волнение крови и расстроенное воображение успокоились. Они были так близко друг к другу и им было так хорошо,

что Христина, отдавшись всей душой настоящему, не хотела думать о том, что все очарование может разрушиться от одного слова Кетлинга «люблю».

Скоро он вымолвил это слово. Однажды, когда Варвара с Маковецкой были у одной больной родственницы, Кетлинг предложил Христине и Заглобе осмотреть королевский замок, которого Христина никогда еще не видала, но слышала много хорошего о тех редкостях, которые хранились в нем. Они отправились туда втроем. Благодаря щедрости Кетлинга перед ними раскрылись все двери, а сторожа низко кланялись Христине, как королеве, являющейся в свою резиденцию. Кетлинг знал отлично устройство дворца и водил девушку по великолепным залам и комнатам. Они осматривали театр, королевские бани, картины, изображающие битвы и победы Сигизмунда и Владислава, одержанные над татарами; наконец они взошли на террасу, откуда открывался роскошный вид на Варшаву и окрестности. Христина не могла прийти в себя от удивления, а молодой человек все показывал и объяснял ей, прерывая время от времени свои речи и заглядывая ей в темно-голубые глаза, как бы говоря: «Что значат все эти чудеса и чего стоят все эти драгоценности в сравнении с тобой, мое сокровище!»

Девушка поняла эту безмолвную речь. Потом Кетлинг ввел ее в одну из королевских комнат и сказал, остановившись перед потайной дверью:

– Здесь можно пройти в кафедру по длинному коридору,

который оканчивается маленьким крылечком возле главного алтаря. На этом крылечке король с королевой обыкновенно стоят у обедни.

– Я хорошо знаю это, – ответил Заглоба, – потому что был здесь с Яном Казимиром, а Мария Людовика так сильно любила меня, что оба часто приглашали меня слушать с ними обедню, чтобы пользоваться моим обществом и брать пример с моего благочестия.

– Не хотите ли пройти туда? – спросил Кетлинг девушку, делая знак сторожу отрыть дверь.

– Войдемте, – сказал она.

– Идите себе одни, – отозвался Заглоба. – У вас ноги помоложе, а я порядком пошатался. Ступайте, ступайте себе, я останусь здесь с привратником и отдохну, а вы можете помолиться, я не буду за это в претензии.

Они вошли.

Кетлинг взял молодую девушку за руку и повел ее по длинному коридору; он не прижимал к сердцу эту руку, но тихо и сосредоточенно шел вперед. Свет, проходящий через боковые окошечки, время от времени освещал их, затем они снова погружались во мрак Сердце Христины сильно билось, так как они впервые остались вдвоем, но спокойствие и кротость Кетлинга вполне успокаивали девушку. Наконец они достигли крылечка, находившегося по правую сторону церкви и выходявшего к главному алтарю.

Прежде всего они опустились на колени и стали молить-

ся. В церкви было тихо и пусто. Две свечи горели в алтаре, середина церкви находилась в величественном полумраке. Только через разноцветные стекла падал слабый свет на их чудные спокойные лица, погруженные в молитву и похожие на лица херувимов.

Кетлинг встал первым, но так как в церкви нельзя говорить громко, то он обратился шепотом к Христине:

– Взгляните на эту бархатную спинку, на ней остались следы от голов королевской четы. Королева садилась здесь, ближе к алтарю. Отдохните на ее месте.

– Правда ли, что она была несчастлива всю жизнь? – прошептала, садясь, Христина.

– Я еще в детстве слышал о ней, во всех рыцарских замках рассказывали ее историю. Очень возможно, что она была несчастлива, так как не могла выйти замуж за того, кого любила.

Христина оперлась головою на углубление, которое продавила голова Марии Людовики, и закрыла глаза; грудь ее как-то болезненно сжалась, а холод повеявший от пустой церкви, заморозил то спокойствие, которым так недавно было преисполнено все ее существо.

Кетлинг молча смотрел на нее; их окружала торжественная тишина. Потом, опустившись медленно на колени перед Христиной, он стал говорить взволнованным, но тихим голосом:

– Мне не грешно стать перед вами на колени здесь, в этом

святилище, ибо где же будет благословлена чистая любовь, если не в церкви. Я вас люблю больше себя, больше всех благ земных, люблю вас всей душой, всем сердцем и здесь, у этого алтаря, говорю вам о своей любви!..

Христина побледнела, как полотно. Она отодвинулась на бархатнее изголовье и не сделала ни одного движения, а молодой человек между тем продолжая:

– Здесь, у ног ваших, я жду вашего приговора: должен ли он наполнить меня небесной радостью или бесконечной скорбью, которой я не сумею пережить?.

Он подождал ответа, но когда его не последовала, то молодой человек склонил голову так низко, что она достигла почти ног Христины, волнение его усиливалось, а голос дрожал, как бы от недостатка воздуха.

– Поручаю вам свое счастье и жизнь. Сжальтесь, прошу вас, потому что мне страшно тяжело...

– Помолимся Богу! – сказала внезапно Христина и опустилась на колени.

Кетлинг не понял, но не смел противоречить этому и беспокойный, но полный надежды, он стал с ней рядом на колени и начал молиться.

В пустой церкви раздавался время от времени усиливающийся шепот их голосов, которые, благодаря эху, казались страстными и грустными.

– Господи, будь милостив ко мне, грешной! – шептала Христина.

– Господи, помилуй нас! – повторял Кетлинг.

После того девушка стала тихо молиться, но Кетлинг видел, что она вздрагивала от рыданий и долго не могла успокоиться; наконец, овладев собою, она продолжала стоять на коленях без движения, потом встала и проговорила:

– Пойдемте!..

И они опять очутились в длинном коридоре, но Кетлинг напрасно смотрел ей в глаза, стараясь прочесть в них ответ. Она шла быстро, как бы стараясь очутиться поскорее в той комнате, где остался Заглоба. Не доходя несколько шагов до двери, молодой рыцарь схватил ее за платье.

– Панна Христина! Ради всего святого!

Христина обернулась и, быстрым движением схватив его руку, моментально прижалась к ней губами.

– Я люблю вас всей душой, но никогда не буду вашей женой! – отвечала она.

И прежде чем Кетлинг успел оправиться от смущения, она прибавила:

– Забудьте обо всем, что было.

Через минуту они очутились в комнате. Сторож спал, сидя на кресле, а Заглоба точно так же уснул на другом: Однако они оба проснулись при появлении молодых людей. Заглоба открыл свой единственный глаз и стал полусознательно мигать, пока не припомнил всего.

– А что вы? – сказав он, оправляя кушак. Мне снилось, что у нас новый электор, Пяст. Были ли вы на крылечке?

– Да.

– А дух Марии Людовики не почудился вам случайн?

– Напротив? – глухо ответила Христина.

Глава XIV

Выйдя из замка, Кетлинг, чтобы собраться с мыслями, попрощался с Христиной и Заглобой, которые возвратились в гостиницу, а сам качая обдумывать поступок Христины. Бася с Маковецкой уже вернулись от больной, и жена стольника встретила Заглобу следующими словами:

– Я получила письмо от мужа, который внастоящее время в станице с Володыевским. Они оба здоровы и собираются к нам. Вам тоже есть письма от них, а мне только постскриптум в письме мужа, он пишет, что процесс с Жубрами за одно имение Баси кончился благополучно. Они уже там готовятся к сеймикам. Он пишет; что имя Собеского играет там большую роль, так что и сейм будто согласен с ним во всем. Все собираются сюда на элекцию, но наши будут на стороне коронного маршала. Там уже тепло и идут дожди. В Верхушке у нас сгорели постройки... Работник заронил огонь, а ветер...

– Где же Мишино письмо ко мне? – спросил Заглоба, прерывая целый поток новостей, которые старалась вылить Маковецкая не переводя духу.

– Вот! – отвечала она, подавая ему письмо. – Погода стояла ветреная, а все были на ярмарке.

– Каким же образом дошли сюда эти письма? – опять спросил Заглоба.

– Они были присланы в до Кетлинга, а оттуда человек принес их... Так я говорила вам, что был ветер...

– Не хотите ли послушать?

– Хорошо, с удовольствием.

Заглоба распечатал и начал читать, сначала про себя вполголоса, а потом громко для всех.

«Посылаю вам первое письмо, а другого, пожалуй, не будет, так как почта здесь плохая, и я намерен скоро явиться сам. Здесь, в поле, мне хорошо, но сердце рвется к вам, а воспоминаниям нет конца, благодаря чему мне милее уединение, чем компания.

Обещанного дела у нас уже нет, потому что орда сидит тихо, только небольшие шайки бушуют на лугах, но мы два раза так ловко подошли к ним, что не оставили ни одного свидетеля поражения...»

– Вот нагрели-то их! – весело воскликнула Варвара. Лучше всего быть солдатом.

«Татары из школы Дорошенки, – продолжал читать Заглоба, – охотно бы подрались с нами, но они ничего не могут без ордынцев. Пленные сознались, что крупные шайки не могут ниоткуда двинуться, и сам я думаю, что это правда, так как иначе они давно бы явились к нам, потому что луга зазеленелись и им можно свободно прокормить лошадей. Кое-где лежит еще снег, но вся степь покрылась уже травой, и дует теплый ветер, от которого лошади делаются ленивее, а это первый признак весны. Я уже послал прошение об от-

пуске и со дня на день жду ответа, чтобы уехать. Нововейский останется здесь вместо меня, потому что работы так мало, что мы с Маковецким по целым дням травим лисиц ради забавы, так как мех их никуда не годен весной. Здесь много дроф, а мой слуга застрелил из винтовки пеликана. Сердечно приветствую вас, целую руки сестре, а также панне Христине и прошу ее не лишать меня своего расположения, аглавное, прошу Бога о том, чтобы она была ко мне по-прежнему благосклонна. Передайте мой поклон панне Варваре. Нововейский несколько раз вымещал свою злобу на спинах негодаев; но он все еще злится, видно, ему не сделалось от этого легче. Да хранит вас Бог и не лишает своей милости.

Р. S. Я купил у проезжих армян очень хороший мех горностая и думаю привезти его в подарок для панны Христины, а для нашего „мальчика“ найдутся турецкие сласти.»

– Пусть себе пан Михаил их сам кушает, ведь я не ребенок! – обиделась Варвара, и щеки ее зарделись.

– Значит, вы и видеть его не хотите? Вы сердитесь на него? – спросил Заглоба.

Но она проворчала себе что-то под нос и, сердясь, раздумывала о том, как Володыевский легко к ней относится; впрочем, она отчасти думала о дрофах и пеликане, который ее особенно интересовал.

Во время чтения письма Христина сидела, повернувшись спиной к свету и закрыв глаза, и потому никто из присутствующих не видел ее лица, иначе все узнали бы, что с ней

происходит что-то необыкновенное. Сцена в церкви и письмо Володыевского как громом поразили ее. Чудесное сновидение кончилось, и девушка очутилась лицом к лицу с грустной действительностью. Мысли ее путались, а в сердце боролись какие-то странные чувства. Володыевский со своим письмом, со своим приездом и горностаями показался ей таким ничтожным, что внушал даже отвращение. Кетлинг же казался ей дороже прежнего. Ей дорога была мысль о нем, дороги его слова, его любимое лицо и его грусть. И вдруг все это надо было бросить, уйти от того, к кому стремилась душа и сердце, к кому протягивались руки, бросить любимого человека в тоске и отчаянии и отдаться душой и телом другому, который потому только был ей ненавистен, что был именно другим.

– Нет, видно, не совладать мне с собою! – думала Христина.

И она чувствовала то, что могла чувствовать пленница, которой связывают руки, а ведь она сама связала себя словом, данным Володыевскому; ведь она могла сказать ему раньше, что будет его сестрою и больше ничем.

Она вспомнила тот принятый и возвращенный поцелуй, и стыд и презрение к самой себе овладели ею. Любила ли она в то время Володыевского? – Нет. В сердце ее не было любви; было только немного сострадания; а любопытство и кокетство прикрывалось личиною сестринского сочувствия. Только теперь она почувствовала, что поцелуй по любви и поце-

луй по чувству сострадания так же походят друг на друга, как ангел на демона. Она презирала и вместе с тем сердилась на Володыевского. Ведь он тоже был виноват, почему же она одна сокрушались и беспокоилась об этом? Отчего же и он не попробует этого горького зелья? Не имеет ли она оснований сказать ему, когда он вернется: «Я ошиблась, и сочувствие к вам приняла за любовь, – вы тоже ошиблись и забудьте меня так, как я вас забыла!..»

Но она боялась мести грозного рыцаря, боялась не за себя, а за голову любимого человека, на которую должна была неминуемо обрушиться эта месть. Она представляла, как Кетлинг начинает биться с этим зловещим фехтовальщиком и как падает, подобно цветку, срезанному косой; ей представилась кровь, бледное лицо, закрытые навеки глаза, и страдания ее сделались невыносимы. Она быстро встала и ушла в свою комнату, чтобы спрятаться от людей и не слышать их разговора о скором возвращении Володыевского. Она все больше и больше ожесточалась против маленького рыцаря.

Но угрызения совести и сожаление последовали за нею и не покинули ее даже во время молитвы; они легли с нею в постель и продолжали свои речи, когда она лежала, изнемогая от усталости.

«Где он? – спрашивало ее сожаление. – Смотри, он не вернулся домой, ходит ночью и в отчаянии ломает руки. Ты, готовая отдать за него душу, отравила ему жизнь, вонзила ему

в сердце нож...»

«Если бы не твое кокетство и не желание нравиться всякому встречному, – говорило угрызение совести, – все могло бы быть иначе, а теперь тебе остается только отчаяние. Ты виновата, страшно виновата! Нет исхода и нет тебе спасения; остались лишь стыд слезы и горе...»

«А как он стоял перед тобою на коленях! – опять заговорило сожаление. – Странно, что у тебя не разорвалось сердце, когда он смотрел тебе в глаза и просил пощады. Чужого было бы жаль, а его, любимого, дорогого. Боже! Сжался над ним и пошли ему утешение!»

«Если бы не твоя ветренность, – повторяло угрызение совести, – он мог бы уйти довольный, ты могла бы броситься ему в объятия, как избранница его сердца, как жена...»

«И быть всегда с ним!» – прибавило сожаление.

«Ты виновата!» – говорило угрызение совести.

«Плачь, Христина!» – подсказывало сожаление.

«Напрасно, – молвило угрызение, – этим не смоешь вины!»

«Утешь его, чем можешь», – настаивало сожаление.

«Володыевский убьет его!» – отвечало угрызение.

Холодный пот обдал Христину, и она села на кровати. Вся комната была залита лунным светом и казалась какой-то таинственной и странной.

«Что это такое? – думала Христина. – Вон там, я вижу, спит Баса, потому что луна светит ей прямо в лицо, да ко-

гда же она успела прийти, раздеться и лечь? Ведь я ни минуточки не спала. Ах!..Видно, моя бедная головушка не в состоянии уже соображать...»

Пораздумав таким образом, она снова легла, но сожаление и угрызение совести, как два призрака, уселись опять краям кровати, то прячась, то выплывая из лунного света.

– Нет, лучше вовсе я не буду сегодня спать! – сказала себе Христина.

И она стала думать о Кетлинге, страдая все больше и больше.

Внезапно в тишине ночи раздался жалобный голос Баси.

– Христина!

– А?.. Ты не спишь?

– Мне снилось, что какой-то турок застрелил пана Володыевского стрелой. Ах, Господи, Боже мой Меня даже лихорадка трясет. Помолимся Богу, чтобы он уберег его от несчастья.

В голове Христины мелькнула, как молния, мысль: «Ах, если бы его кто-нибудь подстрелил!» В эту же минуту ею овладела такая злоба, что потребовались нечеловеческие усилия, чтобы молиться за Володыевского, однако она ответила:

– Хорошо, Бася, помолимся.

Затем обе они поднялись с кровати и стали голыми коленями на залитый ярким лунным светом пол и начали читать молитву. Голоса их то усиливались, то ослабевали, вза-

имно вторя друг другу; казалось, что комната превратилась в монастырскую келью, в которой две беленькие монашенки читают вслух ночные молитвы.

Глава XV

На следующий день Христина несколько успокоилась, так как из всех дорог она выбрала себе одну, наиболее трудную, но надежную; по крайней мере, вступая на нее, она знала, куда по ней может дойти. Она решила прежде всего увидеть Кетлинга и в последний раз переговорить с ним, чтобы избавить его от опасности. Но это не так легко было сделать, потому что Кетлинг несколько дней не показывался вовсе, а также не возвращался на ночь домой. Христина вставала на заре и ходила в ближайшую церковь доминиканского монастыря, надеясь встретить его и поговорить без свидетелей.

И в самом деле, спустя несколько дней она встретила его в воротах. Заметив девушку, Кетлинг снял шляпу, поклонился и остановился; на его лице были следы усталости и бессонных ночей, глаза ввалились, на висках появились желтые пятна; прекрасное лицо пожелтело, и весь он казался завядшим цветком. Сердце Христины готово было разорваться на части при виде этого, и, несмотря на свою врожденную робость и нерешительность, она первая протянула ему руку и сказала:

– Да пошлет вам Бог утешение и забвение!

Кетлинг взял ее руку и приложил сначала к горячему лбу, потом сильно и долго прижимая ее к своим губам и наконец заговорил решительным и полным смертельной тоски голо-

сом:

– Нет, я не утешусь и не смогу забыть вас!..

Была минута, когда Христине нужно было вооружиться всей силой воли, чтобы не обнять его и не сказать: «Люблю тебя больше всего! Бери меня!» Девушка чувствовала, что она готова заплакать, и потому крепилась и молча стояла против него. Однако она превозмогла себя и заговорила спокойно, но очень быстро, не переводя дыхания.

– Может быть, вы успокоитесь, когда я скажу вам, что иду в монастырь и не буду принадлежать никому. Не порицайте меня, потому что я и без того несчастна! Дайте мне слово, что вы никому не скажете про свои чувства... что вы не заикнетесь о том, что случилось... и я не откроюсь ни другу, ни родственнику. Это моя последняя к вам просьба. Будет время, когда вы узнаете, почему я это делаю. Но и тогда будьте великодушны! Больше ничего не могу вам сказать. Обещайте же мне то, о чем я вас прошу, и утешьте меня, иначе я умру!

– Клянусь! – отвечал Кетлинг.

– От души благодарю вас! Но старайтесь казаться спокойным при посторонних, чтобы кто-нибудь не догадался о ваших чувствах. Мне пора идти. Вы так добры, что я не подберу слов для благодарности. С нынешнего дня мы не будем больше встречаться наедине. Скажите же мне еще раз, что вы не сердитесь на меня. Потому что страдать не значит прощать. Помните, что вы уступаете меня Богу и нико-

му больше.

Кетлинг хотел сказать что-то, но страдания сдавили ему грудь, из которой вырвался какой-то неопределенный, подобный стону, звук, затем он дотронулся руками до висков Христины и долго так держал их, как бы благословляя и прощая ее. Затем они расстались; она прошла в церковь, а молодой человек пошел в гостиницу, избегая встречи с кем-нибудь из знакомых.

Христина только к полудню вернулась домой, где застала почетного гостя: это был подканцлер, прелат Ольшовский. Он неожиданно явился к Заглобе, желая познакомиться с этим знаменитым рыцарем, «ум и военные подвиги которого, как говорил он, могут служить образцом, достойным подражания, для всех рыцарей нашей великой Речи Посполитой». Заглобу несколько поразило, но еще больше обрадовало посещение такого почтенного священника: он потел, краснел и нежился, желая в то же время показать Маковецкой и девушкам, что он привык к визитам государственных сановников и чувствует себя вполне хорошо в их присутствии. Представленная прелату, Христина смиренно поцеловала его руку и села рядом с Басей, довольная, что никто не заметил на ее лице следов недавних потрясений.

Между тем подканцлер так щедро осыпал похвалами Заглобу, что казалось, будто он доставал эти похвалы из своих фиолетовых, обшитых кружевами рукавов, где их был большой запас.

– Не подумайте, что я явился сюда из одного любопытства видеть и познакомиться с первым рыцарем Речи Посполитой, и хотя герои всегда достойны удивления, однако мы привыкли посещать тех, у кого мужество и ум идут рука об руку, имея в виду и личную от этого пользу.

– Ловкость, особенно в военном деле, – скромно отвечал Заглоба – я приобрел с годами, и очень может быть, что только поэтому иногда со мной советовался еще покойный Конецпольский, отец хорунжего, а потом Николай Потоцкий, князь Иеремия Вишневецкий, Сапега и Чарнецкий, но что касается прозвища Улисса, то я всегда отказывался от него из скромности.

– Однако же оно так связано с вашим именем, что стоит только кому-нибудь сказать «наш Улисс», не называя по фамилии, и все тотчас же догадаются, о ком идет речь. Так что в нынешнее, трудное и богатое событиями время, когда многие не знают, как быть и чью держать сторону, я сказал: «Пойду послушаю мнения других, избавлюсь от сомнений и позаимствуюсь умным советом». Вы, я полагаю, догадываетесь, что дело идет о приближающихся выборах и что в настоящее время дорога каждая оценка кандидатов, не говоря уже о той, которую вы можете дать. Я слышал, что в кругу рыцарей упорно держится слух, что вы недружелюбно смотрите на иностранцев, посягающих на наш трон. Вы будто бы говорили, что Вазы не могли считаться иностранцами, так как в их жилах текла кровь Ягеллонов, но что эти кан-

дидаты совсем нам чужды, они не знают наших старопольских обычаев, не сумеют также сочувствовать нашей свободе и что отсюда очень легко может возникнуть неограниченная форма правления. Признаюсь вам, что мнение это достойно уважения, но простите меня за вопрос: действительно ли вы высказали это мнение или же общество приписывает вам, по обыкновению, все глубокомысленные замечания.

– Вот эти дамы могут быть свидетельницами, – отвечал Заглоба, – и хотя им несвойственно рассуждать о таких предметах, однако пусть они скажут, если их Господь наградил наравне с нами даром слова.

Подканцлер невольно взглянул на Маковецкую и на прижавшихся друг к другу девушек.

Воцарилось глубокое молчание; спустя минуту вдруг раздался серебристый голосок Варвары Езеровской:

– Я не слышала!

И девушка страшно сконфузилась и покраснела до ушей, особенно потому, что Заглоба сейчас же сказал:

– Простите, ваше преподобие! Она молода и потому ветрена. Что же касается кандидатов, то я не раз говорил, что свобода поляков может пострадать от них.

– Я сам побаиваюсь этого, – отвечал Ольшовский, – но если бы мы захотели выбрать кого-нибудь из династии Пястов, который был бы одной с нами крови, то посоветуйте нам, на кого обратить внимание? Одна ваша мысль о Пясте так велика, что она, подобно пламени, распространяется по стране

и везде на сеймиках только и слышно: «Пяст! Пяст!»

– Правда, правда! – перебил Заглоба.

– Однако, – продолжал подканцлер, – гораздо легче говорить о Пясте, чем найти такого, который бы отвечал всем требованиям, поэтому не удивляйтесь, если я спрошу вас кого вы имеете в виду?

– Кого я имел в виду? – повторил озабоченна Заглоба.

И он оттопырил нижнюю губу и сморщил брови. Ему трудно было ответить на это фазу, так как до этого времени он не только не имел никого в виду. Он вообще не имел того мнения, которое навязал ему ловкий подканцлер. Впрочем, он знал и понимал, что Ольшовский желает склонить его на чью-то сторону, и Заглоба нарочно заставил его высказаться, так как речи эти льстили его самолюбию.

– Я только говорил в принципе, что нам нужен Пяст, – отвечал он наконец, – но я, говоря правду, не называл никого.

– Я слышал о честолюбивых замыслах Богуслава Радзивилла! – сказал вскользь Ольшовский.

– Пока я могу дышать своими легкими, пока в жилах моих будет течь еще кровь, – вскричал глубоко убежденный Заглоба. – Не бывать этому! Я не хотел бы жить среди такого опозоренного народа, который бы избрал своим королем Иуду-предателя!

– Это голос ума и гражданской добродетели! – пробурчал подканцлер.

«А – подумал Заглоба, – ты хочешь, чтобы я проговорил-

ся, но подожди, я заставляю и тебя высказаться».

Ольшовский продолжал:

– Когда же ты, наше отечество, пустишься опять в плавание, подобно восстановленному кораблю? Какие бурят скалы встретятся тебе на пути? Горе тебе, если чужеземец делается твоим кормчим, но что же делать, если среди твоих сынов не найдется достойного.

При этом он развел своими белыми руками, украшенными драгоценными перстнями, и, как бы сдаваясь, склонил голову и сказал:

– Остается только Конде, князь Лотарингский или Нейбургский?.. Ничего не поделаешь.

– Это невозможно! Пяст! – отвечал Заглоба.

– Кто? – спросил Ольшовский. Опять молчание.

Подканцлер заговорил снова.

– Найдется ли кто-нибудь, кого бы все согласились избрать? Где же тот, кто мог бы сразу так понравиться всему воинству, против которого никто не смел бы роптать?.. Был один величайший, достойнейший и добрейший ваш приятель, окруженный почестями и славой. – Да, был такой.

– Князь Иеремия Вишневецкий – перебил его Заглоба.

– Да, но он уже в могиле.

– Сын его еще жив! – отвечал Заглоба.

Подканцлер закрыл глаза и долго сидел молча, потом вдруг поднял голову, посмотрел на Заглобу и медленно произнес.

– Слава Богу, что он внушил мне мысль познакомиться с вами. Да, сын великого человека жив, молод и полон сил, а Речь Посполитая у него в долгу. Но из всего громадного состояния у него ничего не осталось, кроме славы, так что в нынешнее испорченное время кто осмелится произнести его имя, кто будет поддерживать его кандидатуру, когда каждый обращает внимание только на золото? Вы – это другое дело! Но много ли найдется таких? Неудивительно, что тот, который провел геройски свой век на поле битвы, не устрашитя отдать дань справедливости на поле выбора. Но последуют ли остальные его примеру?.

При этих словах подканцлер задумался и, подняв к небу глаза, продолжал;

– Бог сильнее всех; Он один знает, что ожидает нас. Как только подумаю я о том, что все рыцарство верит и надеется на вас, то замечаю, что какая-то надежда внедряется и в моем сердце. Скажите мне по правде, существовало ли когда-нибудь невозможное для вас?

– Никогда! – отвечал убедительно Заглобз.

– Однако мы не можем выставить его сразу кандидатом. Пусть лучше все привыкнут к его имени, но так, чтобы оно не казалось слишком грозным для противников, пусть они лучше смеются и пренебрегают им, но не ставят более сильных претендентов. Может быть, что-нибудь и выйдет из этого с Божьей помощью, когда старания обеих партий взаимно уничтожатся. Прокладывайте понемногу дорогу, так как ваш

кандидат достоин вашего ума и опытности. Да благословит вас Бог в ваших предприятиях!..

– Могу ли я предполагать, – спросил Заглоба, – что вы тоже думали о князе Михаиле?

Прелат-подканцлер вынул из-за рукава маленькую книжечку, на которой чернело крупное заглавие: «Censura candidatorum», и сказал:

– Читайте, и пусть эта рукопись ответит за меня!

Сказав это, подканцлер собрался уходить, но Заглоба задержал его и сказал:

– Позвольте мне еще ответить вам. Прежде всего благодарю Бога, что малая печать находится в таких руках, которые умеют смягчать сердца людей.

– Как так? – спросил удивленный подканцлер.

– Во-вторых, говорю вам, что кандидатура князя Михаила весьма близка моему сердцу, так как я знал и любил его отца, а также вместе со своими друзьями сражался под его командой, поэтому-то они все будут рады, когда окажется возможность высказать ту любовь для сына, которую они питали к его отцу. Вот я и хватаюсь обеими руками за этого кандидата и сегодня еще поговорю с подкоморием Крыцким, который не только знаком мне, но приходится даже сродни; его очень любит шляхта, да и трудно не любить его. Вот оба мы и будем стараться сколько возможно и, с помощью Божьей, что-нибудь да сделаем.

– Да руководят вами ангелы небесные, – отвечал прелат, –

и если так, то мне больше ничего не надо.

– Ваша честь, позвольте мне сказать еще одно. Я боюсь, чтобы вы не подумали: «Навязал я ему свои собственные взгляды, уверил его, что он сам додумался до кандидатуры князя Михаила, короче, сделал из дурака что вздумалось». Ваша честь! Я буду держать сторону князя Михаила только потому, что сочувствую ему, вот что! И потому, что вы тоже симпатизируете ему!.. Я буду стоять за княгиню, за моих друзей, ради уважения к тому уму, – при этом Заглоба поклонился, – который произвел на свет эту Минерву, но все не ради того, что вы уговорили меня, как ребенка; наконец, скажу вам, что я поступал по собственному убеждению, а не потому что я дурак, который на всякое предложение умного человека говорит хорошо!

При этом Заглоба поклонился еще раз и умолк. Ксендз-подканцлер сначала заметно сконфузился, но, видя веселое лицо старого шляхтича и чувствуя, что дело принимает хороший оборот, он искренно расхохотался и, схватившись за голову, начал повторять:

– Улисс, ей-Богу, настоящий Улисс! Милый брат, говорят, что когда хотят сделать добро, то надо всячески хитрить с людьми, но с вами, как я вижу, надо действовать открыто. Вы мне пришлись по душе.

– Точно так же, как мне князь Михаил.

– Да пошлет вам Господь здоровья! Я доволен, несмотря на то, что вы меня победили Много, должно быть, вам при-

шлось съесть в молодости скворцов. А вот этот перстень пусть останется у вас на память о нашем союзе.

– Пусть лучше этот перстень останется на своем месте, – возразил Заглоба.

– Примите его ради меня.

– Нет, ни за что не возьму! Разве потом, когда-нибудь, после элекции.

Подканцлер понял и больше не настаивал; однако он ушел с сияющим лицом.

Заглоба проводил его за ворота и, возвращаясь обратно, ворчал про себя:

– Гм! Вот ему *и* наука! Попал дока на доку... Но все-таки мне честь! Скоро сюда станут приезжать первые сановники. Интересно, что там думают наши дамы?

Действительно дамы удивлялись Заглобе, который вырос в их глазах, особенно в глазах Маковецкой, и не успел он показаться, как она воскликнула с жаром:

– Вы превзошли Соломона своим умом!

– Кого, вы говорите, я превзошел? – сказал с радостью Заглоба. – Подождите, скоро увидите и гетманов, и епископов, и сенаторов, так что придется просто отбиваться от них или прятаться за занавеску...

Разговор их был прерван приходом Кетлинга.

– Кетлинг, хочешь повышения? – спросил Заглоба, опьяненный собственным величием.

– Нет, – отвечал печально рыцарь, – мне опять придется

уехать.

Заглоба взглянул на него внимательнее.

– Что это ты, словно пришибленный?

– Да вот потому, что уезжаю.

– Куда?

– Я получил письма из Шотландии от моих старых друзей, а также от друзей моего отца. Мне нужно непременно поехать туда по делам и, может быть, надолго... Грустно мне расставаться с вами, но ничего не поделаешь!

Заглоба вышел на середину комнаты, посмотрел на Маковецкую, а потом по очереди на обеих девушек и спросил:

– Вы слышали? Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

Аминь!

Глава XVI

Хотя Заглоба изумился, услышав об отъезде Кетлинга, однако в уме его не мелькнуло и тени какого-нибудь подозрения; впрочем, легко было подумать, что Карл II припомнил услуги предков Кетлинга и пожелал отблагодарить последнего потомка этого рода. Гораздо более странным могло бы показаться Заглобе, если бы было иначе. Вдобавок Кетлинг показал Заглобе какие-то заморские письма, чем окончательно уверил его.

Этот отъезд поколебал однако все планы старого шляхтича, и поэтому он с беспокойством подумывал о том, что будет дальше. Володыевский мог приехать с минуты на минуту.

«Степной ветер наверняка развеял его грусть, – думал Заглоба, – и он вернется еще большим молодцом, чем уехал, а так как его всегда больше тянуло к Христине, то он тут же сделает ей предложение. А потом? Ну, а потом Христина, конечно, согласится, ибо как же отказать такому кавалеру, притом брату Маковецкой, и бедный, милый „мальчик“ останется ни при чем».

Зггтюба с упорством старых людей решил женить маленького рыцаря на Езеровской, так что ни доводы Скшетуского, ни его собственное решение, ничто не могло отказаться от этого.

Иногда он давал себе слово не мешаться ни во что,

но вслед за тем упорно возвращался к мысли о сватовстве. Целые дни раздумывал Заглоба о том, как взяться за дело, составлял планы и придумывал всевозможные комбинации. Старик до того увлекался, что когда находил, по его мнению, средство, та громко вскрикивал, воображая, что все уже окончилось.

– Да благословит вас Бог!

И вдруг он увидел, что все его желания и планы почти рухнули. Оставалось только бросить все и сдаться на волю Божью. Из головы Заглобы улетела тень надежды, что Кетлинг обнаружит, свои чувства и предпримет что-нибудь решительное перед отъездом. Поэтому старый рыцарь, руководимый лишь любопытством и горем, затеял расспросить молодого человека о времени его отъезда и о том, чем намерен он заняться, возвратись а Польшу. Подозвав его, Заглоба печально спросите.

– Так как каждый лучше всего знает, что ему надлежит делать, то я не стану упрашивать тебя остаться, но мне хотелось бы только знать, когда ты вернешься?..

– Могу ли я угадать, что ждет меня впереди, – отвечал Кетлинг. – Ждет ли меня там успех или неудача – не знаю... Если можно будет, то вернусь когда-нибудь, а нужно будет, то останусь там навсегда.

– Вот увидишь, что сердце твое будет рваться к нам.

– Хотел бы умереть только здесь, в этой стране, которая дала мне все, что могла даты.

– Видишь ли, в других странах иноземец всегда останется пасынком, а наша мать сейчас пригреет и приласкает всякого.

– Истина это, великая истина! Ах, если бы я только мог. Я все могу встретить в своем старом отечестве, только не счастье.

– Ведь говорил я тебе: остепенись, женись, а ты и слушать не хотел, А женившись, ты уж не мог бы покинуть нас, а должен был бы вернуться, разве только ты захотел бы возить свою жену по бурным волнам, чего я вовсе не одобряю. Что же, я советовал тебе, а ты не хотел слушать.

При этом Заглоба стал пристально всматриваться в лицо Кетлинга, ожидая оправданий, но последний молчал, свесив голову и опустив глаза.

– Что же ты скажешь, а? – сказал, немного помолчав, Заглоба.

– Не было подходящего случая, – медленно отвечал молодой рыцарь.

Заглоба стая шагать по комнате, а потом, остановившись перед Кетлингом, заложил назад руки и сказал:

– А я говорю тебе, что был! А если не было, то пусть я не подпояшу больше этим кушаком своего брюха. Христина хорошо к тебе относится.

– Бог даст что она и всегда хорошо будет относиться ко мне, даже когда, когда нас разделят моря.

– Ничего! Больше ничего!

– Ты говорил с ней об этом?

– Ах, оставьте, пожалуйста, мне и без того грустно, что я уезжаю.

– Кетлинг, хочешь я спрошу, пока еще не ушло время?

Молодой рыцарь подумал, что так как Христина хотела, чтобы любовь их осталась тайной для всех, то она обрадуется возможности открыто отказаться от нее.

– Уверяю вас, ничего не выйдет из этого; я сделал все возможное, чтобы выбросить из головы это чувство, но если вы верите в чудеса, то можете спросить.

– Конечно, если ты старался искоренить в тебе это чувство, то ничего не поделаешь. Только позволь же тебе, что я был гораздо лучшего мнения о твоём постоянстве.

Кетлинг встал, порывисто вскинул руки и начал говорить с несвойственной ему горячностью.

– К чему желать овладеть вон теми звездами, которые горят в небесах я не взлечу худа, а они не в состоянии снизойти ко мне. Горе тем, которые вздыхают по луне.

Заглоба рассердился и стал сопеть. Несколько времени он не мог даже говорить, и только поборов свой гнев, отвечал отрывистым голосом:

– Милый мой! Каким же дураком ты считаешь меня! Но если ты хочешь рассуждать, то говори со мной, как с человеком, который питается мясом и хлебом, а не беленой. Если бы я вдруг помешался и стал уверять тебя, что моя шапка – это луна, которой я не могу достать; тогда, конеч-

но, я стая бы ходить по городу с открытой лысиной, а мороз хватал бы меня за уши, как собака за ноги. Но я не способен на это. Я только то знаю, что эта девушка сидит здесь в третьей комнате от нас, что она ест и пьет, что она тоже шагает ногами, когда ходит, что нос ее краснеет от мороза, а в жару ей жарко, что ей чешется там, где комар укусит, и что она тем только похожа на луну, что не имеет бороды. Если рассуждать по-твоему, то можно сказать, что репа – это астролог. А что касается Христины, то ты сам виноват, если не говорил с нею, но если ты полюбил девушку, вообразил себе, что она недоступна, как луна, и уезжаешь отсюда, то ты этим отравишь свой ум и свою честь, вот что я хотел сказать тебе!

– От пищи, которую я употребляю, – возразил Кетлинг, – мне не сладко, но горько. Я еду, потому что долг велит, и не спрашивал, потому что не было о чем. Но вы ложно судите обо мне. Видит Бог, что ложно. Сильно ошибаетесь.

– Послушай, Кетлинг, я ведь знаю, что ты порядочный человек, только я никак не могу понять твоего поведения. В наше время, бывало, отправляешься к девушке и говоришь ей в глаза: «Любишь – будь моею; не любишь – я не возьму тебя». И всякий знал, что ему надлежит делать, а у кого не хватало храбрости, тот посылал за себя кого-нибудь другого. Я предлагал тебе поговорить с нею и еще раз предлагаю. Я пойду переговорю и принесу тебе ответ, а ты, соображаясь с ним, уедешь или останешься – это дело твое.

– Я поеду, потому что иначе невозможно.

– Но ты вернешься.

– Нет! Но сделайте милость, не говорите больше об этом; если вы хотите удовлетворить свое собственное любопытство, то можете спрашивать что угодно, только не от моего имени.

– Боже мой! Да ты, верно, уже спрашивал.

– Оставим этот разговор! Ради всего святого.

– Ну хорошо, будем говорить о воздухе. Черт побери, что у вас за манера. Так значит, ты должен ехать, а я – проклинать.

– Прощайте.

– Стой, стой! У меня сейчас злость пройдет. Кетлинг, голубчик, подожди немного, мне нужно поговорить с тобой. Когда же ты едешь?

– Когда поустроюсь с делами. Мне хотелось бы дожидаться присылки арендных денег, а домик, где мы жили, я охотно продал бы, если бы случился покупатель.

– Пусть купит Маковецкий или Володыевский! Ах, Боже мой, да неужели ты уедешь, не попрощавшись с Михаилом?

– Мне очень жаль, что я не увижу его.

– Он приедет сюда очень скоро, мы ждем его с минуты на минуту! Может быть, он уговорит тебя взять Христину. – При этом Заглоба замолк, как бы охваченный каким-то беспокоеством.

«Хорошо, если я угожу Мише, а если он вовсе не захочет этого и отсюда выйдет недоразумение между ним и Кетлин-

гом, тогда пусть себе Кетлинг лучше уезжает», – подумал он.

И Заглоба начал тереть себе лысину и, наконец, сказал:

– Все это говорится от полноты моих чувств. Я до того ставил Христину, как приманку. Все это от любви к тебе. Что мне, старику, за дело до всего этого?.. Это поистине одна привязанность к тебе, и больше ничего. Я ведь не занимаюсь сватовством, потому что иначе стал бы прежде всего сватать себя. Ну, бей меня по роже, но не сердись!

Кетлинг обнял Заглобу, который до того расчувствовался, что тотчас же велел подать флягу вина и сказал:

– Ради твоего отъезда мы каждый день будем выливать по одной такой фляжке.

Они выпили; Кетлинг попрощался и ушел. Вино между тем так подействовало на воображение Заглобы, что он упорно стал думать о Варваре, Христине, Володыевском и Кетлинге, мысленно составлял из них пары и благословлял их; наконец, он соскучился по девушкам и сказал себе:

– Пойду-ка я посмотрю на этих коз.

Девушки сидели в комнате, помещавшейся по другую сторону сеней, и прилежно вышивали. Поздоровавшись с ними, Заглоба стал ходить по комнате, слегка волоча за собою ноги, которые отказывались ему служить после вина. Он посматривал на девушек, которые сидели друг подле друга, так что русая головка Баси почти касалась темных волос Христины. Варвара следила глазами за Заглобой, но Христина прилежно шила, и иголка ее быстро мелькала взад и вперед.

– Гм! – отозвался Заглоба.

– Гм! – повторила Варвара.

– Не передразнивайте меня: я сердит!

– Он, верно, отрубит мне голову! – воскликнула девушка, притворяясь испуганной.

– Тра-та-та! Тараторка! Стоит вам язык отрезать, вот что!

Говоря это, Заглоба приблизился к девушкам и, подбоченясь, вдруг спросил без всякого предисловия.

– Хотите замуж за Кетлинга?

– Даже за пятерых таких сразу, – тотчас же ответила Варвара.

– Тише, муха, вас не спрашивают. Я к вам обращаюсь, Христина, хотите замуж за Кетлинга?

Христина слегка побледнела, хотя и подумала вначале, что Заглоба спрашивает это у Варвары, потом она взглянула на старого шляхтича своими темно-голубыми глазами и спокойно ответила:

– Нет!

– Почему же нет? Вот это мило, по крайней мере, коротко! Скажите, пожалуйста! А почему же вы, барышня, не желаете?

– Потому что я ни за кого не выйду замуж.

– Голубушка Христина, ты бы сказала это кому-нибудь другому, – вмешалась Варвара.

– Отчего же вам так противно замужество? – продолжал Заглоба свои расспросы.

– Мне не противно замужество, но я хотела бы поступить в монастырь, – отвечала Христина.

Голос ее звучал так убедительно и так грустно, что Бася и Заглоба ни на минуту не подумали, что это шутка. Они с изумлением стали посматривать друг на друга.

– Гм! – сказал Заглоба.

– Я хочу поступить в монастырь, – кротко повторила Христина.

Варвара посмотрела на нее, потом обняла ее за шею и, прижавшись своими алыми губками к щеке Христины, быстро заговорила:

– Христина, дорогая моя, скажи, что ты молвила это на ветер, а то я готова реветь и, ей-Богу, зареву!

Глава XVII

После свидания с Заглобой Кетлинг был еще раз у Маковецкой и сообщил ей, что должен остаться в городе по делам и, может быть, уедет на несколько недель в Курляндию перед окончательным отъездом. Он выразил сожаление, что не может лично принимать в своем доме дорогих гостей, но умолял ее считать всегда его домик своей резиденцией и жить там с братом во время выборов.

Маковецкая согласилась, потому что дом все равно был бы необитаем и не приносил никому пользы.

После этого разговора Кетлинг исчез и не показывался больше ни в гостинице, ни в окрестностях Мокотова, куда вскоре переехала Маковецкая с девицами. Одна лишь Христина чувствовала его отсутствие, так как Заглоба был занят приближающейся элекцией, а Маковецкая и Варвара так близко приняли к сердцу решение Христины, что не могли думать больше ни о чем.

Однако Маковецкая не пробовала уговаривать девушку отказаться от этой мысли и сомневалась, чтобы муж ее сделал иначе, так как в те времена считалось грехом отклонять кого-нибудь от подобного решения. Лишь один Заглоба, несмотря на свою религиозность, мог бы протестовать, если бы оказалось нужным, но так как в этом не предвиделось ни малейшей нужды, то он был совершенно спокоен

и даже радовался в душе, что Христина не будет мешать браку Варвары с Володыевским. Теперь Заглоба не сомневался больше в благополучном исходе своих задушевных желаний и отдался вполне общественным делам и приготовлениям к элекции. Он посещал шляхту и проводил время в беседах с ксендзом Ольшовским, которого он очень полюбил, и сделался его сообщником и другом.

После каждой такой беседы он возвращался домой еще большим сторонником Шста и заклятым врагом чужеземцев. Согласно наставлениям лодканцлера, он не говорил громко об этом, но не проходило дня без того, чтобы он не привлек кого-нибудь на сторону своего тайного кандидата И наконец, как обыкновенно бывает в таких случаях, эта кандидатура и свадьба Баси с Володыевским сделались просто целью его жизни.

Между тем срок элекции приближался.

Уже весна сняла ледяные оковы с рек и ручейков, подули теплые ветры, и деревья покрылись почками; цепи ласточек разорвались, и они начали выглядывать из мрака вод на свет Божий, как говорит простой народ. А вместе с ласточками и другими перелетными птицами начали стекаться отовсюду гости на выборы.

Прежде всего явились купцы, ожидавшие большого барыша там, куда стеклось более полумиллиона народу, считая вельмож и их дворы, а также шляхту, слуг и войска Сюда явились англичане, голландцы, немцы, русские, приеха-

ли также татары, турки, армяне и даже персы; они привезли сукна, полотна, камчатные ткани, парчу, меха, драгоценные и благовонные товары, а также сласти. На улицах и за городом были разбиты навесы, где помещались всевозможные товары. Некоторые «базары» расположились даже в окрестных деревнях, так как всем было известно, что в столичных гостиницах может поместиться разве десятая часть всех избирателей и что большинство их поместится вне города, как и всегда бывало во время элекции. Наконец стала стекаться шляхта такими массами, что если бы они явились в таком количестве на неукрепленных границах Польши, то ни один неприятель не осмелился бы переступить их.

Носился слух, что выборы будут очень бурными, так как все мнения в государстве делились на три части, из которых каждая имела своего кандидата: Конде, князя Нейбургского и князя Лотарингского. Поговаривали, что каждая партия готова поддерживать оружием *своего* кандидата. Все беспокоились, но каждый упорно решил держаться своего кандидата. Предсказывали даже междоусобную войну, и мысль эта казалась вероятною при виде громадной военной дружины, сопровождавшей каждого вельможу, которые старались приехать пораньше, чтобы склонить побольше голосов на свою сторону. Когда Речь Посполитая была окружена неприятелями, которые прикладывали ей нож к горлу, тогда король и гетман смогли собрать лишь горсть войска, а теперь одни Радзивиллы явились, вопреки зако-

нам и постановлениям, с несколькими тысячами войска; точно так же, Пацы вели за собою большие отряды, а могущественные Потоцкие готовились привести с собою не меньше их; одни только польские, русские и литовские «князьки» являлись с меньшими силами. «Когда же ты опять поплывешь спокойно, корабль моего отечества!» – все чаще повторял ксендз Ольшовский, но сам руководился частностями; лишь одни донельзя испорченные аристократы думали о себе и о величии собственного рода; они готовы были каждую минуту раздуть междоусобную войну.

Число шляхты возрастало каждый день, и можно было надеяться, что после сейма, когда начнется элекция, они превзойдут силой всех сторонников вельмож. Но эта именно толпа не была в состоянии направить корабль Речи Посполитой на тихое течение, ибо ум их находился во мраке, а сердца были испорчены.

Все поэтому ожидали, что элекция будет обезображена, но никто не мог предугадать, что она будет такой жалкой, как оказалось впоследствии. Все сторонники «Пяста», кроме Заглобы, не будучи в состоянии предвидеть, до какой степени им помогут происки магнатов и бессмысленность шляхты, мало верили в возможность поддержать такого кандидата, как князь Михаил. Но Заглоба как рыба плавал в этом море. Когда начался сейм, он поселился в городе и только иногда заезжал в домик Кетлинга, чтобы повидать своего «мальчика», но и Бася не веселилась по-прежнему, расстроенная

решением Христины, а потому Заглоба брал ее иногда в город посмотреть на базары и развлечься.

Они обыкновенно уезжали из дому рано утром и часто возвращались поздно вечером. Сердце девушки радовалось при виде неизвестных ей предметов и людей, а также разноцветной толпы и горделивых войск. Тогда глазки ее загорались, как угольки, а головка вертелась, как на шарнирах; она не могла налюбоваться и насмотреться вдоволь. Девушка осыпала Заглобу вопросами, на которые он охотно отвечал, потому что ему представлялась возможность обнаружить свою опытность и ученость. Очень часто компания приличных офицеров окружала их экипаж; все восхищались красотой Баси, ее остроумием и живостью характера, и тогда Заглоба, чтобы поразить их окончательно, рассказывал им историю татарина, которого она убила дробью.

Однажды они возвращались очень поздно, потому что целый день рассматривали свиту Феликса Потоцкого. Ночь была теплая, светлая; над лугами повис белый туман. Хотя Заглоба всегда остерегался, чтобы не нарваться на мошенников, что было не мудрено при таком сборище всевозможного люда и солдат, однако он крепко уснул, возница тоже вздремнул, и только одна Езеровская бодрствовала, потому что думала обо всем виденном. Вдруг послышался топот нескольких лошадей. Девушка потянула Заглобу за рукав и сказала:

- Какие-то всадники летят за нами!
- Что? Как? Кто? – спрашивал спросонья Заглоба.

– Всадники какие-то мчатся за нами. Заглоба окончательно проснулся.

– Вот-те на! Сейчас уже и за нами. Правда, топот слышен, но может быть, кто-нибудь просто едет по этой же дороге.

– Я уверена, что это разбойники!

Басе страшно хотелось верить, что это разбойники, потому что она желала в душе, чтобы на них или напали, или что-нибудь случилось, чтобы ей можно было выказать свою храбрость. И когда Заглоба, сопя и ворча, стал вынимать из-под сиденья карманные пистолеты, которые он возил всегда с собой «на всякий случай», то Бася стала настаивать, чтобы Заглоба отдал ей один из них.

– Первого, который приблизится к нам, я уложу на месте. Тетя хорошо стреляет из бандельера, но она ничего не видит ночью. Я уверена, что это разбойники! Ах, Боже мой! Хотя бы они напали на нас! Давайте мне скорее пистолет!

– Хорошо – согласился Заглоба, – но дайте мне слово не стрелять, пока я не скажу «пали»! Дай вам только оружие, так вы готовы выстрелить в первого попавшегося дворянина, не спрося предварительно «кто едет»? А потом разбирайся там с вами!

– В таком случае я спрошу раньше «кто едет».

– Ба, а если это будут какие-нибудь пьяницы, которые, услышав женский голос, как-нибудь неприлично сострят.

– Тогда я выпалю из пистолета, хорошо?

– Ну, вот извольте брать такого вертопраха в город Гово-

рят вам, нельзя стрелять без команды.

– Я спрошу «кто едет» таким басом, что они не узнают.

– Пусть себе и так! Гм! Да они уже близко. Будьте уверены, что это порядочные люди, потому что мошенники спрятались бы где-нибудь во рву.

Но так как действительно встречалось много мошенников по дорогам и очень часто рассказывали про разные случаи, то Заглоба велел вознице не подъезжать близко к чернеющим на повороте деревьям, но остановиться на освещенном месте.

В это время четыре всадника приблизились к ним на расстояние нескольких шагов. Тогда Бася громко окликнула их басом, который, по ее мнению, мог быть свойствен гусару:

– Кто едет?

– А что эта вы стали на дороге? – отвечал один из всадников, который, вероятно, подумал, что с проезжими случилось какое-нибудь приключение. Но, услышав этот голос, Варвара сейчас же опустила пистолет и быстро сказала Заглобе:

– Право, это, кажется, дядя?.. О Господи!..

– Какой дядя?

– Маковецкий.

– Эй, вы! – крикнув Заглоба – Не пан ли это Маковецкий с Володыевскмм?

– Заглоба! – откликнулся маленький рыцарь.

– Миша!

Заглоба заторопился и стал спускать ноги из повозки, но пока он спустил одну из них, Володыевский успел уже соскочить с коня и очутиться возле коляски. Узнав Варвару при лунном свете, он схватил ее за руки и поспешно сказал:

– Сердечно приветствую вас! А где *ж* панна Христина и сестра? Все ли здоровы?

– Здоровы, слава Богу! Наконец-то, вы вернулись, – отвечала с бьющимся сердцем Варвара. А дядя тоже здесь? Дядя! – Говоря это, она обняла Маковецкого за шею, а Заглоба тем временем обнял Володыевского.

После долгих приветствий маленький рыцарь представил стольника Заглобе, и приезжие всадники отдали лошадей конюхам, а сами уселись в экипаж. Маковецкий с Заглобой заняли почетное место, а Варвара с Володыевским сели на передней скамеечке.

Начались краткие вопросы и ответы, как обыкновенно, когда встречаются после долгого отсутствия.

Маковецкий расспрашивал про жену, а Володыевский еще раз спросил о здоровье Христины; его удивило решение Кетлинга уехать, но он не остановился на этом, так как тотчас же должен был рассказать, что он делал в станице, как он подкарауливал мятежных ордынцев и как тосковал, но все-таки был рад, что отведал снова старой жизни.

– Мне просто казалось, – говорил он, – что мы опять с Скшетуским, Кушелем и Вершулом! И только когда мне приносили утром ведро воды, чтобы умыться, я видел у себя

на висках седые волосы... тогда, разумеется, я опомнился, что я уже не тот, что был раньше, хотя мне все-таки казалось, что человек все тот же, пока у него есть охота жить.

– Вот это правда, – отвечая Заглоба, – вижу, что твое остроумие опять вернулось к тебе в степях, потому что раньше ты не выражался так метко. Саше главное – это охота! И нет лучшего лекарства от меланхолии.

– Что правда, то правда, – прибавил Маковецкий. – В Михайловской станице ужасно много подъемных шროмыслов для добывания воды, потому что там нет ни одного источника. Так что, поверите ли, когда солдаты начнут на рассвете скрипеть этими насосами, просто душа радуется. Проснешься и сейчас же готов благодарить Создателя за то только, что живешь.

– Ах, если бы мне побывать хоть денек там! – воскликнула Варвара.

– Остается только одно средство, – отвечал Заглоба. – Выйти замуж за ротмистра пограничной стражи.

– Нововейский раньше или позже будет ротмистром, – прибавил маленький рыцарь.

– Ну, начали уж! – рассердилась Езероекая. – Я вовсе не просила вас, чтобы вы мне привезли Нововейского вместо гостинца.

– Я вам привез еще кое-что, а именно, вкусных сластей. Вам будет здесь сладко, а бедняге Нововейскому там – горько.

– Зачем же вы не отдали ему эти спасти, пускай бы он кушал их там и дожидался, пока у него вырастут усы.

– Вообразите себе, – сказал Заглоба Маковецкому, – что они всегда так пикируются К счастью, пословица говорит «милые бранятся – только тешатся».

Бася ничего не отвечала, а Володыевский, как бы ожидая ответа, заглянул ей в лицо, освещенное лунным светом, и это крошечное личико показалось ему до того красивым, что он невольно подумал: «Ну и хороша же эта шельма, пожалуй, влюбишься».

Но, очевидно, он тотчас же подумал о другом, потому что сказал вознице:

– А ну-ка, посчитай кнутом лошадей и поезжай поскорее.

После этого обращения к кучеру коляска покатила так быстро, что наши путешественники долго сидели молча, и только когда они выехали на пески, Володыевский заговорил:

– У меня не выходит из головы этот отъезд Кетлинга, и надо же было так случиться, что он пришелся как раз к моему приезду и к началу лекции.

– Англичане столько же обращают внимания на нашу лекцию, сколько на твое прибытие, – отвечал Заглоба. – Бедный Кетлинг сам не свой, что принужден покинуть нас.

Варваре так и хотелось сказать: «Особенно Христину», но она почему-то решила, не вспоминать ни о Христине, ни о ее обете. Женский инстинкт подсказал ей, что подобное

известие может опечалить Володыевского, и ей самой сделалось как-то больно, поэтому она и замолкла, несмотря на всю порывистость своей натуры.

«Он и без того узнает о намерении Христины, – подумала она про себя, – но лучше всего не вспоминать об этом, тем более что и Заглоба не заикнулся о ней».

Между тем Володыевский обратился опять к вознице.

– Поезжай живей!

– Мы оставили своих лошадей и вещи в Праге. – сказал Маковецкий Заглобе. – и поехали вчетвером почти ночью, так как нам ужасно хотелось доехать поскорее.

– Верю, – согласился Заглоба. – Видели вы, сколько людей понаехало в столицу? За рогаткой стоят обозы и палатки, так что трудно и проехать. Удивительные вещи рассказывают об элекции, но об этом я вам расскажу дома, когда будет время.

Начался разговор о политике; Заглоба ловко старался выведать мнение стольника и, обращаясь к Володыевскому, без обиняков спросил:

– А ты, Миша, за кого отдашь голос?

Но вместо ответа Володыевский только вздрогнул и, как бы проснувшись, сказал:

– Интересно, спят ли они и увидим ли мы их сегодня?

– Верно, спят, – отвечала Варвара кротким и как будто сонным голосом, – но они проснутся и выйдут поздороваться с вами.

– Вы думаете? – спросил обрадованный рыцарь.

Он снова посмотрел на Варвару и снова подумал: «А ведь она хороша, эта шельма, при лунном свете!»

Они приближались к дому Кетлинга и через минуту уже были там.

Жена стольника и Христина уже почивали, но прислуга еще не спала, ожидая возвращения Варвары и Заглобы к ужину. Как только они вошли, в доме поднялась суматоха, Заглоба велел разбудить побольше людей, чтобы приготовить теплое кушанье для гостей.

Стольник хотел было идти к жене, но та, услышав стук, догадалась, кто приехал, и через минуту очутилась внизу в накинутах наскоро платье; запыхавшись, она приветствовала мужа со слезами на глазах. Начались поцелуи, объятия и торопливые речи, перемешанные с восклицаниями. Володыевский то и дело посматривал на дверь, в которую скрылась Варвара и из которой он надеялся увидеть свою возлюбленную, сияющую от тихого счастья, веселую, с блестящими глазами и распушенной второпях косой, но увы, никто не выходил из них, и только данцигские часы мерно постукивали в углу; время между тем летело обычным порядком; подали ужин, а дорогая и возлюбленная девушка все еще не являлась.

Наконец вошла одна Бася, грустная и нахмуренная; она подошла к столу и, оправляя ручкой свечу, обратилась к Маковецкому:

– Дядя! Христине нездоровится, так что она не придет, но она просит вас подойти хоть к дверям, чтобы поздороваться с вами.

Маковецкий сейчас же встал и вышел; Бася отправилась вслед за ним.

Маленький рыцарь сильно опечалился и сказал:

– Я никак не ожидал, что не увижу сегодня панны Христины. Неужели она так больна?

– Ах, нет, – отвечала Маковецкая, – но она теперь не от мира сего.

– Как? Почему?

– Разве Заглоба не говорил тебе о ее намерении?

– О каком намерении?

– Поступить в монастырь.

Володыевский заморгал глазами, как человек, который не расслышал того, что ему сказали: он изменился в лице, встал и опять сел, и так как пот в одну минуту выступил на его лбу, то он начал вытирать его руками. В комнате сделалось тихо.

– Миша! – окликнула его Маковецкая.

Он смотрел бессознательно то на нее, то на Заглобу и страшным голосом воскликнул:

– Неужели надо мною тяготеет проклятие?

– Господь с тобой! – крикнул Заглоба.

Глава XVIII

Это восклицание обнаружило тайну сердца маленького рыцаря перед Заглобой и Маковецкой, которые долго стояли в оцепенении после того, как Володыевский быстро ушел из комнаты.

– Ступайте, ради Бога, за ним, – сказала Маковецкая. – Уговорите, утешьте его, а не то я пойду.

– Не делайте этого, – отвечал Заглоба. – Там надо Христину, а не нас, но так как это невозможно, то лучше предоставить его самому себе. Всякое утешение не вовремя может довести до отчаяния.

– Уж я ясно вижу, что он любит Христину. Скажите, пожалуйста! Я знала, что ему нравились ее общество и советы, но я не могла вообразить себе, что он увлекся до такой степени.

– Он, должно быть, приехал сюда с *готовым* проектом, в котором видел все свое счастье, и вдруг все это разрушено.

– В таком случае, отчего же он не намекнул никому об этом, ни мне, ни вам, ни даже Христине? Может быть, Христина не дала бы обета.

– Удивительно, – отвечал Заглоба. – Он ведь так со мной откровенен и верит моей опытности больше, чем своей но он не только не сказал ни слова о своей любви, но даже как-то раз сознался, что это просто дружба.

– Всегда он был скрытен!

– Значит, вы не знаете его, хотя и сестра ему. У него сердце, как глаза у карася, на самом верху. Я не видывал более искреннего человека. Однако, признаюсь, он поступил теперь иначе. Только почему вы уверены, что он не говорил с Христиной?

– Господи Боже мой! Да ведь Христина вполне самостоятельна; мой муж, как опекун, сказал ей «Лишь бы только нашелся честный и благородный человек, так можно и не обращать внимания на его состояние». Если бы Миша говорил с нею, то она могла ведь ответить ему: да или нет, – и он, по крайней мере, знал бы, на что надеяться.

– Совершенно верно, потому что это известие поразило его совсем неожиданно, вы изволите правильно рассуждать, несмотря на то, что вы женщина.

– К чему тут рассуждения? Надо действовать!

– Пусть он женится на Варваре.

– По-видимому, он предпочитает Христину. Ах, если бы я раньше догадалась!

– Жаль, что вы не догадались.

– Как же мне было догадаться, если даже и вы, такой Соломон, не смекнули.

– А почему вы знаете?

– Потому что вы сватали Кетлинга.

– Я? Да Бог с вами! Я никого не сватал. Я говорил, что она ему нравится, потому что это была правда; я говорил,

что Кетлинг прекрасная партия, – это тоже правда, но сватовством пусть занимаются женщины. Да знаете ли, сударыня, что половина Речи Посполитой зависит от моего решения, когда же мне думать о чем-нибудь другом, кроме общественных интересов? Мне часто некогда проглотить ложку супа.

– Посоветуйте же нам, ради Бога, что-нибудь. Недаром все говорят о вашем уме.

– Все только и говорят о нем. Можно бы, кажется, и перестать. Что касается совета, то можно решить это двояким образом; или пусть Миша женится на Варваре, или пусть Христина изменит свое решение Потому что намерение – это еще не обет.

В это время вернулся Маковецкий, которому жена тотчас же все рассказала. Страшно смутился при этом шляхтич, так как он очень любил Володыевского, но не мог ничего придумать в настоящую минуту.

– Если Христина будет упорствовать, – говорил он, потирая лоб, – то как ей предложить такую комбинацию?.

– Христина непременно заупрямится, – отвечала Маковецкая. – Она всегда такая!

– Что это сделалось с Мишей, что он не объяснился с ней перед отъездом? – заметил стольник Маковецкий. – Могло быть еще хуже: она могла влюбиться в кого-нибудь другого.

– В таком случае она не поступила бы в монастырь, – отвечала жена стольника, – ведь она свободна.

– Это правда! – отвечал стольник.

Но Заглоба начинал уже смекать кое-что. Если бы он знал секрет Христины и Володыевского, то все объяснилось бы сразу, а иначе трудно было догадаться. Но быстрое соображение Заглобы пробило тьму и осветило истинную причину отчаяния маленького рыцаря и решения Христины.

Через несколько времени он был уже уверен, что здесь замешан Кетлинг, но этому предположению недоставало уверенности, и он решил пойти к Войодыевскому и расспросить его обстоятельнее.

По пути он с беспокойством подумал: «Много здесь моих трудов. Я хотел приготовить меду к свадьбе Баси и Володыевского, но вместо него наварил я кислого пива. А вдруг Миша вернется к старому решению и пойдет в монастырь по примеру Христины?..»

При этом Заглоба просто похолодел и прибавил шагу; через минуту он был уже в помещении Володыевского.

Маленький рыцарь ходил по комнате, как дикий зверь по клетке. Брови его были грозно сдвинуты, глаза красны – видно, что он сильно страдал. Увидев Заглобу, он внезапно остановился перед ним и, сложив на груди руки, воскликнул:

– Скажите мне, пожалуйста, что значит все это?

– Миша! – отвечал Заглоба – Подумай, сколько девушек поступает каждый год в монастыри. Все это так естественно. Иные поступают туда даже против воли родителей, надеясь, что Господь заступится за них, а почему же ей не поступить:

ведь она совершенно свободна.

– К чему тайны! – крикнул Володыевский – Она не свободна, потому что обещала мне руку и сердце перед отъездом!

– А! Я не зная этого, – сказал Заглоба.

– Вот как! – повторил маленький рыцарь.

– Может быть, ее можно уговорить?

– Ей не до меня! Она видеть меня не захотела! – воскликнул глубоко огорченный Володыевский. – Я стремился сюда день и ночь, а она и видеть меня не хочет! Что же я сделал? Чем я провинился, за что меня преследует Божья кара, почему ветер играет мною, как сухим листом. Одна умерла, другая поступает в монастырь!.. Нет, видно, я проклят, ибо всем есть помилование и прощение, а я хожу как оглашенный.

Заглоба задрожал, боясь, чтобы Володыевский не начал богохульствовать от горя, как когда-то после смерти Ануси Борзобогатой, и желая отклонить его мысль от этого предмета, он начал:

– Во-первых, не сомневайся, Миша, в милосердии Божием, так как ты не можешь знать, что будет с тобою завтра. Может быть, Христина пожалеет тебя, сироту, и изменит свое решение. Во-вторых, послушай, Миша, неужели тебе не отрадно то, что сам Бог, отец наш милосердный, отнимает их у тебя, а не человек, ходящий по земле? Ну, скажи сам, что было бы лучше?

При этом маленький рыцарь стал угрожающе шевелить

усиками и, заскрежетав зубами, крикнул сдавленным и прерывающимся голосом:

– О, если б это был живой человек! Пусть бы сыскался такой! Еще лучше!.. Мне можно было бы мстить.

– А теперь ты можешь молиться! – сказал Заглоба. – Послушай меня, старого друга, так как никто не может тебе лучше посоветовать. Может быть, все переменится к лучшему. Я сам. знаешь ли. хотел, чтобы ты женился на другой, но, видя твою скорбь, я страдаю вместе с тобою и буду молить Господа утешить тебя и склонить к тебе сердце этой неприступной девушки.

Говоря это, Заглоба стал вытирать слезы искренней дружбы и сострадания. Если бы он мог, то в ту же минуту готов был уничтожить все, что сам сделал для устранения Христины, и бросить ее в объятия Володыевского.

– Послушай! – сказал он, помолчав. – Поговори еще раз с Христиной, выскажи ей свою скорбь и свое невыносимое мучение, и да благословит тебя Бог! Неужели у ней каменное сердце, что она не сжалится над тобою. Я уверен, что она не пойдет в монастырь. Монашеская ряса – это прекрасная вещь, если только она не сшита из человеческой обиды. Ты скажи ей все это и вот увидишь. Зх, Миша, сегодня ты плачешь, а завтра мы будем пить на вашем обручении. Я уверен в этом! Девушка стосковалась, а потому и пришла ей в голову ряса. Будет она в монастыре, но только в таком, где ты будешь «звонить» на крестинах. Может, она и вправду

любит тебя, а нам говорит о монастыре, чтобы обмануть нас. Ведь ты ничего не слышал из ее уст, Бог даст, и не услышишь ничего. Вы сговорились с нею держать все в тайне, поэтому она и не хочет выдать ее... Ей-Богу! Это одна лишь женская хитрость.

Слова Заглобы, как целебный бальзам, подействовали на опечаленного маленького рыцаря; надежда снова оживила его и наполнила глаза слезами; Володыевский долго не мог сказать ни слова и наконец, удержавшись от слез, бросился в объятия Заглобы и сказал:

– Ах, если б было побольше подобных друзей! Но будет ли только все, как вы говорите.

– Чего бы только ни сделал я для тебя! Все так и будет. Разве ты помнишь, чтобы я когда-нибудь ложно пророчествовал, неужели ты не веришь моей опытности и проницательности?

– Вы не можете себе представить, как я люблю эту девушку. Не подумайте, что я забыл совсем о той горячо любимой мною бедняжке, но сердце мое так слилось с этой, как губка с деревом. Дорогая моя! Сколько я передумал о ней в степи и рано утром, и в полдень, и вечером. В конце концов я стал, за неимением другого лица, говорить сам с собою. Ей-Богу, когда я гнался сломя голову по бурьяну за татарами, то и в ту минуту думал о ней.

– Верю, верю! Я в молодости тоже до того плакал по одной девушке, что даже глаза лишился, то есть не лишился

совсем, но бельмо нажил.

– Я лечу сюда что есть духу и вдруг первое слово: монастырь. Но все-таки я надеюсь уговорить ее: я верю ее слову и чувству. Как это вы так сказали? «Хороша ряса»... но из чего?.

– Но если она не сшита из человеческой обиды.

– Прекрасно сказано! Почему это я никогда не выдумаю никакого мудрого изречения. По крайней мере, было бы развлечение в станице. Хотя я еще не успокоился в должной степени, однако вы придали мне бодрости. Мы действительно решили с нею держать все в тайне, так что девушка и в самом деле могла говорить о монастыре. Еще вы привели какой-то аргумент, но никак не могу его припомнить. Я значительно успокоился.

– В таком случае пойдем ко мне или я велю принести сюда флягу. Это развеселит тебя.

Они ушли оба и пили до поздней ночи.

На следующий день Володыевский оделся в богатую одежду, а лицо его приняло серьезный вид: вооружившись всевозможными аргументами, слышанными им от Заглобы и теми, которые он смог сам придумать, он явился в таком виде в столовую, где все собрались завтракать. Все явились, кроме Христины, которая тоже не заставила себя долго ждать. Не успел маленький рыцарь проглотить ложки две похлебки; как послышался шелест платья и молодая девушка вошла в комнату.

Она вошла так быстро, словно влетела. Щеки ее пылали, глаза были опущены, а лицо выражало *смущение*, страх и принужденность. Подойдя к Володыевскому, она протянула ему обе руки, но даже не взглянула на него. Когда маленький рыцарь стал горячо целовать ее руки, девушка страшно побледнела, но не произнесла ни слова приветствия.

Сердце Володыевского вмиг преисполнилось любовью, беспокойством и восторгом при виде ее нежного личика и при взгляде на ее стройную фигуру, от которой веяло теплотой; но его встревожило выражение беспокойства и страха на ее лице.

«Цветочек ты мой дорогой? – подумал он в душе. – Чего ты боишься? Ведь я охотно отдал бы за тебя жизнь и кровь свою.»

Но он не произнес это вслух и только долго прижимал свои остроконечные усики к ее атласным рукам, целуя их до красных пятен. Глядя на все происходившее, Варвара нарочно спустила свой русый хохолок на глаза, чтобы никто не заметил ее волнения, но в настоящую минуту никто и не обращал на нее внимания; все смотрели на эту пару и озабоченно молчали. Молчание это первым нарушил Володыевский.

– Я беспокоился всю ночь, – сказал он, – потому что не видел вас и притом услышал о вас такую печальную новость, что расположен был более плакать, но не спать.

Слыша такую откровенную речь, Христина побледнела

еще больше, так что Володыевский, вообразив, что она упадет в обморок, поспешно прибавил;

– Мы должны еще поговорить с вами об этом предмете, но в настоящую минуту вам нужно успокоиться, и я не буду больше ни о чем спрашивать. Ведь я же не варвар и не волк какой-нибудь; Бог свидетель, как я люблю вас.

– Благодарю вас! – прошептала Христина.

Заглоба, стольник и его жена беспрестанно переглядывались, как бы побуждая друг друга начать обычный разговор, но никто не мог заговорить; наконец Заглоба начал первый.

– Нужно поехать в город, – сказал он, обращаясь к присутствующим. – Там перед элекцией все так и кипит, потому что каждый старается выдвинуть своего кандидата. По пути я скажу вам, за кого нужно подать голос.

Никто, однако, не отзывался, и потому Заглоба посмотрел кругом своим глазом и обратился к Варваре:

– А ты, жучок, поедешь с нами?

– Поеду, хотя бы даже на Русь, – резко ответила Варвара.

И опять молчание. Весь завтрак прошел в подобных попытках затеять разговор, но он все не вязался.

Наконец все встали. Володыевский подошел к Христине и сказал:

– Я должен переговорить с вами наедине.

Вслед за тем он взял ее под руку и повел в соседнюю комнату, ту самую, которая была свидетельницей их первого поцелуя. Уездив Христину на диван, он сел рядом и, как ре-

бенка, стал гладить ее по голове.

– Христина! – начал он ласково. – Прошло ли твое смущение? Можешь ли ты отвечать спокойно и сознательно?

Смущение ее прошло; она была тронута добротой рыцаря и первый раз взглянула на него.

– Могу, – тихо отвечала она.

– Правда ли, что ты хочешь поступить в монастырь?

При этом Христина скрестила на груди руки и прошептала с мольбою:

– Не сердитесь на меня за это, не проклиняйте меня, но это правда.

– Христина! – сказал Володыевский. – Зачем ты попираешь ногами человеческое счастье?.. Где же твое слово, где наше условие? Конечно, я не могу вести войну с Богом, но заранее скажу то, что мне сказал вчера Заглоба: «Хороша монашеская ряса, но если только она не сшита из людской обиды». Обидев меня, ты не увеличишь Божьей славы, ибо Бог есть царь вселенной; Ему принадлежат все народы, земли, моря, реки, и птицы небесные, и звери лесные, и солнце, и звезды. У Него есть все, что ты только можешь себе вообразить, и даже больше, а у меня только одна ты, дорогая, любимая, ты мое счастье, мое сокровище. И неужели ты думаешь, что ты нужна Богу, что Он, такой богач, захочет отнять последнее сокровище у солдата?.. Конечно, Он, по доброте своей, согласится принять тебя, обрадуется и не обидится. Взгляни же, что ты Ему даешь – себя? Но ведь ты моя,

ты сама *обещала* это, значит, ты даешь Ему чужую собственность, даешь Ему мои слезы, мое страдание, может быть, даже смерть. Имеешь ли ты на это право? Рассуди же это умом и сердцем и посоветуйся с совестью. Если бы я оскорбил тебя, или изменил, или сделал какое-нибудь преступление, ну – тогда другое дело! Но я поехал в степь к татарам сражаться с разбойниками, служить отечеству верой и правдой и все-таки любил тебя, думал о тебе целые дни и ночи, тосковал и грустил по тебе, как олень по воде, как птица по воздуху, как дитя по матери!.. И за все это вот как ты меня встретила и наградила. Христина, дорогая моя, друг мой, возлюбленная моя, скажи мне, почему все это произошло? Скажи мне откровенно, что за причина, ведь я сказал тебе о своих правах и требованиях; сдержи свое слово, не оставляй меня, сироту, одного с моим несчастьем. Ты сама дала мне на это право – не делай же меня изгнанником.

Бедный Володыевский не знал, что есть право важнее и древнее всех человеческих прав, которое заставляет сердце следовать голосу любви, и оно идет, а то сердце, которое перестает любить, совершает величайшее клятвопреступление, хотя очень часто это бывает так невинно, как невинно тухнет лампа, когда выгорит все масло. Не зная этого, Володыевский обнял колени Христины, просил и умолял, но она отвечала ему лишь потоком слез, так как не могла ответить сердцем.

– Христина, – сказал наконец, вставая, маленький ры-

царь, – счастье мое может потонуть в твоих слезах, но я прошу тебя только об одном: сжался надо мною! Скажи причину...

– Не спрашивайте меня о причине, – отвечала девушка, рыдая. – Не спрашивайте, потому что должно быть так, а не иначе. Я не стою вас и никогда не стоила. Я понимаю, как страшно я вас обидела, мне больно, но я не могу совладать с собой!.. Я знаю, что это обида. О Боже мой, сердце мое разрывается на части! Простите меня, не покидайте в гневе, не осуждайте и не проклинаяте!

И Христина бросилась перед Володыевским на колени.

– Я знаю, что обижаю вас, но сжальтесь и простите меня!

Темная головка Христины почти касалась пола. Володыевский насильно поднял бедную девушку и посадил ее на диван, а сам как безумный стал ходить по комнате. По временам он внезапно останавливался и сжимал руками виски, затем опять начинал ходить по комнате, наконец он остановился перед Христиной.

– Прошу вас, подождите немного и оставьте мне хоть маленькую надежду, – сказал он. – Подумайте, что я ведь не каменный, зачем же вы прикладываете к моему сердцу без всякого сострадания раскаленное железо? Несмотря ни на какое терпение, я не выдержу, когда вы мне станете жечь кожу. Я даже не умею высказать, как мне больно. Ей-Богу, не умею!.. Вот видишь, какой я простофиля, и все за то, что провел всю жизнь в бою. О Господи! В этой же комнате

мы полюбили друг друга! Христина! Я думал, что ты будешь моею по гроб – и вдруг ничего, ничего! Ах, Христина, дорогая, ведь я все тот же! Ты даже не знаешь, что удар этот тем чувствительнее для меня, что я уже утратил одно любимое существо! Боже, что мне сказать, чтобы тронуть твое сердце?.. Я только сам измучился, и больше ничего. Оставь же ты мне хоть надежду! Не отнимай сразу всего!

Христина не отвечала ни слова и лишь сильнее рыдала, а маленький рыцарь долго стоял перед нею, подавляя свои страдания и гнев, усмиряя которые, он повторил:

– Оставь же мне хоть надежду! Слышишь?

– Не могу, не могу! – отвечала Христина.

Володыевский отошел к окну и приложил голову к холодному стеклу. Долго стоял он без движения и, сделав затем несколько шагов в сторону Христины, прибавил очень тихо:

– Прощайте! Мне нечего здесь больше делать. Пусть ваше счастье будет так велико, как мое горе! Знайте, что я прощаю вас, пока еще только на словах, а потом, когда Бог даст, то и сердцем прощу... Только будьте впредь сострадательнее и не давайте другой раз слова. Что мне сказать о том душевном состоянии, с каким я покидаю это жилище!.. Прощайте!

Сказав это, он дернул усиками, поклонился и ушел в соседнюю комнату, в которой застал Маковецких и Заглобу; все тотчас же вскочили, как бы желая расспросить его, но маленький рыцарь только рукой махнул.

– Ничего не вышло! – сказал он. – Оставьте меня в покое!..

Отсюда можно было пройти по узкому коридору в комнату Володыевского; и вот в этом-то коридорчике, подле лесенки, ведущей в девичью комнату, Варвара остановила рыцаря.

– Ах, если бы Бог утешил вас и внушил любовь в сердце Христины! – воскликнула она дрожащим от слез голосом.

Володыевский не отвечал ни слова и, не глядя на нее, прошел мимо. Но вдруг ему стало горько и, охваченный страшным гневом, он вернулся и стал перед Басей.

– Отдайте Кетлингу свою руку, – сказал он хриплым голосом с изменившимся и насмешливым выражением в лице. – Влюбите его в себя, а потом поприте ногами это чувство, разорвите ему сердце и поступайте в монастырь.

– Пане Володыевский! – воскликнула изумленная Езеровская.

– Доставьте себе наслаждение, попробуйте поцелуя, а потом отправляйтесь на покаяние!.. Ах, чтоб вас!..

Это было уже чересчур. Одному Богу было известно, сколько было альтруизма в ее пожелании Володыевскому, и за все это – неосновательное осуждение, насмешки и оскорбление в ту именно минуту, когда она готова была отдать кровь свою этому неблагодарному человеку. Пылкая, как огонь, душа ее вмиг загорелась, щеки зарделись, розовые ноздри раздулись, и она, тряхнув головкой, воскликнула:

– Знайте, что не я иду в монастырь из-за Кетлинга.

Вслед за тем она взошла на лестницу и исчезла из глаз рыцаря.

Он остался неподвижен, как каменный столб, и начал протирать глаза, словно только что проснувшийся человек.

Вмиг кровь в нем закипела, он схватил саблю и крикнул:
– Горе изменнику!

Спустя несколько минут он помчался в Варшаву, так что только ветер свистел мимо его ушей и целый поток комков земли вылетал из-под копыт его лошади.

Глава XIX

Маковецкие и Заглоба смотрели с беспокойством, как уезжал Володыевский, и, казалось, глазами спрашивали друг у друга: что случилось и куда он едет?

– Великий Боже! Он готов уехать в степи, и тогда я не увижу его никогда в жизни! – воскликнула Маковецкая.

– Или, по примеру той девчонки, поступить в монастырь! – сказал Заглоба в отчаянии.

– Надо спасти его как-нибудь! – прибавил Маковецкий.

Вдруг распахнулась дверь, и в комнату, как вихрь, ворвалась Варвара, бледная и взволнованная.

– Спасите! Спасите! Пан Володыевский поехал убивать Кетлинга! – вскричала она, стоя посередине комнаты. – Ради всего святого, поезжайте и образумьте его! Помогите! Помогите!

– Что с вами? – воскликнул Заглоба, схватив ее за руки.

– Спасите!.. Володыевский убьет Кетлинга! Я виновница этого несчастья. Христина может умереть, и все это из-за меня.

– Да говорите же! – крикнул, тряся ее, Заглоба. – Почему вы знаете, что он поехал к Кетлингу? Каким образом вы виноваты?

– Потому что я сказала ему в гневе, что они любят друг друга, что Христина идет в монастырь из-за Кетлинга. О Бо-

же, кто верит в Тебя, тот пусть летит и образумит его. Поезжайте вы поскорее, господа, все поезжайте. Поедемте все вместе!

Заглоба, не привыкший терять времени в таких случаях, выбежал на двор и приказал запрягать лошадей. Маковецкая хотела было расспросить Варвару обо всем, так как все еще не догадывалась о любви Христины и Кетлинга, но Варвара побежала вслед за Заглобой посмотреть, как станут запрягать лошадей. Она помогала выводить лошадей из конюшни и запрягать их в дышло и наконец подъехала к крыльцу, сидя на козлах с непокрытой головой. На крыльце уже стояли одетые мужчины.

– Слезайте долой, – сказал ей Заглоба.

– Не слезу!

– Слезайте, говорю вам!

– Не слезу! Садитесь, если хотите, а не то я поеду одна!

Говоря это, она подобрала вожжи, и мужчины, видя, что можно потерять много времени, согласились оставить ее на козлах.

Тем временем прибежал слуга с кнутом, а Маковецкая вынесла Басе шубку и шапку, так как было холодно, и они отправились.

Варвара так и осталась сидеть на козлах, а Заглоба, желая заговорить с нею, несколько раз приглашал ее пересесть на переднюю скамеечку, но девушка ни за что не соглашалась из страха, что ее станут бранить, ввиду чего Заглоба

принужден был говорить с нею, сидя на задней скамейке; Варвара отвечала ему, не оборачиваясь.

– Откуда вы знаете, что Христина поступает в монастырь из-за Кетлинга?

– Я все знаю.

– Разве Христина сказала вам что-нибудь?

– Нет, Христина ничего мне не говорила.

– В таком случае шотландец сказал?

– Нет, но я знаю, что он потому и в Англию уезжает. Он всех провел кроме меня.

– Удивительно! – воскликнул Заглоба.

– В этом вы сами виноваты, – сказала Варвара, – не надо было стараться их сблизить.

– Ну, пожалуйста, не вмешивайтесь не в свое дело! – отвечал Заглоба, обиженный тем, что ему делают выговор при стольнике.

Но через несколько минут он прибавил:

– Странно!.. Я старался сблизить их? Я советовал? Вот интересно! Удивительное предположение.

– Что же? Неужели вы станете еще отпираться? – сказала девушка.

Заглоба замолчал; он никак не мог отрешиться от мысли, что Варвара права и что он в значительной степени виноват в этом деле. Мысль эта ужасно беспокоила его, и так как экипаж был очень тряский, то старый шляхтич, рассердившись, не пожалел для себя упреков.

«Было бы отлично, – думал он, – если бы Володыевский с Кетлингом обрезали мне уши. Женить кого-нибудь без согласия – это все равно что заставлять ехать верхом на лошади лицом к хвосту. Эта девчонка права! Если они будут драться, то я буду виноват в крови Кетлинга. Вот влетел-то я на старости лет! Тьфу! Однако, они меня провели, и странно, как я не догадался, почему это Кетлинг вдруг захотел уехать за море, а та чернушка – в монастырь. Как видно, Бася очень проницательна, если она все отгадала».

Заглоба задумался и через несколько минут проворчал:

– Большая шельма эта девушка! Видно, у Миши чужие глаза, если он не заметил ее ума и предпочел ей Христину.

Тем временем они приехали в город, но здесь начались затруднения, так как никто из них не знал, где живет Кетлинг, а также куда уехал Володыевский. Искать их в такой массе людей было очень трудно, а потому они отправились прежде всего в квартиру великого гетмана. Там сказали им, что Кетлинг завтра утром собирается уезжать за море, что Володыевский был и расспрашивал про него, но куда потом уехал, никто не знал. Предполагали, что в полк, который стоял за городом.

Заглоба велел ехать в лагерь, но нигде нельзя было ничего узнать. Они еще раз объехали все гостиницы на Дпугой улице, были на Праге, но все напрасно. Так застала их ночь, и они принуждены были вернуться домой, так как нечего было и думать, чтобы найти где-либо ночлег.

Все были очень опечалены; Бася немножко поплакала, религиозный стольник молился, а Заглоба *все* ворчал, беспокоясь не в шутку. Несмотря на это, он все-таки пробовал ободрить себя и своих спутников.

– Гм! Мы беспокоимся здесь, – сказал он, – а Миша, может быть, уже дома сидит?

– Или уже убит! – прибавила Варвара. – Стоило бы мне язык отрезать! – повторяла она со слезами. – Я виновата во всем, я виновата. О Господи! Да я, право, с ума сойду.

– Да тише вы! – крикнул Заглоба. – Вовсе не вы тут виноваты, и поверьте, что если кого убили, то не Михаила.

– Мне все равно: того и другого жаль! Ну и отблагодарили же мы его за гостеприимство, нечего сказать. О Боже, Боже!

– Все это возможно! – заметил Маковецкий.

– Оставьте вы, ради Бога! Кетлинг, верно, теперь ближе к Пруссии, чем к Варшаве; все ведь слышали, что он уехал. А я все-таки надеюсь, что если они и встретились с Володыевским, то вспомнили старую дружбу. Ведь они ездили всегда стремя в стремя, спали на одном седле, вместе делали набег, в одной крови обагрляли руки. Во всем полку славились они своей дружбой, и Кетлинга, за его красоту, называли женой Володыевского. Поэтому я не допускаю, чтобы они не вспомнили этого при встрече!

– Иногда бывает, – сказал благоразумный стольник, – что такие друзья делаются величайшими врагами. У нас был

такой случай, что пан Дейма убил Убыша, с которым жил в величайшей дружбе двадцать лет. Я могу рассказать вам подробно об этом несчастном случае.

– Я охотно послушал бы вас, если бы не был так расстроен, я всегда охотно слушаю вашу жену, когда она рассказывает обо всем подробно, не забывая даже генеалогии; но то, что вы сказали о дружбе и ненависти, ужасно поразило меня. Не дай Господи, чтобы теперь то же случилось!

– Одного звали Деймом, а другого Убышем. Оба были солидные и честные люди.

– Ой-ой-ой! – сказал уныло Заглоба. – Будем надеяться, что теперь будет не так, иначе Кетлинг упадет трупом!

– Вечно эти женщины! Какая-нибудь галка заварит такую кашу, что и сама не может расхлебать, а если кто другой станет расхлебывать ее, то наверное желудок засорит, – проворчал Заглоба.

– Вы не нападайте на Христину, – вдруг заступилась Бася.

– Вот если бы Михаил в вас влюбился, то ничего бы этого не было, – возразил Заглоба.

Таким образом они подъехали к дому. Все затрепетали при виде освещенных окон и подумали, что Володыевский уже вернулся.

Но их встретила озабоченная и опечаленная Маковецкая. Узнав, что все поиски оказались тщетными, она горько заплакала, причитая, что никогда больше не увидит брата. Варвара вторила ей, Заглоба от горя тоже не мог совладать

с собою.

– Я поеду завтра один, – сказал он, – может быть, и узнаю что-нибудь о них.

– Лучше поедem вдвоем, – прибавил стольник.

– Нет, вы уж оставайтесь с женщинами. Если Кетлинг жив, то я тотчас уведомяу вас.

– О Боже мой! Ведь мы живем в доме этого человека! – отозвался стольник – Завтра нам надо поискать квартиру или хоть палатку разбить в поле, только бы не жить здесь больше.

– Прежде всего подождите моего уведомления! – сказал Заглоба. – Если Кетлинг убит.

– Тише, ради Бога! – воскликнула Маковецкая. – Пожалуй, услышит кто-нибудь из прислуги и передаст Христине, а она и без того еле жива.

– Я пойду к ней, – сказала Варвара.

И она побежала наверх, остальные остались, опечаленные, внизу. Никто ни спал в целом доме: одна мысль, что Кетлинг убит, пугала всех. Вдобавок ночь была душная и темная, сначала гремел фом, а потом яркая молния пересекала ежеминутно тьму. В полночь разразилась первая весенняя буря. Вея прислуга даже проснулась.

Христина и Варвара перешли в столовую, где все начали молиться, а потом сидели молча и только при каждом ударе повторяли, как это было принято: «Слово плоть бысть».

Сквозь шум ветра им чудился иногда лошадиный топот,

и тогда у них от страха волосы становились дыбом, потому что всем так и казалось, что вот сейчас войдет Володыевский, обрызганный кровью Кетлинга.

Первый раз в жизни кроткий товарищ казался им каким-то зверем, так что спи страшились одной мысли о нем.

Однако ночью не было никакого известия о Володыевском, и на рассвете, когда буря немного утихла, Заглоба отправился в город.

Все беспокоились целый день. Варвара сидела до вечера у окна или у ворот, смотря на дорогу, по которой должен был приехать Заглоба. Прислуга укладывала вещи согласно приказанию стольника. Христина надзирала за этим: ей хотелось быть подальше от Маковецких.

Хотя жена стольника не сказала ей ни слова о своем брате, но одно это молчание доказывало Христине, что уже все обнаружилось: и любовь Михаила, и их прежний договор, и ее недавний отказ. Ввиду этого трудно было подумать, что эти близкие Володыевскому люди не питали к ней злобы и ненависти. Она чувствовала, бедняжка, что они охладели к ней, и потому ей было легче страдать в одиночестве.

К вечеру все вещи были уложены, и можно было ехать в тот же день. Но Маковецкий ждал еще известия от Заглобы. Подали ужин; но никто его не ел, и вечер опять потянулся невыносимо мучительно и долго; в комнатах было как-то глухо, все как-будто к чему-то прислушивались.

– Перейдемте в гостиную – сказал наконец стольник. –

Здесь просто невозможно больше сидеть.

Все перешли и уселись, но никто не успел сказать слова, как под окном залаяли собаки.

– Кто-то едет! – воскликнула Варвара.

– Собаки лают не на чужого! – заметила Маковецкая.

– Да тише вы! – сказал стольник. – Слышен стук экипажа!..

– Тише! – повторила Варвара. – Да, все яснее слышится. это пан Заглоба.

Варвара и стольник вскочили и бросились к дверям, а Маковецкая осталась с Христиной, хотя сердце ее тревожно забилось, она боялась показать перед Христиной, что ожидает важных известий от Заглобы.

Стук колес раздался возле крыльца и затих. В сенях слышались какие-то голоса, и через минуту в комнату ураганом влетела Варвара; лицо ее было до того изменившимся, что можно было подумать, будто она увидела привидение.

– Что случилось Бася? Кто это? – спрашивала испуганная Маковецкая.

Но не успела та перевести дух, чтобы отвечать на вопросы, как дверь открылась, и в комнату вошел сначала стольник, потом Володыевский, и наконец, Кетлинг.

Глава XX

Кетлинг до того изменился, что едва мог отвесить дамам поклон; он остановился и стоял неподвижно, закрыв глаза и прижимая шляпу к груди; в этом положении он похож был на чудную картину. Володыевский поцеловал сестру и подошел к Христине.

Девушка побледнела, как полотно, отчего черный пушок на ее губах сделался еще чернее; она тяжело дышала, но Володыевский кротко взял ее руку и поцеловал, потом зашевелил усиками, как бы собираясь с мыслями, и наконец печально, но спокойно заговорил:

– Милостивая государыня... или лучше: моя дорогая Христина! Выслушайте меня хладнокровно, так как я ведь не скиф, не татарин, не дикарь, но друг, который желает вам счастья, хотя сам никогда не пользовался им. Я узнал, что вы с Кетлингом взаимно любите друг друга Панна Варвара высказала мне это в гневе, и я не скрываю, что уехал отсюда искать Кетлинга с целью отомстить ему... Мысль о мести очень легко может прийти в голову тому, кто утратил все, а я вот, Бог свидетель, ужасно любил вас, более чем может любить кавалер девушку. Если бы я был уже женат и у меня был единственный ребенок, который бы умер, то я и тогда жалел бы его, как вас.

Голос Володыевского задрожал, но он тотчас овладел со-

бою, пошевелил усиками и продолжал:

– Однако сколько бы я ни говорил, делать нечего. Неудивительно, что Кетлинг полюбил вас! А что вы полюбили его, так это уже судьба моя такая, но я все-таки не удивляюсь, потому что куда мне равняться с Кетлингом! В сражении я не хуже его, он сам это скажет, но это не относится к делу!.. Его Бог наградил красотой, а меня рассудительностью. Как только ветер подул мне в лицо, моя злость прошла и совесть подсказала: за что ты будешь их наказывать? Зачем тебе проливать кровь друга? Видно, Божья воля в том, что они полюбили друг друга. Старики говорят, что сердце не слушает даже гетманского приказа. Божья воля в том, что вы полюбили друг друга, и что ни один из вас не обнаружил этого чувства – это делает вам честь. Если бы Кетлинг знал, что вы дали мне слово, может быть, он и не влюбился в вас – но он не знал этого. Чем же он виноват? Ничем! Он хотел уехать, а вы – посвятить себя служению Богу. Значит, во всем виновата моя злосчастная судьба и никто больше; видно, Бог определил мне всегда оставаться сиротой. Что же делать!..

Володыевский опять замолчал и стал тяжело дышать, как человек, который только что нырнул в воду; потом он взял Христину за руку и продолжал:

– Любить так, чтобы желать всего только для себя – это не мудрено. Мы страдаем все трое, так пусть же, подумал я, потерпит один, а остальные пусть блаженствуют. Дай Гос-

поди, чтобы вы были счастливы с Кетлингом. Аминь... Больно мне, но это ничего. Дай вам Боже. Ей-Богу, это ничего!.. Мне уже легче!..

Бедный солдат хоть и говорил «ничего», но сам стиснул зубы и захрипел; между тем в другом углу комнаты слышались рыдания Варвары.

– Кетлинг, поди сюда, брат! – прибавил Володыевский.

Кетлинг подошел, стал на колени и молча, с величайшим уважением и любовью, обнял колени Христины. Между тем Володыевский продолжал:

– Благослови вас Господь!.. Теперь, Христина, вы не пойдете в монастырь. Лучше благодарить меня, чем проклинять. Бог не оставит меня, хотя мне теперь очень тяжело.

Варвара, не будучи в состоянии больше терпеть, выбежала из комнаты; Володыевский, заметив это, сказал сестре и стольнику:

– Ступайте в другую комнату и оставьте их одних. Я тоже пойду куда-нибудь помолиться.

И он ушел.

Дойдя до половины коридора, он встретил Варвару у лестницы в том же месте, где она выдала тайну Христины и Кетлинга. Но теперь она стояла у стены и плакала навзрыд.

Видя это, Володыевскому стало жаль и ее, и самого себя; до сих пор он, по возможности, старался воздержаться от слез, но в эту минуту они потоком хлынули из его глаз.

– Отчего вы плачете? – жалобно спросил он.

Варвара взглянула на него, прижала к глазкам кулаки, как это обыкновенно делают дети, и, рыдая, отвечала:

– О Боже мой! Мне так жаль вас... Вы такой честный, благородный!.. О Господи!..

Володыевский взял ее руку и с чувством начал целовать ее.

– Господь наградит вас за доброе сердце, – сказал он, – но не плачьте.

Однако Варвара продолжала рыдать еще больше. Каждая жилка на ее висках как бы дрожала: она начала тяжело дышать и наконец в запальчивости затопала ногами и закричала на весь коридор:

– Дура Христина! Я предпочла бы одного пана Михаила десяти Кетлингам! Я люблю вас всем сердцем... больше, чем тетю, больше... чем дядю... больше, чем Христину!..

– Боже, что я слышу! – воскликнул маленький рыцарь.

И, желая успокоить Варвару, он заключил ее в свои объятия; девушка крепко прижалась к его груди, так что он слышал биение ее сердца; так они и замерли. В коридоре царствовало глубокое молчание.

– Бася, хочешь быть моею? – спросил маленький рыцарь.

– Да! Да! Да! – отвечала Варвара. И тоже обняла его; он прижался своими губами к ее розовым девственным губкам, и они снова застыли.

В это время послышался стук колес, и вскоре Заглоба ввалился в столовую, где сидел стольник с женою.

– Нет Миши! – крикнул он, не переводя духу. – Везде искал, нигде нет!.. Крыцкий говорил мне, что видел его вместе с Кетлингом. Они, верно, дрались.

– Миша уже здесь, – отвечала Маковецкая. – Он привез Кетлинга и отдал ему Христину.

Соляной столб, в который обратилась жена Лота, не имел, вероятно, такого изумленного выражения лица, как Заглоба в настоящую минуту. Несколько минут господствовало полнейшее молчание, наконец старик протер глаза и произнес:

– А!?

– Христина сидит теперь с Кетлингом, а Михаил пошел молиться, – отвечал стольник.

Заглоба вошел в комнату, где сидели влюбленные, и хотя знал уже обо всем, однако изумился, увидя их рядом. Оба вскочили, смущенные, не будучи в состоянии выговорить ни слова, тем более что вместе с Заглобой вошли и Маковецкие.

– Мало жизни, чтобы отблагодарить Мишу, – сказал Кетлинг. – Ему мы обязаны своим счастьем.

– Пошли вам Бог счастья! – сказал стольник. – Мы очень рады, что все кончилось благополучно.

Христина очутилась в объятиях Маковецкой; обе заплакали. Заглоба все еще стоял в недоумении; Кетлинг хотел стать на колени перед стольником, но тот поднял его и в смущении проговорил:

– А Дейма все-таки убил Убыша! Благодарите Мишу,

а не меня.

Спустя минуту он, однако, спросил жену:

– А как звали ту женщину?

Но не успела Маковецкая ответить, как в комнату вбежала Бася; задыхаясь и вся красная, подлетела к Кетлингу и Христине и, подставляя то тому, то другому палец к носу, быстро затараторила:

– Ну, можете теперь вздыхать, влюбляться и жениться сколько угодно!.. Не думайте, что пан Михаил остался один на свете! Не хотела Христина выходить замуж за него, так я махну, потому что люблю его и. сама сказала ему это. Я первая сказала ему. Он только спросил, хочу ли я быть его женою, и я ответила ему, что он лучше десяти Кетлингов. И правда, потому что я люблю его... я буду самой лучшей женой, никогда не покину его, и мы будем воевать вместе. Я давно его любила, хоть и не говорила ничего, потому что он самый лучший, самый дорогой, самый любимый. Теперь можете себе жениться, когда угодно, а я махну за него хоть завтра, потому что...

Но здесь она до того задохнулась, что не смогла договорить. Все смотрели на нее с изумлением, не зная, с ума ли она сошла или говорит правду; все с удивлением переглянулись. Следом за нею вошел Володыевский.

– Миша, – спросил опомнившийся стольник – правда это, что Бася говорит?

– Бог явил чудо, – отвечал Володыевский, – и наградил

меня этим сокровищем.

Варвара, как серна, подскочила к Володыевскому и обняла его.

Между тем и Заглоба пришел в себя, и его белая борода затряслась не то от удивления, не то от смеха; он широко раскрыл свои объятия и громко крикнул:

– Ей-Богу, я готов разреветься, как ребенок!.. Бася!.. Миша! Подите в мои объятия!..

Часть вторая

Глава I

Они любили друг друга страстно и чувствовали себя вполне счастливыми. Четыре года уже прошло со дня их свадьбы, но они все еще не имели детей. Хозяйство у них было образцовое. Володыевский, прибавив к своим деньгам капитал жены, купил несколько деревень около Каменца. Заплатил он за эти имения недорого, так как владельцы их, боясь вторжения татар, часто посещавших эти места, охотно продавали свои деревни за дешевую дену. Новый владелец начал вводить в них свои порядки, то есть порядки военной дисциплины; население, не отличавшееся спокойствием, он крепко держал в своих руках, сгоревшие избы поправлял; строил укрепленные дворы или крепости, где жила в то время гарнизонная стража; вообще, как прежде он прилагал все свои силы и способности, чтобы оберегать свою отчизну, так и теперь стал заботиться о своей хозяйстве, хотя в то *же* время не забывал и об оружии.

Впрочем, имя его быт так прославлено повсюду, что могло вполне служить охраной его владений. С одними из мурз он дружески пил вино, с другими же боролся, как лев. Своевольное казачество, шайки татар и разбойники из бессараб-

ских пустынь приходили в ужас, услыша имя «малого сокола», поэтому он мог надеяться, что его скот – овцы, во-лы, верблюды и лошади – может безопасно пастись в степях. Благодаря ему и соседи его жили спокойно, так как, из-за «малого сокола», их не осмеливались задевать. Жена Володыевского очень усердно старалась приобрести как можно больше имущества, что и увенчалось полным успехом. Все, знавшие Володыевских, любили их и смотрели на них с уважением. За услуги отчизне он награжден был чином; гетман не чаял в нем души, а паша хоцимский, рассказывая о нем, только чмокая губами; вообще имя Володыевского даже в дальних краях, например, в Крыму и в Бахчисарае, пользовалось уважением.

Его жизнь составляли; хозяйство, война и любовь.

В 1671 году лето было чрезвычайно жаркое; в это время Володыевокие жили в одном из лучших своих имений – Соколе, которое было родовым имением Баси. Тут у них собиралось веселое общество, в том числе и пан Заглоба. приехавший к ним погостить и тем исполнить обещание свое, которое дал Володыевским на их свадьбе.

Но вскоре праздники, даваемые по случаю приезда пана Заглобы, должны были прекратиться, так как получен был приказ гетмана, которым Володыевскому предписывалось командовать полком в Хрептиове и оберегать молдавские границы и в то же время внимательно следить за всем, что совершалось вокруг них, смотреть за чамбулами и ста-

раться сделать так, чтобы гайдамаков не было в окoliце.

Володыевский, недолго думая, сейчас принялся за дело: велел слугам согнать скот с лугов, навьючить верблюдов и в полном вооружении ждать его приказаний.

Хотя маленький рыцарь, как ревностный слуга Речи Посполитой, нисколько не задумывался над исполнением приказаний гетмана, но тем не менее сердце его страшно сжималось при мысли о разлуке со страстно любимой женой; однако взять ее с собою в пустыню и заставить делить с ним все невзгоды и трудности войны он не решался.

Она же настаивала на том, чтобы ехать с ним.

– Подумай, – говорила она, – неужели будет безопаснее для меня оставаться здесь, чем жить там, под защитой войска и с тобою? Я не хочу другой крыши, кроме твоей палатки: я шла за тебя, чтоб делить с тобой и горе, и труд, и опасности. Ты навсегда лишил бы меня спокойствия; а там, живя с тобою, я буду чувствовать себя лучше охраняемой, чем королева в Варшаве. Если придется ехать с тобою против неприятеля – поеду. Без тебя и ночи не просплю спокойно, не дотронусь до еды, а в конце концов все-таки не выдержу, полечу к тебе в Хрептиов, и если даже ты не велишь меня впускать, я буду ночевать за воротами и до тех пор просить тебя и плакать, пока ты не смилуешься.

Поняв из слов жены, как она горячо и страстно любит его, маленький рыцарь взял ее на руки и стал целовать ее юное лицо.

– Я не противоречил бы тебе, – сказал наконец Володыевский, – если бы дело шло только о сторожевых постах и походах против татар. Людей у меня будет довольно, так как со мной пойдет отряд генерала подольского, другой пана подкормного, кроме того, Мотовидло со своими казаками и драгуны Линкгаузена. Это составит шестьсот линейных, а с обозом, пожалуй, дойдет и до тысячи. Я боюсь того, чему сеймовые болтуны не хотят верить в Варшаве, чего мы, пограничные, с часу на час ожидаем: великой войны с целой турецкой империей. Это подтверждает и пан Мыслишевский, повторяет ежедневно и паша хоцимский, и гетман верит, что султан не оставит Дорошенку без помощи – объявит великую войну Речи Посполитой, а что я тогда с тобой сделаю, мой дорогой, прекрасный цветочек, с моей величайшей наградой, посланной мне от Бога!

– Что будет с тобой, то и со мной будет. Я не желаю другой судьбы, кроме той, которая ожидает тебя.

После слов Баси пан Заглоба, все время молчавший, вдруг обратился к ней и сказал:

– Если вас обоих поймают турки, то твоя судьба будет совсем иная, чем судьба Михаила. Га! После казаков, шведов и бранденбургской псарни – турок! Я говорил князю Ольшовскому: «Не доводите Дорошенку до отчаяния – он поневоле сойдется с турком». Ну и что ж? Не послушались. Стали страшно жать Дорошенку; вот теперь он, рад не рад, а полезай в пасть к турку, и нам туда же, пожалуй, придется

попасть. Помнишь, Миша, я при тебе предостерегал князя Ольшовского?

– Ну, пан, вероятно, предостерегал Ольшовского где-нибудь в другом месте, потому что этого я что-то не помню, – ответил маленький рыцарь. – То, что ты говоришь о Дорошенке, это святая правда. Пан гетман того же самого мнения; говорят даже, что у него есть письма от Дороша, писанные в том же самом духе. Впрочем, что сделано, то сделано, и теперь поздно раздумывать. Но во всяком случае, у пана такое быстрое соображение, что я с охотой последую твоему совету: скажи, должен ли я брать с собой Басю в Хрелтиов или лучше здесь ее оставить. Эта деревушка всегда была дрянной, а в продолжение последних двадцати лет через нее прошло столько казацких ватаг и чамбулов, что вряд ли там что-нибудь осталось. Там много оврагов, покрытых большими лесами, много трущоб, глубоких пещер и других скрытых мест, в которых разбойники могут укрываться целыми сотнями.

– Разбойники при такой военной силе – пустяки, – отвечал Заглоба, – чамбулы также вздор, потому что если они пойдут большими толпами, то о них будет слышно, а с малыми ты живо справишься.

– А что? – воскликнула Бася. – Разве не моя правда? Разбойники – вздор! Чамбулы – пустяки! С такой силой Михаил охранит меня от целой крымской орды.

– Не мешай мне высказывать мои мысли, – прервал ее пан

Заглоба, – а нет, так я, пожалуй, против тебя говорить буду.

Бася сделала вид, будто страшно испугалась пана Заглобу, прижала ладони к губам и склонила к плечам голову, и пан Заглоба, хотя и понял, что Бася шутила, но ее шутка доставила ему удовольствие, и он положил свою старую руку на головку молодой женщины, и сказал:

– Ну, ну, не бойся, я поддержу тебя.

Бася с благодарностью взглянула на старика, схватила за руку и горячо поцеловала ее, так как не сомневалась, что пан Заглоба и на этот раз даст им полезный совет, который выведет их из затруднения.

Пан Заглоба заложил руку за спину, проницательно взглянул на жену, потом на мужа и сказал:

– А потомства нет, как нет, а? – Ипри этом Заглоба выпятил вперед губу.

– Воля Божья, ничего более! – отвечал маленький рыцарь, подняв глаза к небу.

– Воля Божья, ничего более! – повторила, опуская глаза, и Бася.

– А хотелось бы иметь ребенка? – снова спросил Заглоба.

– Скажу откровение; не знаю, что дал бы, чтобы иметь ребенка; но порой мне сдается, что это напрасное желание. И так Господь послал мне великое счастье. Он дал мне этого котеночка, или, как пан величая ее, гайдучка! Кроме того, Он наделил меня славой, благословил достатком, так что у меня и духу не хватает просить Его еще о чем-нибудь.

Не раз приходило мне в голову, что если бы на земле могли исполняться все людские желания то не было бы никакой разницы между земной Речью Посполитой и небесной которая одна может дать полное, совершенное счастье. Я утешаю себя тем, что если не дождусь здесь одного или двух сынков, то получу их там, в царстве небесном, где они, под начальством святого архангела Михаила, будут служить, покроются славой в походах против дерзостей ада и достигнут высших должностей.

Эта речь так растрогала самого оратора, религиозного воина, что он опять взглянул на небо, а пан Заглоба, который не обращал на его слова никакого внимания, не переставал что-то сердито бормотать и вдруг сказал:

– Смотри, не очень богохульствуй, не очень хвастай, что заранее предугадаешь божественные предопределения. Это, пожалуй, даже грешно, и ты можешь порядком погреться в пекле, как горох на горячей сковороде. У Господа Бога рукава шире, чем у кого-нибудь краковского ксендза, но он не любит, чтобы к Нему заглядывали туда из желания узнать, что Он, для людского счастья там наготовил. Он распоряжается как Ему угодно, а ты рассуждай только о том, что до тебя касается. Если хотите иметь потомство, то вместо разлуки должны быть вместе.

Выслушав все это, молодая женщина с восторгом выбежала на середину комнаты, стала прыгать, скакать и хлопать в ладоши, повторяя: – А что! Надобно вместе держаться!

Я сейчас же отгадала, что пан Заглоба будет на моей стороне!.. Сейчас отгадала! Едем в Хрептиов, Михаил? Хоть разок возьмешь меня против татар! Один разок. Мой дорогой мой золотой?

– Вот видишь – бери ее с собой! Ей уж и в поход хочется идти! – воскликнул маленький рыцарь.

– Возле тебя не побоюсь идти и против целой орды!..

– *Silentium*¹³, – сказал Заглоба, следя влюбленными глазами, точнее, влюбленным глазом за Басей, которую любил бесконечно, – надеюсь, что Хрептиов, до которого не очень далеко, не последняя станция от Диких Полей.

– Нет, команды стоят и далее, в Могилеве, Ямполе, последняя же в Рашкове, – отвечал маленький рыцарь.

– В Рашкове? Мы Рашков хорошо знаем. Мы оттуда вывезли Скшетускую из того валздымецога яра, помнишь, Михаил? Помнишь, как я затравил того черемиса или дьявола, который ее стерег. А коль скоро вам последняя резиденция будет в Рашкове, та ест бы Крым и поднялся, или даже все турецкое царство, то там прежде всего узнают и дадут заранее знать в Хрептиов, а потому нечего так и беспокоиться, ибо Хрептиов не может быть вдруг осажден. Ей-Богу, не понимаю, почему Баське не жить там с тобою? Я говорю это искренно, но ты и сам знаешь, что я готов скорей за нее сложить свою старую голову, чем подвергнуть ее малейшей опасности. Возьми ее! Вам обоим будет лучше. Бась-

¹³ Тихо (лат.).

ка должна обещать нам, что в случае настоящей войны позволит без сопротивления отвезти себя хоть в Варшаву, потому что тогда начнутся большие походы, страшные битвы, осады лагерей может быть, и голод, как под Зборзжем, а в таких случаях и мужчине трудно сохранить свою голову, что ж говорить о женщине.

– Я рада была бы даже быть убитой возле Михаила, – отозвалась Бася, – но у меня все-таки есть настолько разума, чтоб понимать, что если нельзя, то нельзя. Впрочем, воля Михаила, не моя. Ведь он уже в прошлом году с паном Собеским ходил в поход, а разве я настаивала ехать с ним? Нет? Ладно? Если теперь позволено мне будет ехать с Михаилом в Хрептиов, то в случае войны вы можете меня отвезти куда вам будет угодно.

– Лучше его милость, пан Заглоба, отвезет тебя на Полесье к Скшетуским, – сказал маленький рыцарь, – туда турок, конечно, не доберется.

– Пан Заглоба! Пан Заглоба! – сказал старый шляхтич, передразнивая маленького рыцаря – Разве я обозный? Не доверяйте так жен пану Заглобе, думая, что он старый, – он может оказаться в таком случае совсем иным. Неужели ты думаешь, что в случае войны с турками я буду сидеть в Полесье за печью и смотреть, чтобы жаркое не пригорело? Я еще не калека и могу быть иначе полезен. Хоть со скамейкой, а на коня таки сяду! Но когда сяду, то уж неприятель тогда держись, так помажу, что и молодому не удастся! Слава Богу,

еще песок из меня не сыплется. Разумеется, в погоню за татарами не выеду и в Диких Полях за ними гоняться не буду, потому что я не гончая собака, но зато в генеральной атаке держись меня, если сможешь, и тогда увидишь кое-что.

– Как, неужели вы не отказались бы идти в битву?

– А ты думаешь, что я не желал бы увенчать славной смертью славную жизнь после такой долголетней службы? И что ж лучшего я могу требовать от судьбы? Знал ты пана Дзевионткевича? Тот, правда, выглядел не старше ста сорока лет, но ему действительно было сто сорок два, и он еще служил.

– Столько ему не было.

– Было! Не сойти мне с этого места, я иду на великую войну, и баста!.. А теперь поеду с вами в Хрептиов, потому что влюблен в Басю.

При этих словах старика Бася подскочила к нему и начала его крепко обнимать и целовать, он же, запрокинув голову назад, говорил ей:

– Крепче! Крепче!

Пан Михаил все-таки еще раздумывал и колебался и вдруг сказал:

– Это невозможно, чтобы мы все вместе ехали; потому что там голая пустыня, и мы нигде не найдем себе пристанища. Я поеду раньше, осмотрю место, поставлю хорошую крепостцу и дома для солдат, а также и навесы для офицерских лошадей, которые, по своей деликатности, могут пострадать

от перемены воздуха; надобно выкопать колодцы, провести дороги, яры очистить от разбойничьей мерзости; тогда пришло за вами провожатых, и вы приедете. Недели три вам придется подождать здесь.

Жена Володыевского хотела что-то возразить против этого, но Заглоба, поняв, что маленький рыцарь был прав, воскликнул:

– Что умно, то умно! Баська, мы с тобой здесь на хозяйстве останемся – и, право, отлично проведем время. Надобно тоже и запас кое-какой приготовить; ведь вы, верно, не знаете, что меды и вино нигде так хорошо не сохраняются, как в пещерах.

Глава II

Как сказал пан Михаил – так и сделал; в три недели он все устроил как следует и выслал за Басей особенный эскорт, который состоял из ста липковцев под командой пана Ланско-ронского и из ста линкгаузовых драгун с главнокомандующим паном Сниткой, герба «месяц в тучах». Липковцы шли под начальством сотника Азьи Мелеховича, молодого человека лет двадцати, из литовских татар. Он приехал к Басе и передал ей письмо от мужа, который писал ей следующее.

«Возлюбленная сердца моего, Бася! Приезжай скорей, потому что без тебя мне, как без хлеба; и если до твоего приезда не иссохну, то зацелую совсем твою свежую рожу. Людей посылаю достаточно и офицеров опытных, но главное начальство все-таки принадлежит пану Снитке; его приглашайте в свою компанию, потому что он человек благородный и хороший воин; Мелехович, хотя и хороший солдат, но Бог знает, кто он. К тому же он ни в одном отряде, кроме липковцев, офицером быть не может, потому что никто не признал бы его своим равным. Я обнимаю тебя крепко, ручки и ножки целую. Крепость я построил из сосновых бревен; печи огромные. Для нас несколько комнат в особом доме. Везде пахнет смолой; сверчков налезло множество в дом; и когда вечером они начинают цвирикать, то даже собаки просыпаются. Если достать немного гороховой соломы, то мож-

но бы мигом их перевесть. Окна пока заслоняем пузырями; но у пана Бьягловского в отряде, между драгунами, есть стекольщик Стекло можешь купить в Каменце у армян; ради Бога, осторожно вези его, чтобы не разбить. Твою комнатку я велел обить ситцем, она очень красива. Из разбойников, которых мы изловили в байраках, я велел уже девятнадцать повесить, а пока ты приедешь, то будет их до полсотни. Пан Снитко расскажет тебе про наше здешнее житье-бытье. Я поручаю тебя Богу и Пресвятой Богородице, душа моя милая».

Заглоба, узнав из письма Володыевского к жене, которое эта последняя дала ему прочесть, все касающееся пана Снитки, начал относиться к нему с уважением, хотя и давал ему понять все свое превосходство над ним и то, что если он говорит с ним как с равным себе, знаменитому воину, то только из снисходительности. Но пан Снитко и не думал задирать носа: он был простой, веселый и хороший служака, прошедший всю жизнь на военном поприще, склонялся пред славой пана Заглобы и считал себя ничтожным перед ним, а маленького рыцаря боготворил.

Когда жена Володыевского читала письмо, Мелеховича не было при этом; он, как только отдал письма, тотчас же вышел, говоря, что ему надо узнать, чем занимаются солдаты, но на самом деле он опасался, чтобы Бася не велела ему уйти в людскую.

Пан Заглоба, который уже достаточно присмотрелся

к нему и припомнил сказанное в письме Володыевского, обратился к Снитке:

– Добро пожаловать, пан! Добро пожаловать!.. Пан Снитко!.. Знавал, когда-то знавал! Герб ваш: месяц в тучах! Гм! Герб славный... Но тот татарин, как зовут его!..

– Мелехович.

– Но этот Мелехович волком смотрит. Михаил пишет, что этот человек неизвестного происхождения, – что очень удивительно, так как наши татары – шляхтичи, хоть и басурмане. На Литве я встречал целые селения татар. Там зовут их липками, а здешние носят название черемисов. Долгое время они служили верно Речи Посполитой, благодаря ее за хлеб; но во время холопского восстания многие из них перешли к Хмельницкому, а теперь, как мне известно, начинают сближаться с ордой. Этот Мелехович смотрит волком. С которых пор знает его пан Володыевский?

– Со времени последнего похода, – отвечая пан Снитко, засовывая ноги под стул, – когда мы с паном Собеским, идя против Дорошенки и орды, проезжали Украиной.

– Со времени последнего похода! Я не мог в нем участвовать, потому что пан Собеский дал мне другое поручение, хотя после он тужил обо мне. А ваш герб прекрасный: месяц в тучах!.. Откуда же взялся этот Мелехович?

– Он называет себя литовским татаринном; но удивительно, что его никто из литовских татар не знает, хотя он и служит в их отрядах. Распространился слух о его неизвестном

происхождении; но это, однако, не мешает ему держаться очень гордо. Воин он, впрочем, великий, хотя и не разговорчивый. Он оказал большие услуги под Брацлавом и Кальником, за что пан гетман сделал его сотником, хотя во всем отряде по летам он был самым младшим. Липковцы очень его любят, но между нашими он не очень терпим, потому что человек угрюмый и, как ваша милость только что заметили, смотрит настоящим волком.

– Если это великий воин, пропивавший за нас свою кровь, – воскликнула Бася, – то его можно принять в наше общество, за что, конечно, муж мой не может быть в претензии.

И, обращаясь к пану Снитке, спросила:

– Ваша милость согласны на это?

– Я весь к услугам пани полковниковой! – воскликнул Снитко.

Бася исчезла в дверях; а пан Заглоба, посопев немного, спросил пана Снитку:

– Ну, а как вам показалась наша пани полковникова?

Не отвечая на этот вопрос, пан Снитко только закрыл глаза пальцами, наклонился вперед и воскликнул:

– Ай, ай, ай!

Затем он замолчал, широко раскрыв глаза и прикрыв большой ладонью рот, что, все вместе взятое, представляло человека, как бы сильно сконфузившегося своего увлечения.

– Марципан да и только? – сказал Заглоба, щелкнув язы-

ком.

В ту минуту в комнату вошла «марципан» – Бася вместе с Мелеховичем, который похож был в это время на дикую испуганную птицу. Бася, войдя с Мелеховичем в комнату, обратилась к этому последнему:

– Из письма моего мужа и от пана Снитки наслушались мы столько о ваших храбрых подвигах, что мы рады познакомиться с вами. Просим пожаловать – сейчас подадут обедать.

– Просим, подойдите, пан, ближе, – сказал, пан Заглоба.

Видно было, что приглашение Баси и пана Заглобы понравилось Мелеховичу: лица татарина, весьма красивое, но как бы чем-то опечаленное, вдруг немного прояснилось, и на нем отразилась благодарность и за прием, и за то, что его не сравнивали со слугами, а пригласили в залу.

Бася своим чутким женским сердцем поняла, сколько выстрадал этот гордый, самолюбивый человек из-за своего неизвестного происхождения и каким незаслуженным оскорблением подвергался он, ввиду чего она старалась быть как можно вежливее и любезнее с Мелеховичем, оказывая при этом пану Снитке лишь настолько больше уважения, насколько этот последний был старше Мелеховича. Бася расспрашивала татарина о его заслугах, которыми он приобрел себе такое высокое положение. Пан Заглоба, поняв желание Баси, также часто обращался к нему с вопросами, на которые Мелехович отвечал весьма дельно, хотя и стеснялся сначала,

но вообще из его ответов и обращения видно было что это человек вполне воспитанный.

«Не может быть, чтобы в нем была холопская кровь, – характер был бы иной», – подумал пан Заглоба, а затем сказал громко:

– Где живут родители пана?

– На Литве, – отвечал, краснея, Мелехович.

– Литва велика. Это все равно, как если бы пан отвечал:

«В Речи Посполитой».

– Теперь уж не в Речи Посполитой, потому что наша сторона от нее отпала. Мой родитель имеет землю недалеко от Смоленска.

– У меня тоже были там имения, которые я получил в наследство от бездетного родственника; но я отказался от них и предпочел остаться в Речи Посполитой.

– То же самое сделал и я, – ответил Мелехович.

– И хорошо сделали, пан, – заметила Бася.

Пан Снитко не принимал участия в разговоре, но, слушая его, только плечами пожимал, желая выразить этим, что Бог один может сказать, откуда и кто этот татарин! Заглоба, подметив это выражение на лице Снитки, спросил Мелеховича:

– А что, пан, – сказал он, – ты Христа исповедуешь, или, не во гнев будь сказано, в мерзости пребываешь?

– Я принял христианскую веру, для которой должен был оставить отца.

– Если для того оставил, за то тебя Господь Бог не оста-

вит, и вот первая Его милость, что ты вино можешь пить, которого, оставаясь в слепоте, и не попробовал бы.

Слова эти рассмешили Снитку, но Мелеховичу все расспросы о его происхождении, видимо, были неприятны, и лицо его сделалось пасмурным, на что пан Заглоба, которому татарин не нравился, напоминая своими манерами и взглядом известного предводителя казаков Богула, не обращал ни малейшего внимания.

Во время их разговора был подан обед.

После обеда принялись приготавливаться к дороге и на другой день, ранним утром, выехали из дома, рассчитывая, чтобы дорога до Хрептиова заняла не больше одного дня.

В Хрептиов поехало несколько возов и, кроме того, несколько навьюченных верблюдов и лошадей, так как Бася хотела, чтобы у нее в Хрептиове было как можно больше различных припасов; позади этого каравана шли стада степных волов и овец.

Впереди поезда ехал Мелехович с отрядом липковцев, Басю и Заглобу, сидевших в крытом экипаже, сопровождали драгуны. Хотя Басе и хотелось ехать верхом на своем Джиомете, но она согласилась с паном Заглобой, советовавшим ей ехать в экипаже хотя бы в начале и в конце путешествия, и не поехала верхом.

– Если бы ты спокойно усидела на лошади, – сказал Заглоба, – я не противоречил бы тебе; но ты начнешь шалить, а это не совсем прилично жене полковника.

Поездка в Хрептиов очень радовала Басю, так как с начала замужества у нее были два страстные желания: подарить мужу сына и пожить с Михаилом, хоть не более года, где-нибудь в степи, в пустыне и испытать самой те приключения, которые неизбежны во время военных действий, посмотреть на те степи, о которых она так много слышала, будучи ребенком. И вот – мечты ее и желания начинали, казалось, сбываться: ей предстояла такая жизнь вместе с человеком, которого она страстно любила и который славился в Речи Посполитой как наездник из наездников, от которого враг никуда не мог скрыться. Все существо Баси трепетало от радости, ей хотелось и плакать, и смеяться, если бы мысль о том, как на это посмотрят солдаты, любовь которых она желала заслужить, не удерживала ее от этого. Она рассказала пану Заглобе свои мысли, и он, с доброй улыбкой, отвечал ей на это:

– Уж что ты будешь их любимицей и баловницей – в том нет никакого сомнения! Женщина в станице – редкая птица.

– А в необходимости я могу им служить примером.

– В чем?

– В храбрости! Одно только меня беспокоит за Хрептиовом стоят еще команды, в Могилеве и в Рашкове – до самого Ягоремкова, так что татарина у нас и на лекарство не добудешь.

– А я так боюсь, напротив, конечно не за себя, а за тебя, что мы слишком часто будем их видеть. Ты думаешь,

что чамбупы считают своей обязанностью идти непременно с востока, из степей, или от молдаванского берега Днестра? Они могут явиться где им вздумается, хоть на горе за Хрептиовом. Разве что разойдется молва о моем пребывании в станице, испугает их и заставит пройти мимо, ибо меня они хорошо знают.

– А разве Михаила они не знают? А Михаила разве они не испугаются?

– Да, от него тоже побегут, – разве что сила их будет так велика, что не испугаются. Впрочем, он сам готов их отыскивать.

– Я в этом была уверена! Да настоящая ли эта пустыня в Хрептиове? Это так от нас недалеко!

– Уж какая дикая пустыня! Когда-то, еще в моей молодости, была она заселена. Едешь, бывало, от хутора до хутора, от села до села, из местечка в местечко. Знавал я их, бывал там. Я помню время, когда Ушица была, что называется, укрепленным городом! Пан Конецпольский-отец поставил меня там старостой. Но потом совершил разбойничье восстание, и все пошло к черту! Когда мы ездили за Еленой Скшетуской, то там была уже пустыня, а потом по ней прошли более двадцати раз чамбулы... Теперь пан Собеский освободил эти края от казаков и татар, словно вырвал их из волчьей пасти. Но жителей там все-таки мало, потому что разбойники сидят по оврагам.

И припомнилось старому пану все прошедшее, и стал он

внимательно всматриваться в окрестности.

– Мой Боже, – говорил он, – когда мы за Еленой Скшетуской ездили, я считал себя стариком, а теперь мне кажется, что тогда я был молод; но с тех пор прошло более двадцати четырех лет. Михаил был тогда еще молокососом и не более имел волос на чубе, чем у меня на пальцах. Между тем, местность эта мне так известна, будто все это происходило вчера! Только байраки пуще поросли лесом с тех пор, как обыватели оставили эти места.

Разговаривая таким образом, путники наши приблизились к дремучему бору, покрывавшему в то время большую часть этих пустынь. Кругом Студеницы можно было встретить и открытые поля, откуда вдаль виднелись берега Днестра, которые с другой стороны реки шли до высот, заканчивающих горизонт со стороны Молдавии.

Въехав в этот бор, путешественники продолжали свой путь с большими препятствиями: глубокие яры, где жили дикие звери и в которых обитало еще больше диких людей, мешали им продолжать путь, – это яры были то узки и обрывисты, то покрыты густой зарослью и более открыты, с отлогими откосами. Мелехова со своим отрядом липковцев сходил туда с большой осторожностью, и в та время, когда хвост конвоя находился только на краю вершины-оврага, начало конвоя точно уходило под землю. Хоть пан Михаил и поправил, по возможности, дороги, но все же Басе с паном Заглобой то и дело приходилось выходить из экипажа, так как по-

падались весьма опасные переправы. Яры эти на дне своем имели колодцы или ручьи, стремившиеся по камням, тут же находились быстрые потоки, куда весною стекала вода от таявшего в степи снега. В этих каменных ущельях было постоянно холодно, так что хотя солнце сильно пекло и в лесу, и в степи, путники чувствовали порядочный холод. Вершины оврагов были покрыты высоким бором, представлявшим из себя как бы черных великанов, стороживших их темную внутренность от солнечных лучей. Этим же бором были покрыты и скалистые бока оврагов. Однако же, в некоторых местах бор этот представлял из себя какое-то безобразие: там и сям виднелись поломанные и почерневшие пни и стволы, которые были накинаны друг на друга; там же валялись ветви, совершенно без листьев или с сухими, почерневшими листьями, или желтыми хвоями.

– Что сделалось с этим бором? – обратилась Бася к пану Заглобе.

– Это, быть может, старые засеки, которые устраивались здешними обывателями против орды, или засеки разбойников против наших войск; но может быть, что и молдавские ветры гуляли здесь по борам, – а в их порывах, как говорят старые люди, упыри или просто дьяволы играли свои свадьбы.

– А разве вы видели когда-нибудь дьявольскую свадьбу?

– Своими глазами не видал, но слышал, как дьяволы от радости кричали: у-га! у-га! Спроси Михаила, он тоже слышал.

Хотя жена Володыевского была не трусиха, но все-таки чувствовала страх к злым духам и поэтому с усердием перекрестилась несколько раз.

– Страшная сторона, что и говорить! – проговорила она.

Бася не ошиблась, назвав эту страну страшной. Да и в самом деле, в оврагах было тихо и мрачно, как в могиле. Не слышно было ни воя ветра, ни шелеста листьев, только иногда раздавался скрип повозок да перекличка возниц между собою в опасных местах, а иногда слышалась и песня, затянутая кем-либо из татар или драгун, все же остальное безмолвствовало.

Как овраги были мрачны и дики, так нагорные места были оживлены и представляли собою прекрасную картину, даже и те, которые были покрыты сплошным лесом. Погода стояла в это время чудная; на небе – ни тучки, а золотые лучи солнца окрашивали и деревья, и травы то в пурпур, то в золото. От Речи Посполитой к Черному морю уже неслись большие стаи диких гусей, уток и журавлей, почувствовавших приближение холодов, так как время подходило уже к половине октября.

Кроме уже помянутых птиц, высоко на небе можно было еще заметить плавающих в воздухе, с распущенными крыльями, хищного орла и не менее алчного к добыче ястреба. На зиму в степях оставалось много других птиц, не боявшихся холодов и прятавшихся в высокой траве, во время проезда каравана из-под копыт лошадей то и дело вылета-

ли стаи жирных куропаток, что очень радовало Басю, страстно любившую охотиться. Заметив где-нибудь вдали дрофу, как бы стоявшую на страже, она хлопала в ладоши, как ребенок, и глаза ее блестели от удовольствия.

– Мы будем с Михаилом на них с собаками охотиться! – восклицала она, хлопая в ладоши.

– Что если бы твой муж был домосед, – говорил Заглоба, – с такой женой у него скоро бы борода поседела. Но я знал, кому тебя отдал. Другая на твоём месте была бы хоть сколько-нибудь благодарна.

Вместо ответа Бася расцеловала старика в обе щеки, так! что сердце его дрогнуло и он проговорил:

– На старости любящее сердце так же приятно, как теплая лежанка.

Затем, призадумавшись немного, он продолжал:

– Удивительно, как я всю свою жизнь любил женщин, а спроси: за что? И сам не знаю! Ведь надобно правду сказать – это зелье бывает и изменчиво, и ветрено. Может быть, оттого, что они боятся всего, как дети; если кого-нибудь из них обидят, у меня сердце так и сожмется от жалости. Обними же меня еще, вот так!

Молодая женщина не заставила себя просить и тотчас исполнила желание старика. Она была в таком радостном настроении, что не только пана Заглобу, но если бы могла, то обняла бы весь мир.

Все время пути Бася и пан Заглоба находились в самом

лучшем расположении духа, хотя путешествие их и совершалось очень медленно из-за волов, которые не могли идти скоро, следуя позади каравана, а оставить их под присмотром небольшой стражи было небезопасно в этих дремучих лесах.

Чем дальше они ехали, тем путь становился затруднительнее. Недалеко от Ушицы дорога сделалась неровной, овраги – более глубокими, пустыня же представляла весьма дикий вид. Караван беспрестанно должен был останавливаться: то лошади упрямылись, то волнистая почва затрудняла проезд. Дорога, ведущая на Могилев, была очень большая и старая и так за двадцать лет заросла непроходимым лесом, что едва можно было заметить ее, почему и нужно было ехать по тропинкам, проложенным когда-то войском. Но пробираться по этим тропинкам было очень трудно. Да они и не всегда были верны. Ввиду всего этого караван не избег неприятных приключений. Так, например, конь Мелеховича, который ехал во главе своего отряда, оступился на покатости яра и свалился на каменистое дно; Мелехович лежал без памяти, а верхняя часть головы его была расчечена. Пан Заглоба и Бася вышли из повозки, куда положили раненого, приказав везти его как можно осторожнее, сами же поехали верхом. Когда по дороге попадались родники, то Бася сходила с лошади, мочила в воде полотно и перевязывала им голову татарина, долго не приходившего в себя. Наконец, когда он очнулся и Бася спросила, как он себя чув-

ствует, то он, не отвечая, схватил руки ее и крепко поцеловал их своими бледными губами.

Затем, как бы совсем придя в себя, он сказал по-малоросийски:

– Ой, добре, як давно не було.

Таким образом путешествие это продолжалось целый день. Настал вечер, солнце медленно скатилось в сторону Молдавии и осветило Днестр, казавшийся от этого огненной лентой, между тем на востоке, у Дикого Поля, начинались уже сумерки.

Конечная цель путешествия каравана – Хрептиов – была недалеко, но путники все-таки остановились, чтобы подольше отдохнуть и дать отдых коням. Воины сошли с коней, некоторые из драгунов начали петь молитвы, а липковцы, подостлав овечьи шкуры, встали на них на колени и, обратив лицо на восток, начали молиться, повторяя то громко, то тихо: «Аллах! Аллах!» Восклидания эти раздавались по всем шеренгам, затем вдруг все смолкало, и мусульмане, встав на ноги и подняв руки кверху около лица, начинали повторять с небольшими промежутками: «Лохичмен, ах, лохичмен!» Молящихся людей освещали красные лучи заходящего солнца. С востока подул ветерок и пробежал по листьям лесной чащи, как бы желая перед ночью прославить Бога, украсившего небосклон мириадами звезд.

Бася, глядя на молящихся татар, с грустью думала, что все они, такие молодые, после тяжелой трудовой и полной ли-

шений боевой жизни, должны пойти в ад, несмотря на то, что живут вместе с людьми, верующими в истинного Бога.

Слушая жалобы Баси по этому поводу, пан Заглоба только плечами пожимал, как человек уже давно привыкший ко всему этому.

– Этих мерзавцев, – сказал он, – оттого и в рай не пускают, чтоб они с собою туда нечистых насекомых не занесли.

Сказав это, пан Заглоба с помощью слуги надел тулупчик на мерлушках, необходимый при поездках во время холодных вечеров, и приказал каравану двинуться в путь; но едва приказание это было исполнено, как путники увидели на взгорье, против себя, пятерых всадников. Отряд липковцев в ту же минуту расступился.

– Михаил! – крикнула Бася, смотря на всадника, ехавшего впереди других.

И в самом деле это был пан Михаил, выехавший с четырьмя всадниками навстречу Басе.

Встреча супругов была чрезвычайно радостна, и они не могли наглядеться друг на друга. Каждый из них передавал другому все, что с ним случилось.

Бася передала мужу все подробности о своем путешествии, а также и о несчастьи с Мелеховичем. В свою очередь пан Михаил рассказал ей о своей жизни в Хрептиове, прибавив, что там все уже готово для приема ее, так как пятьдесят человек трудились три недели над постройками. Разговаривая с женой, маленький рыцарь то и дело нагибался и обни-

мал ее; Бася же не противилась его ласкам и не была за это в претензии на мужа, так как ехала возле него так близко, что даже лошади их терлись боками.

Наконец наступила ночь, теплая и светлая от блеска полного месяца, совершавшего путь; в это время путешествие их приближалось к концу. Луна все выше и выше поднималась на небо и бледнела, под конец же свет ее вдруг заслонило зарево, ярко запыхавшее перед путниками.

– Что это такое? – спросила Бася.

– Увидишь, – сказал, поводя усами, Володыевский, – как только минует этот лесок, который отделяет нас от Хрептиова.

– Это уже и Хрептиов?

– Ты видела бы его отсюда, как на ладони, но деревья заслоняют его от нас.

Затем они въехали в небольшой лес и, доехав почти до половины, увидели на другом конце его множество огней, как бы рой светляков или мерцающих звезд! Звезды эти быстро приближались, и наконец весь лес потрясся от громогласных восклицаний:

– Vivat наша пани! Vivat вельможная! Vivat! Vivat!

Это кричали солдаты, приехавшие приветствовать Басю и державшие в руках на длинных палках пылающие лучины, всаженные в расщепленный конец палки. Сотни прибывших перемешались с липковцами. Некоторые из прибывших держали железные каганцы с пылающей смолой, падающей

на землю, как огненные слезы.

Вся эта толпзийстухила Вояодыевекого, и хотя лица воинов были грозны, усаты и дики, но тем не менее они выражали большую радость Немногие из них видели Басю и думали, что жена полковника солидаая женщина, но чрезвычайна удивились и обрадовались, увидев едущую верхом на белом коне молоденькую, хорошенькую женщину, почти ребенка, приветливо и смущенно улыбавшуюся им и кивавшую головой.

– Благодарю вас, панове, – говорила Бася, – хотя я и знаю, что такая встреча не для меня... – Но ее серебристый голос утонул в виватах, заставивших дрожать лес.

Солдаты различных отрядов перемешались между собою и спешили подойти, ближе к Басе, рассматривали ее и восхищались ею, а некоторые до того расчувствовались, что целовали край ее платья или ноги в стременах. При виде этой молоденькой, цветущей женщины сердца этих полудикарей, знакомых только с войной да с пролитием крови, дрогнули, и в них пробудилось какое-то незнакомое им дотоле чувства Любя и уважая Воподыевского, они пожелали сделать ему приятное, вышли встретить его жену – но кончилось тем, что молодая женщина очаровала их. Симпатичное, веселое, невинное лицо Баси сделалось для них дорогим. «Детина-то наша!» – говорили степные воины, старые казаки. «Херувим, каже пан региментар!» «Утренняя зорька! Милый цветочек!.. – повторяли солдаты. – Все за нее положим головы!»

Черемисы же, только чмокая губами и положив руки на грудь, твердили: «Аллах! Аллах!»

Пан Михаил был тронут и польщен такой встречей, оказанной его жене, которая была его гордостью.

Караван выехал из лесу, а крики «vivat» все не смолкали. Глазам путников представилась станица Хрептиовская, которая раскинулась амфитеатром на взгорье и состояла из больших деревянных строений. Станицу эту можно было хорошо рассмотреть, так как внутри частокола были зажжены большие костры, да и во дворе было много костров, хотя и не таких больших, из боязни пожара.

Пришедшие в станицу воины погасили лучины и начали палить из своего оружия в честь лани.

Со звуками пальбы смешались звуки оркестра, игравшего за частоколом и состоявшего из польских труб, казацких литавр, бубнов и других многострунных инструментов; татарские пищалки, на которых упражнялись липковцы, пронзительно пищали. Ко всему этому примешивались еще собачий лай и рев испуганных животных, что производило страшный гам.

Бася ехала между паном Заглобой и мужем, конвой теперь следовал позади них.

Ворота были украшены еловыми ветвями; над воротами была надпись, произведенная на стенках пузыря, вытертого сапом, который внутри был освещен.

«Пусть Купидон щедро наделит вас счастливыми часа-

ми».

Бася с мужем остановились прочесть эту надпись; воины, увидя это, крикнули: «Vivati»

Для пана Заглобы тоже был особый транспарант, который его очень обрадовал. На нем старик прочел следующее:

«Да здравствует вельможный Онуфрий Заглоба, каждого войска величайшее украшение!»

Затем начался лир, на который пан Михаил пригласил офицеров, а в распоряжение воинов было отдано несколько бочонков горилки. В угощении не было недостатка; заколотые быки тут же жарились на кострах, и до поздней ночи продолжалось это веселье, оглашая воздух криками и выстрелами, что приводило в ужас степных бродяг, скрывающихся в Ущицких лесах.

Глава III

Паи Володыевский со своими людьми постоянно занимался работой. Гарнизон Хрептиова составляли не более ста человек, а остальные всегда были в разъездах. Большой отряд был послан для исследования ущицких лощин. Воины, находившиеся в этом отряде, жили как во время настоящей войны. Да и нельзя было иначе, так как часто большие разбойничьи шайки, напав на них, сильно оборонялись, вследствие чего между солдатами и разбойниками происходили настоящие битвы, длившиеся несколько дней и даже несколько десятков дней. Володыевский отправлял небольшие отряды к Бреславию для разведок о татарах и Дорошенке, а также и для поимки из степей лазутчиков; для поддержания сношений с командами, расположенными вниз по Днестру — до Могилева и Ямполья, тоже посылались маленькие отряды, а иные отправлялись следить за происходившим на ямпольянской дороге, некоторые уже устраивали мосты и исправляли корчмы. Жители этой взволнованной страны, узнав, что она мало-помалу успокаивается, и не получая от разбоев большой наживы, начали возвращаться в заброшенные ими дома все смелее и смелее. Володыевский надеялся, что в недалеком будущем Хрептиов и окрестности его изменят свой дикий вид, так как в станице появился уже ремесленник-еврей, а также часто посещали ее и коробейники,

и купцы-армяне. Но, конечно, вся перемена к лучшему была еще слишком далека, много еще предстояло потрудиться. Распущенный народ сдружился с бродягами, относясь с недоверием к войску, и опять стал убегать в пещеры скал; целые толпы различных бродяг – волохов, венгров, казаков, татар и других – переходили через броды Днестра, нападали по-татарски, грабили, так что все дороги были в большой опасности, вследствие чего нельзя было выпустить из рук оружие; но все же улучшение края уже началось, и можно было надеяться на успех.

Польские команды более всего опасались нападения с востока, так как из отряда Дорошенки посылались на них небольшие группы с подручными шайками татар, которые, напав на них, предавали огню все окрестности. Предполагая, что эти шайки нападали на них по собственному желанию, Володыевский без всякой боязни навлечь на себя еще большую грозу побеждал их, несмотря ни на какие препятствия, так что разбойники оставили их в покое. Жена же маленького коменданта начала в это время хозяйничать в Хрептиове.

Басе очень понравилось то оживление, которое царило вокруг нее. Ее забавляли походы, возвращения с разведок, пленные и все прочее. Басе очень хотелось участвовать хоть в одной рекогносцировке, о чем она и сообщила мужу, но до исполнения своего желания она довольствовалась тем, что ездила на своем бахматике¹⁴ знакомиться с окрестностями.

¹⁴ Бахматик – степная лошадка.

ми Хрептиова с мужем и старым Заглобой; по дороге они охотились на лисиц и дичь, а также иногда травили и волка, выпрыгнувшего из травы; Бася тогда, опередив своих спутников, скакала за гончими, чтобы, догнав зверя, первой выстрелить по нему из пистолета.

Пану Заглобе нравилась соколиная охота, а офицеры имели несколько пар недурных соколов.

На эту охоту он отправлялся вместе с Басей. Для охраны их Володыевский потихоньку посылал за ними несколько воинов, из предосторожности на случай опасности, хотя и знал обо всем, что делается на двадцать миль в окружности.

Согласно пророчеству пана Заглобы, Бася сделалась общей любимицей в станице. Старые воины хвалили ее за храбрость и за то, что она так хорошо понимала их военное дело. Она же, со своей стороны, заботилась об их продовольствии и присматривала за больными и ранеными. Мелехович, голова которого все еще болела и который был более других дик и несдержан, в присутствии Баси делался веселее и мягче.

– Если бы не стало малого сокола, – говорили воины, – она бы могла стать во главе команды, а под таким начальством не жаль бы было, пожалуй, и голову сложить.

Бася иногда давала строгий выговор солдатам, если замечала в отсутствие мужа нарушение дисциплины или что-нибудь подобное, за что строго взыскивал с них пан Михаил. Выговоры пани солдаты принимали ближе к сердцу,

чем наказания маленького рыцаря, и выказывали молодой женщине полное послушание. Воспитанный в школе князя Иеремии, Володыевский держал солдат в ежовых рукавицах, придерживаясь строгой дисциплины; но по приезде Баси в станицу дикие обычаи ее обитателей несколько смягчились, так как все старались ей угодить и отстранить от нее все неприятное.

Пан Николай Потоцкий командовал отрядом воинов, которые были люди ловкие и бывалые, хотя постоянные войны и бедствия наложили на них печать некоторой дикости, но все-таки они могли быть приняты в лучшем обществе. Пан полковник приглашал их к себе вместе с другими офицерами, где они проводили вечера в рассказах о делах давно минувших, о войнах, в которых они сами участвовали. Пан Заглоба играл на этих вечерах первенствующую роль, как человек долго живший и много испытавший. Только тогда, когда он, выпив несколько стаканов вина, начинал дремать, усевшись в свое сафьянное кресло, другие начинали свои рассказы. Рассказы эти были весьма занимательные, так как некоторые из рассказчиков побывали и в Швеции, и в Москве, другие же всю молодость провели на Сечи, еще до гетмана Хмельницкого; тут можно было встретить бывших невольников, которые когда-то пасли овец в Крыму или копали колодцы в Бахчисарае; некоторые были знакомы и с Малой Азией, побывали и на галерах в Турции, плавали и по Архипелагу; здесь же можно было увидеть и та-

ких счастливых, которые были в Иерусалиме и поклонялись Гробу Господню; многие же, испытав в жизни много бед и горя, возвратились в свое отечество, чтобы до последнего часа жизни быть защитниками его прибрежных окраин, на которых много людей сложили свои буйные головы.

В длинные и тоскливые ноябрьские вечера у полковника ежедневно собирались офицеры, так как в это время трава на пастбищах уже завяла, вследствие чего и в степи было все тихо и безопасно. На вечерах у Володыевского бывал и начальник казаков, пан Мотовидло, мужчина худощавый, уже не молодых лет и родом малоросс, который двадцать лет провел в сражениях, был тут и пан Дейма, приходившийся братом убитому Убышу; с ним являлся и пан Мушальский, очень меткий стрелок, который мог на лету прострелить цаплю. Посещали пана Володыевского паны Вильга и Ненашинцев, оба хорошие воины и наездники; бывали тут и пан Громыка с паном Богдановичем, и много других. Рассказы этих панов были так живы и увлекательны, что невольно как бы переносили слушателя на Восток: в Бахчисарай и Стамбул. Перед глазами мелькали минареты, и святыни Магомета, и бирюзовый Босфор, и фонтаны, и дворец султана, и множество народа в каменном городе, войска, янычары и дервиши – и все это было закрыто и от русских окраин, да и от всей остальной Европы и Речи Посполитой, немало пролившей своей крови.

Комната была обильно освещена пламенем горевших

в очаге смолистых бревен. По приказанию Баси слуги угощали гостей молдаванским вином, которое грелось на огне и которое черпали цинковыми кружками. Из-за стен слышны были оклики часовых, в комнате же цвирикали сверчки, а в щелях, хотя и законопаченных мхом, все же время от времени свистел северный, холодный ноябрьский ветер. Но тем приятнее было в это время сидеть в теплой комнате и слушать занимательные рассказы воинов.

В один из таких вечеров пан Мушальский рассказал своим собеседникам следующее:

– Да сохранит Господь Бог нашу Речь Посполитую, всех здесь присутствующих и особенно достоуважаемую пани полковникову, на красоту которой мы недостойны даже глаз поднять. Конечно, то, что я хочу рассказать, не может равняться с приключениями пана Заглобы, которые удивили бы Дидону с ее благородными дамами, но если паны пожелают, то я расскажу им о своих похождениях. Будучи еще молодым человеком, я владел имением на Украине, недалеко от Таращи. Это имение было довольно большое и получено было мною в наследство. Кроме того, у меня еще были две деревеньки в тихой стороне, около Ясла, которые достались мне от матери, но я не жил там, а предпочитал отечество, чтобы находиться поближе к татарам и где скорее мог представиться случай помериться с ними с оружием в руках. Мне не удалось побывать на Сечи, хотя своим воинственным характером она сильно привлекала меня, но там ниче-

го не представлялось для деятельности, к какой стремилась моя душа. Зато я пожил в Диких Полях с некоторыми из воинов и испытал все прекрасное, что может дать боевая жизнь. Жизнь моя в деревне мне очень нравилась, и я не расстался бы с нею, если бы не имел около себя надоедливого соседа из-под Белой Церкви. В молодости своей Дыдюк, так звали соседа, служил на Сечи, где и получил чин куренного атамана; кошевой посылал его послом в Варшаву; там он, будучи простолюдином, получил шляхетство. Однако, панове, заметьте, что я происхожу из рода вождя самнитов, некоего Муска, что на нашем наречии означает муха. Мой предок Муска вернулся ко двору Земовита, сына Пяста, по окончании несчастной войны с римлянами. Этот-то Земовит и переименовал его из Муска в Мускальского, что для Земовита казалось легче, а затем уже потомство переименовало это прозвище в Мушальского. Зная свое происхождение, я презирал Дыдюка. Он ни во что ставил свое шляхетское достоинство и даже подсмеивался над ним, говоря; «Разве от этого моя тень увеличилась? Я был казаком, казаком и останусь, а шляхетство и все эти вражьи ляхи – вот мне...» При чем он делал такой жест, которого я не позволю себе передать в присутствии пани. Я едва сдерживал свое необузданное бешенство и всеми силами старался вредить ему. Но Дыдюк был не труслив и за каждое притеснение с моей стороны отплачивал мне сторицею. Драться с ним на саблях я не мог, так как происхождение наше было не равное, хотя он был бы

от этого не прочь. Мы ненавидели друг друга, как моровую язву. Раз на рынке в Тараще Дыдюк выстрелом ранил меня, и я чуть не умер, но затем и я отплатил ему, раскроив голову обухом. Потом, собрав своих дворовых, я два раза забирал его в свои руки. В свою очередь, он не остался у меня в долгу и со своими негодьями напал на меня два раза, но во всяком случае мы не могли одолеть друг друга. Думал было я идти против него судом, да какой же суд в Украине, где еще не рассеялся дым от сгоревших городов. Пан Дыдюк придерживался правила, существовавшего на Украине, по которому тот, кто призывал разбойников себе в помощь, мог не обращаться никакого внимания на Речь Посполитую. Конечно, всем этим он оскорблял нашу общую мать, позабыв, какими благами она наделила его. Здесь он сделался шляхтичем, и это возвышение дало ему возможность пользоваться различными преимуществами: владеть землями и пользоваться той свободой, какой он не мог бы добиться ни под чьим другим владычеством. Мы встречались с ним всегда с оружием в руках, и я убежден, что если бы мы виделись друг с другом просто, как соседи, то мы бы поняли друг друга. В моей голове засела одна мысль – иметь его в своей власти. Odium росло во мне не по дням, а по часам, и сделало меня желтым, как лимон. Хотя я и знал, что страшно грешу, ненавидя этого человека, но все-таки намеревался исполосовать кнутом его спину за то, что он не признавал себя шляхтичем, а затем уж, как должно верующему в Бога, отпустив ему все грехи,

застрелить из ружья, как собаку.

Но человек предполагает, а Бог располагает.

Однажды вечером я отправился на свою пасеку, которая была невдалеке от деревни. Пробыв там с полчаса, я вдруг услышал крик.

Взглянул я на деревню – а над ней повис дым, как туча. Люди бежали и кричали «Татары!», а за ними татар – видимо-невидимо! Бараньи тулупы и дьявольские татарские морды так и мелькают. Я бросился к коню, но не вложил я еще и ноги в стремя, как почувствовал уже пять или шесть арканов, накинутых мне на шею. Моя геркулесовская сила помогла мне вырваться, но все-таки я был взят в плен и три месяца спустя был уже с другим невольником в татарской деревеньке Сухайдзик, за Бахчисараем.

В плену нам пришлось очень тяжело. Под ударами кнута мы должны были копать колодцы и заниматься полевыми работами. Имя хозяина нашего, татарина, было Сальмагей. Он не отличался человеколюбием: с невольниками обращался жестоко. Имея состояние, я пожелал выкупиться, но сколько я ни писал писем, посылая их с одним армянином в свои деревеньки под Яслами, ни ответа, ни денег не получил. Что была за причина этому – я не знал, но только очутился я в Царьграде, где и продали меня на галеры.

Прекраснее и больше города Царьграда едва ли найдется где в мире. О нем бы можно было рассказывать подряд три дня – и то всего нельзя было бы пересказать. Людей там –

множество. Дома скучены – крыша возле крыши. Зтикульские стены тверды. По городу между людьми снуют собаки, с которыми турки находятся в дружеских отношениях, потому, вероятно, что питают к ним родственные чувства, приходясь им братьями. В Царьграде только можно встретить господ и рабов. Тяжесть неволи у язычников – несравненна. Есть предание, о котором мне говорили на галерах, будто слезы невольников произвели воды Босфора и Золотого Рога, заходящего в город. Много и моих слез кануло туда.

Ни один из монархов не владычествует над столькими королями, как султан; владычество это ужасно. Турки сами говорят, что если бы не Речь Посполитая, наша мать, или, как они ее называют, Ляхистан, то они давно бы владычествовали над всем светом. За спиной ляха, говорят они, и остальной свет живет в неправде, потому что он, говорят, лежит, как пес, перед крестом, а сам руки кусает. И действительно, они говорят правду. Мы похожи на караульных собак, сидя здесь в Хрептиове, в Могилеве, в Ямполе и в Рожкове! Конечно, и на солнце есть пятна, так ведь и в нашей Речи Посполитой не все безукоризненно, но все же надо предполагать, что наши труды не пропадут даром, может быть, Бог вознаградит нас за наши лишения, да и люди вспоминать станут. Но я буду продолжать свой рассказ. Невольники, живущие на лугах, в городах и деревнях, пользуются большей свободой, чем галерные. Жизнь этих последних – ужасна! Их приковывают к борту судна около весла и не осво-

бождают от оков ни ночью, ни днем, ни в праздники, и так продолжается до самой смерти; иногда корабль тонет в волнах, и прикованные к нему тонут вместе с ним. Невольники не покрыты никакой одеждой и ходят нагие, вследствие чего они замерзают от стужи, мокнут под дождем, страдают от голода – и избавиться от этого они не могут. Им остаются только горькие, кровавые слезы и непосильный труд.

В тюрьму я попал ночью, там меня заковали. Кроме меня, туда посадили такого же несчастного, но рассмотреть в темноте я его не мог. Стали меня заковывать, и казалось мне, что молот забивает крышку гроба над моей головой, хотя в это время я умер бы с радостью. Я обратился к Богу – но, молясь, я не чувствовал в сердце своем надежды. Стоны мои были бы бесконечны, если бы каваджи не усмирил меня кнутом, и так я просидел смирно всю ночь до рассвета.

При свете утра, я взглянул на моего товарища по несчастью – и обомлел. Передо мною сидел Дыдюк. Он страшно изменился; исхудал, был оборван, а борода – по пояс. Он уже давно проводил жизнь на галерах. Взглянув друг на друга, каждый из нас тотчас же узнал своего врага, но мы сидели молча, и хотя оба страдали, но каждый из нас рад был видеть другого таким же несчастным, и мы стали еще сильнее ненавидеть друг друга. В этот же день мы поплыли в путь. Мы, враги, должны были вместе делить все мучения, есть из одной посуды бурду, какой побрезговали бы собаки, сидеть рядом у одного весла, дышать одним воздухом. Судно

наше плыло по Геллеспонту, а потом остановилось в Архипелаге, вся масса островов которого и оба берега – чуть не весь свет – принадлежат туркам.

Тяжелую жизнь пришлось вести нам здесь. Страшно жгло солнце, вода от него слезно загоралась, а дрожащие и прыгающие по волнам отблески казались огненным дождем. Днем мы должны были страдать от невыносимого зноя, от которого пот лил ручьем и язык прилипал к гортани, а ночью от страшного холода. Рассказать все те страдания и муки, которые нам пришлось вынести, нет возможности. Надежды на избавление не было, и мы приходили в отчаяние и горевали, вспоминая о прошедшем счастье. Однажды мы остановились на греческой земле, и пред нами явились святые развалины, которые ставили древние греки. Нам с палубы видны были хорошо эти развалины, так как они стоят на возвышении и представляют собой золотые колонны, стоящие одна подле другой, хотя эти колонны не золотые, а из мрамора, пожелтевшего от времени. Затем судно наше поплыло вокруг Полинезии. Мы с Дыдюком уже долго сидели вместе, но из самолюбия и злости не сказали друг другу ни слова. С течением времени сердца наши начали смягчаться. От непосильных трудов и от перемены климата тело наше не держалось на костях, а раны гноились от зноя. Ночью мы горячо молили Бога о ниспослании смерти; и каждый из нас слышал эту молитву другого, и тогда ненависть как бы исчезала из наших сердец. Дело дошло до того, что я плакал

уже не об одном себе, но и о своем товарище. Мы уже иначе посматривали друг на друга и помогали один другому в трудах Бывало, если кто из нас, гребя, страшно изнурится (весла были так громадны, что для них требовалась сила не одного, а двух человек), то другой заменял его. Мы также заботились и о том, чтобы пищи, которую нам приносили, хватило бы и товарищу, одним словом, мы полюбили друг друга, но никто из нас не желал этого высказать. У моего товарища была шельмовская душа, душа малоросса!.. На другой день мы узнали, что встретимся с венецианским флотом. Запас съестных припасов был у нас невелик, да нас и не закармливали, а только не скупилась на угощение кнутами.

Но вот настала ночь; слышались наши тихие стоны да молитвы, еще усерднее прежних. Увидал я в эту ночь, как крупные слезы падают из глаз Дыдюка на его длинную бороду. Сердце мое не стерпело, и я проговорил: «Дыдюк, ведь мы же из одних краев, простим же друг другу грехи». Услышав это, Дыдюк вскочил, зарыдал и, зазвенев цепями, бросился в мои объятия. Не знаю, сколько времени мы провели, целуясь и обнимая друг друга, при чем слезы текли из наших глаз. Мы долго не могли опомниться; только тела наши дрожали от рыданий.

Проговорив последние слова, пан Мушальский призадумался на минуту; в комнате слышно было только шипенье огня, да цвирикание сверчков и посвистыванье холодного ветра. Затем Мушальский, вздохнув, продолжал:

– Вскоре Господь Бог оказал нам Свое милосердие, о чем вы узнаете из моего рассказа. Дорого мне пришлось поплатиться за чувство братской любви к товарищу, так как, обнимаясь, мы перепутали свои цепи, и без помощи надсмотрщиков их невозможно было распутать, за что нас эти последние и попотчивали канчугами, свиставшими над нами более часа.

Под ударами канчуг кровь наша, смешавшись, лилась ручьем и текла в море. Палачи хлестали нас куда попало. Ну, да что вспоминать! Это прошлое мученье. Слава Богу, что все это прошло.

После всего этого я уже не вспоминал о своем происхождении, позабыв гордиться им перед своим товарищем, и не думал о том, что он был простолюдин, так сильно я любил его; кажется, брата своего не мог бы любить сильнее, даже если б Дыдюк не был шляхтичем, хотя я и был доволен этим последним. Дыдюк по своим душевным свойствам за любовь мою, как прежде за ненависть, оплачивал сторицею.

На следующий день произошло сражение с венецианцами, которые разбили наш флот и обратили в бегство; мы очутились на каком-то пустынном острове, куда нашу галеру, сильно поврежденную, прибило волнами. Так как солдат на галере было немного, то нам пришлось заняться починкой ее, для чего нас расковали. Выйдя на берег и получив для работ топоры, мы с Дыдюком взглянули друг на друга

и поняли, что у нас явилась одна и та же мысль. «Сейчас?» – спросил он. «Сейчас!» – ответил я и тотчас я ударил топором чубачного, а он капитана. Нашему примеру последовали и другие, и через час, покончив со всеми турками и сладив кое-как галеру, мы, свободные как птицы, сели на нее и поплыли, гонимые ветром по воле Божьей, к Венеции.

Прояся по дороге милостыню, мы добрались наконец до Речи Посполитой, и, отделив часть своего подъясельского имения Дыдюку, я отправился вместе с ним на войну, чтобы отмстить за все наши муки и страдания. Мой товарищ отправился в Сечь, откуда, вместе с Сиркой, пошел на Крым, а как они там прославились в сражении, не буду рассказывать, так как вы о том, Панове, слышали.

Отмстив за себя, Дыдюк возвращался обратно, но на пути был сражен стрелой врага, я же после этого стараюсь как можно больше погубить его врагов и, метясь в них, вспоминаю о нем. Из беседующих здесь со мною некоторые знают, что я часто радовал его душу.

После этого Мушальский долго молчал, пристально глядя на пылающие дрова, и в комнате опять только трещал огонь, да слышен был вой ветра. Затем Мушальский окончил свой рассказ следующими словами:

– Был Наливайко и Лобода, был Хмельницкий, а теперь Дорош; земля не высыхает от крови, мы ссоримся и деремса, однако Бог посеял в сердцах наших семена любви, но они лежат словно в недостижимой глубине, и только когда увлажняют

их слезы и кровь, под гнетом и кончугами язычников, в татарской неволе, неожиданно приносят они обильные плоды.

– Хам Хамом! – сказал, вдруг проснувшись, пан Заглоба.

Глава IV

Здоровье Мелеховича поправлялось, хотя и медленно; он еще не мог участвовать в рекогносцировках и не выходил из своей комнаты; да на него почти никто не обращал внимания, но вдруг одно обстоятельство заставило всех вспомнить о нем.

Несколько казаков из отряда пана Мотовидлы поймали какого-то подозрительного татарина, шатавшегося у станицы, и привезли его в Хрептиов, где он был тотчас же допрошен и оказался липком, одним из собравшихся к султану из Речи Посполитой, где бросил и службу, и свое имущество. Этот беглый шел с той стороны Днепра с письмом к Мелеховичу от Крычинского.

Это обстоятельство заставило полковника призадуматься, и он составил совет из старшин.

– Панове, – сказал он, – вам хорошо известно, какое множество липков, даже таких, которые сидели на Литве и на Руси с незапамятных времен, перешли в орду и заплатили черной изменой за все благодеяния Речи Посполитой. Оно и справедливо: как волка ни корми, а он все в лес смотрит. Здесь у нас есть липковский полк, сто пятьдесят коней, которым командует Мелехович. Мелеховича я знаю с недавних пор; знаю только, что его за особенные услуги гетман сделал сотником и прислал ко мне сюда с отрядом. Мне все-

гда странным казалось, что его никто из вас не знал до его вступления на службу и ничего о нем не слышал. Что его наши липковцы чрезвычайно любят и слушают, объяснял я себе его мужеством и славными делами, но, кажется, и они не очень-то знают, кто он и откуда пришел. Я его до сей поры ни в чем не подозревал и не о чем не спрашивал, основываясь на рекомендации гетмана, хотя Мелехович постоянно окружает себя какой-то таинственностью. У людей бывают различные характеры, – и я в чужие дела не мешаюсь, мне надо, чтобы человек исправно исполнял свою обязанность. Однако казаки пана Мотовидло изловили татарина, который привез письмо от Крычинского к Мелеховичу; я не знаю, известно ли вам, кто такой Крычинский?

– Как же, – воскликнул пан Ненашинец, – Крычинского я знал хорошо, а теперь и все его знают с очень дурной стороны.

– Мы вместе ходили в школу, – начал было пан Заглоба, но вдруг остановился, сообразив, что в таком случае Крычинскому было бы девяносто лет, а в таких летах люди не воюют.

– Одним словом, – сказал маленький рыцарь, – Крычинский – польский татарин. Он был полковником в одном из наших липковских полков, потом изменил отечеству и перешел в добруцкую орду, где, как я слышал, пользуется большим значением, потому что там, видно, надеются, что он и остальных липковцев переманит на языческую сторону.

И с таким человеком Мелехович входит в сношения; лучшим доказательством служит письмо, следующего содержания.

Пан Михаил, развернув письмо и хлопнув по нему рукой, прочел следующее:

– «Дорогой моей души брат! Посланец твой пробрался к нам и доставил письмо».

– Он пишет по-польски? – спросил Заглоба.

– Крычинский, как все наши татары, по-малороссийски и по-польски знает, – отвечал полковник, – а Мелехович, вероятно, по-татарски не говорит. Слушайте, панове, не прерывая. «...И доставил письмо. Бог даст, все пойдет хорошо, и ты достигнешь чего желаешь. Мы здесь советуемся с Моравским, Александровичем, Тарасовским и Грохольским; к другим же братьям пишем, прося их совета, какие меры принять, чтоб твое желание как можно скорей пришло в исполнение. Что же касается до твоего здоровья, которое, как мы слышали, порядочно пошатнулось, то посылаю к тебе человека, чтоб тебя, милый, своими глазами мог видеть и нам утешение принести. Тайну нашу строго храни, чтобы, чего Бог избави, не проведали прежде времени. Да размножит Господь поколение твое, как звезды небесные. Крычинский».

Прочитав письмо, маленький рыцарь взглянул на членов совета, которые, по-видимому, призадумались над письмом и молчали; полковник обратился к ним:

– Тарасовский, Моравский, Грохольский и Александрович – все это старые татарские ротмистры и изменники.

– Так же, как и Потушинский, Творовский и Адамович, – добавил пан Снитко.

– Что скажете, господа, на это письмо?

– Измена ясна, как день; тут и рассуждать не над чем, – сказал пан Мушальский. – Они просто-напросто снюхиваются с Мелеховичем, чтоб и наших липков перетянуть на свою сторону, а он и поддается.

– Господи Боже мой! Для нас это чистая гибель! – слышались возгласы со всех сторон. – Липковцы готовы душу положить за Мелеховича, и если он им прикажет, то ночью же нападут на нас.

– Наичернейшая измена в свете! – воскликнул пан Дейша.

– И сам гетман сделал сотником этого Мелеховича! – сказал пан Мушальский.

– Пан Снитко, – отозвался Заглоба, – а что я говорил, когда увидел в первый раз Мелеховича? Разве не говорил я, что из его глаз так и смотрит ренегат и изменник? Ха! Мне достаточно было взглянуть на него! Он всех мог обмануть, только не меня! Повтори, пан Снитко, мои слова, ничего не изменяя. Не сказал ли я тогда же, что он изменник?

Склонив голову и заложив ноги под лавку, пан Снитко проговорил:

– Действительно, надо удивляться проницательности пана, – сказал он, – хотя, по правде, я не помню, чтоб вы на-

звали его изменником. Баша милость сказали только, что он волком смотрит.

– Ха! Следовательно, ты сам утверждаешь, что пес изменник, а волк не изменник, что волк не укусит руку, которая его гладит и есть дает? Стало быть, пес – изменник? Может статься, пан готов и Мелеховича защищать, а нас всех назовешь изменниками?

Слова Заглобы неприятно поразили и удивили Снитку; он так смутился от его упрека, что целый час не мог оправиться и проговорить хоть одно слово.

Тем временем пан Мушальский, быстро все сообразив, сказал:

– Прежде всего мы должны поблагодарить Бога, что открыли такие бесчестные дела, потом откомандировать шесть драгунов с Мелеховичем и пустить ему пулю в лоб.

– Потом назначить другого сотника, – добавил пан Ненашинец.

– Измена так очевидна, что тут и ошибиться нельзя. Полковник отвечал на это:

– Прежде всего надо расспросить Мелеховича, а лотом я дам знать обо всем пану гетману, ибо, как мне говорил пан Богуш из Замбица, коронный маршалок очень любит липковцев.

– Но вашей милости, – сказал, обращаясь к маленькому рыцарю, пан Мотовидло, – достаточно будет подвергнуть Мелеховича розыску, так как товарищем нашим он никогда

не был.

– Я знаю свои права, – отвечал Володыевский, – и тебе, пан, нечего указывать.

После этого некоторые из присутствующих начали кричать громко:

– Пусть же приведут нам этого предателя и изменника!

При этих криках пан Заглоба очнулся от своей дремоты и, сообразив, о чем шла речь, проговорил:

– Нет, пан Снитко, месяц спрятался за тучу, но остроумие пана еще лучше спряталось; ни с какой свечой его не найдешь. Сказать, что пес, *canus, fidelis* – изменник, а волк не изменник! Но погоди, пан! Твое остроумие на этот раз в пятки ушло.

Пан Снитко взглянул на небо, как бы призывая Бога во свидетели своей невинности и не оправдываясь только потому, что не желал сердить Заглобу, и, получив приказание маленького рыцаря привести Мелеховича, с радостью поспешил уйти, избавляясь этим от дальнейшего разговора с Заглобой.

Пан Снитко недолго заставил ждать своего возвращения. Он пришел вместе с Мелеховичем, по-видимому, не знаящим ничего случившегося. Хотя он уже поправился, но его красивое лицо было все еще бледно и голову, вместо повязки, покрывала теперь красная феска. Он вошел смело и непринужденно.

Глаза всех присутствовавших с любопытством обрати-

лись на него; молодой татарин почтительно поклонился пану коменданту, а остальным как-то свысока.

– Мелехович, – сказал Володыевский, вперив в татарина свой пронизательный взор, – знаешь ли ты полковника Крычинского?

На лицо Мелеховича набежала мрачная тень.

– Знаю! – отвечал он.

– Читай! – сказал Володыевский, подавая ему письмо, найденное у липка.

Не dokonчив еще чтение письма, Мелехович видимо успокоился и, отдавая письмо, сказал:

– Я жду приказаний.

– Как давно задумал измену и каких имеешь здесь соучастников?

– Следовательно, меня обвиняют в измене?

– Отвечай, а не спрашивай! – сказал грозно полковник.

– Зачем мне отвечать вам: измены я не задумывал, соучастников не имел, а если бы и имел, то таких, которых вы, панове, судить не будете.

Слова эти взволновали рыцарей. Послышались угрозы:

– С большим уважением, собачий сын, с большим уважением! Ты находишься перед людьми, выше тебя стоящими.

Мелехович с ненавистью посмотрел на них.

– Я знаю, что обязан уважением пану полковнику, как моему начальнику, – отвечал он, снова кланяясь маленькому рыцарю, – знаю и то, что стою ниже вас, а потому не ищу ва-

шего общества. Ваша милость, – и он снова обратился к Володыевскому, – спрашивали меня о моих соучастниках; у меня их два: один – пан подстолий новоградский, Богуш, а другой – пан великий коронный гетман.

Слова Мелеховича удивили всех присутствовавших, они как бы онемели; наконец полковник, поводя усами, обратился к Мелеховичу:

– Как это?

– Так, – отвечал татарин. – Это правда, что Крычинский, Моравский, Творковский, Александрович и многие другие перешли в орду и много зла причинили отечеству, но счастья в новой службе не нашли. Может статья, и совесть их заговорила, так что им самое название изменника кажется ужасным. Пан гетман хорошо все это знает и поручил пану Богушу, а также пану Мыслешевскому снова привлечь их под знамена Речи Посполитой; пан Богуш выбрал меня для этого и приказал мне сговориться с Крычинским. У меня есть письма от пана Богуша, которые я могу вам показать и которым ваша милость лучше может поверить, чем моим словам.

– Иди с паном Сниткой и принеси их сюда. Мелехович вышел.

– Панове, – сказал поспешно рыцарь, – как виноваты мы перед этим воином, высказав наше поспешное суждение! Если у него действительно есть письма Богуша, то он говорит правду, – я же начинаю думать, что оно действительно так;

тогда этот молодой человек, готовый работать на пользу своего отечества, заслуживает не осуждения, а награды! И притом это надо сделать как можно скорее.

Ответом на слова Володыевского было молчание, так как никто из рыцарей не знал, что сказать, а пан Заглоба притворился дремлющим; в это время Мелехович вошел в комнату и подал полковнику письмо Богуша.

Володыевский прочел его: «Со всех сторон слышу я, что никто не может быть способней тебя для того дела, и именно вследствие неизмеримой любви, которой они все к тебе пылают. Пан гетман готов простить им и ручается за прощение Речи Посполитой. С Крычинским сносьсь как можно чаще через верных людей и обещай ему награду. Держи все в тайне, потому что иначе ты всех их погубишь. Пану Володыевскому дело можешь открыть, как своему начальнику, притом он может помочь тебе. Не жалей трудов и стараний, зная, что *finis coronat opus*¹⁵, и будь уверен, что за такую услугу наша мать наградит тебя своей любовью».

– Вот мне и награда! – проворчал молодой татарин.

– Но отчего же ты никому не сказал ни единого слова об этом? – вскрикнул Володыевский.

– Я хотел все рассказать вашей милости, но не имел еще времени, потому что после последнего приключения хворал; от их же милостей, – Мелехович обратился к офицерам, –

¹⁵ конец венчает дело (лат.)

я обязан был держать все в тайне, и теперь, ваша милость, объявите приказ молчания, чтоб не погубить друзей моих за Днестром.

– Доводы твоей заботливости так верны и ясны, что и слепой не мог бы их оспаривать, – сказал полковник. – Продолжай дело свое с Крычинским; ты не встретишь ни малейшего препятствия, только помощь, в знак чего я подаю тебе руку, как честному рыцарю. Приходи нынче же ко мне на ужин.

После этого все присутствовавшие бросились к татарину, который пожал руку маленького рыцаря и в третий раз низко ему поклонился.

– Мы не оценили тебя, но с этих пор каждая рука готова будет протянуться тебе на помощь, – говорили офицеры.

На эти слова Мелехович, выпрямив стан и откинув голову, одним словом, приняв вид ястреба или орла, готового броситься на добычу, сказал:

– Я стою перед людьми, превосходящими меня во всех отношениях!

После чего он оставил собрание, в котором после его ухода поднялся шум. «Неудивительно, – говорили офицеры между собою, – сердце его все еще волнуется при мысли о высказанном о нем мнении. Но это ничего, с ним надо иначе обращаться. У него действительно благородный гонор. Знал гетман, что делал! Чудеса творятся, ну, ну!»

С торжествующим видом пан Снитко подошел к Заглобе и, поклонившись, сказал:

– Позволь мне сказать, вельможный пан: итак, этот воин не изменник.

– Не изменник? – отвечал Заглоба. – Изменник, страшный изменник, и если изменяет не нам, то орде. Не теряй надежды, пане Снитко, я каждый день буду молиться о твоём остроумии, может быть, Дух Святой смилуется над тобою.

Бася, узнав от Заглобы обо всем случившемся с Мелеховичем, была очень рада этому, так как он ей внушал доверие и приязнь.

– Надобно, – говорила она, – чтоб мы оба с Михаилом поехали с ним нарочно в первую же опасную экспедицию, так как этим способом мы лучше всего докажем ему наше уважение.

Но маленький рыцарь начал гладить Басю по розовой щечке, приговаривая:

– О, пойманная муха, я тебя знаю! Не Мелехович и не уважение у тебя в голове, а тебе хочется лететь в степь и драться с татаринoм. Ничего этого не будет, – и закончил свою речь, начав горячо целовать жену.

А тем временем молодой татарин у себя в комнате шептался с присланным липком, близко наклонясь к нему. Комната освещалась каганцем с горевшим бараньим салом и освещала желтым светом красивое, но в эту минуту страшное лицо Мелеховича, выражавшее свирепость, хитрость и какую-то невыразимо дикую радость.

– Галим, слушай! – говорил Мелехович.

– Эфенди, – отозвался посланный.

– Скажи Крычинскому, что он умен, потому что в письме ничего не было, что могло бы погубить меня. Скажи ему, что он умен. Пусть всегда так пишет. Они теперь еще более будут меня уважать, все! Сам гетман, Богуш, Мыслишевский, здешняя команда – все! Слышишь! Задави их всех мор!

– Слышу, эфенди.

– Но наперед мне нужно быть в Рашкове, а потом сюда возвратиться.

– Эфенди, молодой Нововейский узнает тебя.

– Не узнает. Он видел меня под Кальником, под Брацлавлем и не узнал: смотрит на меня, морщит брови, а не узнает. Ему было пятнадцать лет, как я убежал из дому. Восемь лет прошло с тех пор. Я изменился. Старик узнал бы меня, но молодой не узнает. Из Рашкова я извещу тебя. Пусть Крычинский будет готов и находится поблизости. Надобно стговориться с Перкулабами. В Ямполье есть также наше знамя. Я уговорю Богуша, чтоб у гетмана выправил мне приказ, потому что оттуда мне легче будет сообщаться с Крычинским. Но сюда я все-таки должен возвратиться!.. Должен! Не знаю, что может случиться, когда все кончится. Огонь жжет меня; ночью сон бежит моих глаз. Если бы не она, умер бы...

– Пусть будут благословенны ее руки.

Склонясь еще ближе к липку, Мелехович, как в бреду, зашептал:

– Галим! Пусть будут благословенны ее руки, благословенна ее голова, благословенна земля, по которой она ходит, слышишь, Галим! Скажи там им, что я уже совсем здоров – благодаря ей.

Глава V

Ксендзом в Ушицах был старый Каминский, бывший в молодости солдатом и отличавшийся многими причудами. Этот пастырь часто посещал Хрептиов, где учил воинов благочестию. В Ушицах же ему нечего было делать, так как костел был разрушен, и прихожан не было.

Ксендзу Каминскому понравился рассказ пана Мушалевского. Пришедши как-то опять на вечер к полковнику, он обратился к присутствовавшим с следующими словами:

– Я всегда любил слушать такие повествования, в которых печальные происшествия имеют веселый конец, потому что из них ясно видно, что кому десница Божия покровительствует, того и из львиного логовища невредимо выведет, и из Крыма под родной кров приведет. Поэтому пусть каждый из вас раз навсегда запомнит, что для Господа Бога ничего нет невозможного, и пусть в самых тяжелых обстоятельствах не теряет надежды на Его милосердие. Вот в чем дело! Я очень хвалю пана Мушалевского, полюбившего, как брата, этого простолюдина, Дыдюка. Примером такой любви служит нам Христос, который был царского рода, а избранниками своими – апостолами – сделал простолюдинов и уготовил им место на небе. Конечно, любовь любви рознь. Любовь нескольких отдельных лиц или любовь одной нации к другой – вещи разные, но Христос придерживался и этой по-

следней любви. Нынче же такой любви нигде не встретишь, люди так озлоблены друг против друга, точно стараются соблюсти закон сатаны, а не повиновение Богу.

– Вашему преподобию, – сказал Заглоба, – трудно будет убедить нас, что мы должны любить турок, татар или других варваров, которыми и сам Господь не может не брезгать.

– К тому я и не принуждаю вас, но только доказываю, что дети единой матери должны любить друг друга, – а вместо того, с самой хмельницыны, в продолжение тридцати лет, эти страны обливаются кровью.

– А по чьей вине?

– Кто первый в ней признается, тому первому Бог отпустит прегрешение.

– Ваше преподобие, вы носите теперь духовную одежду, а смолоду, как мы слышали, бились с врагом не хуже других.

– Бился потому, что обязан был это делать, как воин, и не в том мой грех, но в том, что я врагов, как заразу, ненавидел. У меня на то была своя причина, о которой я не хочу вспоминать, потому что то было давно и раны мои зажили. Я был не в меру усерден, в чем и раскаиваюсь. Я держал сторону партизан и сражался за них с командой из ста человек из отряда пана Неводовского. Какое это было время – всем известно. Как мы, так и татары рубили, стреляли и вешали друг друга. Казаки превосходили всех нас в жестокости: где они побывали – оставалась только земля да вода. В этой междоусобной войне все были похожи больше из бе-

шенных собак, чем на людей. Ужаснее этой междоусобицы ничего не может быть. Однажды меня с отрядом послали на помощь к замку пана Рысецкого, на который напали разбойники, но, придя туда, мы увидели, что замка не осталось и следа, он уже был срыт, мы же с бешенством бросились рубить пьяных мужиков, но некоторые из них спрятались во ржи. Мы решили их повесить. Но сделать это было очень трудно, так как в деревне не осталось ни одной хаты, ни одного деревца, все было уничтожено. Взяли мы наших пленников и отправились разыскивать удобное местечко. Вот шли мы, шли – все степь кругом, и больше ничего; таким образом добрались до какой-то деревушки, но и там – полная неудача; кроме углей да пепла – ничего не нашли! Только на холмике увидели мы большой дубовый крест, по-видимому, недавно поставленный, так как дерево еще не успело почернеть и блестело на солнце. На кресте находился сделанный из жести Христос. Он так хорошо был выкрашен, что трудно было поверить, что это тело не живое, в чем можно было только убедиться, взглянув на него сбоку, где видна была тонкость жести; но лицо поражало своей живостью: оно было бледно, с терновым венцом на голове, с страдальческим взглядом, обращенным к небу. Взглянув на этот крест, я подумал: «Вот дерево, другого нет», – но тотчас же испугался этой мысли. Во имя Отца, и Сына! На кресте я их не повешу! Однако же мне казалось, что я угожу Господу Богу, если покончу с этими душегубами в Его присутствии, и я проговорил:

«Господь милостивый, не кажется ли Тебе, что те жиды, которые Тебя на кресте распяли, были несравненно лучше этих разбойников?» Вслед за этим я приказал каждого пленника подводить к кресту убивать его тут. Между пленниками были и старики, и юноши. Первый подведенный к кресту пленник сказал: «Во имя страстей Господних, помилуй, пане». Я отвечал на это: «По шее его!» И драгун снес ему голову. И таким образом каждый из этих сорока пленных молил меня о пощаде во имя Христа, и на каждую просьбу ответ мой был один и тот же: «По шее его».

Таким образом, только к вечеру мы покончили с ними. В своем безумии я думал, что, убивая этих несчастных, я угождаю Богу. Члены убитых еще несколько времени судорожно подергивались и как бы подпрыгивали, и наконец на землю спустилась тихая, теплая ночь. Трупы лежали у подоножия креста, расположенные вокруг него в виде венка. Мы решились здесь же провести ночь, хотя костров нечем было развести. Солдаты улеглись на пополах, а я отправился молиться к кресту, думая, что молитва моя на этот раз будет особенно угодна Богу, так как весь день я трудился, как мне казалось, во славу Его.

Встав перед крестом на колени и прислонив к нему голову, я мысленно обратился к Богу, но глаза мои закрылись, и я крепко заснул. Драгуны, видя меня коленапреклоненным пред крестом, не захотели меня тревожить. Вообще со мною случилось то же, что часто случается с воинами, которые,

начав молиться, засыпали. Итак, я заснул и видел дивный сон, который словно сошел на меня с креста. Это не было видение – так как я никогда не был и не буду достоин этого, но я видел во сне все страдания Христа. При виде страданий Господа страшная скорбь овладела мною, и я плакал, как дитя: «Господи – сказал я, – у меня горсть добрых солдат хочешь ли видеть, что мы можем сделать, кивни только головой, и я их таких-сяких в минуту разнесу». При этих словах все предо мною исчезло, и я видел только крест, а на нем плачущего кровавыми слезами Спасителя. Не знаю, скоро ли это все кончилось, но я, успокоившись мало-помалу, обнимал подножие креста, горько плакал и говорил: «Господи, Господи! Если бы Ты Свое святое учение распространял из Палестины к нам, в Речь Посполитую, мы не пригвоздили бы Тебя к кресту, но приняли бы с благодарностью, наделили бы всяким добром и дали бы Тебе вдобавок грамоту шляхетства для вящей Твоей Божественной хвалы. Зачем не поступил Ты так, Господи!» Сказав это, я взглянул на Него (конечно, все это было во сне) и увидел Бога, гневно смотрящего на меня; вдруг Он громко воскликнул: «Что значат теперь ваши шляхетские грамоты, когда их, во время шведской войны, всякий мещанин мог приобрести за деньги, – и вы, и разбойники, и те, и другие во сто раз хуже жидов, так как вы Меня ежечасно пригвозждаете ко кресту. Разве Я не оказал милости и прощения даже злейшим Моим врагам, а вы, как хищные звери, рвете внутренности друг друга. Видя все это, Я терп-

лю страшные мучения. Ты сам, который хотел защитить Меня, а потом упрашивал перейти в Речь Посполитую, – что ты сделал? Тут, вокруг Моего креста, лежат тела убитых, кровью обрызгано его подножие, а между ними были невинные юноши, либо люди заблуждающиеся, которые, не имея разума, идут, как овцы, вслед за другими. Что ж ты, смиловался ли над ними, судил ли их перед смертью? Нет! Ты приказал их всех убить и еще думаешь, что Мне этим сделаешь угодное! В самом деле, если уж надобно наказывать и карать, то как отец карает сына, как старший брат младшего брата, но не мстить без суда и расправы, не зная меры в каре и жестокости. До того дошло, что на вашей земле волки стали милосерднее людей; трава опрыскана кровавой росой, ветры не веют, а воют, реки слезами льются и люди руки протягивают к смерти, говоря: „Утешение наше!“»

– Господи! – воскликнул я. – Разве они лучше нас? Кто показал больше жестокости? Кто привел сюда язычников?

– Любите их, даже наказуя, – сказал Господь, – тогда спадет слепота с их глаз, сердца размягчатся, и милосердие Мое будет над всеми вами. Иначе придут татары и ярмо наложат и на них, и на вас, и недругу должны будете служить в страданиях, в унижении, в слезах до того самого дня, пока не примиритесь друг с другом. Если же не будет меры вашей взаимной жестокости, тогда не будет помилования ни для тех, ни для других, язычники возьмут эту землю и будут владеть ею во веки веков!

Сильный страх напал на меня, и я онемел. Затем, несколько придя в себя, я бросился на землю и сказал:

– Господи, что должен я делать, чтобы загладить грехи мои?

– Иди, повторяй слова Мои, возвещай любовь и милость, – отвечал Господь.

Сон исчез, и я проснулся, смоченный росой. Было раннее утро; головы убитых уже посинели, лежа венком вокруг креста. Со мною произошла странная перемена: вчера я был полон радости от совершенного мною злодеяния, сегодня же, при виде тех же трупов, я страшно страдал, особенно при взгляде на красивую голову одного семнадцатилетнего парня. Я велел воинам с почестью похоронить убитых под этим же крестом, и с тех пор я стал совершенно другим.

Иногда мне казалось, что сон мой – простое воображение, но все-таки он не выходил у меня из памяти. Конечно, я даже не осмеливался и думать, чтобы Господь мог говорить со мной, но я догадывался, что это заговорила во мне совесть и возвестила мне повеление Божие. Затем, на исповеди, ксендз, выслушав меня, сказал: «Ясны, – говорит, – воля и повеление Божие, слушай их, иначе ты погибнешь». С этого времени я посвятил всю жизнь свою на поучение ближних любви и правде Божией.

Но насмешки сыпались на мою голову от товарищей – офицеров: «А что ты, – говорили они, – ксендз, что ли, чтоб нам наставления читать? Мало эти собачьи сыны оскорбля-

ли Бога, мало пожгли костелов, мало осквернили крестов! За то мы должны любить их?» Никто не обращал внимания на мои увещания.

По окончании Берестецкого сражения я сделался ксендзом и начал проповедовать слово Божье.

С тех пор прошло двадцать лет, как я без отдыха тружусь на этом поприще. Я уже стар и сед, но успеха в своих трудах и до сих пор не вижу, за что Господь, конечно, не накажет меня...

Панове, обращайтесь с врагами вашими милосердно, любите их и наказывайте, как вы наказали бы своих самых близких родных, как своих детей, – а не то вы все погибнете, что постигнет и Речь Посполитую.

Последствия этой братской вражды и сражений очевидны для всех нас: земля наша обращена в пустыню, костелы, города и села разрушены, и вместо прихожан в Ушицах чернеют могильные холмики, а над нами сила языческая все растет и растет, как волна, готовая поглотить нас.

Пан Ненашинец, сильно взволнованный рассказом ксендза, прервал общее молчание.

– Не спорю, что и между казаками есть настоящие рыцари, например, пан Мотовидло, которого мы все любим и уважаем. Но что касается до общественной любви, о которой так красноречиво говорил ксендз Каминский, признаюсь, что до сих пор пребывал в тяжком грехе, ибо во мне ее не было, да я и не старался ее приобрести. Теперь ксендз,

его милость, немного открыл мне глаза. Без особенной милости Божией я не обрету в сердце своем этой любви, потому что ношу в нем воспоминание о страшном зле, о котором скоро я вам расскажу.

– Не выпить ли нам чего-нибудь теплого? – прервал его Заглоба.

– Разведите огонь, – сказала слугам Бася.

Вскоре в комнате зажгли огни, и перед каждым из воинов появилась кварта горячего пива; все они с видимым удовольствием начали прикладываться к нему, а вслед за тем пан Ненашинец снова повел речь:

– Нас у матери было двое: я да сестра Галька, которую мать, умирая, поручила моему попечению. Я страстно любил эту девочку, так как ни жены, ни собственных детей не имел, и берег ее пуще глаза. В то время, когда я был в походе, мою Гальку похитили татары. Вернувшись домой и узнав об этом, я чуть с ума не сошел от горя. Я потерял почти все имущество, а остатки его распродал и поехал из Оршаны, чтобы выкупить сестру, которая была моложе меня на двадцать лет. Я приехал в Бахчисарай, где она жила при гареме, но не в нем, так как ей тогда всего было двенадцать лет. Никогда я не забуду того, как она обрадовалась, увидав меня, и как ласкала меня! Но выкуп мой показался малым для татар; они думали за нее получить втрое больше, так как Галька была красавица. Иегуагу, увезшему сестру, я предлагал вдобавок выкупа себя. Но и это было напрасно. Я видел,

как на базаре купил ее прославленный враг наш Тугай-бей для того, чтобы года через три сделать своей женой. Я впал в глубокое отчаяние и поехал домой, но случайно, в дороге, мне рассказали про жену Тугай-бея, живущую в одном приморском улусе с сыном, в котором Тугай-бей души не чаял и которого звали Азыя. У Тугай-бея было много жен, живших по разным городам и селам, чтобы он мог, приехав в какой-либо город или село, всегда остановиться у себя в доме и в своей семье. Узнав все это, у меня мелькнула мысль – украсть Азыю, а затем выменять его на Гальку. Но привести эту мысль в исполнение было нелегко: в помощь себе я должен был пригласить товарищей из Украины или Диких Полей, но имя Тугай-бея было пугалом для всей Руси, а на Украине он помогал казакам в сражении против нас. Но надо было на что-нибудь решиться, и вот в степях я собрал много беглых молодцов. Этот поход был для нас очень труден до отплытия казацких чаек в море, так как мы должны были прятаться от старшины. Однако поход увенчался полным успехом: Азыя был мною похищен вместе с богатой добычей. Мы благополучно прибыли в Дикие Поля, далеко позади себя оставив погоню. Из Диких Полей я хотел направиться в Каменец, желая вести переговоры через тамошних купцов. Азыю я оставил у себя, а товарищам отдал всю остальную добычу. Щедрость моя относительно товарищей объяснялась тем, что в походе я делил с ними и горе, и радость и защищал их, как родных братьев, думая, что при слу-

чае они отплатят мне тем же. Но я горько был разочарован и дорого поплатился за доверие к ним! Я и не думал, что для этих людей нет ничего святого, и что из-за добычи они готовы были убить своего атамана, что почти они и сделали со мною. Недалеко от Каменца они напали на меня, душили, резали и наконец, считая меня за мертвого, оставили в степи, а Азыя увели, чтобы получить за него большой выкуп.

Несмотря на все перенесенные мной мучения и раны, я остался жить и, по воле Господа, выздоровел. О Гальке я с тех пор ничего не слыхал. Оставшись вдовою после Тугай-бея, может быть, она стала женой другого какого-нибудь татарина и, вероятно, сделалась магометанкой, давно уж забыв меня: может случиться и так, что когда-нибудь, в схватке с татарами, я погибну от руки ее сына. Вот и вся моя печальная история.

Пан Ненашинец смолк и, спустив глаза в землю, глубоко задумался.

– Сколько нашей крови и слез пролито за эти места! – отозвался пан Мушальский.

– И все-таки ты должен любить врагов своих, – сказал ксендз Каминский.

– А по выздоровлении пан не искал того татарского щенка? – спросил пан Заглоба.

– Как я узнал позднее, – отвечал Ненашинец, – на моих убийц напала другая шайка разбойников, которая всех их

перерезала. Эти же последние с ребенком и добычей ушли в глубину степи. Я везде искал, но ребенок пропал, как в воду канул.

– Может быть, ты его где-нибудь и встречал позже, но признать не мог? – сказала пани Бася.

– Не знаю я, было ли тогда ребенку три года. Он едва знал, что его имя Азия. Но я все-таки узнал бы его, потому что у него над каждой грудью была вытатуирована рыба, запущенная сильной краской.

Присутствовавший на собрании Мелехович не принимал участия в беседе и сидел в углу комнаты, но при последних словах Ненашинца он громко воскликнул:

– По одним рыбам вы его не узнали бы, потому что многие татары могут носить этот знак, особенно из тех, которые живут при морском берегу.

– Неправда, – возразил рассудительный пан Громенка. – После Берестецкой битвы мы осматривали труп Тугай-бея, который остался на поле битвы, и я знаю, что он имел тоже рыб над грудями, другие же убитые носили другие знаки.

– А я скажу пану, что многие носят рыб.

– Да, только все они из поколения Тугая.

Спор этот остался неоконченным, так как в комнату вошел пан Лельщица, вернувшийся из разъезда, куда был послан еще на рассвете Володыевским.

– Пане комендант, – заговорил он, стоя в дверях, – у Сиротского Брода, по молдавской стороне, стоит толпа и что-

то против нас замышляет.

– Что за люди? – спросил пан Михаил.

– Лотаринги. Между ними находится немного итальянцев, немного венгерцев, а более всего из луговой орды – всего человек двести.

– Те самые, о которых мне донесли, что они по Итальянской дороге разбойничали, – сказал Володыевский.

– Перкулаб должен был их там сильно прижать – вот они и бегут сюда; но там одних татар будет около двухсот человек. Ночью они переправятся, а с рассветом мы их встретим по-своему. Пан Мотовидло и Мелехович, к полуночи будьте наготове. Надобно на приманку подогнать стадо волов, – а теперь по квартирам!

Выслушав полковника, рыцари отправились по домам, и не успели еще все выйти из комнаты, как Бася бросилась обнимать мужа и что-то шептать ему на ухо, но тот, видимо, не соглашался с нею, улыбался и отрицательно кивал головой, причем Бася удваивала свои ласки. Смотря на это, пан Заглоба заметил:

– Сделай же ей хоть раз удовольствие, тогда и я, старик, с вами поплетусь.

Глава VI

По обеим сторонам Днестра разбойничали шайки, составленные из людей различных пограничных наций. Но большинство из них были беглые татары из добруцкой и белогородской орды, отличавшиеся беззаветной храбростью и большей дикостью от крымских татар, но тут также были и венгерцы, и итальянцы, и казаки, и беглые поляки из дворовых людей с берегов Днестра. Полеми своих действий они избирали то польскую, то итальянскую стороны, переходя реку то в том, то в другом месте, смотря по тому, от кого надо было обороняться. Станичные стада волов и коней, не уходившие из степей даже зимой, где они отыскивали себе под снегом пищу, были главной приманкой для нападения разбойников, которые, впрочем, не оставляли без внимания и сел, и местечек, и острогов, и крепостей; нападали они на польских и даже на турецких купцов, а также и на посредников, едущих в Крым с откупом. Шайки этих разбойников имели своих начальников и свою дисциплину, но вместе были нечасто. Нередко одна шайка уничтожала другую, пользуясь преимуществом своей силы. Этих разбойничьих ватаг было множество на Руси, особенно во время войны казаков с поляками, когда для них в этих местах было безопасно. Некоторые из шаек состояли из пятисот человек, начальники их назывались беями. Шайки эти, побывав где-нибудь,

оставляли за собой в этих местах пустыню, как всегда поступали татары, и коменданты терялись в догадках, не понимая, с кем имеют дело—с передовыми чамбулами орды или с ватагой разбойников. Ловить их регулярному войску или всадникам Речи Посполитой было чрезвычайно трудно, особенно в открытом поле, так как, попав в засаду, они защищались не на живот, а на смерть, зная, что в плену их ждет смерть. Вооружение их состояло из турецких ганджар и ятаганов, кистеней, татарских сабель и конских челюстей, которые насажены были на молодые дубки и привязаны тонкими бечевками. Это последнее оружие разбойники употребляли для того, чтобы ломать ими сабли противников. Так как они нападали ночью, то в их вооружении не было ни луков, ни ружей, поскольку они были бесполезны для них. Кроме того, они пускали в действие длинные вилы, окованные железом, и рогаины, которыми угощали всадников.

Ватага, о которой сообщили Володыевскому, была, по всей вероятности, или очень велика, или какой-нибудь другой особенный случай загнал ее к молдавской границе, так что они осмелились подойти так близко к отряду Володыевского, одно имя которого наводило ужас на этих бродяг. Прибыли вторые разведчики и сообщили, что шайка эта находится под начальством известного своею стойкостью Азбы-бея и что в ней четыреста человек. Азба-бей со своею шайкой несколько лет свирепствовал в польском и молдавском краю.

Пан Володыевский был рад сразиться с таким врагом и велел идти со своими полками Мелеховичу, пану Мотовидле, а также полкам генерала подольского и пана подстолия премысльского. Все эти полки отправились ночью и разошлись по разным сторонам с тем, чтобы встретиться у Сиротского Брода.

Басе первый раз пришлось видеть отправление войск в такой большой поход, и она взволнованно глядела на этих старых рыцарей, выходявших так тихо, что ни бряцания оружия, ни топота коней не было слышно в крепости. Полный месяц освещал окрестности в эту тихую ночь, но он лишь изредка поблескивал на саблях выходящих за частокол отрядов, которые затем скрывались из глаз, будто их и не бывало. Поход был тщательно скрыт от посторонних взоров.

Этот поход казался Басе сбором охотников на охоту, а причина их осторожности – чтобы зверь не догадался об их прибытии. Ей самой захотелось участвовать в нем.

По ходатайству пана Заглобы, маленький рыцарь согласился взять жену с собою, так как понимал, что она все равно когда-нибудь настоит на своем, да к тому же он знал и об обыкновении этих бродяг не носить с собою ни луков, ни ружей, и таким образом в этом бою одной опасностью для Баси было меньше.

Пан Михаил с женою, Заглоба, Мушальский и двадцать левофланговых драгунов, имевших своего вахмистра, отправились через три часа после ухода первого отряда. Весь от-

ряд этот состоял из самых храбрых воинов, так что Бася, находясь под их охраной, была как у себя дома.

Она ехала верхом, одетая в мужское платье. На ней были бархатные шаровары жемчужного цвета, очень широкие, в виде юбки, заложенные в сафьяновые сапожки, и черный, подбитый крымским барашком кунтуш, расшитый по швам золотом. Вооружение ее состояло из серебряной лядунки замечательной работы, из небольшой турецкой сабли в шелковой портупее и пистолетов в кобурах. На голове Баси красовалась шапочка из венецианского бархата, опушенная дорогим мехом и украшенная пером цапли, а из-под шапки виднелось свежее, юное личико с двумя блестящими, любопытными глазками....

Пан Заглоба и Мушальский с восхищением смотрели на молодую женщину, сидевшую на серой турецкой лошадке, быстрой и кроткой, как серна, и удивлялись осанке Баси. Она же была похожа на сына гетмана, отправляющегося в свой первый поход под охраною старых волков. Ее очень беспокоил их поздний выезд, но муж, а также и Мушальский с Заглобой старались ее успокоить.

– Ты ничего не понимаешь в военном искусстве, – сказал маленький рыцарь, – а потому и подозреваешь нас, что мы хотим привести тебя на место, когда уже все будет кончено. Одни отряды идут прямо, как стрелы, другие должны идти кругом, чтобы занять все выходы, и потом будут тихо сближаться и таким образом возьмут неприятеля в засаде. Мы же

приедем вовремя, и без нас битва не может начаться, потому что тут каждый час рассчитан.

– А если неприятель вовремя спохватится и пробьется сквозь отряды?

– Он хитер и осторожен; но и нам такая война не новинка.

– Мише ты можешь верить! – воскликнул Заглоба. – Лучшего стратега нет в мире. Злая судьба загнала сюда этих бесшабашных бродяг.

– В Лубнах я был еще молодым солдатом, – сказал пан Михаил, – а мне уже и там доверяли подобные дела. Теперь же, желая показать тебе все дело, я еще старательнее все устроил. Все отряды покажутся разом неприятелю, разом вскрикнут и разом понесутся на него.

– Ай, ай! – даже запищала от радости Бася и, став на стрелена, обняла мужа за шею.

– И мне тоже можно будет скакать, а? Михалку, а? – спрашивала она со сверкающими глазами.

– В толпу тебе лететь не позволю, потому что там Бог знает что может случиться, не говоря уже о том, что лошадь может споткнуться; но я дам инструкции, чтобы, разбив толпу, на нас погнали неприятеля; тогда мы пустим коней и ты сможешь подстрелить двух-трех головорезов; но заезжай всегда с правой стороны, потому что преследуемому неловко будет направить коня влево, и ты сможешь бить его наотмашь.

– Ого-го! Не бойся! – отвечала Бася. – Ты сам говорил, что я владею саблей гораздо лучше дяди Маковецкого; не да-

вай мне советов.

– Смотри, однако, держи крепко поводья, – вставил пан Заглоба. – У них тоже свои приемы, бывает и так: ты его гонишь, а он вдруг поворотит и осадит коня, тогда ты с разбегу проскачешь мимо него; но прежде чем проскачешь, он в тебя ударит. Старый боец никогда коня не распускает слишком сильно, но соразмеряется, смотря по надобности.

– И сабли никогда не поднимайте слишком высоко, чтоб ловчее сделать удар, – заметил пан Мушальский.

– Я возле нее буду при начале, – отвечал маленький рыцарь. – Видишь ли, в битве вся трудность в том, что надобно обо всем помнить: о своей лошади, о неприятеле, о поводьях, о сабле, об ударе – все это одновременно! Кто уже привыкнет, у того само собой получается; но сначала даже и знаменитые вояки часто бывают неловкими порой человек мало-сильный, но опытный, выбьет из седла гораздо более сильного новичка. Для того-то я и буду возле тебя.

– Только ты не защищай меня и людям прикажи не защищать меня без надобности.

– Ну, ну! Мы еще посмотрим, хватит ли у тебя храбрости, если дело дойдет до серьезности схватки! – отвечал, улыбаясь, маленький рыцарь.

– И не схватишь ли ты кого-нибудь из нас за полу, – докончил Заглоба.

– Посмотрим! – сказал, обидясь, Бася.

Между тем рассвет уже приближался, а от закатившегося

месяца стало темнее; в воздухе носился легкий туман, из-за которого дальние предметы нельзя было рассмотреть; в это время наши путники въехали в открытое поле, на котором виднелись остатки угасших костров.

Разгоряченному воображению Баси представлялись в этой мгле и мраке, среди дальних зарослей, живые существа – люди и лошади.

– Миша, что это такое? – спрашивала она шепотом, показывая пальцем на маяк.

– Ничего – марево!

– Я думаю, что всадники. Скоро мы доедем?

– Через каких-нибудь полтора часа начнется дело.

– Ох!

– Ты боишься?

– Нет, у меня сердце бьется от нетерпения! И чего стала бы я бояться! Ничуть. Посмотри, какая изморозь, ее видно, хоть и темно.

И действительно, они в это время находились в той части степи, где длинные и сухие ветви бурьяна были покрыты инеем. Увидев это, маленький рыцарь сказал:

– Сюда пришел Мотовидло. Не далее как в полумиле отсюда он должен лежать в засаде. А вот сейчас наступит и рассвет!

В самом деле, уже рассветало. Мрак уменьшался. На небе и на земле сделалось темнее, а в воздухе прохладнее; верхушки деревьев и зарослей серебрились от инея. Предме-

ты, находившиеся вдали, стали теперь обозначаться яснее. Неподалеку из-за кустов выехал всадник.

– От пана Мотовидлы? – спросил Володыевский, когда всадник осадил коня перед полковником.

– Да, ваша милость!

– Что слышно?

– Перешли Сиротский Брод; потом, свернув на мычание волов, пошли на Калысик Волов взяли, – стоят на Юрковом поле.

– А где пан Мотовидло?

– Залег под горой, а пан Мелехович под Калысиком. Где другие отряды – не знаю.

– Хорошо, – сказал Володыевский, – я знаю. Поезжай к пану Мотовидле и скажи, чтоб начинал сдвигаться. А партизан пусть рассыплет по дороге от пана Мелеховича. Ступай!

Всадник, наклонясь к седлу, быстро помчался и вскоре пропал из глаз. Путники же поехали дальше с еще большей предосторожностью. В это время было уже совсем светло, и мгла, стоявшая перед этим в воздухе, спустилась к земле, а на востоке появилась длинная, блестящая, с розовым отливом, полоса, озарившая своим сиянием все окрестные места.

Вдруг всадники услышали сильное карканье, доносившееся от Днестра, и затем скоро увидели над головами множество летевших воронов. От этой стаи один ворон за другим начали ежеминутно отделяться и останавливаться над степью, вместо того чтобы лететь дальше, и кружились над нею,

как ястреба или коршуны, почуявшие добычу.

Пан Заглоба, указывая острием сабли на воронов, сказал Басе:

– Подивись смышленности этих птиц. Как только предвидится где битва, они тотчас слетаются, словно их кто из мешка высылал. Где ж идет войско простым походом или должно встретиться дружелюбно с другим войском, этого никогда не бывает. Так животные умеют угадывать намерения людей, хотя им никто об этом не говорит. Самый премудрый человек этого не растолкует, а потому нам остается только удивляться.

Наконец вороны, кружась все сильнее и сильнее, приблизились к ним, и пан Мушальский, ударив ладонью по пищали, спросил Володыевского:

– Пан комендант, нельзя ли мне подстрелить одного из них для нашей пани? Я не сделаю много шума.

– Стреляй, пан, хоть двух, – ответил Володыевский, зная, как старый воин гордится своею меткостью в стрельбе.

Вместо ответа Мушальский направил свой лук кверху и, поднявши голову, стал выжидать удобного момента.

Стая птиц была уже недалеко; всадники, горя любопытством, остановили коней и стали глядеть на небо. Затем слышался стон тетивы, стрела взвилась и исчезла под стаей.

Сначала можно было предположить, что стрелок промахнулся; но затем один ворон, распустя крылья и кувыркаясь в воздухе над головами всадников, стал быстро опускаться

и через минуту упал, пронзенный насквозь стрелой, у ног коня Баси.

– Счастливая примета! – сказал, кланяясь Басе, пан Мушальский. – Я буду следить издали за пани и в случае необходимости – дай Бог, счастливой – выпущу и еще стрелу. Если она и близко упадет, уверен, что не поранит.

– Не желала бы я быть татариним, которого пан выберет своей мишенью! – заметила Бася.

Но Володыевский, прервав этот разговор, указал на значительную возвышенность, которая была в нескольких саженьях от них, и сказал:

– Там остановимся.

Всадники поехали рысью. Въезжая на холм, пан комендант велел ехать потише, а невдалеке от вершины – совсем остановиться.

– Мы не взберемся на самую вершину, – сказал он, – потому что в такое ясное утро нас издали можно увидеть, но, спешившись, подойдем к ней так, чтоб наши головы не очень были заметны.

Затем маленький рыцарь с женой, пан Мушальский и несколько других соскочили с коней и пошли к тому месту, где холм обрывался почти отвесной стеной.

Стена эта была вышиною в несколько локтей; у ее подножия рос густой колючий кустарник, в виде узкого пояса, а за ним расстилалась на необозримое пространство низкая и ровная степь.

Вся она была покрыта кустарником и перерезана маленьким ручьем, идущим к Калысику. Оттуда, где кустарники представляли большую группу, вился к небу дымок.

– Видишь, – сказал Басе пан Володыевский, – там притаился неприятель.

– Я вижу дым, но не вижу ни лошадей, ни людей, – отвечала взволнованная Бася.

– Их скрывают заросли, хотя опытный глаз и может их увидеть. Вон там, смотри, – две, три, четыре, целая кучка лошадей, – одна пегая, другая совершенно белая, а отсюда кажется словно голубой.

– Скоро мы к ним подъедем?

– К нам их сюда пригонят; но времени еще много, ведь до тех зарослей отсюда добрая четверть мили будет.

– Где же наши?

– Смотри туда, видишь полоску бора? Отряд пана подкомория должен быть теперь недалеко отсюда. Мелехович вынырнет с той стороны – через минуту. Другой отряд окружит его от того вон камня. При виде наших людей неприятель сам подбежит к нам, потому что здесь можно легко подъехать к реке; с того же бока есть овраг, очень глубокий, и через него никто проехать не может.

– Они, следовательно, сидят в западне?

– Как видишь!

– Господи! Я едва стою! – вскрикнула Бася.

И, подумав немного, она добавила:

– Михалку, если бы они были умны, что они должны были бы сделать?

– Они должны были бы идти на отряд подкомория и прорезаться сквозь его ряды. Тогда спаслись бы, но эти голово-резы никогда так не делают, потому что, во-первых, не любят попадаться на глаза регулярному войску, а во-вторых, из боязни, чтобы в бору не засели еще большие отряды войска, – ну, поневоле и бросаются в сторону.

– Ба! Но мы их тогда не остановим: у нас всего-навсего двадцать человек.

– А Мотовидло?

– Правда! Но где он?

Вместо ответа послышался жалобный крик, похожий на крик ястреба или сокола. То крикнул Володыевский. В ответ пронесся такой же крик от подножия холма, где так хорошо скрывались воины Мотовидла, что Бася, стоявшая над ними, не могла их заметить.

Это ее чрезвычайно удивило; она смотрела то вниз, то на мужа и затем, вся вспыхнув и обняв мужа, произнесла:

– Михалку! Ты величайший вождь в мире!

– Потому что у меня есть кое-какой опыт, – ответил, улыбаясь, Володыевский. – Но ты не очень волнуйся от радости и помни, что настоящий воин должен быть спокоен.

Однако слова мужа не подействовали на Басю.

Она, вся взволнованная, торопилась скорее присоединиться к отряду Мотовидлы. Но муж сдержал ее, чтобы по-

казать ей начало битвы.

Тем временем солнце поднялось и озарило степь своими холодными, бледно-желтыми лучами. Вблизи можно было все хорошо видеть, но и на далеком расстоянии предметы обрисовывались довольно ясно; в некоторых углублениях лежал еще иней, блестя разноцветными искрами; воздух был так прозрачен, что простым глазом можно было рассмотреть самые отдаленные предметы.

– Отряд подкомория выходит из леса, – сказал Володыевский, – я различаю воинов и лошадей.

Из-за окраин леса показались всадники и протянулись длинной черной линией по подлесью, покрытому инеем.

Мало-помалу белое пространство между всадниками и лесом делалось все больше, но заметно было, что они не спешили, чтобы и другие отряды могли приблизиться. Командант взглянул в левую сторону.

– А вот и Мелехович! – сказал он.

– Вот и отряд пана пшемыльского ловчего выезжает. Не успеешь глазом мигнуть.

И пан Володыевский необыкновенно быстро зашевелил усами.

– Пеший теперь ничего не сделает. На коней! – вскричал он, обращаясь к драгунам; те, вскочив на коней, начали съезжать боком с холма, пробираясь между группами кустарников, и присоединились к отряду Мотовидлы.

Из-за холма выехала толпа воинов и, остановясь, стала на-

блюдать за происходившим впереди.

Вдруг из леса, покрывающего середину равнины, выбежал отряд неприятелей, похожий на стадо испуганных серн. Повидимому, они заметили идущий к ним отряд подкомория. Неприятельский отряд все увеличивался; они построились узкой шеренгой и двинулись по краям кустарника, наклонясь к шеям лошадей; издали их можно было принять за табун, тянущийся длинной линией вдоль зарослей. Они, похоже, не были уверены, что этот отряд идет на них и что они уже открыты; вероятно, они думали, что это летучий отряд, высланный для рекогносцировки, и рассчитывали скрыться от неприятеля за кустарником.

Все неуверенные маневры неприятеля были хорошо видны Володыевскому, стоявшему во главе отряда Мотовидлы. Крадущийся чамбул был похож на дикого зверя, окруженного опасностью. Доехав до края кустарника, они помчались легкой рысью. И вот первые шеренги появились в открытой степи и остановили сзoих коней, а за ними остановилась вся ватага.

В это время они вдруг заметили отряд Мелеховича и тотчас же свернули в заросли, но тут их встретил пшемыльский отряд, скакавший полной рысью.

Дикий крик раздался по заросли – неприятель понял, что он открыт и все отряды идут на него. Эти последние, так же перекликнувшись, поскакали в галоп, – все смешалось, и степь сотряслась от бряцания оружия.

Чамбул, увидя все это, помчался как бешеный к холму, где находился Володыевский с Мотовидлой и своим отрядом.

Пространство между татарами и отрядом быстро уменьшалось.

Сердце Баси начало усиленно биться; она побледнела, но видя, что товарищи ее выглядят очень спокойными и наблюдают за нею, она успокоилась и обратила все свое внимание на приближавшегося неприятеля. Крепко сжав в руке саблю, она подтянула поводья, и румянец снова заиграл на ее лице.

– Хорошо! – заметил ей муж.

Взглянув на него, она пошевелила ноздрями и прошептала:

– Скоро ли поскачем?

– Еще не время, – отвечал Володыевский.

А между тем татары были уже близко: виднелись вытянутые головы лошадей с пригнутыми ушами и лица татар, прижатые к лошадиным шеям. И вот уже слышится храп коней, видны их оскаленные зубы и выскакивающие из орбит глаза; все это доказывало, с какой быстротой они мчались.

По знаку коменданта вся шеренга казаков прицелилась из своих пищалей в татар.

– Пли!

Раздалась пальба, дым хлынул в куст сухого бурьяна; из отряда татар слышались вопли и стоны, и они побежа-

ли в разные стороны. В это время из леса появился пан Володыевский; липковцы и несколько отрядов подкомория со-
гнали татар в одну кучу и замкнули круг. Татары метались
из стороны в сторону, ища выхода, – но все было тщетно:
круг сжимался, и они невольно теснили друг друга; новые
отряды все прибывали, и суматоха царила невообразимая.

Татары поняли, что они погибнут, если им не удастся про-
биться сквозь этот вражеский пояс. И они, как разъярен-
ные львы, напрягая все свои силы, стали пробиваться сквозь
него. Каждый из них заботился только о своей шкуре. Сол-
даты же без пощады убивали их, тесня конями. Гул битвы,
раздававшийся над головами воинов, окруживших татар, по-
хож был на удары целов во время работ на гумне.

Воины с ожесточением били татар по чему попало, нанося
удары со всех сторон. Татары не оставались в долгу: они за-
щищались и гайджарами, и саблями, и кистенями, и конски-
ми челюстями. Лошади их стиснуты были в самую середину,
где, грызясь и визжа, лягали толпу, садились на задние но-
ги или падали навзничь; все это производило страшный ха-
ос. Битва эта продолжалась недолго, и во время нее татары
не издали ни одного звука; но затем вдруг из среды их послы-
шался дикий вопль: на них напал новый отряд, многочис-
леннее предыдущих, снабженный лучшим оружием и отли-
чавшийся особенной ловкостью. Татары поняли, что теперь
спасение для них немислимо и что ни один из них не выйдет
живым. Но некоторые все-таки попытались спастись: они со-

шли с коней и стали пробираться между ног солдатских лошадей. Но и это было безуспешно: лошади давили татар ногами, а воины убивали беглецов. Некоторые из татар прибегли к хитрости: они падали на землю, надеясь, что когда воины подойдут ближе к середине круга, то они, оставшись вне его, легко смогут убежать.

Между тем число людей и лошадей все уменьшалось от этой бойни. Заметив это, Азба-бей поставил всех своих людей клином и стремительно бросился на казаков Мотовидлы, желая вырваться из круга.

Но казаки тут же остановили его, и началась страшная резня. В эту секунду явился Мелехович и разделил войска Азба-бея на две части: одну часть оставил в распоряжение двум союзным отрядам, а сам стал биться с татарами, против которых сражались казаки Мотовидлы.

Благодаря вмешательству Мелеховича, разбойники прорвали круг и разбежались по степи. Но воины, стоявшие в задних рядах и не принимавшие участия в сражении из-за тесноты, погнались за ними, сражаясь по дороге.

В конце концов оставшиеся за кругом татары все пали мертвыми, хотя и бились до последней капли крови.

Бася, мчась вместе с казаками, в первые минуты боя чуть не потеряла сознания и, чтобы подбодрить себя, стала кричать тонким голосом. Когда они уже недалеко были от неприятеля, глазам ее представилась какая-то движущаяся темная масса. Она почувствовала страх и желание закрыть

глаза и, не видя перед собою ничего, махала саблѣй. Но, собрав свои силы, она превозмогла себя, и чувство страха сменилось у нее отвагою. Глаза ее прояснились, и она ясно увидѣла близ себя лошадиные головы и разгоряченные, дикіе лица, одно из которых вдруг очутилось рядом с ней; Бася ударила наотмашь – и головы как не бывало.

Вдруг Бася услышала голос мужа:

– Хорошо!..

Голос этот придаѣл ей особенную бодрость, и она, совершенно успокоенная, тихо взвизгнув, бросилась в битву. Перед ней там и сям мелькали вражескіе головы с приплюснутыми носами и толстыми скулами. Бася колола и вправо, и влево, вперед и куда попало – и люди летѣли вокруг нее с лошадей. Басе не трудно было сражаться, что ее очень удивляло, так как с одной стороны ее ехал Володыевскій, а с другой – Мотовидло.

Володыевскій зорко следил за женой, отстраняя от нее удары врагов и убивая их при этом наповал или вышибая из рук их оружие, ранил и самих бойцов.

С другой стороны пан Мотовидло тоже тщательно наблюдал за молодой женщиной и, флегматично сражаясь, хладнокровно отсекал то одну, то другую голову. Они не спускали глаз с молодой, храброй женщины, порою предоставляя ей случай самой поразить неприятеля. Пан Мушалъскій также следил за Басей и время от времени пускал свою смертоносную стрѣлу в толпу врагов. Между тем смятение уве-

личивалось, и маленький рыцарь посоветовал Басе уехать из этой сумятицы под охраной нескольких воинов. Бася беспрекословно повиновалась, хотя ее и увлекала эта битва, где она сражалась так храбро, но все-таки женская натура брала верх, заставляя Басю невольно содрогаться среди кровопролития и воздуха, пропитанного запахом крови, среди стонов умирающих и воплей раненых. После отъезда Баси пану Михаилу и Мотовидле не о ком было больше заботиться, и они с увлечением кинулись в битву.

А пан Мушалский, находившийся прежде вдали от Баси, теперь приблизился к ней.

– Ну, вы, пани, дрались по-рыцарски, – сказал он ей. – Кто-нибудь по неведению мог бы подумать, что архангел Михаил сошел с неба и очутился между казаками и толпами степных бродяг. Вот какая выпала им честь – погибнуть от такой ручки, которую по этому случаю позвольте мне поцеловать. – И с этими словами пан Мушалский схватил руку Баси и прильнул к ней своими усищами.

– Вы, пан, видели? Я в самом деле хорошо дралась? – спросила Бася, вдыхая полной грудью воздух.

– И кот не сумеет лучше воевать с мышами. Сердце мое прыгало от радости, как Бога люблю! Но вы все-таки очень хорошо сделали, что удалились из свалки – потому что под конец обыкновенно дело не обходится без приключений.

– Муж приказал мне удалиться, а перед нашим выездом я обещала ему, что буду повиноваться без возражений.

– Итак, лук в сторону. Теперь он мне не нужен! Хватит и сабли. Я вижу трех приближающихся всадников. Это пан полковник шлет для вашей охраны. Иначе я прислал бы; но бой подвигается к самому подножию холма; конец не заставит себя долго ждать, и мне надобно спешить.

И в самом деле, к Басе приблизилось трое драгун, готовых сопровождать ее, а пан Мушальский, простившись с нею, уехал. Бася не знала на что решиться, ехать ли ей на взгорье, откуда можно было наблюдать за битвой, или остаться здесь, на месте.

Но натура женщины взяла верх над удалью. Неподалеку от нее солдаты добивали разбойников, и эта черная сражающаяся масса сдвигалась все теснее в одну кучу на месте битвы. Кругом слышались отчаянные вопли, и, видя и слыша все это, Бася совершенно обессилела. На нее накатила невыразимый страх, и она чуть не упала в обморок. Только опасение, что драгуны заметят ее слабость, заставило ее удержаться в седле, но она все-таки отвернулась от них, чтобы они не видели ее бледности.

Наконец свежий воздух благотворно подействовал на Басю, возвратив ей силы и мужество, но ей все же не хотелось уже более сражаться, хотя она и поехала бы на поле битвы для того только, чтобы упросить мужа оставить преследование остальных татар, но зная, что муж не уважит ее просьбы, она осталась ждать окончания битвы.

Тем временем бой все продолжался. Звук оружия и кри-

ки не смолкали. Таким образом прошло полчаса. Войска все сближались. Вдруг из рокового круга прорвалось около двадцати бродяг, которые стремглав помчались по взгорью.

Объехав обрыв и добравшись до места, где взгорье сходилось с равниной, они могли считать себя в безопасности в этой степи, но Бася с тремя драгунами преграждала им путь. Возникшая на ее пути опасность возвратила ей мужество и привела ее в полное сознание. Она вполне понимала, что если она не двинется с места, то эти двадцать разбойников свалят и сомнут ее или убьют. Вахмистр драгун думал, как видно, то же самое и, взяв за поводья лошадь Баси, поворотил ее, крикнув отчаянным голосом:

– Мчись быстреей, ясная пани!

Бася быстро помчалась одна, а драгуны остались на месте, чтобы хоть на минуту преградить путь врагам и дать время как можно дальше отъехать их любимой пани. А в это время солдаты уже гнались за беглецами, чем разомкнули тот круг, в котором находились бродяги; этим последние и воспользовались, выбегая из него по одному, по двое, по трое. Большинство из них пало мертвыми, другие же, несколько десятков во главе с Азбой-беем, спаслись бегством. И все они вихрем помчались ко взгорью.

Конечно, трое драгун не удержали всех беглецов, которые вышибли их из седел, помчались за Басей и, повернув на склоне холма, выехали на высокую равнину. Вслед за ними неслись польские отряды, и во главе их – отряд липков-

цев.

На высокой равнине, на которой то и дело попадались впадины и овраги, раскинулся как бы гигантский змей, которого представляли из себя всадники. Голову этого змея изображала собою Бася, шею – беглецы, а продолжение – Мелехович со своим отрядом и драгуны, впереди которых стремглав мчался маленький рыцарь, то и дело прищпоривая коня и дрожа от ужаса.

Во время бегства татар из круга Володыевский сражался в другом конце, вследствие чего Мелехович опередил его. Володыевский страшно мучился при мысли об опасности, какой подвергалась его жена. Он боялся, чтобы Бася, растерявшись, не направила своего коня к Днестру и чтобы кто-нибудь из разбойников не поразил ее саблей, гайджаром или кистенем. При этой мысли волосы у него становились дыбом, и страшно бледный, со стиснутыми зубами, низко склонясь к шее лошади, он мчался, как вихрь, не жалея лошади, то и дело подщпоривая ее. Впереди него мчались липковцы в своих бараньих шапках.

– Дай Боже, чтоб Мелехович догнал ее: он на добром коне... дай Боже! – повторял он с отчаянием.

Но Бася не подвергалась вовсе такой большой опасности, какой страшился любящий муж Татары и не думали гнаться за Басей, а сами искали спасения от погони. Ей стоило только повернуть своего коня к Хрептиову, и она была бы вне опасности, так как татары, конечно, не погнались бы за нею – что-

бы попасть прямо в руки неприятеля, тем более что перед ними была река, в камышах которой они могли бы укрыться. Липковцы на своих быстрых лошадях были уже близко от Баси. Она же ехала на Джионите, который был гораздо быстрее в беге кудлатых бахмак татар, хотя и выносливых на бегу, но зато далеко уступавших в скорости чистокровной лошади. Бася чувствовала себя очень хорошо; в минуту опасности к ней вернулась ее самоуверенность, и рыцарская кровь била ключом в ее жилах.

Конь ее мчался быстро, как серна; она слышала только свист ветра, и чувство невыразимого упоения овладело ею.

«Целый год будут гнаться за мною и все-таки не догонят, – думала Бася, – поскачу еще, а потом обернусь и пропущу их вперед или, если захотят напасть на меня, задам им всем карачун!»

Вдруг в голове ее мелькнула мысль, что ей, может быть, придется встретиться один на один с каким-нибудь беглым татаринном и помериться с ним силами.

«Ба! Ну что ж! – говорила она в своей мужественной душе. – Михаил так меня уже выучил, что я смело могу вступить в бой, – а то, пожалуй, подумают, что я со страху бегу, и не возьмут в другую экспедицию, да вдобавок пан Заглоба будет надо мною смеяться».

Сказав это, Бася оглянулась, словно ища, с кем бы она могла сразиться, но все бродяги скакали толпой; и Басе захотелось показать войску, что она не струсила и не бежит,

сломя голову.

Припомнив, что с нею находятся два пистолета, заряженных мужем, она стала сдерживать коня, направляя его к Хрептиову.

Но при этом скакавшие позади нее татары, повернули влево и понеслись к подножию взгорья. И когда их отделило от Баси пространство в несколько десятков шагов, она выстрелила в самых ближайших к ней по два раза, а сама, объехав кругом, помчалась к Хрептиову. Но, проскакав несколько шагов. Бася должна была невольно остановиться, так как перед ней чернела глубокая степная впадина. Затем она пришпорила лошадь, желая перескочить ее.

Конь повиновался, но прыжок был неудачен, так как земля, едва замерзшая, обсыпалась под ногами лошади, которая передними копытами достала до противоположного края, а потом вместе с Басей полетела на дно яра.

Хорошо, что Бася успела вынуть ноги из стремян и нагнуться в сторону таким образом, что Джионит не придавил ее. Дно оврага, куда упала Бася, покрывал толстый слой мха, но от сильного потрясения она все же потеряла сознание.

Маленький рыцарь не видел падения Баси, так как липков-цы заслоняли ее, но Мелехович, неистово крикнув своему отряду, чтоб догоняли беглецов, достигнул оврага и кинулся в него.

Быстро соскочив с лошади и взяв Басю на руки, он одним своим орлиным взглядом осмотрел ее всю и, не заметив ни-

где крови, склонился на мох, поняв, что только он мог сохранить ее вместе с конем от смерти.

И он испустил радостный, но заглушённый крик.

В голове его все спуталось. Он сжал бесчувственную Басю в своих объятиях и, задыхаясь от долго сдерживаемой страсти, бледными, дрожащими губами стал страстно, безумно целовать ее глаза...

Но топот лошадей, раздавшийся вверху, заставил его опомниться. Над оврагом послышались голоса: «Тут, в этом яру! Тут!». Осторожно положив Басю на мох, Мелехович окликнул прибывших:

– Эй, сюда, эй!

Через минуту пан Михаил, а за ним Заглоба, Мушальский, Ненашинец и другие офицеры были уже на дне яра.

– Ей ничего – мхи спасли! – закричал татарин. Бесчувственная Бася очутилась на руках мужа, другие отправились искать воды, а Заглоба, держа Басю за голову, проговорил:

– Бася! Милая, дорогая Баська! Баська!

– Ей ничего! – повторял бледный, как смерть, Мелехович.

Тем временем Заглоба старался привести в чувство Басю: он налил из манерки себе на ладонь горелки и начал растирать ей виски и затем поднес манерку к ее губам – после чего она очнулась и подала знак, что водка жжет ей рот. Вскоре она совсем опомнилась.

Володыевский, не обращая ни на кого внимания, ласкал и целовал жену, как безумный.

– О, моя возлюбленная, – говорил он, – я чуть не умер от ужаса! Теперь ничего? Ничего не болит?

– Ничего! – отвечала Бася. – Ага! Я теперь знаю, почему я обомлела: конь вместе со мной полетел. Битва неужели уже кончилась?

– Да, Азба-бей убит. Поедем домой, а то я боюсь, чтоб ты не заболела от усталости.

– Я совсем не чувствую усталости! – возразила Бася.

И, взглянув на присутствовавших, она повела ноздрями.

– Только пожалуйста, не думайте, господа, что убежала от страха. Ого! И не думала. Как Мишу люблю, уверяю вас, что для своего собственного удовольствия мчалась впереди них, а потом выстрелила из пистолетов.

– Этими выстрелами пани подстрелила коня; ездока же мы взяли живым, – сказал Мелехович.

– А что! – сказала Бася. – Ведь каждый может оступиться на такой скачке, не правда ли? Никакая опытность от этого не сохранит!.. Ба! Хорошо еще, господа, что вы меня увидали, а то долго пришлось бы лежать в яру.

– Первым увидел тебя Мелехович и первым спас; мы были тогда в тылу, за ним скакали, – сказал Володыевский.

После этих слов пана Михаила Бзся протянула руку Мелеховичу и сказала:

– Благодарю вас, пан, за такую заботливость.

Молодой липковец вместо ответа страстно поцеловал протянутую руку, поклонился Басе до земли и обнял с ува-

жением, как раб, ее колени. В это время битва была уже окончена, и воины собирались над яром. Володыевский приказал Мелеховичу окружить камыши, где скрылись некоторые из беглецов, а потом все направились к Хрептиову. По дороге туда Басе еще раз пришлось увидеть поле битвы.

Там и сям, где поодиночке, а где и целыми грудями лежали тела людей и лошадей, над которыми носилась с ужасным карканьем стая воронов и, садясь поодаль, ожидала отъезда воинов, которые все еще кружились по стели.

– Вот могильное воинство! – сказал, показывая на них острием сабли, Заглоба. – Погодите, дайте нам только отъехать, сюда прибегут волки и будут щелкать зубами за упокой душ этих покойников. Славная победа, хоть и одержанная над такими негодьями, – этот Азба уж много лет то тут, то там гарцевал со своими разбойниками. Охотились за ним комендантские дружины, как на волка, облавой ходили, да ничего не поделали, пока наконец он не наскочил на Михаила. Вот теперь и пришел его конец.

– Азба-бей убит?

– Мелехович первым ударил его, – и я доложу тебе, удар был так силен, что сабля от уха дошла до самых зубов!

– Мелехович добрый воин! – сказала Бася. Затем, обращаясь к Заглобе, спросила: – А пан показал в чем-нибудь свою силу?

– Не пищал, как сверчок, не скакал, как блоха или как юла; такую забаву я представлю насекомым. Зато меня никто

не искал между мхами, за нос меня никто не дергал и в рот никто не дышал.

– Я не люблю пана! – прервала его Бася, выпятила губки и дотронулась ими до своего розового носика.

Но Заглоба, не спуская с нее глаз, продолжал посмеиваться.

– Дралась храбро, – говорил он, – ускакала храбро, перевернулась храбро, а теперь от боли будешь себя кашей обкладывать или салом мазать, и тоже очень храбро; а мы должны смотреть, чтобы тебя, вместе с твоей храбростью, воробы не заклевали, – они ведь на кашу очень лакомы.

– Речь пана, кажется, клонится к тому, чтобы меня Михаил не взял в другую экспедицию. Я это отлично знаю!

– А кажется, я непременно буду его просить, чтоб он тебя брал в лес по орехи, – ты ж такая легкая, что под тобой ветка не переломится... Мой Боже! Вот мне какая благодарность! А кто же уговаривал Михаила, чтоб ты ехала с нами? – я! И теперь, конечно, очень упрекаю себя, в особенности когда ты платишь мне так за мое доброжелательство. Подожди! Будешь теперь ты деревянной саблей бурьян рубить по хрептиовскому двору! Вот тебе и экспедиция! Другая обняла бы старика, а этот злой чертенок сначала меня напугал, да меня же и упрекает!

При этих словах Бася бросилась обнимать старика, чему последний был очень рад.

– Ну, ну, – сказал он, – я должен признаться, что ты мно-

го способствовала нашей победе, потому что солдаты, желая перед тобой отличиться, дрались геройски.

– Клянусь честью, правда! – воскликнул пан Мушальский. – Человек рад, пожалуй, и жизнь отдать, когда на него такие очи смотрят.

– Vivat наша пани! – закричал пан Ненашинец.

– Vivat! – повторили сотни голосов.

– Дай ей Бог здоровья!

Пан Заглоба, нагнувшись к Басе, пробурчал:

– После болезни!

И они продолжали путь, покрикивая, убежденные в том, что вечером их ожидает пир. Погода стояла чудная. И наконец все войско, при звуках труб и барабанов, с большим шумом выехало в Хрептиов.

Глава VII

Приехав в Хрептиов, Володыевские застали у себя гостей, которых вовсе не ожидали. В числе приехавших был пан Богуш, который желал остаться здесь на несколько месяцев, чтобы при помощи Мелеховича вести переговоры, с татарскими ротмистрами: Александровичем, Маровским, Творковским, Крычинским и другими, – одни из них были лигзовцы, другие черемисы, перешедшие на службу к султану. Кроме Богуша, тут находились старик Нововойский с дочерью Евой и пани Боска, дама весьма знатная, имевшая при себе молоденькую дочь, замечательную красавицу, пани Софью. Воинь; очень удивились и обрадовались, увидев в диком Хрептиове этих молодых красавиц. Со своей стороны, гости также удивились, увидя пред собою Володыевского с женой, так как они в лице коменданта думали встретить человека громадного роста, с грозным взглядом, перед которым все трепетали, а жену его считали женщиной-великаншей, говорящей грубым голосом, вечно суровой и нахмуренной. А вместо созданных их воображением людей перед ними появились небольшой солдатик с приятным лицом и веселая, маленькая, свеженькая женщина, в своем мужском наряде скорее похожая на красивого мальчика, чем на замужнюю даму. Хозяева очень любезно приняли гостей, и Бася, еще не познакомившись с ними, уже расцеловала всех жен-

щин, а затем, узнав, кто они и откуда приехали, сказала:

– Я рада была бы душу отдать милым гостям! О, как я вам рада! Хорошо еще, что с вами ничего не случилось в дороге, а то в нашей пустыне нетрудно наскочить на разбойника, – но нынче мы всех их истребили с корнем.

И потом, заметив, что пани Боска глядит на нее с удивлением, Бася, ударив по сабле, не без хвастовства заметила:

– Ведь и я была в битве! А как же! У нас так! Но позвольте мне удалиться, чтобы надеть одежду, более приличную для меня, и отмыть руки от крови, – мы ведь возвращаемся с кровавой битвы. Ого! Если бы не убили Азбу, то пани, пожалуй, не прибыла бы так счастливо в Хрептиов. Я сейчас возвращусь; Михаил между тем останется к услугам дорогих гостей.

Бася ушла, а Володыевский поздоровался с Богушем и Нововойским, после чего подошел к пани Боска.

– Бог мне послал такую жену, – сказал он ей, – которая не только дома умеет быть приятным товарищем, но вдобавок и в поле от меня не отстает. Теперь же, по ее приказанию, я готов служить нашей дорогой гостье.

– Пусть, – отвечала на это пани Боска, – Бог благословит ее во всем. Я жена Антония Боска; не для того приехала я сюда, чтобы требовать услуг от вас, но просить вас на коленях о помощи в моем несчастье. Зося, стань на колени перед этим рыцарем, потому что если он не поможет, то никто на свете не поможет нам.

И пани Боска с красавицей дочерью, плача, упали перед Володыевским на колени.

– Помогите нам, рыцарь! Имей сожаление над сиротами! – говорили они.

В это время к ним подошла толпа офицеров, с любопытством глядевших на эту сцену и в особенности на красавицу Софью. Пан Михаил, до крайности сконфуженный, поднял пани Боска и усадил на лавку.

– Ради Бога! – сказал он. – Что вы, пани, делаете? Я скорее должен преклонить колена перед почтенной женщиной. Скажите же, пани, в чем могу я оказать вам помощь; призываю Бога в свидетели, я сделаю все, что от меня будет зависеть.

– О, сделай это! И я с своей стороны тоже не отстану! Я – Заглоба, пусть это знает пани! – воскликнул старый воин, растроганный слезами женщин.

Пани Боска сделала глазами знак дочери, и та, вынув из-за корсажа письмо, отдала его пану коменданту. Взглянув на письмо, Володыевский заметил:

– От пана гетмана!

Затем, распечатав письмо, прочел следующее: «Дорогой и многолюбимый мною Володыевский! Через пана Богуша с дороги послал я тебе мой сердечный привет, который он тебе лично передаст. Не успел я отдохнуть от тревог в Яворове, как подросла другая забота; я назову ее прямо сердечной, потому что она касается воинов, о которых если бы я за-

был, то и Бог забыл бы обо мне. Пана Боску, рыцаря великих заслуг и лучшего товарища нашего, захватила орда несколько лет тому назад под Каменцем. Жену его и дочь я приютил в Яворове, но они не перестают сокрушаться: одна о муже, другая об отце. Я писал через Петровича пану Злотницкому, нашему резиденту в Крыму, чтоб искали всюду пана Боску. Кажется, его нашли, но татары его прячут, так как с другими пленными его не выдали; вероятно, он до сих пор где-нибудь на галерах веслом работает. Женщины в отчаянии, потеряв совершенно надежду, – они и мне перестали уже докучать, но я только что возвратился и опять вижу их неутешную печаль, не могу этого более терпеть и не предпринять какой-нибудь помощи. Ты там находишься поблизости и притом со многими их вождями, сколько мне известно, ведешь дружбу. Я их к тебе препровождаю – помоги им. Петрович скоро отправляется в Крым. Дай ему письмо к твоим знакомым татарам. Я же ни визирю, ни хану писать не могу, потому что они ко мне не очень доброжелательны, притом боюсь, чтобы, в силу моих писем, не приняли Боску за очень важную особу и не потребовали бы высокого выкупа. Поручи это дело Петровичу и прикажи строго-настрога, чтоб без Боски не возвращался, расшевели также своих татарских приятелей. Они хотя и язычники, а все-таки держались крепко данного слова, да и к тебе имеют большое уважение. Делай, впрочем, как найдешь лучшим, поезжай хоть в Рашков, обещаю взамен трех знатнейших пленников, только бы Боску,

если он жив, возвратили. Никто лучше не знает всех необходимых уловок; как мне известно, тебе случалось уже выкупать своих родственников. Благослови тебя Бог, я же тебя еще больше любить буду, – ты успокоишь мое сердце. Я уже слышал, что в твоём округе все спокойно. Я ожидал этого. Только обрати внимание на Азбу. Наедине пан Богущ тебе все расскажет. Поручаю твоему вниманию и участию пани Боска. Подписуюсь и т. д.»

Слушая чтение письма, пани Боска с дочерью обливались слезами.

Не успел еще пан Михаил дочитать письмо, как в комнату вбежала Бася, уже в женском платье, и, увидев своих гостей плачущими, стала их с большим участием спрашивать о причине слез. Затем, выслушав внимательно прочтенное ей мужем письмо гетмана, она стала горячо просить его исполнить просьбу гетмана и пани Боска.

– Золотое сердце у пана гетмана! – воскликнула она, обнимая мужа. – Но и мы от него не отстанем, Михалку! Пани Боска останется у нас до возвращения своего мужа, а ты его через три месяца из Крыма выручишь; через три, а может быть, и через два? Не правда ли?

– А может быть, завтра или через час! – сказал несколько нетерпеливо пан Михаил и, обратясь к пани Боска, добавил:

– Скоря, как изволите видеть, у моей жены репутация.

– Благослови ее Бог за ее горячее участие! – сказала лани Боска. – Зося, поцелуй ручки у пани полковницы.

Конечно, пани комендантова не позволила поцеловать свои руки, взамен чего заключила Зосю в объятия тем охотнее, что та с первого взгляда ей понравилась.

– Переговорим и посоветуемся, Панове, скорей! – кричала Бася.

– Скорей! Голова загорелась! – проворчал пан Заглоба.

При этих словах Бася, тряхнув своей светлой чуприной, заметила:

– Не у меня голова горит, а горят сердца от печали у пани Боска и у Зоси.

– Никто не противоречит твоему доброму желанию, – сказал Володыевский, – но нужно прежде всего выслушать рассказ пани Боска об этом происшествии.

– Зося, расскажи все, как было; я не могу говорить от слез, – сказала мать.

Девушка страшно сконфузилась, покраснела, опустив вниз глаза, не решаясь начать свой рассказ в таком большом обществе.

Но Бася помогла ей.

– Ну, Зося, скажи же, когда пана Боску в плен взяли?

– Пять лет тому назад, в шестьдесят седьмом, – отвечала тихим голосом Зося, не поднимая своих длинных ресниц. И затем начала рассказывать, почти не переводя дыхания: – Тогда не слышно было о набегах. Отряд моего отца стоял под Папиовцами. Отец мой с паном Булаевским наблюдали за людьми, которые стерегли на лугах стада. Потом пришли

татары с воложской дороги и схватили татуса вместе с паном Булаевским, но пан Булаевский уже два года как вернулся из плена, а отец не возвратился.

При последних словах Зося заплакала. Видя плачущую девушку, пан Заглоба взволнованным голосом сказал:

– Бедный ягненок. Не бойся, дитя, отец твой возвратится и еще на твоей свадьбе пировать будет.

– А писал гетман пану Злотницкому через Петровича? – спросил Володыевский.

– Пан гетман писал об отце пану мечнику познанскому через пана Петровича, – продолжала Зося, – и пан мечник с паном Петровичем нашли отца у Аги-мирзы-бея.

– Ради Бога! Я знаю этого мирзу-бея. С его братом я когда-то побратался! – воскликнул Володыевский. – Он, следовательно, не хотел возвратить пана Боску?

– Был приказ от хана, чтоб татуса освободили! Но мирза-бей, строжи, жестокий человек, спрятал отца, а пану Петровичу сказал, что уже продал его давно в Азию. Но другие пленники говорили пану Петровичу, что это неправда и что мирза нарочно говорит так, чтоб дольше терзать отца, потому что он из всех татар самый жестокий в отношении к пленным. Может быть, что отца тогда не было в плену в Крыму, потому что у мирзы есть свои галеры, где требуются гребцы; но он все-таки не был продан. Все говорили, что мирза готов скорей убить пленника, нежели его продать.

– Святая истина, – сказал пан Мушальский, – этого мир-

зу-бея знают все в Крыму. Это очень богатый татарин, в высшей степени враждебный к нашему народу, потому что он потерял четырех братьев в битвах против нас.

– А что, нет ли у него между нашими какого побратима? – спросил Володыевский.

– Сомнительно! – отозвались голоса со всех сторон.

– Объясните мне, пожалуйста, что значит побрататься? – спросила Бася.

– Видишь ли, – сказал Заглоба, – когда после войны начинаются переговоры, тогда войска навещают друг друга и дружатся. Случается, что поляк полюбит какого-нибудь мирзу, а мирза поляка – вот они и побратаются. Чем кто славнее, как например, Михаил, я или пан Рушич, который командует в настоящее время в Рашкове, тем выше считается его побратимство. Конечно, такой рыцарь не будет брататься с какой-нибудь дрянью, а поищет себе побратима между славнейшими мирзами. Обычай при этом таков: льют воду на сабли и при этом клянутся друг другу в вечной дружбе, – понимаешь?

– А если потом воевать опять придется?

– В общей войне могут драться; но если встретятся с глазу на глаз или во время набегов, тогда поклонятся друг другу и расходятся. А если кто из них попадет в плен, то побратим должен ему облегчать неволю, а иногда и выкуп за него внести. Бывали случаи, что побратимы всем имуществом делились между собою. Если дело касается до приятелей

или знакомых или если нужно кого разыскать или кому помочь, тогда побратимы едут один к другому, и надобно отдать справедливость татарам; ни один народ не держится так свято подобных клятв дружбы. Слово их нерушимо, и на такого друга смело можно рассчитывать!

– А у Михаила много таких побратимов?

– У меня три могущественных мирзы – побратимы, – отвечал Володыевский. – И с одним из них я дружен с люблинской битвы. Однажды я его выпросил у князя Иеремии. Его зовут Ага-бей; знаю – если бы у него потребовали голову положить за меня, то он положит. Другие два – тоже верные люди.

– А! – сказала Бася. – Желала бы я побрататься с самим ханом и освободить всех пленных.

– И он бы от этого, пожалуй, не отказался, – сказал пан Заглоба. – Не знаю только, чего бы он потребовал от тебя за такую услугу.

– Позвольте, господа, – прервал Володыевский, – посоветуемся, что нам делать?.. Вот, слушайте: я имею известие из Каменца, что через две недели, не далее, сюда придет Петрович с многочисленным отрядом. Он едет из Каменца в Крым с выкупом за нескольких армянских купцов, которые остались, в Крыму при смене хана, были ограблены и взяты в плен. Вот! Тоже случилось и с Сиферовичем, братом претора. Все это люди богатые, денег не пожалеют, – и Петрович поедет с полной мошной. Ему не грозит никакой опасности,

потому что, во-первых, недалеко зима и не время для набегов, а во-вторых, с ним едет Новоград от патриарха Эчмиадзинского и двое сановников из Каффы, которые имеют охранные грамоты от молодого хана. Я дам письмо Петровичу к резидентам Речи Посполитой и к моим побратимам. Кроме того, мы знаем, что пан Рушич, комендант рашковский, имеет родственников в орде, которые были похищены еще детьми, сделались совершенными татарами и достигли высоких должностей. Они все вверх дном поставят, все способы испробуют и, в случае упрямства мирзы, самого хана восстановят против него, – а пожалуй, под шумок мирзе и голову свернут. А потому я имею надежду – если, что дай Боже, пан Боска жив, то через месяца два я его непременно выручу, как мне приказывают пан гетман и мой ближайший, находящийся здесь, начальник, – добавил он, отвешивая низкий поклон жене.

При этом ближайший начальник стремглав подлетел к пану Михаилу и обнял его.

Пани Боска с дочерью явно повеселели и набожно складывали руки, обращаясь с благодарностью к Богу, что привел их к таким добрым людям.

– Если бы жил старый хан, – сказал пан Ненашинец, – еще легче бы дело было слажено: этот государь был расположен к нам, а о молодом говорят противное. Ведь и армянских купцов, за которыми едет пан Захарий Петрович, взяли в плен в самом Бахчисарае уже по воцарении молодого хана,

говорят, даже просто по его повелению.

– Э, молодой изменится, как изменился старый, который, прежде чем убедился в благородстве нашего народа, был злейшим врагом польского имени, – сказал Заглоба. – Я это отлично знаю, потому что у него семь лет сидел в неволе.

При последних словах Заглоба уселся рядом с пани Боска.

– Посмотрите на меня и ободритесь. Семь лет! Не шутка, а как я возвратился, то столько выпотрошил этих негодяев, что за каждый день моей неволи по крайней мере по два голвореза отправились в пекло, а на воскресенье и праздники, пожалуй, придется и по три, ха, ха!

– Семь лет! – во вздохом повторила пани Боска.

– Пропади я, если хоть один день прибавил. Семь лет провел в самом ханском дворце, – подтвердил Заглоба, таинственно помаргивая своими фасными глазами, – и притом, я доложу вам, что молодой хан, то мой.

И пан Заглоба, наклонясь к пани Боска, что-то прошептал ей и громко засмеялся, хлопая себя по коленам, и, увлекшись, проделал тоже самое и с пани Боска.

– Славное было время, ей-ей! – сказал он. – В молодости что ни встреча – то неприятель, что ни день – то новая шалость, – ха!

Целомудренная пани Боска торопливо отодвинулась от игривого рыцаря; остальные женщины сконфуженно опустили глазки, догадываясь, что в словах Заглобы есть что-

то для них весьма нескромное, тем более что и все рыцари при его словах громко засмеялись.

– Надобно поскорей послать к пану Рущичу, – сказала Бася, – чтобы пан Петрович застал письма наши в Рашкове.

– Спешите, господа, с этим делом, пока зима, – добавил к этому Богуш, – потому, во-первых, что зимой татары набегов не предпринимают и дороги безопасны, а потом, весна еще Бог знает что принесет нам.

– Не получал ли пан гетман каких вестей из Царьграда? – спросил Володыевский.

– Да, и об этом нам необходимо переговорить. Ведь надобно же покончить с ротмистрами-перебежчиками. Когда возвратится Мелехович? От него все дело зависит.

– Ему осталось покончить только с остальными разбойниками и потом похоронить тела убитых. Он должен возвратиться нынче или завтра рано утром. Я приказал ему похоронить только наших, – а азбовских можно и так оставить: зимой заразы бояться нечего. Волки их приберут.

– Пан гетман просил, – сказал Богуш, – чтобы Мелехович не встречал ни малейшего препятствия в своих сношениях с ротмистрами; сколько бы раз ни захотел поехать в Рашков, пусть едет. Пан гетман совершенно уверен в преданности к нам Мелеховича.

– Пусть себе ездит в Рашков или куда хочет, – сказал Володыевский. – С той минуты, как мы избавились от Азбы, он мне не очень здесь нужен. Ни одна шайка не появится

в наших краях до первой травы.

– Так Азба уничтожен? – спросил пан Нововойский.

– Да, совершенно уничтожен. Не думаю, чтоб удалось уйти от нас двадцати человекам; но, разумеется, и тех переловят до последнего, если только Мелехович взялся за это дело.

– Я очень рад этому, – ответил Нововойский, – теперь можно совершенно спокойно ехать в Рашков. Пожалуй, мы могли бы отвезти письма к пану Рущичу, – добавил он, обращаясь к Басе.

– Благодарю, – отвечала Бася, – у нас беспрестанно бываю тут оказии.

– Конечно, все команды находятся между собой в постоянных сношениях, – объяснил пан Михаил.

– Но, позвольте! Вы поедете в Рашков с этой прекрасной девицей?

– Особенной красотой дочь моя, положим, похвалиться не может, – отвечал пан Нововойский. – Мы едем в Рашков, потому что сын мой служит там в отряде пана Рущича. Уж более десяти лет, как ушел он из дому и письменно умолял меня о прощении.

Маленький рыцарь от удивления даже руками всплеснул.

– Я теперь только понял, что вы родитель пана Нововойского. Мы так были заняты печальной судьбой пана Боски, что об этом и переговорить не успели. Да и сходство между вами большое! Скажите, пожалуйста, так он сын ваш?

– Так заверяла меня, по крайней мере, покойница жена,

а так как она была женщина добродетельная, то я и не имею причины ей не верить.

– Вдвойне рад такому гостю; но, ради Бога, не называйте вашего сына негодным человеком, – он, напротив, отличный воин и храбрый рыцарь, которым вы можете по справедливости гордиться. После пана Рущича, он первый наездник. Неужели вам не известно, как высоко ценит пан гетман подобные таланты? Ему доверяют уже целые команды, и что бы ему ни поручили, он постоянно изо всех дел выходил с честью.

Лицо пана Нововойского от радости покрылось румянцем.

– Дорогой пан, – сказал он, – не раз случается отцу порицать дитя свое для того, чтобы кто другой его защитил словом, а потому скажу вам, что нельзя больше порадовать родительское сердце, как отвергая порицание. До меня дошла уже слава о похвальных подвигах Адама; но только теперь я поистине им радуюсь, потому что слышу похвалу из таких славных уст. Говорят, будто он не только мужественный воин, но вместе и рассудительный человек. Последнее меня несколько удивляет: Адам был чистый ветер. К военной службе имел такую сильную склонность с малых лет, что почти ребенком убежал из дома. Признаюсь, если бы только удалось мне поймать его, то задал бы ему на память. Но теперь надобно поневоле забыть прошлое, – а то, пожалуй, опять спрячется лет на десять, а мне старому, грустно.

– Неужели он с тех пор ни разу не приезжал к вам?.

– Потому что я не позволил. Ну, уж будет с меня; я первый к нему еду, так как ему служба не позволяет отлучиться. Я хотел было просить уважаемых хозяев приютить у себя мою дочь, пока я съезжу в Рашков; но коль скоро вы говорите, что по Дорогам все спокойно, то я и ее возьму с собою. Эта егоза любопытна, ну, пусть себе посмотрит на свет Божий.

– И людям себя покажет! – вставил словечко Заглоба.

– Смотреть-то не на что! – возразила девица, чьи смелые черные очи и губы, будто нарочно сложенные для поцелуя, говорили противное.

– Самая обыкновенная мордочка, не более! – сказал пан Нововейский. – Ба, но как увидит красивого офицера, то даже дрожит от радости. Потому-то я и взял ее с собою, – дома оставлять ее одну небезопасно. И если мне придется одному ехать в Рашков, то попрошу у ясной пани позволения поручить ей мою дочку, – только надобно ее держать на веревочке, а то начнет, пожалуй, брыкаться.

– Я сама была не лучше, – ответила Бася.

– Ее заставляли прясть, – отозвался Заглоба, – а она, за неимением кавалера, танцевала с веретеном! Но я вижу, что вы веселый человек, пан Нововейский. Баська! Желал бы я чокнуться с паном Нововейским, – люблю людей веселых.

Перед ужином вернулся Мелехович, которого пан Нововейский, разговаривавший в это время с Заглобой, сначала

не заметил, а Ева, взглянув на него, покраснела, а потом побледнела как полотно.

– Пан комендант, – сказал Мелехович Володыевскому, – по приказанию вашему, беглецы пойманы.

– Хорошо! Где же они?

– По приказанию вашему, я приказал их повесить.

– Хорошо! А твои люди где?

– Часть осталась для погребения тел, остальные со мною.

При этих словах Мелеховича пан Нововейский взглянул на говорившего, и сильное удивление отразилось на его лице.

– Черт возьми! Что я вижу! – воскликнул он. Потом встал, пошел прямо к Мелеховичу и закричал:

– Азия! Ты что тут делаешь, негодяй?

И он поднял руку с намерением хватить Мелеховича за ворот, но тот быстро увернулся и вспыхнул, как зарево, а затем, сделавшись мертвенно бледным, схватил руку Нововейского и проговорил:

– Не знаю я пана! Кто вы такой?

Причем он так сильно толкнул пана Нововейского, что тот не смог удержаться на ногах и упал на середину комнаты.

Сильное волнение не давало ему проговорить ни одного слова; затем, немного успокоившись, он крикнул:

– Панове! Да это мой человек – он бежал от меня! Он жил в моем доме с малолетства!.. Негодяй! Отпирается! Это мой слуга. Ева! Кто это? Отгадай?

– Азия! – сказала, дрожа всем телом, Ева.

Мелехович не обратил ни малейшего внимания на Еву, а только, поводя ноздрями, не спускал с Нововойского взгляда, полного глубокой ненависти, и рука его то и дело сжимала кинжал. Он все продолжал двигать ноздрями, усы его дрожали, а из-под них виднелись белые блестящие клыки, как у разъяренного животного.

Бася бросилась между Нововойским и Мелеховичем, которого уже окружили офицеры.

– Что это значит? – спросила она, поморщившись. Увидев ее, противники немного успокоились.

– Ваша милость, – отвечал Нововойский, – это значит, что это мой человек, Азыя, сбежавший от меня! Служа еще смолоду в войске на Украине, я нашел его полуживым в степи и приютил. Он татарин. Он воспитывался в моем доме до двадцати лет и учился вместе с моим сыном. Когда сын мой ушел из дома, Азыя помогал мне в хозяйстве, пока не завел амурных шашней с Евой. Я это узнал, велел его выпороть, а он убежал. Как он здесь называется?

– Мелехович!

– Это он выдумал себе имя. Он Азыя – и только. Он говорит, что меня не знает но я его знаю, и Ева также!

– Господи! – сказала Бася. – Однако сын ваш его несколько раз видел, как же он не узнал его?

– Сын мой мог не узнать его; когда Стах бежал из дома, им обоим было по пятнадцать лет, а этот после еще шесть лет у меня сидел; он вырос в это время, возмужал, отпустил

усы. Но Ева сейчас его узнала. Уж вам приличнее поверить обывателю, чем этому крымскому бродяге!

– Пан Мелехович – гетманский офицер, – сказала Бася, – мы ничего больше о нем не знаем.

– Позвольте мне допросить его, – отозвался комендант. Но пан Нововейский уже вышел из себя.

– Пан Мелехович! Какой он пан? Мой слуга, который взял себе чужое имя. Завтра я сделаю этого пана своим псарем; послезавтра прикажу его выпороть, и в этом мне и сам гетман препятствовать не может, – я шляхтич и знаю свои права.

В ответ на это Володыевский, поведя усом, довольно серьезно заметил:

– А я не только шляхтич, но и полковник и тоже свои права знаю. Своего человека может разыскивать пан, и даже идти к самому гетману; но здесь приказываю только я, и никто другой! Мелехович, что скажешь ты на все это? – спросил Володыевский.

Молодой липек, опустив глаза, молчал.

– Что твое имя Азыя, то мы все знаем! – сказал комендант.

– Что тут искать других доказательств! – воскликнул Нововейский. – Если это мой невольник, то у него на груди наколоты голубые рыбы.

При этих словах пан Ненашинец с удивлением взглянул на Мелеховича и, схватившись руками за голову, закричал:

– Азыя Тугай-бей!

Все присутствовавшие посмотрели на дрожащего всем телом пана Йенашинца. Вероятно, ему припомнились все. пережитые мучения.

– Это мой пленник. Он Тугай-бей, Господи! Это он!

Между тем молодой татарин, гордо закинув голову назад и взглянув на всех окружающих орлиным взглядом, разорвал на своей груди жупан и проговорил:

– Вот рыбы синего цвета! Я сын Тугай-бея.

Глава VIII

Воцарилось молчание; так сильно поразило всех имя свирепого вождя. Всем было хорошо известно, что Тугай-бей вместе с Хмельницким много горя и несчастья принесли Речи Посполитой. Целые моря польской крови были пролиты ими. Где бы они ни появлялись – на Украине ли, в Волинии, Подолии или Галиции, – везде оставляли за собой разрушения и пожары и уводили в плен десятки тысяч людей. А в настоящее время сын этого вождя находится в Хрептиове и гордо всему собранию говорит: «У меня синие рыбы, я – Азия, кость от кости Тугая.» Но в то время знаменитые люди везде пользовались глубоким уважением, хотя бы душу каждого воина охватывал ужас при одном имени этого свирепого мурзы, – таким образом, слава отца как бы возвысила и Мелеховича в глазах всех присутствовавших; особенно женщины смотрели на него с большим любопытством, так как им вообще нравится все таинственное, да и самому Мелеховичу казалось, что он, после открытия тайны, как бы вырос в собственных глазах, и, стоя гордо посреди собрания с высоко поднятой головой, он наконец проговорил:

– Этот шляхтич говорит (тут он указал на Нововейского), что я из его дворовых, но я ему на это скажу: мой отец ездил верхом на лучших конях чем он. Впрочем, он говорит правду, я был у него; под его плетью моя спина облива-

ласть кровью, чего я никогда не забуду, помоги мне в этом Боже!.. Я назвался Меле-ховичем, чтобы избежать его погони. Но теперь, хоть я и мог бы убежать в Крым, но, служа моему новому отечеству кровью и жизнью, я ничей, только гетмана. Мой отец из рода ханов, меня ожидали в Крыму богатства и роскошь; я же остался здесь в унижении, потому что люблю эту отчизну и пана гетмана, и тех люблю, которые никогда не оказывали мне презрения!

После этих слов татарин, отдав поклон коменданту и поклонясь низко Басе, почти коснувшись головой ее колен, вышел из комнаты, захватив с собою саблю.

После его ухода некоторое время все молчали; наконец пан Заглоба проговорил:

– Ха! Где пан Снитко? Говорил я, что этот Азыя волком смотрит, а он, пожалуй, и вправду волчий сын!..

– Львиный сын! – заметил Володыевский, – И кто знает, не пойдет ли он в отца!

– Господи! Неужели вы не заметили, господа, как у него зубы сверкали, точь-в-точь как у старого Тугая, когда он был зол, – сказал пан Мушальский, – по этому одному я бы его узнал; я ведь частенько видел старого Тугая.

– Не так часто, как я! – заметил Заглоба.

– Теперь понимаю, – вставил пан Богуш, – почему он имеет такое доверие между липковцами и черемисами. Ведь они имя Тугая произносят, как святыню. Как Бог свят! Если бы этот человек захотел, он мог бы их всех до одного перевести

в службу султана и наделать нам множество неприятностей.

– Этого он не сделает, – отвечал Володыевский, – потому что любит свое отечество и гетмана – что правда, то правда; иначе бы не служил между нами, имея возможность уйти в Крым и наслаждаться там роскошью. Тут же он роскоши никогда не знал.

– Конечно, не сделает! – повторил пан Богуш. – Если бы он хотел изменить, то давно бы сделал это. Что ему мешало?

– Напротив, – прибавил пан Ненашинец, – я верю теперь, что он привлечет назад к Речи Посполитой изменников ротмистров.

– Пан Нововейский, – сказал вдруг пан Заглоба, – если бы ты знал, что это сын Тугай-бея, может быть, того, может быть, так что?.

– Велел бы ему дать вместо трехсот тысячу триста кнутов. Пусть гром меня убьет, если бы этого не сделал! Панове! Меня удивляет, что он, будучи отродьем Тугая, не убежал в Крым. Может быть, потому, что недавно узнал об этом, у меня же он ничего подобного не зная. Все это меня удивляет, и я скажу вам: ради Бога, не верьте ему! Я его знаю больше, чем все вы, и скажу только одно: дьявол не так увертлив, бешеная собака не так запальчива, волк менее упрям и ужасен, чем этот человек. Погодите, он еще всем здесь насолит!

– Что вы, пан, говорите! – возразил Мушальский. – Мы его видели в деле при Кальнике, Умане, Бреславле и в сотне других случаев!

– Он не простит обиды – отомстит!

– А как он отделявал нынче азбовских бродяг! Что на это скажешь, пан?

В это время Володыевская, заинтересованная разыгравшейся историей с Мелеховичем, сильно взволнованная и желавшая, чтобы конец был достоин начала, подталкивала Еву, шепча ей на ухо:

– Ева, ведь ты его любила? Признайся, не отнекивайся! Любила, а?.. И еще любишь, что? Я уверена. Будь со мною откровенна. Кому же тебе признаться, если не мне, женщине? Его кровь почти царская! Пан гетман ему выхлопочет шляхетство. Пан Нововойский не будет сопротивляться. Азыя тебя тоже, верно, еще любит! Уж я знаю, уж знаю, знак! Не бойся, он мне верит! Я сейчас его допрошу! Он скажет мне все без пытки! Ведь ты его ужасно любила? Любишь же его еще?

Рассудок Евы словно помутился. Она не забыла того вспыльчивого мальчугана, бывшего товарищем, а вместе с тем и слугой ее брата, который ей, тогда еще ребенку, высказал свое расположение, о чем она, после его побега, перестала и думать. В настоящее же время пред ней явился красавец и грозный воин, славный своими победами и притом сын князя, хотя и татарского. Азыя показался ей совершенно в другом виде, что ее ошеломило, и она почувствовала какое-то опьянение. Ей припомнилось давно прошедшее, и хотя она не могла еще в эту минуту полюбить Мелеховича,

но сердце ее было уже подготовлено к этому.

Так как старания Баси допросить Еву не увенчались успехом, то она, взяв Еву и Зосю, отправилась с ними в другую комнату, где опять приступила к Еве.

– Ева! Говори скорей, скорей, любишь его?

Лицо Евы было освещено солнечным светом. Она была брюнетка с черными глазами, натура страстная; при воспоминании о ее любви к Мелеховичу всякий раз кровь прилиwała к ее лицу.

– Ева, – повторила в десятый раз Бася, – ведь ты любишь его?

– Не знаю, – неуверенно ответила Ева.

– Ага, ты не противоречишь? Ну, так уж я знаю! Только не ужасайся! Я первая сказала Михаилу, что люблю его, – и ничего! И хорошо! Вы прежде, верно, очень любили друг друга? А! Теперь понимаю! Это он с тоски по тебе ходит всегда такой угрюмый, как волк Бедняга чуть не иссох от горя! Что было между вами? Говори!

– Он сказал мне однажды, в кладовой, что меня любит, – шепнула панна Нововойская.

– В кладовой! Вот еще! А потом что?

– Потом схватил меня и начал целовать, – продолжала еще тише молодая девушка.

– Видите, какой прыткий! А ты что?

– А я побоялась закричать!

– Побоялась закричать! Слышишь, Зося? Когда же откры-

лась ваша любовь?

– Отец пришел и ударил его кулаком, потом бил меня и его приказал бить, да так бить, что он две недели не вставал!

Сказав это, молодая девушка заплакала – отчасти от жалости к Мелеховичу, а отчасти и от смущения. Зося, видя ее слезы, также расплакалась, а Володыевская принялась уговаривать Еву:

– Все кончится хорошо, даю свою голову, и Михаила, и пана Заглобу запрягу в дело. Уж я сумею их подговорить, не бойся! Перед остроумием пана Заглобы никто не устоит. Ты его не знаешь! Не плачь, Ева, сейчас ужинать!

Мелехович не появился к ужину. Он остался у себя в комнате, где, согрев на огне водку с медом, пил ее, заедая сахаром. Поздней ночью явился к татарину пан Богуш, чтобы переговорить о случившемся.

Мелехович пригласил его сесть на табурет, который был обит шкурою овцы, и стал угощать горячим напитком.

– А пан Нововейский все еще хочет сделать из меня своего слугу?

– Об этом и речи быть не может, – ответил пан стольник новоградский. – Скорей бы пан Ненашинец мог на тебя иметь виды, но и ему теперь ты не нужен, его сестра или уже умерла, или даже не пожелает изменения своей судьбы. Пан Нововейский не знал, кто ты, когда наказывал тебя за свидание с его дочерью. А теперь и он как потерянный ходит. Хотя твой отец и много зла сделал нашему отечеству, –

ведь он был знаменитым завоевателем, – а все же добрая кровь всегда останется доброй кровью! Никто тебя не тронет здесь пальцем, пока ты будешь служить своему новому отечеству верно, тем более что у тебя везде есть друзья!

– Почему же мне не служить ему верно? – ответил Азья. – Мой отец вас бил; но он был язычник; я же верую во Христа.

– В том-то и дело! В том-то и дело! Ты уже не можешь воротиться в Крым, разве только изменивши веру; но вместе с тем ты утратишь и отпущение грехов, что тебе не заменят никакие земные блага и почести. Говоря по правде, ты должен благодарить и пана Ненашинца, и пана Нововейского: первый из них вырвал тебя от язычников, второй воспитал тебя в истинной вере.

– Я знаю, что я должен быть благодарным, и я постараюсь отблагодарить их. Ваша милость заметили справедливо, что я нашел здесь много доброжелателей! – отвечал Азья.

– Ты говоришь это так, будто во рту у тебя полынь, а посчитай-ка их сам.

– Его милость пан гетман и ваша милость на первом плане; это я буду повторять до самой смерти. А кто еще – право, не знаю...

– А здешний комендант? Разве думаешь, он выдал бы тебя кому-нибудь, если бы ты даже не был сыном Тугая? А она? А пани Володыевская? Я слышал, что она говорила о тебе во время ужина. Ба! А еще перед тем, как Нововейский тебя узнал, она всегда тебя отстаивала! Пан Володыевский

для нее сделал бы все, ведь он света за ней не видит, мне кажется, что сестра не может больше любить брата, чем она тебя. Во все время ужина твое имя не сходило у нее с языка.

При последних словах Богуша Азия моментально наклонился над кружкой с горячим напитком и начал дуть на него. Его синеватые губы были выпячены вперед и на лице выразилась вся дикость его племени. Заметив это выражение, пан Богуш сказал:

– Ай, ай! Как ты, однако, в эту минуту похож на старого Тугай-бея, трудно вообразить. Ведь я его знал отлично; видывал его при ханском дворе и на поле битвы, около двадцати раз ездил в его сихень.

– Да благословит Господь справедливых, да уничтожит зараза обидчиков! – ответил Азия. – За здоровье гетмана.

Пан Богуш выпил.

– Пью за здоровье и многие лета гетмана! – сказал он. – Правда, нас немного, которые стоят при нем, – но зато мы истинные солдаты. Даст Бог, не поддадимся мы тем вертихвостам, которые умеют только собираться на сеймы и обличать пака гетмана в измене против короля. Шельмы! Мы день и ночь стоим настороже против неприятеля, а они только и думают о пышных банкетах! Вот их работа! Пан гетман шлет посла за послом, прося о помощи для Каменца, и, как Кассандра, предсказывает падение Илиона и народа Приамова, а эти вертопрахи ни о чем не думают, – только и знают, что доискиваются, кто провинился перед королем!

– О чем вы говорите, ваша милость?

– Так, про себя. Я сделал сравнение между нашим Каменцем и Троей; но ты, верно, о Трое теперь и не думал. Пусть только немного все успокоится, так пан гетман выхлопочет тебе шляхетство, даю голову! Теперь такие времена, что случай всегда может представиться, если только хочешь действительно прославиться!

– Или имя мое покроется славой, или земля меня покроет. Все услышат обо мне, как Бог свят!..

– Ну, а что же те, там? Что Крычинский? Воротятся? Не воротятся? Что они теперь делают?

– Сидят в сихенях: одни в Ужийской степи, другие дальше. Трудно им сговориться между собой – далеко. Велено им весной идти всем к Адрианополю и набирать побольше съестных припасов с собой.

– Неужели! Это очень важно, потому что если в Адрианополе будет большой военный конгресс, то война с нами неминуема. Сейчас же надобно уведомить об этом пана гетмана. Он тоже думает, что война будет; но отправка в Адрианополь была бы несомненным признаком.

– Галим говорил мне, что у них поговаривают, будто и сам султан думает быть в Адрианополе.

– Слава Отцу и Сыну! А тут у нас всего и войска-то одна горсть. Одна надежда на каменецкие скалы. Разве Крычинский предлагает новые условия?

– Они больше жалуются, чем предлагают условия: поми-

лование, возвращение прав и привилегий шляхетских, какие они имели в прежние времена, чины ротмистров – вот чего они хотят. Но ведь султан дал уже им больше прав, так вот они и колеблются.

– Что ты рассказываешь? Как же султан может дать больше, чем Речь Посполитая? В Турции все права зависят от одной султанской фантазии. Хотя бы и тот, который ныне живет и царствует, сдержал все свои обещания, но наследник может уничтожить все, если захочет. Между тем у нас привилегия – вещь святая, и кто получит шляхетство – у того и сам король не может ничего отнять.

– Они говорят, что хотя они и принадлежали к шляхте, однако с ними обходились, как с простыми солдатами, а начальники не раз приказывали им отбывать различные повинности, от которых освобождена не только шляхта, но даже и простые дворовые люди.

– Ну, как скоро гетман им обещает.

– Никто из них не сомневается в великодушии гетмана, и все его сердечно уважают но они так думают: самого гетмана шляхта называет изменником; его сильно при дворе ненавидят, ему конфедерация грозит судом, как же ему удастся что-то устроить?

– Что ж далее? – спросил пан Богуш, тряся чуприной.

– Да они сами не знают, что им делать!

– У султана останутся?

– Нет.

– Ба! Кто ж может принудить их возвратиться в Речь Посполитую?

– Я.

– Как так?

– Я сын Тугай-бея!

– Милый друг, Азия, – сказал, помолчав, Богущ, – я не отрицаю, что они могут любить и почитать тебя, как сына славного Тугай-бея, хотя они наши татары, а Тугай был нашим врагом. Я все это понимаю, потому что и у нас есть шляхта, которая с уверенностью утверждает, что Хмельницкий был шляхтичем и происходил не от казацкого, а от нашего племени, из Мазуров. Он был такая шельма, что и в аду не найдешь худшей; но что он был знаменитый воин, в том ему никто отказать не может, такова, видно, людская природа! Но чтоб твое происхождение от Тугая давало тебе право приказывать всем татарам, – к этому не вижу я настоящего повода.

Помолчав немного, Азия, подбоченясь, проговорил:

– Я скажу вам, пан подстолий, почему Крычинский и другие меня слушают. Ибо, кроме того, что они простые татары, а я князь, у меня есть ум и сила... Но ни вы, ни гетман этого не знаете.

– Какой ум, какая сила?

– Я того сказати не умию, – ответил по-русински Азия. – Но почему я готов сделать то, чего не сделают другие? Отчего я могу выдумать то, чего другие не выдумают?

– О чем говоришь ты? Что ты задумал?

– Я думал, что если бы пан гетман дал мне волю и право, то я не только ротмистров бы воротил, но и половину орды обратил бы на услуги гетмана. Мало разве земли на Украине и в Диких Полях! Пусть только обнародует гетман, что татары, перешедшие в Речь Посполитую, получают шляхетство, что будут иметь право исповедовать свою веру и служить в своих собственных отрядах, что все они будут иметь своего гетмана, как казаки, и даю свою голову на отсечение, если вся Украина не закишит народом. Придут липковцы и черемисы, придут от Добрыча и Белоградэ, придут из Крыма и пригонят сюда свои стада, привезут на горбах своих жен и детей. Не качайте головой, ваша милость: придут, как пришли когда-то давно те, которые служили Речи Посполитой верно! В Крыму и везде хан и мурзы их притесняют, а тут они сделаются шляхтой, у них будут сабли, и на войну будут ходить со своим гетманом. Я готов присягнуть, что они придут, потому что там иной раз от голода умирают, А когда между улусами распространится, что я, с дозволения пана гетмана, призываю их, я – сын Тугай-бея, тогда тысячи сюда придут.

– О, ради Бога, Азия! – сказал Богущ, хватаясь за голову. – Откуда у тебя являются такие мысли? Что бы это было.

– Был бы на Украине народ татарский, как есть народ казачкий! За казаками признали же и гетмана, и привилегии, – отчего же за нами не признать бы? Ваша милость спрашивает: что бы это было? Другого Хмельницкого не было бы, по-

тому что мы стерли бы с лица земли казаков, холопских восстаний тоже бы не было, ни резни, ни опустошения, не было бы и Дорошенка, если бы он посмел восстать. Я первый привел бы его на веревке к ногам гетмана. А если бы турецкий султан вздумал идти на вас, мы дрались бы с султаном, пустился бы на вас хан, мы побили бы и хана. Не так ли делали давно татары и черемисы, хотя и держались магометанской веры? Да и отчего стали бы поступать иначе мы, татары Речи Посполитой! Мы шляхта!.. Теперь, пан, посмотри: Украина будет спокойна, казачество усмирено, от турок оборона, несколько тысяч войска больше – вот о чем я думал, вот что мне пришло в голову и вот почему меня слушают Крычинский, Адамович, Моравский, Творковский Вот почему, когда я крикну, то половина Крыма привалит в эти степи.

Все то, что пришлось выслушать пану Богушу от Мелеховича, чрезвычайно изумило и смутило его, воображению его представились какие-то неизвестные места, а стены комнаты, где они находились, как бы исчезли. Долго он не спускал глаз с Азии, будучи не в состоянии сказать что-либо, а между тем этот последний, встав с места, ходил по комнате большими шагами.

– Без моего содействия, – наконец проговорил Азия, – из этого ничего не выйдет, потому что я сын Тугай-бея и от Днепра до Дуная нет между татарами более знаменитого имени.

Спустя минуту он прибавил:

– Что мне Крыччинские, Творковские и другие! Дело идет не о нескольких тысячах липковцев, а о целой Речи Посполитой. Говорят, что весной будет большая война с султаном, но позвольте мне осуществить мои намерения, и я наварю с татарами такого пива, что и сам султан обожжет себе руки.

– О, ради Бога! Кто ты, наконец, Азия? – вскричал пан Богуш.

Подняв голову, Азия отвечал:

– Будущий гетман татарский!

В это время прекрасное и вместе с тем ужасное лицо Азии было освещено пламенем. Вид его был так горд и величествен, что Богуш почти не узнавал его. Между прочим, он вполне верил тому, что говорил молодой татарин. Если бы только народ узнал о таком воззвании гетмана, то как липковцы, так и черемисы вернулись бы, а их примеру последовали бы неисчислимые, полчища диких татар. Пану Богушу хорошо был знаком Крым, так как он там два раза был невольником, а затем, после выкупа, его гетманом из плена, – послом, и поэтому знал о всех беспорядках и неудовольствиях, существующих там. Ему знаком был и двор бахчисарайский, и орды, кочующие от Дона до Добрыча; он знал, что все эти гибнущие от голода улусы и мурзы, притесняемые алчными ханскими башаками, с радостью бы пришли на это воззвание, чтобы воспользоваться предложенными им привилегиями и обилием земли.

Конечно, они пришли бы тем скорее, что призывал их сын Тугай-бея. Разумеется, на его зов они откликнулись бы, но ни на чей другой. Пользуясь славой отца, он мог бы сделать возмущение во всех улусах, восстановить одну часть Крыма против другой, призвать туда же дикие орды белградские и поколебать все ханское и даже султанское владычество. Все дело было в желании гетмана; если бы он не упустил из рук этого случая, тогда бы он мог считать Тугай-бея небесным посланником.

Пан Богуш стал еще с большим удивлением смотреть на Азьи, недоумевая, каким образом могли явиться у него эти мысли, от которых пан Богуш пришел в такой ужас, что даже пот показался на его лбу. Но все-таки в глубине души он еще сомневался.

– А знаешь, ведь из этого может быть война с турками, – сказал он, помолчав.

– Война и без того будет. Зачем бы приказали ордам идти под Адрианополь? Тогда только могло бы не быть войны, если бы в государстве султана возникли раздоры; если же нам и придется двинуться в поле, то половина орды будет за нас.

«На все, шельма, найдет довод!» – подумал Богуш.

– Голова кружится, – сказал он громко. – Видишь ли, Азья, во всяком случае это вещь не легкая. Что бы сказали на это король, канцлер и советы? А вся шляхта, относящаяся по большей части недоброжелательно к гетману?

– Мне только надо письменное разрешение гетмана; а уж

если мы здесь укрепимся, так пусть тогда нас выживают! Кто будет выгонять и чем? Вы рады бы изгнать запорожцев из Сечи, да вам не под силу!

– Пан гетман испугается ответственности.

– За пана гетмана станет пятьдесят тысяч татарских сабель, кроме войска, которое у него в руках.

– А казаки? Ты забываешь о казаках Те сейчас же восстанут.

– Затем-то мы здесь и нужны, чтобы меч всегда висел над головой казаков. Кем держится Дорош? Татарами! Пусть же я приберу татар к рукам, тогда и Дорош должен будет ударить челом гетману.

При этих словах молодой татарин вытянул руки и, согнув пальцы наподобие орлиных когтей, взялся за саблю.

– Вот чем мы покажем казакам наше право. Они пойдут в невольники, а мы будем править Украиной. Видите ли, пан Богуш, вы думаете, что я маленький человек, а я не так мал, как это кажется Нововойскому, здешнему коменданту, офицерам и вам, пан Богуш. Вот я над этим ночь и день раздумывал, пока не побледнел и не похудел; посмотрите – я даже почернел. Но то, что выдумал, выдумал очень хорошо, – потому-то я и говорил вам, что у меня есть ум и сила Пан! Сам видишь, что это не безделица! Поезжай к гетману, и скорей, скорей! Представь ему все и скажи, пусть даст мне письменные полномочия. У гетмана великая душа; он сразу увидит, что требование мое разумно. Скажи гетма-

ну, что я сын Тугай-бея, что я один могу это сделать, пусть согласится, ради Бога! Только бы вовремя, пока снег лежит в степи, а не перед наступлением весны, потому что весной будет война! Поезжай скорей и скорей возвращайся, чтобы я знал, что мне нужно делать.

Азия говорил это повелительным тоном, как бы считая уже себя гетманом, а пана Богуша подчиненным себе офицером, на что, впрочем, пан Богуш не обратил никакого внимания.

– Завтра еще отдохну, – сказал Богуш, – а послезавтра отправлюсь. Дай Бог застать гетмана еще в Ярове. У него быстрые решения, и скоро ты получишь ответ.

– А как вы, ваша милость, думаете, – согласится пан гетман?

– Быть может, прикажет тебе к нему приехать, а потому не выезжай сейчас в Рашков, отсюда скорей доберешься в Яворов. Согласится ли он, не знаю; но возьмет это дело во внимание: причины-то уж очень очевидны. Ей-Богу, никогда не ожидал я от тебя ничего подобного, а теперь вижу, что ты необыкновенный человек и что сам Бог предназначил тебя к великому будущему. Ну, Азия, Азия! Сотник в липковском отряде, ничего более, а какие планы кипят в его голове, от которых человека дрожь пронимает. Теперь я не удивлюсь, если увижу на твоей шапке перо цапли, а над тобой бунчук. Верю и в то, что эти мысли жгли тебя ночью. Непременно послезавтра отправлюсь, только немного

отдохну, а теперь уйду, поздно, да и в голове у меня шумит, как на мельнице. Оставайся с Богом, Азия. У меня в висках стучит, точно я пьян. Оставайся с Богом, Азия, сын Тугай-бея!

Затем пан Богуш простился с Азией, сильно сжав его исхудалую руку, и пошел, но, остановившись на пороге, промолвил:

– Как это бишь? Новые войска для Речи Послолитой, меч над головами казаков; Дорош покорен; смуты в Крыму; могущество турецкое ослаблено. Конец набегам на Русь. О, ей-Богу!

И пан Богуш ушел.

– А для меня бунчук, булава и... волей или неволей – она! Иначе горе вам! – шептал Азия, глядя вослед ушедшему Богушу.

Огонь в печке уже погас, но комната была освещена лучами ясного месяца, проникавшими через окно. Азия, взяв жестянку с горелкой и выпив ее всю, поспешно лег на постель, прикрытую шкурой лошади. Полежав немного и, по видимому, будучи не в состоянии заснуть, он встал, подошел к окну и стал смотреть на месяц, который уже высоко поднялся на холодном зимнем небе.

Долго простоял он так, глядя на месяц, наконец сложил руки на груди, а два больших пальца поднял вверх и начал чуть слышно, печально напевать:

– Аллах!.. Аллах... Ильаллах Магомет Россулах... –

шептали его губы, хотя за час перед тем они же исповедовали Христа.

Глава IX

На другой день рано утром Бася уже приступила к мужу и пану Заглобе с просьбой, чтобы они посоветовали, каким бы образом соединить Еву с Мелеховичем. Муж и Заглоба смеялись над ее хлопотами, но в конце концов, как и всегда, обещали ей помочь в ее затеях.

– Лучше всего, – сказал Заглоба, – уговорить старого Новейского, чтоб он девицу не брал с собой в Рашков, потому что холода наступают порядочные, да притом и по дорогам не совсем спокойно; молодые люди здесь часто будут видеться, и дело в шляпе.

– Вот превосходная мысль! – воскликнула Бася.

– Превосходная – не превосходная, – сказал Заглоба, – но ты, в свою очередь, не спускай с них глаз. Ты же баба, и я полагаю, что в конце концов соединишь их потому что баба всегда сделает по-своему, только смотри, чтоб и дьявол при этом не напроказил. То был бы для тебя большой стыд – с твоей ведь легкой руки!

Бася стала дуться на пана Заглобу и потом сказала:

– Пан хвалится, что смолоду был турком, и думает, что все турки. Азия совсем не такой!

– Не турок, а только татарин. Хороша штука! Она будет ручаться за татарские чувства!

– Они оба готовы плакать от сильного чувства. Ева притом

прекрасная девушка.

– У нее такое лицо, как будто на лбу ей кто написал: поцелуйте меня! У! Это штука! Вчера я подметил: когда она сидит за столом против красивого парня, то так сильно дышит, что у нее даже тарелка отодвигается. Штука, насквозь ее вижу!

– Пану, верно, хочется, чтобы я ушла.

– Не уйдешь, когда дело идет о сватовстве, я тебя знаю – не уйдешь! Но тебе еще слишком рано записываться в свахи: этим занимаются обыкновенно пожилые женщины. Пани Воска говорила мне вчера, что когда увидала тебя возвращающейся с битвы в мужском платье, то приняла за сына пани Володыевской, который прогуливался верхом вокруг ограды. Ты не любишь важности, и важность тебя тоже не жалует, что сейчас видно по твоей легкой осанке. Настоящий школьник, ей-Богу!.. Теперь и женщины-то совсем другие! В мое время, когда женщина, бывало, садилась на лавку, то лавка под ней так скрипела, точно кто собаке на хвост наступил, а ты бы, пожалуй, на коте могла верхом проехать, и он тебя бы не почувствовал. Говорят тоже, если женщина начинает сватать, то никогда не будет иметь потомства.

– Неужели в самом деле так говорят? – спросил с беспокойством маленький рыцарь.

На это пан Заглоба ответил смехом, а Бася, прижавшись лицом к лицу мужа, тихо проговорила ему:

– Э, Михалку! В свободное время мы поедем на богомолье

в Ченстохоа Матерь Божия, может быть, все это переменит к лучшему.

– Это действительно самый лучший способ, – подтвердил Заглоба.

Супруги обнялись, а затем Бася произнесла:

– Теперь поговорим об Азые и Еве, как им помочь. Мы счастливы, пусть же и они будут тоже счастливы.

– Как только Нововейский выедет, им будет лучше, – сказал Володыевский, – потому что при нем им трудно видаться, тем более что Азия его ненавидит. Но если бы старик отдал ему Еву, может быть, предав забвению старые обиды, они стали бы любить друг друга, как тесть с зятем. По моему мнению, тут дело не в том, чтобы молодых сблизить, они и так друг друга любят, но в том, чтобы старого уломать.

– Нововейский суровый человек! – сказала Бася.

А Заглоба прибавил:

– Баська! Вообрази, что у тебя есть дочь и что нужно выдать ее замуж за какого-нибудь татарина.

– Азия – князь! – ответила Бася.

– Я не отрицаю, чтоб Азия происходит от благородной крови; но и Кетлинг тоже не простолюдин, однако Христя Дрогаевская не пошла бы за него, если бы он не имел наших прав гражданства.

– Так постарайтесь для Азии добыть такую грамоту!

– Да, легкое дело! Если бы кто захотел присоединить его к своему гербу, то сейм должен был бы, конечно, это утвер-

дить; но нужно все-таки время и большую протекцию.

– Уж как не люблю я этих ожиданий! Что же касается до протекции, то она найдется. Верно, пан гетман не откажется замолвить за него словечко, он же так любит военных Миша, напиши к гетману!.. Тебе нужны чернила, перо, бумага, не правда ли? Сейчас же напиши! Я сейчас все принесу тебе – и свечи, и печать; ты же сядешь и сейчас же напишешь!

Пан Михаил засмеялся.

– Боже всемогущий! – воскликнул он. – Я просил у Тебя серьезную, положительную жену, а Ты дал мне вихрь!

– Говори так, говори, я возьму да и умру.

– Типун тебе на язык! – вскрикнул Володыевский. – Типун! Тьфу! Тьфу! В добрый час сказать, в худой промолчать!

Затем, обратясь к Заглобе, он спросил:

– Пан, не знаешь ли какого заговора против сглаза?

– Знаю, и я уже сказал его! – отвечал Заглоба.

– Пиши! – закричала Бася. – Я теряю терпение.

– Я рад бы двадцать писем написать, только бы угодить тебе, хотя и не знаю, что из этого выйдет. Тут и сам гетман ничего не сделает. А протекцию можно будет тогда пустить в ход, когда на то будет время. Бася, панна Нововойская посвятила тебя в тайны своего сердца, – хорошо! Но ты еще не говорила с Азыей и до сих пор не знаешь, пылает ли он такой же страстью к Еве?

– Еще бы не пылал! Вот прекрасно! Как не пылать, когда

он ее в амбаре целовал! Ага!

– Золотое сердце! – сказал, смеясь, Заглоба. – Словно новорожденный ребенок, сама святая невинность. Дорогая моя, если бы мы вздумали – я и Михаил – жениться на всех тех, которых нам приходилось целовать, тогда нам нужно было бы принять магометанскую веру, мне сделаться падишахом, а ему крымским ханом. Не так ли, Миша?

– Я Михаила в этом подозревала еще тогда, когда не была за ним! – проговорила Бася. И, закрыв глаза пальчиками, шутливо добавила: – Поведи усиками, поведи! Не запирайся! Я все, все знаю! И ты знаешь!.. У Кетлинга!

Действительно, на лице Володыевского выразилось смущение, и он, поводя усами, постарался переменить разговор.

– Итак, ты все-таки не знаешь, влюблен ли Азия в Нововейскую?

– Погодите, я переговорю с ним с глазу на глаз и все попытаю. Но он влюблен! Должен быть влюблен. Иначе я его и знать не хочу!

– Право, она готова вбить ему эту любовь в голову! – сказал Заглоба.

– И вобью, если бы для этого нужно было каждый день его уговаривать!

– Прежде расспроси его, – сказал маленький рыцарь. – Быть может, с первого-то разу он не признается, – дикарь! Но это ничего! Понемногу приобретешь его доверие, узнаешь его лучше, и тогда мы посмотрим, что нам делать.

Затем, обращаясь к Заглобе, он прибавил:

– Она кажется легкомысленной, но зато какая быстрая!

– Козы тоже быстры! – отвечал важно пан Заглоба.

В это время в комнату влетел, как бомба, пан Богуш; поцеловав руку Баси, он крикнул:

– Черт побери этого Азью! Я целую ночь не мог сомкнуть глаз, провал его возьми!

– Чем провинился перед вашей милостью Азия? – спросила Бася.

– Знаете ли, господа, что мы вчера делали?

Пан Богуш обвел общество таким взглядом, будто глаза его хотели выскочить.

– Что?

– Занимались историей! Ей-Богу, не лгу, – историей!

– Какой историей?

– Историей Речи Посполитой. Это просто великий человек. Сам пан Собеский удивится, когда я представлю ему Азиевы мысли. Великий человек, повторяю вам и сожалею, что не могу сказать более; я уверен, что вы удивитесь. Скажу только: если удастся все, что он задумал, то Бог знает, куда это все пойдет!

– Например? – сказал Заглоба. – Может, он сделается гетманом?

Пан Богуш, подбоченясь, воскликнул:

– Да! Сделается гетманом! Сожалею, что не могу открыть вам всего. Гетманом будет – и баста!

– Может быть, над собаками, или за волами будет ходить? Чабаны тоже имеют своих гетманов! Тьфу! И что ты там рассказываешь, пан подстолий? Что он – Тугай-бей, ладно! Но если уж ему быть гетманом, то чем же должен быть Михаила ваша милость? Нам остается только быть кандидатами трех царей, выжидая пока Каспар, Мельхиор и Балтазар подадут в отставку. Меня, по крайней мере, шляхта региментарием назначила, только я из приязни к пану Павлу¹⁶ уступил ему это звание; но я решительно не понимаю ваших предсказаний, господа.

– А я скажу вашей милости, что Азия человек действительно великий!

– Я же говорила, – сказала Бася, глядя на дверь, в которую в это время входили остальные гости.

Сначала появились пани Боска с дочерью и пан Нововойский с Евой, которая казалась еще красивее и соблазнительнее, чем обыкновенно, несмотря на то, что ночь она провела очень беспокойно. Ей все снился Азия, но гораздо прекраснее и ласковее, чем в былое время. При воспоминании об этом сне густой румянец покрывал ее щеки, и она боялась, что другие, взглянув на нее, догадаются о ее грезах.

Однако опасения ее были напрасны, так как все общество было занято рассказом пана Богуша, который не скупился на похвалы Азии. Бася была рада, что его слушал пан Нововойский, а также и Ева. Отец Евы уже перестал называть мо-

¹⁶ Речь идет о Павле Сапеге, воеводе виленском и великом гетмане литовском.

лодого татарина своим невольником и относился к нему спокойнее. Его чрезвычайно изумляло, что бывший его слуга оказался князем, сыном Тугай-бея. Он не верил ушам своим, слушая о необыкновенной отваге его и о доверии к нему гетмана. Все это Нововойскому казалось до того невероятным, что Азия вдруг вырос в его глазах неизмеримо высоко. А между тем, пан Богуш таинственно продолжал повторять:

– Это еще ничего в сравнении с тем, чего я не могу рассказать об этом человеке.

Если некоторые из общества, слушая его, недоверчиво покачивали головами, то пан Богуш говорил:

– Только и есть два великих человека в Речи Посполитой: пан Собеский и Тугай-бей!

– Побойтесь Бога! – воскликнул наконец выведенный из себя пан Нововойский. – Князь он или не князь, но чем же он может быть в Речи Посполитой, не будучи шляхтичем; ведь у него до сих пор нет грамоты.

– Пан гетман выхлопочет ему десять грамот! – заметила Володыевская.

С полузакрытыми глазами, вся взволнованная, Ева слушала эти похвалы Азье и, Бог знает, с таким ли чувством она отнеслась бы к нему, Азье, бедному и неизвестному, с каким относилась теперь к Азье – князю, великому воину с блестящей будущностью. Этот блеск ослепил ее, а воспоминания о прежних поцелуях и вчерашних грезах заставляли ее дрожать всем телом.

«Такой великий, такой знаменитый! – думала Ева. –
Что же удивительного, что он такой порывистый и огненный».

Глава X

В тот же день Бася стала допрашивать татарина, но на первый раз не стала очень настаивать на своем допросе, вспомнив, что муж говорил ей о дикости Азьи.

Но все-таки, встретясь с ним, она тотчас же заметила ему:

– Пан Богуш говорит, что вы знаменитый человек; но я думаю, что и знаменитейшие люди любви не бегают.

Молодой татарин потупился, склонив голову.

– Ваша милость, справедливо говорить изволите, – сказал он.

– Видишь, пан, – с сердцем не совладаешь: забьется, и баста!

При этих словах Бася тряхнула своей чупринкой и быстро заморгала, как бы давая понять, что любовь и ей знакома, да что и Азье она небезызвестна. Этот последний оглядел ее с ног до головы. И она ему показалась такой красавицей, какой он ее никогда не видал. Ее улыбающееся румяное личико с блестящими от любопытства прелестными глазками заставляло сильно биться его сердце. И чем вид ее был невиннее, тем более разгоралась в нем страсть к ней, и все сильнее и сильнее охватывало его одно жгучее желание: увезти ее от мужа, заключить навсегда в свои объятия, целовать без конца эти невинные, детские, чистые губки, чувствовать ее ласки, – а затем пусть все гибнет, хоть погибнет

и он вместе с ней!..

Эти мысли вихрем кружились в голове Азыи, вызывая из сердца его все новые и новые желания. Но Азыя был необыкновенный человек, он обладал железной силой воли и умел сдерживать себя, говоря: «Не время еще!»

По наружному виду молодого татарина невозможно было догадаться о той борьбе, которая происходила у него в сердце, когда он стоял перед Басей, такой холодной и сдержанной, хотя губы его и горели огнем, а глаза, устремленные на Басю, выражали то глубокое чувство, о котором ничего не могли сказать крепко стиснутые губы.

Но Бася, слишком наивная, чтобы догадаться о той страсти, какую внушила Азые, не думала, что ее слова могут быть поняты иначе; она придумывала, как бы ей дать понять татарину, что она хочет от него, и, подняв палец кверху, она сказала:

– Мало ли людей, которые носят в сердце своем скрытое чувство, не смея еще высказать, – между тем, если бы высказался откровенно, может быть, и узнал бы что-нибудь для себя хорошее.

На лицо Азыя набежала тень; в эту минуту безумная надежда охватила все существо его; но он быстро опомнился и, сдержав себя, проговорил:

– О чем вашей милости угодно говорить?

– Другая говорила бы с настойчивостью, так как женщины вообще нетерпеливы и опрометчивы, – отвечала Бася, –

но я не такова. Помочь всегда готова, но доверенности сразу не требую, только говорю пану так: не скрывайся же и приходи ко мне, хоть каждый день. Об этом уж я говорила с мужем, и мало-помалу ты, пан, освоишься и узнаешь все мои добрые намерения и увидишь, что я не из легкомысленного любопытства тебя расспрашиваю, а только из участия и для того, что, желая помочь, должна быть уверена в чувствах пана. Однако остальное пану следует первому высказать. Когда мне признаешься, тогда, может быть, и я скажу пану что-нибудь приятное.

При этих словах вся надежда, за минуту перед этим возникшая в его сердце, разлетелась прахом. Он понял, что Бася говорила о Еве, и в мстительной душе его сильнее закипела ненависть против всего рода Нововейских. Тем больше он чувствовал теперь эту ненависть в сердце своем, что оно, за минуту перед тем, переполнено было такой безумной радостью. Но он опять вовремя овладел собою. Он был очень проницателен, как вообще все восточные люди, и в одно мгновение понял, что не должен высказывать своих настоящих чувств к Нововейским, чтобы не лишиться благосклонности Баси и тем самым сохранить себе возможность ежедневно видеть ее. В нем поднялась страшная борьба с самим, собою: он не в силах был побороть себя и солгать в это мгновение ей, властительнице души его, поступив против своей совести. Измученный всей этой непосильной борьбой и страданиями, он вдруг в изнеможении упал к ногам Баси и начал

целовать их.

– В руки вашей милости отдаю я мою душу, в руки вашей милости отдаю мою судьбу! Я хочу поступать только так, как прикажете вы; я не хочу знать иной воли! Делайте со мной, что вам угодно! Я, несчастный, живу в муках и скорби! Сжальтесь же надо мной!

При этих словах из груди Азыи вырвался глухой стон; безнадежная любовь и погибшая надежда вызвали этот стон. Бася, слушая его, предполагала, что все слова его признания относятся к Еве. Ей чрезвычайно жаль стало этого молодого человека, и на глазах ее показались слезы.

– Встань, Азыя! – произнесла она, обращаясь к стоявшему на коленях татарину. – Я всегда желала пану добра и искренно готова помочь тебе. Ты, пан, приходишь из хорошего рода, а за твои заслуги тебе не откажут в шляхетском достоинстве; пана же Нововойского легко будет уговорить, потому что он иными глазами теперь смотрит на пана, а Ева-Тут Бася, встав на цыпочки и подняв свое свеженькое, румяное личико, прошептала Азые на ухо:

– Ева любит пана!

При этих словах лицо Азыи судорожно передернулось; он с бешенством схватил свой оседелец обеими руками и, не помня себя от гнева, выбежал из комнаты, повторяя хриплым голосом:

– Алла! Алла! Алла! – не думая о том, что это восклицание могло удивить Басю.

Но, впрочем, оно нисколько не удивило ее, так как она часто слышала подобные восклицания и от польских солдат но, видя сильное волнение липка, она произнесла про себя: «Настоящий огонь! Сходит по ней с ума!»

Как вихрь, помчалась она, чтобы передать обо всем мужу, пану Заглобе и Еве. Мужа Бася нашла в канцелярии. Вбежав к нему, она быстро заговорила:

– Знаешь, Михаил, я говорила с ним; он упал к моим ногам! Сходит по ней с ума.

Володыевский, который перед входом Баси занимался письмом, положил перо и стал с восхищением смотреть на оживленное лицо жены, глаза его заблестели, и он протянул руки, чтобы обнять Басю, которая, шутя, противилась этому и повторила еще раз:

– Азыя сходит с ума по Еве!

– Как я по тебе! – ответил Володыевский, обнимая ее еще крепче.

Пан Заглоба и Ева в тот же день узнали от Баси обо всех подробностях ее разговора с Азыей. Ева страшно волновалась при мысли о первой встрече с молодым татаринном, а еще более – думая, как она останется с ним наедине. Она ежеминутно целовала руки Басе, все более и более волнуясь и то и дело поглядывая на дверь, не войдет ли в нее красавец Азыя.

Но он в этот день не пришел к коменданту: у него сидел Галим, приехавший в Хрептиов уже открыто, так как все

знали о его посредничестве между Азией и татарскими ротмистрами. Этот Галим был мурзой у добручан и пользовался у них большим значением; он раньше этого он был слугою в доме отца Азии. По приезде Галима Азия заперся с ним в своей комнате. Галим, отдав известное число поклонов Тугаеву сыну, сложил на груди руки крестом, склонил голову и стал ждать, когда Азия обратится к нему с вопросом.

– Есть ли какие письма? – спросил наконец Азия.

– Нет никаких, эфенди. Мне велели сказать все на словах.

– Ну, говори!

– Война неминуема. Весной мы должны все идти под Адрианополь, туда велено болгарам свозить сено и ячмень.

– А хан где будет?

– Он прямо через Дикие Поля идет на Украину к Дорошу.

– Не слышал ни чего-нибудь о Кошах?

– Радуются войне и с нетерпением ожидают весны: хоть теперь еще только начало зимы, а в Кошах царит нужда.

– Разве большая нужда?

– Много лошадей пало. В Белграде многие себя сами закупают в неволю – только бы их кормили до весны. Много лошадей пало, эфенди, уж очень мало травы было весной в степях. Солнце выжгло.

– А о сыне Тугай-бея слышали?

– Сколько позволил ты говорить, столько и рассказывал. Разошлась весть от липков и черемисов; но никто хорошо правды не знает. Говорят также, будто Речь Посполи-

тая хочет дать им волю и земли и призвать на службу к Тугай-бею. При одной этой вести улусы победнее взволновались. Как жаждут они этого, эфенди, как жаждут; только другие убеждают их не верить вестям, говорят, что, дескать, в Речи Посполитой вышлют на них полки, а что Тугай-бей совсем не существует. Наши купцы были в Крыму, говорили, что и там одни говорят «Тугай-бей есть» и волнуются; другие говорят «Нету» – и стараются успокоить первых. Но если бы разнеслось, что ваша милость призывает к свободе и службе, давая земли, то муравейник живо зашевелился бы. Только бы я смел говорить.

На лице Азыи выразилось удовольствие; он зашагал по комнате.

– Будь здоров, Галим, – сказал он, – под моим кровом садись и ешь!

– Я пес и слуга твой, эфенди, – отвечал старый татарин.

По приказанию Азыи татарин-липек принес в его комнату водки, копченую говядину, хлеба, немного сладкого и несколько пригоршней арбузных и подсолнечных семечек. Это последнее лакомство считается самым любимым у татар.

– Ты мне друг, а не слуга, – сказал Азыя по выходе слуги. – Будь же здоров: ты принес мне хорошие вести. Садись и ешь!

До окончания еды Галим не произнес ни одного слова; но, впрочем, он скоро кончил с нею и не спускал глаз с Азыи, ожидая от него первого слова.

– Здесь уже знают, кто я такой, – сказал наконец Ту-

гай-бей.

– И что же, эфенди?

– И ничего. Еще с большим уважением относятся ко мне. Все равно пришлось бы сказать, когда бы дошло до дела. Я откладывал только, поджидая вестей из орд, и хотел, чтобы первым узнал гетман; но приехал Нововейский, и он меня узнал.

– Молодой? – спросил с испугом Галим.

– Старый, не молодой; Аллах мне их всех сюда прислал, и дочь здесь. Чтоб им легко не дышалось. Только бы сделаться гетманом, я поиграю ими. Девку за меня здесь сватают, ладно! В гареме и невольницы нужны.

– Старый сватает?

– Нет! Она! Она думает, что я люблю Еву.

– Эфенди! – сказал, кланяясь Галим. – Я раб твой и не имею права тебе противоречить; но я тебя узнал между липками; под Брацлавлем я сказал тебе, кто ты, и с того времени служу тебе верно. Я другим сказал, что на тебя должны они смотреть, как на господина; но хоть они тебя и любят, никто тебя так не любит, как я Позволь мне говорить.

– Говори!

– Остерегайся этого маленького рыцаря. Он ужасен; он известен и в Крыму, и на Добруче.

– А ты, Галим, слышал о Хмельницком?

– Слышал и служил у Тугай-бея, который с Хмельницким ходил на ляхов войной, разрушал замки и забирал добро.

– А ты знаешь, что Хмельницкий Чаплинскую у Чаплинского увез и детей имел от нее? Что же? Была война, и все войска гетманские, и королевские, и Речи Посполитой не вырвали ее у Хмельницкого. Он победил и гетмана, и короля, и Речь Посполитую, потому что мой отец ему помог, и кроме того, Хмельницкий был гетманом казацким. А я кем буду? – гетманом татарским; мне должны дать богатую землю и какой-нибудь город для столицы; кругом города будут стоять улусы, на богатой плодородной земле, а в этих улусах поселятся добрые татары с саблями – много луков и много сабель! А если я также увезу ее в этот город и сделаю своей женой и гетманшей, за кем будет тогда сила? За мной! Кто за нее заступится? Этот плюгавый рыцарь?.. Если только будет жив!.. Ну, да хоть и останется в живых и будет выть волком, самому королю челом будет бить, – неужели ты думаешь, что они только из-за русой головки объявят мне войну? Уж была раз такая война, и пол-Речи Посполитой сожгли огнем. Кто меня удержит? Гетман? Так я соединюсь с казаками, побратаюсь с Дорошем, а землю отдам султану. Я второй Хмельницкий, я больше Хмельницкого – во мне живет лев! Пусть позволят мне ее взять, так я буду им служить, буду бить казаков, буду бить хана и султана; а нет – то весь край ляхов истопчу копытами коней моих; гетманов в рог согну; войска разнесу; города пожгу; людей истреблю!.. Я Тугай-бея сын, я лев!

При последних словах в глазах Азьи показался красный

огонек, а белые клыки блеснули, как у Тугай-бея. Грозь поднятой кверху рукой в сторону севера, он казался в это мгновение таким могущественным, хотя и страшным, но вместе с тем и прекрасным, что Галим поторопился отбить ему поклоны, тихо приговаривая:

– Аллах керим! Аллах керим!

Затем воцарилось надолго молчание; Азия понемногу стал успокаиваться и потом проговорил:

– Богуш приехал сюда. Ему я открыл мое могущество и дал совет, чтобы на Украине, возле казачества, поселить народ татарский, а подле гетмана казацкого – гетмана татарского.

– Он согласился?

– Богуш чуть с ума не сошел от удивления и почти кланялся мне и на другой же день со счастливой новостью помчался к гетману.

– Эфенди, – сказал несмело Галим, – а если великий лев не согласится?

– Собеский?

– Да.

Глаза Азии опять загорелись красноватым огоньком, но через секунду лицо его приняло свое обыкновенное выражение, и, сев на скамейку, он впал в глубокую задумчивость.

– Я раздумывал, что может ответить великий гетман, – сказал он наконец, – когда Богуш известит его о моем предложении. Гетман умен и согласится. Гетман знает, что вес-

ной с султаном будет война, для которой здесь, в Речи Посполитой, нет ни денег, ни людей, и к тому же Дорошенко и казаки стоят за султана, и от всего этого может последовать полнейшее истребление всей Польши; тем более что ни король, ни советы не верят в возможность войны и потому не торопятся с приготовлениями. Я здесь держу ухо востро и все знаю, а Богуш от меня не скрывает, что говорится при гетманском дворе. Пан Собеский великий муж – он согласится, потому что знает, когда татары придут сюда и получат свободу и землю, то в Крыму и на Добруцких степях начнется междоусобная война; могущество орд ослабнет, а сам султан прежде всего будет заботиться об успокоении этого волнения. Гетман же будет иметь время подготовиться лучше. Казаки и Дорошенко поколеблются в своей верности султану. Это единственное спасение для Речи Посполитой, которая так слаба, что и возвращение нескольких тысяч липков теперь для нее ничего не значит. Гетман об этом знает; гетман умен, и гетман согласится.

– Преклоняюсь перед твоим разумом, эфенди, – ответил Галим, – но что будет, если Аллах затмит Великому Льву свет или сатана так ослепит его гордостью, что он отвергнет твои замыслы?

Азия близко наклонился к Галиму и прошептал ему на ухо:

– Ты теперь останься здесь, пока не придет ответ от гетмана; я же раньше в Рашков не двинусь. Если он откажет мне

принять мое предложение, тогда пошлю тебя к Крычинскому и другим. Ты им отдашь приказание, чтобы они по той стороне реки придвинулись к самому Хрептиову и были бы наготове, а я здесь с моими липками в первую же удобную ночь ударю на команду и сделаю вот что!..

Сказав это, Азия провел пальцем по горлу, приговаривая:

– В куски!.. В куски!.. В куски...

Голова Галима ушла в плечи, а зверское лицо его искривила зловещая улыбка.

– Алла! И малому соколу. Да?

– Да! Ему первому!

– И потом в султанские земли?

– Да!.. С ней!

Глава XI

В эту холодную зиму вся степь была занесена снегом, наполнившим овраги до краев; она представляла из себя одну сплошную белую пелену; вдруг начались страшные метели, которые губительны как для людей, так и для животных. Передвижение по дорогам становилось тяжелым и очень опасным. Но, несмотря на все эти невзгоды, пан Богуш употребил все силы, чтобы как можно скорее прибыть в Яворов, дабы рассказать гетману о планах Азии. Этот воин, выросший в боях с казаками и татарами, всегда опасался за отечество, которому грозили татары бунтом, набегами и своим могуществом; ему желательно было, чтобы замыслы Азии осуществились, так как в этом он видел некоторую гарантию для безопасности родины и всей душой верил, что уважаемый всеми гетман решится на все, лишь бы Речь Посполитая сделалась могущественнее. Вот почему пан Богуш и старался как можно скорее увидеть гетмана, не обращая внимания ни на вьюги, ни на заносы, ни на непроходимость дорог.

И вот однажды, в воскресенье, он приехал наконец в Яворов и, осведомившись о здоровье гетмана, просил сказать ему о его приезде, хотя Богушу уже сообщили, что гетман день и ночь занят, так что не может даже выбрать свободное время для обеда. Но, к удивлению всех, гетман тотчас же велел его позвать. И через минуту старый воин уже склонился

к коленям своего гетмана.

Пан Богуш сейчас же заметил перемену на лице Собеского, происшедшую вследствие забот это время было для Собеского весьма нелегким Хотя слава его аде не проникла во все христианские страны, но в Речи Посполитой он слыл уже за знаменитого полководца и сурового победителя татар. Этой славой он приобрел себе гетманство, и ему поручено было защищать турецкие границы, но, несмотря на свое гетманство, он не получал ни войск, ни денег для этой защиты. И таким образом, с горстью войск, он прошел вдоль и поперек всю Украину, побеждая силою своего оружия все вокруг себя; покорял города, с их взбунтовавшимися жителями, множество чамбулов было разбито им; всем этим он заставил повсюду чувствовать ужас при одном только польском имени.

Но в настоящее время Речи Посполитой угрожала война с самым опасным врагом – со всем мусульманским миром Гетман знал, что за подчинение Украины и казаков Турции султан обещал Дорошенке послать войска из Турции, Малой Азии, Аравии, Египта и даже внутренней Африки, провозгласить священную войну и затем сам обещался идти на Речь Посполитую и заставить ее дать новый «пашалык». На Руси был страшный голод а в Речи Посполитой готова была вспыхнуть междоусобная война, так как шляхта была недовольна выбором короля. Бедность в крае была страшная вследствие недавних войн и конфедераций; зависть и неува-

жение друг к другу достигли в нем огромных размеров. Никто не хотел верить, что война с мусульманами неминуема, и многие подозревали гетмана, что он сам распространил эти слухи, чтобы отвлечь поляков от своих домашних забот, а иные даже подозревали, что гетман сам желает позвать турок, чтобы в войне с ними достигнуть для себя новой славы; вообще, они его считали изменником и, вероятно, стали бы судить, если бы не войско.

Собеский же имел весьма малое количество войска во время недавней войны против десятка тысяч диких воинов; у него не было средств для обороны: крепости были разрушены, а чтобы поправить их – он не имел денег, ждать же какой-либо помощи было неоткуда; он даже не надеялся, что самая смерть его, как, например, смерть Жолкевского, смогла бы вывести из оцепенения Польшу и двинуть ее к мщению. На его чудном лице, походившем на лица римских вождей с лаврами на главах, лежала печать заботы, скрытых страданий и бессонных ночей.

Но все-таки, увидя Богуша, он ласково ему улыбнулся.

– Здравствуй, воин, здравствуй – сказал гетман, положив руки на плечи поклонившемуся ему до колен Богушу, – Не надеялся встретить тебя так скоро; но тем приятней мне видеть тебя в Яворове. Откуда едешь, из Каменца?

– Нет, ясновельможный пан гетман; я даже не останавливался в Каменце и еду прямо из Хрептиова.

– Что ж делает там мой маленький рыцарь? Здоров ли?

И очистил ли хоть немножко наши степи?

– Степи уже так спокойны, что дитя может ходить по ним без опасения. Разбойники перевешаны, а недавно Азба-бей с целой ватагой так уничтожен, что и очевидцев стычки никого не осталось. Я прибыл туда в тот самый день, когда Азба-бей был разбит.

– Узнаю Володыевского. Один только Рущич может состязаться с ним. А что слышно в степях? Нет ли свежих вестей с Дуная?

– Есть, но дурные. К Адрианополю к последним дням зимы собираются большие военные силы.

– Про это я уже знаю. Нет теперь других вестей, кроме дурных дурные – из самой страны, дурные из Крыма и из Стамбула.

– Во всяком случае, дурные, да не со всех сторон, ясно-вельможный пан гетман. Я и сам привез такую прекрасную весть, что будь я турок или татарин, то непременно напомнил бы о награде.

– Следовательно, ты мне с неба упал! Ну, ну, говори скорей, разгони сомнения!

– Но я так озяб, ясно-вельможный пан, что у меня даже разум окостенел в черепе!

Ударив в ладоши, гетман отдал приказание слуге подать меду, что минутой спустя и было исполнено, а вместе с тем принесли в комнату подсвечники с восковыми свечами, так как хотя было и рано, но из-за снеговых туч так стем-

нело, что в комнате почти ничего не было видно.

Налив из бутылки, покрытой мхом, гетман чокнулся с гостем. Тот с поклоном осушил кубок и сказал:

– Первая новость: тот Азия, который должен был возвратиться к нам бежавших в Турцию ротмистров, липков и черемисов; не называется Мелеховичем – он сын Тугай-бея!

– Тугай-бея? – спросил с удивлением пан Собеский.

– Да, ваша вельможность. Открылось, что его похитил в Крыму пан Ненашинец, но потерял его на пути, и Азия достался пану Нововейскому и у него вырос в неизвестности, что происходит от такого отца.

– То-то удивляло меня немало, что он, в столь молодых годах, всегда пользовался таким уважением у татар. Теперь я все понимаю: ведь и казаки, хоть и остались верны нашей общей матери, Хмельницкого чтут за святого и гордятся им.

– Святая истина! Я то же самое говорил Азие! – подтвердил пан Богуш.

– Дивны пути Господни, – сказал, несколько помолчав, гетман, – старый Тугай заливал потоками крови нашу отчизну, а молодой ей служит – по крайней мере, до сей поры верно служил; но теперь я еще не знаю, не пожелает ли он ответить крымского величия.

– Теперь! Теперь он еще вернее будет служить, – тут-то и начинается моя другая новость, в которой, быть может, Речь Посполитая найдет и помощь, и спасение. С помощью Бога, несмотря на усталость, я поспешил к ясновельможному

му пану, чтобы сообщить эту чудную новость и несколько успокоить его сердце.

– Я слушаю внимательно, – сказал Собеский.

Богущ, начав передавать планы Азыи, до того увлекся, что речь его порою блистала даже красноречием, а он, дрожа от волнения, все подливал да подливал меду в свой стакан, не замечая, что благородный напиток лился через край. Гетман с удивлением слушал его, и перед его воображением проносилось: переселение десятка тысяч татар с женами, детьми и стадами в землю, где им обещали свободу и разные привилегии; казаки же, видя все это и почуяв новую силу Речи Посполитой, преклонили перед ней, королем и гетманом голову; прекратились бунты на Украине; по степям уже не встречались ватаги бродяг, не оставлявших за собою камня на камне, а вместо них по этим необозримым равнинам, рядом с подольским и казацким войском, гарцевали чамбулы украинской шляхты татар.

Это переселение татар займет все лето. Арбы потянутся за арбами, наполненные людьми, ушедшими из-под ярма султана от голода на благодатные поля Украины. Прежние враги Речи Посполитой станут оказывать ей помощь. Крым превратится в пустыню. Ни хан, ни султан не будут уже в силах властвовать над народом так, как бывало; на них нападет ужас перед новым украинским гетманом новой татарской шляхты, перед молодым Тугай-беем, храбрым и верным защитником Речи Посполитой. Весь раскрасневшись от соб-

ственного красноречия, Богуш, подняв руки кверху, проговорил:

– Вот что привез я! Вот что произвело на свет это змеиное отродье. А теперь ему нужны письма и полномочие ясновельможного пана, чтобы мог он кликнуть клич в Крыму и над Дунаем! Ваша вельможность, если бы Тугай-бей и ничего не сделал кроме того, что заварил бы кашу в Крыму и на Дунае, которая посеет несогласия и раздоры, разбудит гидру междоусобной войны, восстановит одни улусы против других, то и тогда, накануне войны, повторяю я, это окажет великую услугу Речи Посполитой!

Лицо гетмана казалось грозным и мрачным. Он ходил по комнате крупными шагами и как бы мысленно разговаривал или сам с собою, или с Богушем.

Затем, по-видимому, сильно взволнованный, гетман подошел к Богушу и сказал:

– Богуш, такого письма и такого позволения, если бы я и имел на это право, не дам, пока я жив!

Богуш онемел от удивления и опустил голову. Долго он стоял безмолвно. Наконец обратился к гетману:

– Почему же, ясновельможный пан, почему?

– Прежде всего отвечу тебе, как станостик имя Тугай действительно могло бы привлечь много татар, в особенности если им пообещать землю, волю и привилегии шляхетства. Но их все-таки не пришло бы столько, сколько вы воображаете. Кроме того, безумно было бы призывать татар в Украи-

ну, поселять новый народ там, где и с казаками-то мы справиться не можем. Ты говоришь, что между ними и татарами тотчас возгорелись бы распри и войны, что мечи были бы постоянно готовы для казацких шей, а кто тебе может поручиться, что те же мечи не прольют польской крови?.. Я этого Азью до сих пор не знал; теперь вижу, что в его груди живет змей гордости и властолюбия, а потому я опять спрашиваю тебя: кто может поручиться, что в нем не сидит другой Хмельницкий? Он будет бить казаков; но когда Речь Посполитая чем-нибудь не удовлетворит его или за какой-нибудь проступок пригрозит наказанием, то он тотчас же соединится с казаками, новые орды, как расшевеленный муравейник, явятся на его призыв, как явился на призыв Хмельницкого Тугай-бей; он даже, пожалуй, поддастся султану, как поддался Дорошенко, и вместо увеличения могущества польется новая кровь, на нашу отчизну падут новые несчастья...

– Ясновельможный пан, татары, сделавшись шляхтой, останутся верны Речи Посполитой.

– А липков и черемисов разве мало было? Они с давних пор были шляхтой и все-таки перешли на сторону султана.

– Липков лишили привилегий.

– А что будет, если шляхта, в чем я не сомневаюсь, воспротивится такому распространению шляхетских прав? И на каком основании, в силу каких убеждений хочешь ты диким и коварным толпам, которые разоряли постоянно нашу землю, дать сипу и право распоряжаться судьбами Речи

Посполитой, избирать королей, посылать депутатов на сеймы? За что давать им такие награды? Что за безумие пришло этому липку в голову, и какой злой дух впутал тебя, старый солдат, что ты позволил вскружить голову себе и уверить себя в таком бесчестии и несообразности?

Опустив глаза в землю, Богуш неуверенно отвечал:

– Ясновельможный пан гетман, я знал и прежде, что сеймы этому воспротивятся! Но Азия говорит, что когда татары раз займут земли с дозволения пана гетмана, то выгнать себя уже не позволят.

– Бог с тобою, что ты говоришь? Он уже грозил, уже мечом потрясал над Речью Посполитой, а ты и не опомнился!

– Ясновельможный пан, – отвечал Богуш с отчаянием, – можно было бы не делать шляхтой всех татар, а только значительнейших, а остальных назвать вольными людьми. Они и так на воззвание Тугай-бея придут.

– Почему же, в таком случае, и всех казаков не назвать людьми вольными? Признайся, старый солдат, что тебя злой дух опутал, – уверяю тебя.

– Ясновельможный.

– И я еще скажу тебе, – тут пан Собеский сморщил свое львиное чело и засверкал глазами, – если бы все случилось так, как ты говоришь, если бы война с Турцией была предотвращена, если бы даже сама шляхта желала этого, – до тех пор, пока эта рука может владеть саблей и может сделать крестное знамение, клянусь – и да поможет мне Бог! – этого

я не допущу!

– Почему же, почему, пан гетман? – повторял Богуш, ломая руки.

– Потому, что я не только гетман польский, но и христианский; потому что стою на страже святого креста! И если бы казаки еще сильнее рвали внутренности Речи Посполитой, я затылков, хотя и ослепленного, но христианского люда, языческим мечом сечь не буду. Ибо, делая так, я посмеялся бы над прахом отцов и дедов наших над своими собственными дедами, над их прахом, кровью, слезами целой Речи Посполитой. Господи Боже мой! Если нас ожидает гибель, если имена наши находятся уже в списках умерших, не живущих, то пусть по крайней мере останется наша слава и воспоминание о той службе отечеству, которая предназначена была нам от Бога; пусть потомки, смотря на кресты и могилы наши, скажут. «Тут покоятся те, которые защищали христианство, святой крест против магометанского разврата и, насколько хватило дыхания в их груди и крови в жилах, обороняли их от других народов». Вот в чем служение наше, Богуш! Мы – крепость, в стены которой Христос замуровал Свои страсти, а ты меня уговариваешь, чтобы я, Божий воин, комендант, первым отворил ворота и впустил язычников, как волков в овчарню, отдавая им на растерзание овец Иисуса! Лучше нам терпеть от чамбулов, лучше идти на страшную войну, лучше лечь мне, лучше погибнуть всей Речи Посполитой, чем обесчестить имя, лишиться

славы и изменить служению, назначенному нам от Бога!..

Говоря эти последние слова, гетман выпрямил свой стан, а на лице его появилось сияние, подобное тому, какое, вероятно, освещало лицо Готфрида Бульонского, взошедшего на стены иерусалимские и воскликнувшего: «Так Богу угодно!»

Во время речи гетмана пан Богуш стал казаться самому себе чрезвычайно ничтожным, а Азия, в сравнении с гетманом, явился в его глазах просто прахом. Все увлекательные планы молодого Тугай-бея получили какую-то мрачную окраску, и ему казалось, что в душу Азии вселился сам дьявол.

После решительного отказа Собеского пан Богуш ничего больше не мог сказать ему.

Он не знал, как вести себя: просить ли у гетмана прощения, упав к его ногам, или повторять «*Mea culpa, mea maxima culpa!*»¹⁷ и бить себя в грудь.

В это время раздался благовест в доминиканском монастыре, и пан Собеский обратился к Богушу:

– Благовестят к вечерне! Богуш, пойдем помолимся Господу.

¹⁷ Виноват, во всем виноват! (лат.)

Глава XII

Обратный путь пан Богуш совершал очень медленно; он уже не спешил так, как ехал из Хрептиова, и то и дело останавливался то в одном городе, то в другом на неделю и на две, наконец, во Львове он прожил все праздники и встретил Новый год. Хотя гетман послал с ним свои приказания Тугай-бею, которому он повелевал как можно скорее покончить дела с липковскими ротмистрами и грозно приказывал оставить все свои безумные замыслы, но Богуш не считал нужным особенно спешить, чтобы исполнить эти поручения, так как Азия, не получив от гетмана грамот, не стал бы вести переговоров с татарами.

Пан Богуш нарочно замедлял свой путь; по дороге он останавливался у костелов, в которых каялся за свое участие с замыслах Азии. Между тем в Хрептиов после Нового года понаехало много гостей. Из Каменца прибыл делегат патриарха эчмиадзинского, навирач, и с ним два анардрата – теолога, бежавших из Каффы, при которых было много слуг. Они удивляли воинов Хрептиова своими фиолетовыми и красными ермолками и длинными бархатными и атласными шалями. Их смуглые лица и журавлиная походка также немало изумляли солдат. В Хрептиов приехал и пан Захарий Петрович, о котором все знали, что он побывал и в Крыму, и в Царьграде и что, не жалея ни сил, ни времени, ста-

рался всеми силами отыскивать пленных на всех восточных рынках. Он находился в качестве проводника при навираче и анадратах.

Маленький рыцарь отдал Петровичу сумму, следуемую за выкуп пана Боски, причем прибавил к ней часть своих денег, а также и жемчужные серьги Баси пожертвованы были для этой же цели, так как у пани Боска не хватило бы денег для выкупа мужа, а Володыевским хотелось поскорее порадовать ее и Софью.

Сюда же, в Хрептиов, приехали: претор каменецкий пан Сеферович; богатый армянин, брат которого был в плену у турок; затем две пани – очень смуглые, но красивые молодые женщины, пани Незеревичева и пани Керемовичева. Мужья этих молодых женщин также находились в неволе, и о них-то они приехали хлопотать.

Само собою разумеется, что гости эти были в печальном настроении. Однако в Хрептиове появились вдруг гости и более веселые: ксендз Каменецкий прислал молодую племянницу свою погостить на заговенье в Хрептиов, да кроме того неожиданно-негаданно сюда же явился сын Нововойского, проведавший, что отец его находится в Хрептиове.

Сын Нововойского вырос и возмужал. Верхняя губа его украсилась усами, хотя и не покрывавшими белых зубов, но все же очень красивыми и щегольски закрученными. Голова у него была большая, покрытая лесом густых волос, а плечи были ширины неимоверной. Смуглое лицо молодого

человека было всегда будто опалено зноем, глаза у него были полны жизни и отваги; удаль и молодечество были начертаны на его лбу. Размер рук соответствовал другим частям тела; он легко мог зажать в руке большое яблоко так, что его не было видно. Силой тоже Бог не обидел его: если он, положив на колени горсть орехов, придавливал их, то от орехов оставались одни крошки. Нижняя же часть туловища молодого Нововейского была очень худа, живот едва был заметен, но зато грудная клетка похожа была на часовню.

Силы он был необычайной: легко ломал подковы и завязывал железные прутья на шеях солдат; под его шагами трещали доски, если он шел по ним, а, зацепившись за лавку, он имел удовольствие видеть, как от нее при этом только щепки летели.

Одним словом, молодой Нововейский был силен, отважен, обладал железным здоровьем; жизнь кипела в нем ключом. Он непрочь был и покутить с приятелями. На войну шел, беззаботно смеясь; врагов бил так, что солдаты, осматривавшие убитых им врагов, удивлялись его ударам. Выросший на войне, в степях, Нововейский обладал большой проныцательностью и всегда догадывался обо всех уловках татар. Его считали за лучшего наездника после Рушича и Володыевского.

Отец принял молодого Нововейского не очень сурово, боясь, чтобы он опять не покинул его лет на десять. В душе самолюбивый пан был очень доволен успехами сына на слу-

жебном поприще, так как он вышел в люди, получил чин офицера, который только можно было получить, имея большую протекцию, и все это приобрел своими силами, не требуя от отца ни помощи, ни денег. Он знал также, что товарищи и гетман любили его сына, и, сообразив все это, пришел к убеждению, что сын его едва ли будет слушать его внушения, и отложил их до более удобного времени. А сын между тем, хотя и бросился к ногам отца, но не опустил глаз перед его взглядом и, как только отец начал свои укоры, тотчас же перебил его и сказал:

– Отец, я знаю – ты языком укоряешь, а в душе доволен мною, и справедливо: я не нанес тебе позора, а если в войско убежал, то на это я и шляхтич.

– Но, может быть, ты обасурманился, – возразил старик, – если в течение одиннадцати лет глаз не показал домой?

– Не показывался, потому что боялся кары, которая моему офицерскому чину и положению была бы противна. Ожидал письма с помилованием. Не было писем – и меня не было.

– А теперь уже не боишься?

Засмеявшись, сын отвечал:

– Здесь судит военная власть, перед которой даже родительская обязана уступить. Лучше обними меня, я вижу, как горячо ты этого желаешь.

И сын был готов броситься в объятия отца, но этому последнему как-то странно казалось обняться с этим взрослым мужчиной, офицером, так как в памяти его еще вста-

вал мальчуган, когда-то бежавший из его дома, из дома отца, а теперь покрытый славой. Он и рад был бы сжать его в своих объятиях, но достоинство его не позволяло этого.

Но сын, недолго думая, сам сжал его так в своих медвежьих лапах, что кости пана Нововойского затрещали, и сердце его еще более смягчилось.

– Что делать! – воскликнул он со вздохом. – Чует шельма, что живет на своем хлебе. Да! Если бы это было у меня в доме, верно, я так не смягчился бы; но здесь что будешь делать! А поди-ка еще ко мне!

И они еще раз обняли друг друга; затем молодой Нововойский осведомился о сестре.

– Я приказал ей сидеть в стороне, пока не позову, – отвечал отец, – девка сюда так и рвется.

– Ради Бога! Где ж она? – закричал сын.

Он отворил дверь и громко крикнул:

– Евка! Евка!

Ожидавшая в соседней комнате Ева поспешила прийти на зов брата; но только что она крикнула «Адам!», как тот схватил ее и поднял в воздух. Ева была очень рада приезду брата, так как он всегда любил ее и защищал от дурного обращения отца, который деспотически поступал со всеми домашними. Иногда брат брал вину Евы на себя, за что и получал от отца должное наказание вместо нее. Молодой человек стал целовать сестру куда попало и, смотря ей в лицо, восклицал:

– Славная девка! Ей-Богу, славная! Как выросла! Печь, а не девка!

Затем они начали рассказывать друг другу обо всем, случившемся с ними во время разлуки. Старый Нововойский находился тут же и что-то ворчал про себя. Хотя он относился к сыну с уважением, но жалел о потерянной власти над ним, так как в то время родители пользовались безграничным влиянием на детей. Но хотя сын его, наездник диких полей, не признавал уже больше этого влияния над собою, тем не менее пан Нововойский был убежден, что не потерял уважение его к себе, хотя и не мог заставить его выносить все то, что он выносил от отца, будучи подростком.

«Ба, – думал старый шляхтич, – но ведь и я не могу обходиться с ним как с подростком! Он поручик и пускает мне пыль в глаза, ей-Богу!» Но в конце концов он еще сильнее полюбил сына. Тем временем Ева успела уж замучить брата расспросами, на которые он не успевал отвечать. Между прочим Ева спросила, не думает ли он жениться, так как она слышала от пани Володыевской, что все воины очень влюбчивы. При этом Еза стала расхваливать Басю, говоря, что во всей Польше другой такой не найти, разве только Зося Боска еще может с ней сравниться.

– Что за Зося Боска? – спросил Адам.

– Та, которая гостит здесь со своею матерью. Ее отца орда взяла в плен. Вот увидишь и полюбишь!

– Давайте сюда Зося Боску! – кричал молодой офицер.

Эта поспешная готовность жениться рассмешила как отца, так и Еву; но Адам на это заметил им:

– Что и говорить: любовь, как и смерть, никого не минет. Я был еще мальчишкой, а пани Володыевская девицей, когда я влюбился в нее по уши. Эх, господа, как же я любил эту Басю! Ну и что же? Собирался было объясняться, но не тут-то было: коли не поп, не суйся в ризу. Оказалось, что она любила уж пана Володыевского, и, надобно признаться, была права.

– Почему это? – спросил старый пан Нововейский.

– Почему? Потому что я, не хвалясь, заставлю каждого сложить оружие, а Володыевский и двух минут не фехтовал со мной, как я должен был покориться. А потом наездник он несравненный, перед которым сам пан Рушич шапку ломает. Что там пан Рушич! Даже татары обожают его. Это величайший воин в Речи Посполитой!

– А как он жену свою любит! Ах ай! Даже сердце радуется смотреть на них, – сказала Ева.

– Ишь ты, какая у тебя оскомина! Да и пора, сестреночка, пора! – воскликнул Адам.

И, подбоченясь, он засмеялся и закивал головой наподобие лошади, а Ева, конфузясь, отвечала:

– У меня и в мыслях нет ничего такого!

– При том же здесь, слава Богу, нет недостатка в офицерах и хорошем обществе.

– Ну! – сказала Ева. – Я не знаю, говорил ли тебе отец,

что и Азыя здесь?

– Азыя Мелехович, липек? Я его знаю, славный вояка.

– Но ты не знаешь, – подхватил старый пан Нововейский, – что он не Мелехович, а тот наш Азыя, который с тобой воспитывался.

– Неужели, что я слышу? Посмотрите, пожалуйста! Порой мне это приходило в голову, но когда мне сказали, что его фамилия Мелехович, то я и подумал: нет, это не наш, а Азыя у татар имя очень обыкновенное. Столько лет не видал его, неудивительно, что не был уверен. Наш был тщедушный заморыш, а этот – красавец!

– Наш-то он наш, – говорил старый Нововейский, – а в конце концов и не наш. Знаешь ли, чей он сын?

– Откуда же я могу знать?

– Великого Тугай-бея!

При этих словах Адам хлопнул себя по коленям.

– Ушам своим не верю! Великого Тугай-бея? В таком случае он князь и ханам родственник! Во всем Крыму нет более благородной крови, чем Тугай-бея.

– Вражья кровь.

– Вражья была по отцу, но сын нам служит. Я сам его двадцать раз видел в боях. Ха! Теперь я понимаю, откуда берется в нем та дьявольская отвага. Пан Собеский хвалил его перед целым войском и произвел в сотники. От души рад буду повидаться с ним! Славный воин!

– Только не позволяй ему быть с собой запанибрата!

– А почему? Разве он слуга мой или наш слуга? Я воин – он воин; я офицер, и он офицер. Ба! Если бы это был какой-нибудь мелюзга пехотинец, который на палочке верхом ездит – дело другое; но если он Тугай, то значит, не какая-нибудь кровь течет в его жилах Князь – и баста, а о шляхетстве сам пан гетман для него похлопочет. Смешно было бы с моей стороны перед ним чваниться, когда я побратим Кулак-мирзы, побратим Бакши-аги, побратим Сукыману, а все они вместе не устыдились бы пасти овец у Тугай-бея!

При этих словах Еве захотелось снова расцеловать брата; затем, усевшись подле него, она начала ласкать его и гладить по его могучей голове.

Но в это время в комнату вошел Володыевский, и молодой офицер поспешил ему навстречу, приветствуя его и вместе с тем объясняя, что не явился раньше к коменданту, потому что приехал в Хрептиов не по службе, а как частный человек.

– Кто ж может поставить тебе в вину, – отвечал Володыевский, обнимая молодого человека, – что ты, после такой долгой разлуки, прежде всего обнял колена своего родителя. Если бы дело касалось службы, то это другое, – но я надеюсь, что от Рущича никаких не имеешь поручений?

– Кроме поклонов. Пан Рущич отправился в Ягорилков, – ему дали знать, что там было найдено на снегу много конских следов. Письма ваши, пан комендант, он получил и немедленно отправил в орду к своим родственникам и побратимам, чтобы они искали и расспрашивали; сам пан Рущич вам

не пишет, потому что, как он выражается, у него рука тяжела и не имеет в этом искусстве никакой опытности.

– Я знаю, что он этого не любит, – сказал Володыевский, – сабля у него – все!

И Володыевский, шевеля усами, хвастливо добавил:

– А все-таки за Азбой-беем гонялись более двух месяцев напрасно.

– Но ваша милость доконала его, как щука плотичку! – вставил слово пан Нововейский. – Господь отнял, видно, у него разум, что он от пана Рущича бежал сюда, к вашей милости. Нечего сказать, попал из огня да в полымя!

Слова эти были приятны пану Михаилу и, желая отплатить тем же, он сказал Нововейскому:

– Господь Бог не дал мне до сих пор сына, но если бы Он когда-нибудь услышал мою молитву, то я желал бы, чтобы он был таким же, как этот воин!

– Ничего особенного! Ничего особенного! – отвечал старый шляхтич. – Nequam¹⁸ – и баста.

А сам от радости даже засопел.

– Он для меня редкий гость!

Тем временем пан Михаил, трепля Еву по щечке, говорил ей:

– Видите, панна, я далеко не молодой человек, а потому и стараюсь доставить иногда Басе, которая почти одних лет с вами, удовольствие, сообразное с ее возрастом. Правда,

¹⁸ Беспутный (лат.)

что здесь все ее очень любят; но я надеюсь, что вы, вероятно, согласитесь, что она того достойна.

– Господи Боже мой! – воскликнула Ева. – Такой другой в целом свете не найти! Я только что об этом говорила!

От удовольствия лицо Володыевского засияло улыбкой.

– Вы в самом деле это говорили? Ага?..

– Ей-Богу, говорила! – воскликнули вместе отец и сын.

– Ну, в таком случае, оденьтесь-ка понарядней, потому что я тихонько от Баси выписал из Каменца музыкантов. Я приказал им спрятать инструменты в солому, а ей сказал, что приехали цыгане ковать своих лошадей. Нынче мы отлично потанцуем. О, она это любит, хотя и корчит из себя степенную матрону.

И пан комендант, видимо, очень довольный, потер руки.

Глава XIII

Вьюга была страшная, на дворе темно – хоть глаз выколи, а снегу падало так много, что все рвы в станице были наполнены им. Между тем в доме коменданта был бал. Главная комната этого дома горела огнями, и в ней гремел оркестр, состоявший из двух скрипок, контрабаса, двух чаканов и валторны. Музыканты изо всех сил старались угодить танцующим.

Не принимавшие участия в танцах – старшие офицеры и другие – уселись вдоль стен и, глядя на танцующих, попили кто вино, а кто мед. В первой паре Бася танцевала с Мушальским, который, несмотря на свои лета, известен был за искусного танцора. На Басе было белое парчовое платье, украшенное лебяжьим пухом. Она представляла собою свежую розу, воткнутую в снег. От старого до малого все удивлялись ее красоте. «Черт побери!» – невольно восклицали рыцари. Бася затмевала своей красотой и Еву, и Зосю, хотя обе они были тоже очень красивы и даже моложе Баси. С блестящими от радости глазами она подходила к мужу и дарила его улыбкой за доставленное ей удовольствие; блестя и сверкающая, как звезда, в своей серебряной одежде, она невольно заставляла всех любоваться собою.

Солдаты также смотрели на этот бал со двора в освещенные окна и радовались, видя, что их любимая пани была ца-

рицей между всеми красавицами, и как только Бася подходила к окну, они приветствовали ее радостными криками, забывая всех остальных.

Маленький рыцарь, видя успех жены, и сам словно вырастал; глядя на танцующую Басю, он кивал в такт ее движениям; пан Заглоба, с кружкой меда в руках, стоя подле пана Михаила, притоптывал и от восхищения даже сопел, проливая мед на пол и не замечая этого.

А Бася, вся сияющая и радостная, мелькала по избе. В этой пустыне было для нее так много удовольствий: и охота, и битва, и танцы, и оркестр, и воины, и первый и лучший из них – ее любимый и любящий муж. Бася чувствовала себя вполне счастливой, так как знала, что ее все любят и прославляют и что этим счастлив и ее муж.

Визави с Басей танцевали Ева с Азией. На Еве был надет кармазиновый кунтушек. Но кавалер Евы не занимал ее разговором, он весь был погружен в созерцание красоты Баси. Ева же приписывала его молчание робости и, желая ободрить его, стала пожимать его руку сначала слегка, а затем сильнее. Азия также время от времени сжимал до боли ее руки, но делал это бессознательно, так как все мысли его были поглощены Басей; он повторял в душе, что волей или неволей она должна принадлежать ему, хотя бы даже для этого пришлось сжечь половину Речи Посполитой.

В ту минуту, когда он возвращался к действительности, ему хотелось задушить Еву, отомстив ей этим за ее пожатие

и за то, что она стала ему преградой перед Басей. Порой он бросал на нее свой страшный, пронзительный взгляд, от чего сердце ее трепетало, как у пойманной птички: ей казалось, что наглый взгляд служит доказательством сильной любви к ней.

Адам Нововойский танцевал с Зосей Боска в третьей паре. Зося походила на незабудку, танцуя с опущенными глазами возле своего кавалера, похожего на дикого, разыгравшегося коня. Он так скакал, что только искры летели из-под его шпор, а волосы на голове будто вихрь поднимал. Лицо его сильно покраснелось, широкие ноздри вздрагивали, как у турецкой лошади, и, поглядывая время от времени на милое, розовое личико Зоси с опущенными глазами, этот расходившийся сверх меры воин кружил ее, как вихрь, крепко прижимая к груди и радостно, громко смеясь при этом. Адаму все больше и больше нравилась Зося, тем более что, живя в Диких Полях, он почти целыми месяцами не видел женщин.

Зося же дрожала от страха, танцуя со своим кавалером, хотя он и нравился ей. В Яворове она много видела кавалеров, но с такими огненными ей никогда не приходилось танцевать и никто из них не прижимал ее так к своей груди, как этот дракон. Но ведь она не могла ему противиться, что же ей было делать.

Остальные пары танцующих составляли панна Каминская, пани Керемовичева и пани Нересовичева. Эти послед-

ние, хотя и были мещанки, но за их светское обращение и богатство были приняты в общество. Навирач и два анадрата все с большим и большим удивлением следили за польскими танцами, глядя, с каким увлечением танцевали поляки. Тем временем разговоры между стариками за кубками меда становились все шумнее, хотя музыка так громко играла, что почти заглушала голоса.

Кончив танец и еле дыша, Бася подбежала к мужу и, сложив перед ним руки, сказала:

– Михалку! Солдатам так холодно за окнами, прикажи дать им бочку вина!

Володыевский чувствовал себя в прекрасном настроении и стал целовать лицо жены.

– Кровь свою готов отдать, чтоб тебя только потешить! – воскликнул он.

Затем он вышел во двор и сообщил солдатам, по чьей милости им выдано будет вино: комендант желал, чтобы его Басе были благодарны и любили ее.

В ответ на слова Володыевского солдаты так громко крикнули, что даже снег повалился с крыши.

– А пальните-ка из мушкетов на vivat пани!.. – крикнул солдатам пан Михаил.

Когда Володыевский вернулся в комнату, Бася танцевала с Азией. Этот последний, обвинив рукою стан молодой женщины и почувствовав на своем лице ее горячее дыхание, забыл все на свете и в этот момент готов был отказаться, за обла-

дание Басей, от рая и от всех гурий его.

Во время танцев Бася заметила Еву, и, обратясь к Азые, с любопытством спросила его:

– А что, пан, не объяснились еще в любви?

– Нет.

– Почему?

– Еще не время, – отвечал татарин с особенным выражением в глазах.

– А очень вы ее любите?

– Насмерть, насмерть! – воскликнул Тугай тихим, но несколько хриплым голосом, похожим на карканье вороны.

Теперь они танцевали за Нововойским, стоявшим с Зосей в первой паре и не сменившим ее ни разу на другую даму; он только ненадолго сажал ее на скамью для отдыха и затем продолжал танцевать с тем же увлечением.

Вдруг он остановился перед музыкантами и, обняв одной рукой свою даму, а другой подбоченясь, крикнул:

– Краковяк, музыканты! Ну!

И затем, под раздавшиеся звуки краковяка, Адам стал притопывать, гремя шпорами и громко припевая басом:

Струится чистый ручеек

И гинет он в Днестре.

Так и в тебе, моя дивчина,

Гинет мое сердце.

У-га!..

Последнее слово стиха – «у-га» – он крикнул так громко, по-казацки, что Зося от испуга присела; не менее ее испугались важный навирач и два ученые анардрата, но певец не обращал на них никакого внимания, продолжая танцевать. Протанцевав два раза кругом комнаты, он снова остановился перед музыкантами и продолжал петь:

Гинет да не сгинет,
Несмотря на быстрый Днестр.
Он с его глубины
Перстенок поднимет.
У-га!..

– Очень ловкие стихи! – заметил пан Заглоба. – Я знаток по этой части, немало сочинил их в своей молодости. Лови, кавалер, лови! А когда достанешь перстенок, я спою тебе такую песенку:

Каждая девка – губка;
Каждый хлоп – кремень.
Можно высечь искру:
Но высекайте поскорей!
У-га!

– Vivat! Vivat пан Заглоба! – закричали офицеры и все общество так громко, что снова перепугали и навирача и обоих

ученых, с изумлением глядевших друг на друга. Между тем молодой Нововейский, протанцевав еще два тура, посадил свою еле дышавшую и перепуганную даму, которой он все-таки очень нравился за ловкость и смелость, каких она еще в своей жизни никогда не встречала; и в смущении она низко опустила свои глазки и сидела очень смиренно.

– О чем вы задумались? – спросил пан Нововейский.

– Отец мой в неволе, – отвечала Зося тоненьким голоском.

– Это ничего, – возразил он, – все-таки потанцевать не мешает. Посмотрите на эту комнату: тут нас собралось несколько десятков воинов, и ни один, конечно, не умрет своею смертью: тот падет от стрелы татарина, другой умрет в неволе. Один, может, сегодня, другой – завтра! Каждый кого-нибудь из своих утратил в битве, но мы все-таки должны веселиться, чтоб Господь не подумал, что мы ропщем на нашу службу! Вот что!.. Потанцевать никогда не мешает! Улыбнитесь же, покажите мне глазки, а то я подумаю, что панна меня ненавидит!

Зося не взглянула на него, но стала едва заметно улыбаться, вследствие, чего у нее на щечках образовались ямочки.

– Любишь ли ты меня, панна, хоть немножко? – спросил снова кавалер.

– Конечно, – сказала тихо Зося.

Получив такой ответ, Адам подскочил на лавке, схватил руки Зоси и стал их целовать.

– Все пропало! – говорил он. – Что будешь делать! Я влю-

бился в панну насмерть! Никого мне не нужно, кроме панны. Мое дорогое счастье! Ура! Как я люблю панну! Завтра упаду к ногам вашей матери! Не завтра, нет! Сегодня же, – я хочу быть уверенным, что мне не откажут!

В это время раздались за окном выстрелы, и ответ Зоси был заглушён ими. Благодарные Басе солдаты палили в честь нее. Эти выстрелы потрясали и окна, и стены, и навирачу, а с ним и двум ученым пришлось испугаться в третий раз; но пан Заглоба постарался успокоить их, говоря по латыни: – *Poloni nunquam sine clamore et strepitu gaudent!*¹⁹

Гром выстрелов еще больше оживил общество. Порою уже между обыкновенной светской вежливостью стала проглядывать и степная дикость. Под гром музыки танцы возобновились еще с большим увлечением. Произносились громкие спичи, пили из башмачка Баси за ее здоровье, стреляли из пистолетов, избрав целью каблучки Евы. Старики, наглядевшись на молодежь, также пустились в пляс. До самого утра продолжался пир, сопровождаемый гулом, громом, пляской и пением; даже все дикие звери скрылись в глубь леса от такого гама.

И все веселье происходило чуть не накануне войны с турками, и немало удивляли воины своим беспечным весельем важного навирача и двоих ученых, так как над головами этих воинов нависла уже смерть.

¹⁹ Поляки всегда веселятся с шумом и криками! (лат.)

Глава XIV

Не мудрено, что на другой день все встали очень поздно, кроме сторожевых солдат да коменданта, не позволявшего себе никогда никакого уклонения от службы. Молодой Нововейский также поднялся рано: ему не давала спать дума о Зосе. Тщательно одевшись, он пошел в комнату, где вчера танцевали, и стал прислушиваться, не донесется ли до него какой-нибудь шум из комнат, занимаемых дамами.

И действительно, он услышал шорох в комнате пани Боска, но этого ему было мало. Ему хотелось как можно скорее увидеть Зосю, и он начал кинжалом выковыривать землю между балок, чтобы можно было взглянуть на милую хоть одним глазом.

В это время пан Заглоба пришел в эту же комнату с четками в руках. Догадавшись, о чем хлопочет молодой пан, он подкрался к нему на цыпочках и начал бить его по плечам сандаловыми четками.

Рыцарь отскочил от старика, уклоняясь от его ударов и стараясь смеяться непринужденно, но смущение его было все-таки очень заметно, Заглоба же бегал за ним, ударяя его четками и повторяя:

– Вот турок, вот татарин, вот тебе! Вот тебе!.. Где нравственность? За женщинами подглядывать?.. Вот тебе! Вот тебе!

– Дорогой пан! – восклицал Нововейский. – Не годится из святых четок делать плеть! Простите, дурного намерения я, право, не имел.

– Не годится, говоришь ты, бить святыми четками? Неправда!

– Если настоящие сандаловые, то должны пахнуть.

– Мне пахнет четками, тебе дивчиной. Мне хочется еще потрепать тебе плечи, потому что для изгнания злого духа из тела нет ничего лучше четок.

– Клянусь честью, у меня не было дурного намерения.

– Что ж, ты из набожности, верно, дырки в стене продалбливал, а?

– Не из набожности, но от любви, до такой степени необыкновенной, что удивляюсь, если она не разорвет меня как бомба. Я говорю правду! Слепни так сильно не докучают лошадям, как терзает меня эта любовь!

– Смотри, едва ли твое желание было безгрешно: пробилая дырки, ты стоял на этом месте, словно на горячих углях.

– Я, право, ничего не видал, беру Бога в свидетели. Я только колупал штукатурку.

– Ох, молодость!.. Кровь не вода! Мне тоже приходится подчас сдерживаться потому что доселе сидит во мне лев, *gui guerit guem devoret*²⁰! Если имеешь честные намерения, то думаешь, конечно, о женитьбе?

²⁰ который ищет, кого бы съесть (лат.)

– Думаю ли я о женитьбе? Всемогущий Боже! О чем же другом мне думать? Не только думаю, но меня будто кто шилом подзадоривает. Ваша милость, верно, не знает, что я вчера объяснился с пани Боска – от отца получил позволение.

– Парень из серы и пороха! Черт возьми! Если так, то дело другое. Расскажи же, как было?

– Пани Боска пошла вчера в кладовую принести платки для Зоси; я за ней. Она обернулась: «Кто там?» – я бух в ноги! «Бейте меня, матушка, а Зосю мне отдайте, отдайте мне мою любовь, мое счастье!» Пани Боска, успокоившись, сказала мне: «Все хвалят вас и считают за хорошего человека Муж мой в неволе, и Зося остается без всякой защиты на этом свете; но все-таки я не могу дать позволения ни сегодня, ни завтра, а несколько позднее; да и вам тоже прежде всего нужно получить родительское благословение». Сказавши это, она ушла, – верно, думала, что я все это говорю с пьяных глаз!.. Впрочем, правда, у меня шумело в голове!..

– Это ничего, – все были навеселе! Ты заметил, как у навирача и этих мудрецов под конец вечера съехали набекрень их остроконечные шапки?

– Я не заметил, потому что обдумывал, как бы полегче получить от отца разрешение.

– А трудно было?

– Утром оба мы отправились в свои комнаты, а так как надобно было ковать железо, пока оно горячо, я и подумал, что следует хоть издалека попробовать, как посмотрит на это

отец. Вот я ему и говорю: «Слушай, отец, я непременно хочу жениться на Зосе, и мне нужна твоя поддержка, а если ты не сделаешь этого для меня, так я уйду на службу к венецианцам – только вы тогда меня и видели». Как накинется он на меня, как закричит «Ох, такой-сякой! – говорит, – ты до сих пор фыркал, мог обойтись без меня. Иди к венецианцам или женись, я только предупреждаю тебя, что гроша тебе не дам не только из моего, но и из материнского, потому что все мое!»

При этом пан Заглоба выпятил нижнюю губу:

– О... нехорошо!

– Погоди, пан! Как я это услышал, то и говорю ему: «А разве я прошу денег? Мне нужно твое благословение и больше ничего; того татарского добра, которое пришлось на мою долю, хватит на покупку хорошего имения. Ба! Даже на хорошее селение хватит! А все, что материнское, пусть пойдет на приданое Еве, я еще прибавлю горсть-другую бирюзы, атласу и прекрасной парчи, а в черный день, может, и отцу помогу чистыми деньгами».

Это сильно заинтересовало отца:

– Так ты так богат, бесов сын? – спросил он. – Ради Бога! Откуда? Добычей, что ли? Ведь ты уехал от меня нагим, как турецкий святой!

– Побойся Бога, отец! – отвечал я. – Ведь одиннадцать лет рубил я этой рукой, и, как говорят, не хуже других, как же было не собрать мне! Был при штурмах взбунтовавшихся го-

родов, в которых татары и разбойники складывали кучами лучшую свою добычу; били мы разбойников и мурз, а добыча увеличивалась, не обижая других; но она все росла и росла, и если бы порой я не гулял, то хватило бы на два таких имения, как ваше.

– Что же на это старик? – спросил, повеселев, Заглоба.

– Отец изумился, потому что не ожидал этого, и сейчас же стал упрекать меня в расточительности. «Добро, был бы человек степенный, – говорит, – а то такой ветер, такой молокосос, только и знает, что транжирить, да за магната себя выдает, все переведет и ничего не удержит». Но любопытство превозмогло в нем неудовольствие; он стал выпытывать в подробностях, что у меня есть, а я, видя, что, смазывая его этой смолой, скоро доеду до цели, не только ничего не утаил, но еще прибавил немного, хотя обыкновенно я не люблю прикрашивать, потому что, по-моему, правда – овес, а неправда – сечка. Отец за голову схватился и ну себе строить планы. То да то бы купить, говорит тот да тот процесс начать; жили бы мы вместе, а в твое отсутствие я присматривал бы за твоим добром, – и при этом добрый батько заплакал. «Адам, – говорит, – эта девушка как будто создана для тебя! Она мне очень понравилась, к тому же она пока состоит под покровительством гетмана, а это тоже очень важно. Адам! – говорит, – только ты эту другую дочь мою уважай и береги, а то я тебе и в минуту смерти не прощу ее обид». А я, дорогой пан, при одном предположении о возможности

обидеть Зосю как зарыдаю! Упали мы с отцом друг другу в объятия и так проплакали до самых петухов!

– Шельма старик! – проворчал Заглоба и громко прибавил: – Ха! Вскоре может быть свадьба и новое веселье в Хрептиове, – тем более, что теперь мясоед!

– Я завтра сыграл бы ее, если бы это от меня зависело, – сказал порывисто Нововойский, – но отпуск мой скоро кончается, а служба службой, нужно возвращаться в Рашков. Пан Руич мне даст новый отпуск, я знаю! Но я не уверен, не будет ли препятствия со стороны женщин. Подойду к матери – говорит «Муж в неволе»; к дочери – та плачет «Отец в неволе». Что тут делать? Ведь я этого отца на привязи не держу? Боюсь я всех этих препятствий! Если бы не они – сейчас поймал бы ксендза Каминского за полы и не пустил бы до тех пор, пока нас с ней не обвенчает. Но уж если бабы вобьют себе что в голову, то ничем не выбьешь. Я бы отдал последнюю копейку, сам бы пошел за ее отцом; но нет возможности! Никто не знает, где он; может быть, уж умер, вот тебе и делай как знаешь! Если ждать его возвращения, то придется, пожалуй, до страшного суда!

– Петрович с навирачем и учеными завтра выезжают в дорогу; ответ получится скоро!

– Господи помилуй! Мне еще нужно ответа ждать? До весны, значит, и начинать нельзя, а я тем временем высохну, ей-ей!.. Вот что, дорогой пан, все верят в ваш ум и опытность: выбейте вы у баб эту дурь. Весной ведь будет война. Бог зна-

ет, что случится; ведь я же хочу жениться на Зосе, а не на ее отце; из-за чего должен я ждать?

– Уговори женщин, чтобы они ехали в Рашков и там поселились. Там легче и известие получить, а если Петрович найдет Боску, так и ему к вам будет легче добраться. Я сделаю все, что будет в моих силах; но ты попроси пани Басю, чтобы и она вставила словечко за тебя.

– Не откладывай, не откладывай, а то меня дьяв...

В эту минуту в комнату вошла пани Боска, и не успел пан Заглоба оглянуться, как уже Адам лежал у ног вошедшей, растянувшись на полу во всю длину своей огромной фигуры.

– Родительское позволение есть! Отдайте, матушка, Зося! Отдайте Зося!.. Отдайте Зося!.. – вопил Нововойский; на шум этот вышли из других комнат Бася и пан Михаил, вслед за которыми показалась и Зося. В силу обычая, ей не следовало догадываться о происходившем, но она все-таки покраснела и, опустив глаза и сложив руки, встала у стены. А Бася присоединила и свою просьбу к просьбе Адама, пан же Володыевский отправился в это время за отцом Нововойского.

Этому последнему было чрезвычайно неприятно, что сын сам просил руки Зоси у пани Воска и не предоставил этой обязанности ему, но все-таки со своей стороны стая просить пани Воска за сына.

Пани Воска, потерявшая самого близкого своего защитника, выслушав просьбу Адама, заплакала и дала ему свое

согласие. Между прочим она изъявила желание ехать в Рашков с Петровичем и ждать там возвращения мужа Со слезами на глазах она спросила дочь.

– Зося, по сердцу ли тебе предложение панов Нововенских?

Все присутствовавшие взглянули на девушку, сильно покрасневшую, которая через минуту еле слышно ответила:

– Хочу в Рашков.

– Радость моя! – крикнул пан Адам и, бросившись к ней, обнял ее.

Вслед за этим он так громко крикнул, что стены потряслись.

– Моя Зося, моя, моя!

Глава XV

После сделанного предложения Адам отправился в Рашков приискывать квартиру для пани Воска. После его отъезда, недели через две и все остальные гости уехали из Хрептиова. Петрович и депутаты патриарха эчмиадзинского рассчитывали заехать в Рашков, чтобы расспросить о дороге, а затем уже ехать в Крым. Другие же думали остаться в Рашкове до наступления теплых дней, ожидая возвращения пленников: пана Боски, младшего Сеферовича и еще двух купцов, которых давно уже ждали их печальные жены.

Путь был очень затруднителен, так как приходилось переезжать через глухие пустыни и большие яры.

Так как зима обильна была снегом, то, на счастье, санный путь был хорош и безопасен, так как в Могилеве, Ямполье и Рашкове стояли военные команды. Азба-бей уже не существовал, а разбойники или погибли на виселице, или бежали, татары также зимой не могли здесь встретиться за неимением корма для лошадей.

Кроме того, молодой Нововойский сказал, что если Рушич позволит, то он выедет сам им навстречу с порядочной свитой людей. Вследствие всего этого путешественники были в самом хорошем настроении. Зося не задумалась бы поехать за своим Адамом хоть на край света, а пани Боска и две армянские женщины, надеясь встретиться скоро с мужьями,

тоже не роптали на дорогу.

Хотя Рашков и находился в пустыне, где кончается христианский мир, но они знали, что едут туда не надолго. Говорили, что весной начнется война, но ведь, дождавшись мужей, можно было сейчас же отправиться домой и уклониться таким образом от опасностей войны.

Бася удержала Еву у себя на Хрептиове. Отец последней не противился этому, зная, что она остается в доме людей вполне благонадежных.

– Уж я ее отошлю самым безопасным образом или сама отвезу, – говорила Бася, – даже сама ее отвезу. Хоть раз в жизни хочу видеть эту страшную границу, о которой так много слышала в детстве. Весной, когда дороги покроются чамбулами, муж меня не пустит; но теперь, если Ева здесь останется, у меня будет прекрасный предлог. Недели через две начну настаивать, а через три наверно получу позволение.

– Да муж и зимой, надеюсь, не отпустит вас без надежного провожатого.

– Если будет возможно, то он со мной поедет, а если нет, то нас проводит Азия с двумя сотнями людей. Я слыхала, что его и так хотят командировать в Рашков.

Таким образом, дочь Нововойского осталась в Хрептиове. У Баси кроме тех причин, о которых она сказала Нововойскому, были и другие: она желала сблизить Азию с Евой, так как молодой татарин вводил ее в сомнение. На ее вопро-

сы он отвечал, что любит Еву по-прежнему, а при встречах с девушкой – молчал, тогда как эта последняя была от него без ума. Все содействовало ее любви к нему: и хрептиовское безлюдье, и дикая, но чудная красота Азьи, и воспомина-ние о прежней жестокости отца к нему, и то, что он сын князя, и его долголетняя таинственность, и, наконец, его слав-ные подвиги – все это заставило Еву полюбить Азью безгра-нично. Она со страстным нетерпением ожидала минуты от-крыть ему свое сердце, сказать: «Азья, я люблю тебя с дет-ства!» – и упасть в его объятия, клянясь любить до конца жизни. Но Азья молчал.

До отъезда отца и брата она думала, что Азья стесняет-ся их. Затем она начала сомневаться, предполагая, что отец и брат будут противиться ее желанию – тем более, что Азья еще не имел шляхетства, но она удивлялась, почему Азья перед ней не мог открыть свое сердце, что должен был бы сделать немедля, ввиду встретившихся препятствий.

Но он ничего не говорил.

Наконец надежда покинула Еву, и она стала говорить Басе о своей горе. Та, как могла, успокаивала ее:

– Я не отрицаю, что он человек странный, – говорила она, – странный и необыкновенно скрытный; но я уверена, что он тебя любит, потому, во-первых, что он мне об этом несколько раз повторил, а во-вторых, что он смотрит на тебя иначе, чем на других!

В ответ на это Ева печально качала головой.

– Иначе, это верно; но не знаю я: любовь или ненависть выражаются в этом взгляде:

– Милая Ева, уж этого ты не болтай: за что же ему тебя ненавидеть?

– А за что же меня ему любить?

Бася погладила ее по щечке.

– А за что Михаил любит? А за что твой брат только увидел Зосю, уже полюбил ее?

– Адам всегда был горяч.

– Азыя был всегда горд и боится отказа, особенно со стороны твоего отца. Брата он не боится, потому что брат, сам полюбив, легко понял бы мучения любви. Вот что! Не будь глупа, Ева, и не бойся. Я пожурю хорошенько Азыю, и ты увидишь, какие будут последствия.

В этот же день Басе пришлось встретиться с молодым татаринном, после чего она поспешила к Еве.

– Уже! – заговорила она в дверях.

– Что? – спрашивала, краснея, Ева.

– Я ему так сказала: «О чем ты думаешь, пан? Не хочешь ли ты отплатить мне неблагодарностью? Я нарочно удержала здесь Еву, чтобы ты мог воспользоваться удобным случаем, если же не воспользуешься теперь, то знай, что не далее как через три недели я отошлю Еву в Рашков или, скорее, сама ее туда отвезу – а пан останется здесь, в крепости». У него лицо сильно изменилось, когда он услышал о твоём отъезде в Рашков. Он упал даже к моим ногам.

Я спросила его, что он на это скажет. «В дороге, – говорит, – это всего удобнее; в дороге случится то, что нам назначено судьбой. Я тогда все скажу, все открою; потому что не могу дольше жить с такой мукой». У него даже губы задрожали, – вдобавок, он сутра был расстроен, получив какие-то письма из Кременца. Он сказал мне, что он и без того должен ехать в Рашков, что на это есть у моего мужа приказания от гетмана, хотя там и не назначен срок, так как время отъезда зависит от его переговоров с липковскими ротмистрами. «Это время, – говорит, – впрочем, приближается, и я должен ехать не только в Рашков, но даже и далее, тогда заодно я провожу вашу милость и панну Еву». Я возразила ему на это, что еще не известно, поеду ли я, потому что это будет зависеть от воли Михаила. Когда он услышал это, то очень испугался. Эх, глупенькая Ева! Ты говоришь, что он тебя не любит, а если бы та видела, как он меня просил, чтоб я ехала с вами; право, невольно слезы навертывались на глаза, глядя на него. А знаешь, чего он так испугался? Он мне сам сказал: «Я, – говорит, – признаюсь вам, что у меня на сердце, но все-таки без помощи вашей милости я ничего не достигну у панов Нововойских – только пробужу старый гнев и ненависть в их сердцах В руках ваших, – говорит, – моя судьба, мое страдание, мое спасение, поэтому если ваша милость не поедет, то пусть лучше поглотит меня земля или огонь спалит живьем!» Вот как он тебя любит. Просто страшно подумать! А если бы ты видела, на что он был похож, – ты ис-

пугалась бы!

– Нет, я его не боюсь! – ответила Ева.

И принялась горячо целовать руки Баси.

– Поезжай с нами! Поезжай с нами! – повторяла она с увлечением. – Поезжай с нами! Ты одна можешь спасти нас; ты одна не побоишься говорить с отцом; ты можешь все устроить. Поезжай с нами! Я брошусь к ногам пана Володыевского, чтоб он тебе дал позволение ехать с нами. Без тебя отец с Азыей с ножами пойдут друг на друга!.. Поезжай с нами!

И, говоря это, Ева бросилась к ногам Баси и со слезами стала обнимать их.

– Даст Бог, поеду, – отвечала Бася, – я все представлю Михаилу и буду его упрашивать. Теперь и одной ехать безопасно, а не только с такими провожатыми, как у нас. Может быть, Михаил и сам поедет, а если нет, то он все-таки согласится. Сначала раскричится, но потом успокоится, начнет ходить вокруг меня, смотреть мне в глаза – и согласится. Я желала бы, чтоб он мог сам ехать: мне тяжело будет без него; но что ж делать, и так поеду, чтобы вам как-нибудь помочь. Тут, конечно, дело идет не о моем желании, а о вашем счастье. Михаил тебя любит, и Азью любит – он согласится!

После свидания с Басей Азья словно ожил; радостный и с надеждой в сердце побежал он в свою комнату.

Перед этим самым свиданием он получил от пана Богуша

письмо, содержание которого наполнило отчаянием его душу. Пан Богуш писал ему следующее:

«Мой милый Азия! Я остановился в Каменце и в Хрептив теперь приехать не могу; во-первых, потому, что незачем и ехать. Я был в Яворе. Пан гетман не только не желает дать тебе письменного позволения и помочь твоим безумным замыслам своей властью, но грозно и под страхом потерять его благосклонность повелевает тебе оставить их. Я тоже пришел к тому убеждению, что все то, что ты говорил мне, не может иметь никакого значения, ибо грешно христианскому народу входить в такие сношения с язычниками и было бы позорно перед целым светом давать шляхетские привилегии злодеям, разбойникам и убийцам. Посуди сам и о гетманстве не мечтай: тебе до того далеко, хотя ты и сын Тугай-бея. А если хочешь заслужить прежнее расположение гетмана, то будь доволен теперешним твоим назначением и постарайся ускорить окончание переговоров с Крычинским, Творковским, Адуровичем и другими.

Записку гетмана, что ты должен делать, посылаю при этом письме, а пану Володыевскому – приказ гетмана, чтобы тебе дозволено было уезжать и приезжать вместе с твоим отрядом. Ты, конечно, должен будешь отправиться навстречу ротмистрам. Поторопись и скорей донеси мне в Каменец, что слышно по ту сторону Дуная. Затем поручаю тебя милости Божией, остаюсь с неизменным к тебе доброжелательством Марцин Богуш из Зембиц, подстолий новоградский».

Это письмо страшно взбесило Азыю. Первым долгом он изорвал его, затем, исколов кинжалом стол, имел поползновение убить себя и Галима, но тот на коленях умолял его не решаться ни на что, покуда гнев его не пройдет.

Этим письмом разрушены были все его властолюбивые мечты. Он надеялся стать третьим гетманом в Речи Посполитой и пользоваться безграничной властью над ней – а теперь должен довольствоваться тем, что имеет, и благодарить судьбу, если получит высшую почесть – грамоту на шляхетство. В его разгоряченном воображении представлялись толпы народа, бьющие ему челом, – а в настоящее время самому ему приходилось кланяться другим. Все мечты разлетелись прахом. Сыну Тугай-бея, в жилах которого текла кровь владетельных князей, человеку с великими замыслами в голове придется умереть в неизвестности, живя в какой-нибудь захолустной крепости. И все это наделало только одно слово «нет», вследствие чего он уже не может летать по поднебесью, как орел, а должен ползать червяком по земле.

Но, конечно, все эти муки не могли сравниться с тем отчаянием, какое он испытывал при мысли о том, что из-за несбывшихся замыслов он теряет Басю, которую он любил страстно, любил всем существом своим. Азыя-гетман мог бы увезти ее от мужа, и хотя бы вся Речь Посполитая восстала против него, он уберег Басю и не отдаст бы её, – но что же мог сделать Азыя – поручик липковский, над которым был командиром ее муж?.

Эти мысли заставляли молодого татарина желать смерти. Что за жизнь без любимой женщины? Без счастья! Без надежды! Он твердо был уверен в согласии гетмана – и тем сильнее поразил его этот удар. Ему оставалось отказаться от всех своих безумных замыслов – но это значило отказаться от жизни. Жить без славы, величия и счастья он не мог.

По прочтении письма гнев и отчаяние овладели им. Мозг его горел, как в огне, он скрежетал зубами и выл, как дикий зверь, запертый в клетке. Но, несмотря на это, в голове его роились мысли о мщении. Он хотел отмстить за свои муки всей Речи Посполитой, гетману, Володыевскому и даже самой жене его. Взбунтовав липков, он хотел погубить всех воинов Хрептиова, а самый Хрептиов уничтожить с лица земли, коменданта убить, а Басю увезти на молдавский берег, затем в Добруджу и далее, хоть в степи Азии. Но наконец он образумился, чему немало способствовал верный Галим. Азия потом и сам убедился в неосновательности своих планов. В нем, как и в Хмельницком, были свойства льва и змеи. Он знал, что Володыевский не даст себя поймать врасплох, если бы Азые и удалось взбунтовать липков, тем более что пан Михаил владел лучшими воинами и сам был первым среди них. Но если Азия и убил бы его, то все-таки ему трудно было бы спастись бегством, так как на всех дорогах могли встретиться ему польские войска. Так, если бы он направился вдоль реки к Ягорилкову – то мог бы наткнуться, на команды, которые находились в Могилеве, Ямполье и Раш-

кове. На молдавском же берегу могли его встретить друзья маленького рыцаря – бургулабы и самый близкий друг пана Михаила – паша хотинский. К Дорошу идти было также невозможно, потому что его окружили бы под Брацлавом польские войска, да и степь зимой охраняют разъезды.

Сообразив все это, Азия понял, что он не в силах отомстить, и страшный, бессильный гнев его сменился немым отчаянием, от которого он словно оцепенел.

В эту-то ужасную для него минуту он и получил от Баси приглашение явиться к ней.

Возвратившийся с этого свидания, Азия был неузнаваем. Он явился перед Галимом сияющий радостью, с блестящими глазами, и того оцепенения, в котором он находился перед этим свиданием, и следа не осталось. Он опять был полон жизни и дикой красоты, напоминавшей старого Тугая. Галим едва узнал его.

– Господин мой, – спросил Галим, – как потешил Господь твое сердце?

– Галим! – воскликнул Азия. – После темной ночи Бог посылает на землю день и повелевает солнцу всходить из-за моря. Галим, – и он схватил старого татарина за руку, – через месяц она будет моею навеки!

Смуглое лицо Азии озарено было каким-то особенным светом, делавшим его прекрасным. Галим с глубоким почтением и удивлением поглядел на него и начал отбивать поклоны.

– Сын Тугай-бея, ты велик, могуч, и ненависть неверных не одолеет тебя!

– Слушай! – сказал Азия.

– Слушаю, сын Тугай-бея.

– Я еду в синее море, где снег лежит на вершинах гор, и если возвращусь в эти края, то во главе чамбулов, многочисленных, как песок морской как листья в тех неизмеримых пустынях Я принесу им меч и огонь. Ты, Галим, сын Курдлуков, нынче же выезжай в путь. Найди Крычинского и скажи ему, чтоб подвигался со своей ватагой к Рашкову. А Адурович, Моравский Александрович, Гроговский, Творковский и те, которые остались в живых из липков и черемисов, пусть также подходят туда со своими партиями И пусть дадут знать чамбулам, которые стоят на зимовке у Дороша, чтобы в окрестностях Уманя они взбунтовались, с целью вызвать команды из Могилева, Ямполья и Рашкова, и пошли бы в далекую степь. Пусть на той дороге, которой я поеду, не будет войска. И когда я буду возвращаться из Рашкова, там останется только пепел.

– Боже помоги тебе, господин мой! – сказал Галим, начиная снова отбивать ему поклоны.

– Разошли гонцов, гонцов разошли – у меня только месяц времени. – повторил Азия несколько раз, наклоняясь над Галимом.

Затем, по приказанию Азии, Галим удалился, а молодой татарин, чувствуя себя вполне счастливым, начал благода-

рить Бога, но, стоя на молитве, он в то же время поглядывал во двор, который чернел от толпы липков, ведших к колодцам на водопой своих коней, напевая монотонные песни.

Потом Азия увидал, как из главного дома вышел пан комендант и, подойдя к липкам, начал с ними разговаривать. Липки стояли перед ним, вытянувшись и сняв с шапки, хотя это и не было в их обычае. Оставив молитву, Азия смотрел на все это и ворчал:

– Сокол-то ты сокол, но не долетишь туда, куда долечу я, а останешься один в Хрептиове в страдании и горе.

Окончив разговор с воинами, Володыевский ушел домой.

Глава XVI

Как и предполагала Бася, муж ее и слышать не хотел о ее отъезде, так как отпустить ее без себя не решался, а самому с ней ехать было невозможно. Но волей-неволей он должен был уступить просьбам, сыпавшимся на него со всех сторон.

Одна только Бася, к удивлению пана. Михаила, не особенно приставала к нему, но это было только потому, что вся прелесть предполагаемой поездки пропала для Баси, когда ей стало известно, что муж не может сопровождать ее. Ева же, стоя перед Володыевским на коленях и целуя его ручки, умоляла отпустить с нею Басю.

– Никто другой не отважится говорить с моим отцом, – говорила Ева, – ни я, ни Азыя, ни даже мой брат. Одна только пани Бася может это сделать, потому что он ей ни в чем не откажет.

– Положим, Басе еще рано записываться в свахи! – воскликнул пан Володыевский. – Кроме того, все-таки он должен возвратиться из Рашкова, тогда она это и сделает.

Раздались рыдания Евы. Конечно, кто же сжалится над бедной сиротой? Разве кто захочет помочь ей? Ждать их возвращения – но ведь в это время мало ли что может случиться, а она, конечно, умрет от страдания. Да это и лучше! Ведь все надежды ее разлетелись в прах!

Плач и причитания Евы разжалобили мягкое сердце пана

Михаила, но ему страшно было остаться без Баси не только на две недели, но даже на один день!

Однако же просьбы и слезы произвели свое действие, так как дня через два после этого Володыевский обратился к Басе со следующими словами:

– Если бы я мог вместе ехать, то было бы дело другое! Но этого нельзя, потому что меня удерживают здесь мои служебные дела.

Бася подбежала к мужу и, прижавшись личиком к его щеке, проговорила:

– Поезжай, Михалку, поезжай, поезжай!

– Ни под каким видом сделать этого не могу, – отвечал с твердостью Володыевский.

По прошествии двух дней пан Михаил стал просить совета У пана Заглобы, но тот отвечал ему следующее:

– Если у тебя нет других причин отказывать, исключая твоего чувства, – сказал старик, – то что ж я могу сказать тебе? Сам решай. Наша пустыня останется без гайдучка – вот все, что я знаю. Если бы не старость и не далекая трудная дорога, то я поехал бы с ними непременно, потому что без нее... как жить?

– А, вот видишь, пан! Настоящих причин нет немножко холодно – вот и все. Теперь везде спокойно; по дорогам стоят наши команды, – но как жить без нее?

– То-то же я и говорю тебе: сам решай.

Вследствие этого разговора решение его опять поколеба-

лось. Он от души жалел Еву и, по доброте сердца своего, считал невозможным отнестись к ней безучастно, не помочь девушке в ее горе, да и помощь была не особенно трудная, и к тому же отпустить Еву одну с Азией было и неловко, и неприлично. Вся неприятная сторона этого дела заключалась в том, что приходилось расстаться с Басей недели на две, на три. Но, с другой стороны, отпустив Басю, он этим доставлял ей удовольствие увидеть Могилев, Ямполь и Рашков. Почему ему не порадовать жену? К тому же она будет в полной безопасности под охраной Азии, которому так или иначе следует идти в Рашков со своим отрядом, да и к тому же зимой можно было не опасаться ничего и со стороны орды, а разбойники все были уничтожены.

Володыевский мало-помалу стал осваиваться с мыслью о поездке жены, тем более что женщины, подметив это, начали еще сильнее приставать к нему. Ева, как тень, бродила повсюду за ним со своим горем, а Бася, говоря о поездке, считала ее за свою обязанность. Азия также присоединил свои просьбы к просьбам женщин, говоря, что хотя и сознает вполне, что недостоин такой милости, но осмеливается обратиться с просьбой к пану коменданту только вследствие глубокой привязанности к Володыевским и благодарности за то, что они, не зная еще, что он Тугай-бей, никогда не унижали его и что во время его болезни пани Володыевская ухаживала за ним, как мать, за что он готов последние капли крови пролить за нее и, охраняя ее, в случае необходимости, готов

сложить за нее голову свою. Причем в доказательство всего этого он напомнил о стычке с Азбой-беем.

Далее он стал говорить о том, как страстно любит Еву в продолжение уже нескольких лет и что любовь эта умрет с ним. Он не может надеяться, что пан Нововойский без вмешательства «пани» когда-нибудь согласится выдать за него Еву, так как между ними стоит непримиримая ненависть и прежние отношения – слуги и господина. Если «пани» и не удастся уговорить Нововойского дать согласие на их брак, то во всяком случае ее присутствие спасет любимую им девушку от сурового обращения с ней отца, от тюрьмы и капчуга.

Разумеется, маленькому рыцарю не особенно приятно было, что Бася принимала в этом деле участие, но так как сам всегда готов был помочь людям, то ему нисколько не странным казалось это участие. Но все-таки Азые он ничего положительного не сказал, а видя постоянно плачущую Еву, он то и дело запирался в кабинете, чтобы на свободе поразмыслить об этом деле хорошенько.

Через несколько времени после этого Володыевский, придя как-то к ужину, спросил у Азыи:

– Азыя, а когда срок тебе выезжать отсюда?

– Через неделю, ваша милость! – отвечал с беспокойством татарин. – Галим, вероятно, уже окончил переговоры с Крычинским.

– Прикажи-ка отправить и обить большие сани – ты пове-

зешь двух дам в Рашков.

Услышав это, Бася, Ева и Азия не знали что делать от радости. Бася, хлопая в ладоши, обнимала и целовала мужа, Ева тоже бросилась благодарить его, а Азия, обезумев от счастья, упал к ногам пана Михаила, так что от всего этого комендант не знал куда и деться.

– Успокойтесь! – сказал он. – Что это такое! Если можно помочь людям, то как же и не помочь: ведь сердце – не камень; я все-таки не жестокий человек! Ты, Баська, смотри, возвращайся скорее, мое сердце, а ты, Азия, береги ее – этим вы меня всего лучше отблагодарите. Ну, ну! Будет!

Затем, покручивая усы и стараясь говорить веселым тоном, он прибавил:

– Что будешь делать с бабьими слезами? Как увижу эти слезы, то и пропал! Но ты, Азия, должен благодарить не только меня и мою жену, но эту девицу, которая ходила за мной, как тень, выставляя повсюду передо мной свое горе. Ты должен заплатить ей за это горячей любовью.

– Заплачу, заплачу! – вскричал Тугай-бей странным голосом и, схватив руки Евы, начал целовать их так порывисто, что можно было подумать, будто он хотел укусить их.

– Михаил! – воскликнул вдруг Заглоба, показывая ему на Басю. – Что будем делать без этого котенка?

– Будет тяжело, – отвечал маленький рыцарь, – ей-Богу, будет тяжело.

Потом прибавил тише:

– А может быть, за доброе дело Господь Бог благословит нас понимаешь, пан?

При этих словах Бася, как настоящий котенок, просунула между Заглобой и мужем свою головку и проговорила:

– Что вы тут говорите?

– И... ничего!.. – отвечал Заглоба. – Мы говорим, что весной, вероятно, прилетят аисты.

– Михалку! Я там долго не останусь, – говорила тихо Бася и терлась щекой о щеку мужа, как котенок.

Вслед за этим начали совещаться насчет путешествия, и приготавливали все, что нужно для дороги, под надзором самого пана Михаила. Сани для путешественниц были обиты лисьими шкурами, которые приобретены были осенью. Стараниями пана Заглобы не забыты были и теплые полости для прикрытия ног в дороге. Целый воз с постелями и съестными припасами должен был сопровождать путников, так же как и лошадь Баси, чтобы на опасных местах, выйдя из повозки, она могла бы переправиться верхом. Спуск, ведущий в Могилев, был очень опасен, чего в особенности и боялся Володыевский.

Хотя путь представлялся вполне безопасным от каких-либо нападений, тем не менее пан Михаил отдал строжайшее приказание молодому татарину, чтобы он сперва разведаль путь, по которому им приходится ехать, и только потом пускался бы в дорогу, а ночевать советовал только в тех местностях, где есть команды; выезжать же в дорогу чуть рассветет,

а останавливаться в сумерки и вообще не медлить в дороге. Володыевский так обо всем заботился, что даже сам зарядил пистолеты Баси.

Наконец настал день отъезда. Еще до рассвета в квартире коменданта было уже заметно движение, а на дворе крепости стояло наготове двести коней липков. У коменданта собрались: пан Заглоба, пан Мушальский, пан Ненашинец, пан Громько и пан Мотовидло; само собою разумеется, что здесь же присутствовал и маленький рыцарь, а также все офицеры, пришедшие проститься с Басей, которая вместе с Евой пила подогретое вино, то и дело подливаемое паном Заглобой. Угощая Басю и Еву, пан Заглоба говорил: «Еще выпейте на дорогу, потому что морозно».

Путницы были одеты в мужское платье, как всегда одевались женщины в дорогу. На Басе, сидевшей рядом с мужем, который держал ее в своих объятиях, была надета шубка на лосином меху, а сбоку болталась сабелька, голову прикрывала горностаевая шапочка с ушками. Из-под шубки виднелись широкие шальвары, похожие на юбку, и сапоги до колен, мягкие, надшитые опойком. Кроме этого для путешественниц были приготовлены большие шубы с капюшонами для защиты лица, которые сами по себе были уродливы, но, надетые на головки Евы и Баси, нисколько не уменьшали красоту их прелестных мордочек, так что все воины не могли отвести глаз от них и не знали, которой из женщин отдать преимущество, так они были чудно хороши.

– Тяжко жить человеку одинокому, – шептали они, стоя по углам комнаты, – счастливец наш комендант! Счастливец Азыя!.. Ух!

На очагах трещали, заливаясь ярким пламенем, смолистые еловые поленья, а в курятниках раздалось пение петухов.

Наконец восток заалел, и крыши строений окрасились розовым опенком.

В комнату доносились нетерпеливое ржанье коней и скрипевшие по снегу шаги солдат, собравшихся на дворе проститься с Басей и липками.

– Пора! – сказал наконец Володыевский.

При этих словах Бася бросилась в объятия мужа. Долго прощались они, целуя друг друга.

Затем, попрощавшись с мужем, Бася стала прощаться с Заглобой и другими офицерами, которые при этом целовали ей руку.

– Будьте здоровы, панове, будьте здоровы, – говорила им Бася на прощанье.

Ева и Бася надели делейки²¹, а поверх – еще шубы с башлыками; в них женщины почти совсем утонули. Потом, кончив одеванье, все пошли во двор.

На дворе было уже совсем светло. Одежда липков, а также их лошади казались белыми от покрывавшего их инея.

Все остающиеся в Хрептиове войска провожали отъез-

²¹ Верхняя одежда на меху с прорезями вместо рукавов.

жавших и кричали им пожелания счастливого пути.

Эти крики вспугнули стаю ворон и галок, которые с громким карканьем слетели с крыши и стали носиться в воздухе.

Пан Михаил нагнулся над санями, в которых сидели женщины, и стал еще раз прощаться с женою.

Нескоро окончилось это прощанье, но наконец он оторвался от жены и, перекрестив ее, сказал:

– Во имя Божие!

Азыя, радостный и оживленный, с сияющим лицом, поднялся на стремянах, махнув буздыханом²², отчего бурка его поднялась в виде крыльев орла или ястреба.

– Трогай-ай-ай! – крикнул Тугай-бей ужасным голосом.

И путники тронулись. Сначала выехали со двора один за другим четыре отряда липков, потом поехали сани, а за ними остальные ряды липков.

Володыевский, глядя им вслед, благословлял их, и когда сани уже выехали из ворот, он, сложив руки у рта, закричал:

– Будь здорова. Бася!

Но вместо ответа он услышал звон оружия, топот копыт да карканье воронов.

²² Род жезла, начальничья булава.

Часть третья

Глава I

Отряд черемисов, состоявший из нескольких лошадей, шел на милю впереди, с целью осмотра дороги и предупреждения начальников гарнизонов о приезде Володыевской, чтобы те позаботились о квартирах. За этим отрядом шла главная сила липкое, а за нею одни сани с Володыевской и Евой, а другие – с женской прислугой; обоз этот замыкался маленьким отрядом позади. Дорога была довольно тяжелая, вследствие снежных заносов. Сосновые леса, не теряя на зиму своей игольчатой одежды, менее пропускают снега, но чернолесье, тянувшееся вдоль днестровских берегов и состоявшее из дубняка и других лиственных деревьев, будучи обнаженным от естественной одежды, было засыпано снегом по пояс; снег позасыпал и все более или менее узкие и широкие овраги, по сторонам которых свешивались гигантские гребни готовые обрушиться и соединиться с общию массою снега. Во время переезда через такие овраги, на крутых косогорьях, липки поддерживали сани веревками. Только на высоких равнинах, на которых ветер разгладил снежную кору, можно было ехать довольно шибко, и то благодаря оставленным следам каравана, выехавшего вместе с навирачем и дву-

мя учеными анардратами из Хрептиова.

Словом, дорога была тяжелая, хоть и не такая, как бывает в лесных чащах, полных ручьев, ключей и расселин; но все, однако, лелеяли надежду, что прежде чем наступит темная ночь, они достигнут того глубокого яра, на дне которого расположен Могилев. К тому же все предвещало продолжительную погоду. После румяной зари встало ведренное солнце, и в лучах его все заблестело; ветви деревьев, окутанные снегом, искрились алмазами; снег блестел до боли глаз. С высоких мест через поляны взор стремился к Молдавии и терялся в бело-голубом горизонте, залитом солнцем.

Воздух был сухой, морозный. В этакую погоду как звери, так и люди чувствуют себя бодрыми; лошади поминутно фыркали, выбрасывая из ноздрей столбы пара, а липки, хоть у них и стыли ноги, так что они прятали их под брюхо лошадей, пели веселые песни.

Наконец солнце всползло на полуденную площадь небосклона и начало пригревать. Володыевской и Еве было очень тепло под кожами в санях, и они поразвязали платки и капоры на головах и повысунули головки; Володыевская любовалась окрестностями, а Ева следила за своим азиатом, которого не было при санях: он ехал в отряде черемисов впереди, осматривал дорогу и, в случае нужды, разгребал снег. Ева начала хмуриться по этому поводу, но Володыевская, знавшая военную службу, принялась утешать ее:

– Все они такие, – сказала она. – Если служить – так слу-

жить! Мой Миша тоже не смотрит на меня во время исполнения своих обязанностей. Да и нельзя иначе, и уж если любить, то любить хорошего солдата.

– Но на поласкан будет с нами? – спросила Ева.

– Даже надоест тебе. Ты заметила, какой он был довольный перед отъездом?.. Весь сиял.

– Да, это я видела!

– А что еще будет, когда он получит позволение от Нововейского!

– О, что еще ожидает меня! Но да будет воля Божия!.. Однако мое сердце замирает, когда я подумаю об отце. Вдруг он закричит и откажет?.. Скверно будет, когда вернусь домой. Этим я буду совсем уничтожена.

– Знаешь, что я думаю? – спросила Володыевская.

– А что?

– Ведь с азиатом нельзя шутить!.. Твой брат еще мог бы тягаться с ним, но у твоего отца нет команды. И я думаю, что если твой отец заупрямится, то азиат возьмет тебя и так.

– Каким образом?

– Просто похитит. Да, с ним нельзя шутить. Ведь в его жилах течет Тугай-беевская кровь. Повенчаются где-нибудь на дороге, у первого встречного попа. В других местах нужны были бы метрики, позволение, оглашение, а здесь дикая страна, и все делается как бы по-татарски.

Лицо Евы просияло.

– Да, этого я боюсь, – сказала она. – Азия на все готов,

и этого я боюсь.

– Как кошка мышку! – воскликнула Володыевская, посмотрев на нее и раздражаясь звучным смехом. – Они знают тебя!

Румяная от мороза Ева еще больше покраснела и отвечала:

– Я только боюсь проклятия отца, но азиат ни на что не обратит внимания.

– Успокойся, – сказала Володыевская. – Кроме меня, у тебя еще есть брат, который поможет. Истинная любовь всегда поставит на своем. Это мне сказал пан Заглоба, когда Володыевскому даже не снилось, что я буду его женою.

Разговорившись, женщины без умолку болтали, каждая о своем. Так прошло около двух часов, пока караван остановился на первую короткую попаску в местечке Ярышове. Из маленького местечка после крестьянского нашествия осталась только одна корчма, которую ремонтировали, так как частые переходы войск обещали значительный доход. В этой корчме дамы застали проезжего купца армянина, родом из Могилева, ехавшего с сафьяном в Каменец.

Азиат хотел выгнать его из корчмы вместе с валахами и татарами, сопровождавшими его, но женщины позволили ему остаться, и только стража должна была очистить место. Купец, узнав, что это ехала Володыевская, начал кланяться ей и хвалить ее мужа; молодая женщина с удовольствием слушала его.

Наконец он пошел к выюкам и, вернувшись назад, подарил ей ящичек бакалеи и ящичек грудной турецкой травы, очень полезной против различных болезней.

– Примите это от меня благодарность, – сказал он. – Мы здесь из Могилева не смели даже выглянуть, потому что Азба-бей со своими разбойниками заполонил все овраги и даже сидел по ту сторону города; ну, а теперь дорога свободна, торговля безопасна, и мы едем. Пошли Господи многие лета хрептиовскому начальнику; дай Боже, чтобы каждый день в его жизни был так долог, как путь между Могилевом и Каменцем, и каждый час каждого дня пусть будет так продолжителен, как целый день. Наш комендант, пан полковой писарь, предпочитает сидеть в Варшаве, между тем как хрептиовский начальник бодрствовал и лично прогнал разбойников, так что им теперь милее смерть, чем воды Днестра.

– Значит, пана Ржевуского нет в Могилеве? – спросила Володыевская.

– Он только привел войска, а сам пробыл не более трех дней. Сударыня, в этом ящике есть сухой виноград, какого не найдете и в Турции; он прислан из далекой Азии, где растет на высоких пальмах. Пана писаря нет, да и конницы теперь совсем нет, потому что вчера вдруг ушли в Брацлав. Здесь же есть и финики, кушайте на доброе здоровье. Остался только один пан Горженский с пехотой, а конница вся ушла.

– Странно, что конница ушла, – сказала Володыевская, смотря вопросительно на Азью.

– Ушли, чтобы кони не застоялись, – отвечал Тугай-бей. – Теперь спокойно.

– В городе говорили, – сказал купец, – что Дорош неожиданно двинулся.

Азья рассмеялся.

– Чем же он будет лошадей кормить?.. Разве снегом? – сказал он, обращаясь к Володыевской.

– Горженский лучше объяснит вам это, – отвечал купец.

– Да я думаю, что это ничего не значит, – сказала, подумав, Володыевская, – и если б что-нибудь случилось, то мой муж первый бы узнал об этом.

– Разумеется, сейчас бы дали знать в Хрептиов, – заметил Азья, – но вы, сударыня, не бойтесь.

Володыевская взглянула на татарина и раздула ноздри.

– Вот это мило! Я стану бояться; с чего вы это взяли? Слышишь. Ева, я стану бояться!

Но Ева не могла отвечать; будучи от природы лакомкой и любя чрезвычайно сладости, она набила полный рот финиками; это, однако, нисколько не мешало ей смотреть на Азью; наконец, прожевав, она отозвалась:

– При таком офицере и я ничего не боюсь.

При этом она значительно взглянула на Тугай-бея, но он с минуты, когда она начала служить ему препятствием, питал к ней отвращение и даже сердился, ввиду чего он про-

должил стоять неподвижно и, опустив глаза, ответил;

– В Рашкове увидим, заслужил-ли я это доверие.

Его голос звучал чем-то грозным; но обе женщины до того привыкли к этому, что не обратили внимания, потому что молодой липок никогда не делал того, что говорилось. К тому же он начал торопить их с отъездом, так как перед Могилевом были крутые горы, которые следовало проехать за-светло.

Скоро они поехали дальше и ехали очень быстро до самых гор. Там Володыевская хотела пересесть на лошадь, но Тугай-бей уговорил ее остаться с Евой в саниах, к которым привязали веревки и осторожно спустили с гор. Азия все время шел пешком подле саней, но он не разговаривал с женщинами, так как был всецело занят мыслями об их безопасности и вообще командой. Солнце, однако, зашло раньше, чем они проехали горы; начинало темнеть, и передовой отряд черемисов, чтоб осветить путь, зажигал костры из сухих сучьев. Таким образом они подвигались вперед среди огней и стоявшего около них полудикого народа, за которым виднелись во мраке ночи грозные обрывы. Все это было ново, любопытно и имело вид какой-то опасной и таинственной экспедиции, вследствие чего душа Володыевской, как говорится, была на седьмом небе; она была благодарна и мужу, который ей позволил ехать в неизвестную страну, и азиату, руководившему этой экспедицией.

Теперь она поняла, что значат солдатские походы. Поняла

их трудности, о которых наслушалась от старых солдат.

Ею овладело бешеное веселье, и она Наверное пересела бы на лошадь, если бы не сидела подле Евы, которую можно было пугать. Когда отряд идущий впереди, скрывался за крутыми извилинами и начинал перекликаться, так что среди гор раздавалось эхо, Володыевская обращалась к Еве и, хватая ее за руку, говорила:

– Слышишь, это львы или орда!

Но Ева, при мысли о сыне Тугай-бея, моментально успокаивалась.

– Орда боится Азьи и любит его, – отвечала она. и затем, приблизясь к уху Володыевской, прибавила: – хоть в Белгород, хоть в Крым, только бы с ним.

Луна уже высоко всплыла на небо, когда они выехали из гор, у подножья которых они заметили, как в пропасти, массу огоньков.

– Могилев под ногами! – крикнул кто-то позади женщин.

Они оглянулись: это был Азия.

– Разве Могилев расположен в этой пропасти? – спросила Володыевская.

– Да, – отвечая Азия, всунув свою голову между ними. – Горы защищают его от снежных заносов. Заметьте, что здесь и воздух другой: здесь теплее и тише. Здесь и весна приходит десятью днями ранее, чем с другой стороны горы, здесь и деревья скорее получают свою зелень. Эти серые стены, которые видны на склоне гор, – виноград, но он еще находится

под снегом.

Хотя снег лежал всюду, но здесь действительно было теплее и тише. По мере того, как они спускались потихоньку с гор, число огоньков начало увеличиваться.

– Прекрасный город и, кажется, большой, – сказала Ева.

– Его не сожгли татары во время самозащиты крестьян, потому что здесь зимовали казаки, а ляхи почти никогда не приходили.

– Кто же здесь живет?

– Татары: они здесь имеют свой деревянный минарет, ведь в Речи Посполитой существует веротерпимость, так что каждый может свободно исповедовать свою веру. Кроме них, здесь живут армяне, валахи и греки.

– Греков я однажды видела в Каменце, – сказала Володыевская, – хотя они далеко живут, но, как купцы, приезжают в разные города.

– И город совсем иначе построен, чем другие, – сказал Азыя, – сюда съезжается разный народ преимущественно торговый. Тот поселок, который мы видели по дороге далеко в стороне, называется Сербией.

– Уже выезжаем! – воскликнула Володыевская.

Действительно, они выезжали. Ужасный запах кож и кислоты неприятно подействовал на их обоняние. Это был запах сафьяна, который вырабатывали почти все жители Могилева, в особенности армяне. Город этот, как и сказал Азыя, чрезвычайно отличался от других городов. Все дома были

построены в азиатском вкусе, с окнами, защищенными деревянными решетками; многие дома были совсем без окон на улицу, так что только со двора проникал в них свет. Улицы совсем были не мощены, хотя повсюду была масса камней. Кое-где возвышались какие-то странные здания с прозрачными решетчатыми стенами. Это были сараи для сушки винограда. Но запах сафьяна наполнял весь город.

Пан Горженский, начальник пехоты, предупрежденный передовым отрядом черемисов о приезде Володыевской, выехал ей навстречу. Это был уже не молодой человек, который заикался и шепелявил, так как лицо его было прострелено янычаркой. Когда он начал говорить о звезде, взошедшей на могилевский небосклон, Володыевская чуть не фыркнула от смеха. Но он встретил ее с большим радушием. В крепостце ожидал ее пышный ужин и роскошная постель на пуховиках, взятых напрокат у богатых армян. Хотя Горженский ужасно заикался, но за ужином он рассказывал такие интересные вещи, что стоило его послушать. По его словам, вдруг какой-то неожиданный и беспокойный ветер повеял из степей. Ходили слухи, что могущественный полк крымской орды, состоявший при Дороше, внезапно двинулся к Гайсину и в горы; из этого города, вместе с полком, пошло несколько тысяч казаков. Кроме того, ходила масса разных беспокойных слухов, которым Горженский не придавал никакого значения.

– Зима, – говорил он, – а с тех пор, как Господь создал

небо и землю, татары двигались всегда весной, потому что у них нет таборов и они никогда не берут с собою фуража для лошадей, да и не могут брать. Все мы знаем, что войну с турками удерживает мороз, и только по появлении первой травы мы увидим у себя этих гостей; но чтоб зимой случилось что-нибудь особенное, этому я никогда не поверю.

Володыевская терпеливо ждала, пока он выскажет свою мысль; между тем он так заикался, словно пережевывал слова во рту.

– Ну, а что вы думаете относительно движения орды к Гайсину? – спросила она.

– Я думаю, что там, где она стояла, лошади всю траву поели под снегом, и поэтому они переехали на другое место. Может быть, эта орда, стоя вблизи дорошевцев, часто ссорилась с ними: ведь это всегда так бывало. Хотя они считаются союзниками и вместе воюют, а как чего коснется, то сейчас передерутся.

– Да, это верно! – сказал Азия.

– Кроме того, эти известия шли не от загонщиков, продолжал Горженский, – их привозили крестьяне, а здешние татары только распространяли их. Только три дня тому назад пан Якубович привез из степи языков, которые подтвердили известия, и поэтому конница тотчас ушла.

– Значит, вы остались только с пехотой? – спросил Азия.

– Да Бог с тобой!.. Какая пехота: всего сорок человек гарнизона, которые едва могут уберечь эту крепостцу, и если бы

местные татары двинулись на нас, то я не знаю, как от них защититься.

– Но ведь эти, я полагаю, не двинутся на вас, – заметила Володыевская.

– Не двинутся, потому что нельзя. Многие из них живут в Речи Посполитой со своими семьями с давних времен и считаются нашими; что касается пришлых, тот только и сядет здесь ради торговли, но отнюдь не ради военных действий. Это хороший народ.

– На всякий случай я оставлю вам пятьдесят человек из конницы липков, – сказал Азыя.

– Очень благодарен, – отвечал Горженский, – этим вы мне сделаете большое одолжение: по крайней мере, у меня будет кого посылать к нашей коннице за известиями. Но можете ли вы оставить их?

– Могу. Вскоре в Рашков придут отряды тех ротмистров, которые когда-то перешли к султану, а теперь обещают свое послушание Речи Посполитой. Придет Крычинский с тремя сотнями лошадей, а может быть, и Адурович; другие подойдут позже. Над всеми ними, по поручению гетмана, я приму начальство. К весне соберутся все.

Горженский поклонился. Он давно знал Азыю, но не ценил его, как человека неизвестного происхождения. Теперь он знал, что это сын Тугай-бея; известие это принес ему первый караван, в котором ехал навирач; теперь Горженский почитал в молодом липке благородную кровь великого воина,

хоть и неприязненного ему; кроме того, он видел в нем офицера, которому гетман доверил известный пост.

Азыя вышел из комнаты, чтобы сделать нужные распоряжения, и позвал к себе сотника Давида.

– Послушай, сын Скандера, – сказал он, – ты останешься с пятьюдесятью лошадьми в Могилеве и будешь смотреть и слушать, что будет делаться вокруг тебя. Если Сокол пришлет из Хрептиова какие-нибудь письма ко мне, то удержи посла, возьми письма и перешли их мне со своим человеком. Останешься здесь, пока я не пришлю распоряжение вернуться; тогда, если посол скажет, что ночь, то выйдешь потихоньку, а если скажет, что день близко, то подожжешь город, а сам перейдешь на молдавский берег и пойдешь туда, куда прикажут. Понимаешь?

– Понимаю, – отвечал сотник, – вы сказали смотреть и слушать, что вокруг меня будет происходить, посла от Сокола задержать и, взяв от него письма, переслать вам со своим человеком, остаться здесь, пока не получу приказание уйти, и тогда, если посол скажет «ночь», тихо уйти, а если скажет «день близко» – поджечь город, перейти на молдавский берег и идти, куда прикажут.

– Верно.

На следующий день караван, уменьшенный на пятьдесят лошадей, двинулся в дальнейший путь. Пан Горженский проводил Володыевскую за могилевский овраг. Там он произнес прощальную речь и вернулся назад, а караван поехал

в Ямполь. Азия был очень весел и так гнал людей и лошадей, что Володыевская только удивлялась.

– Почему вы так спешите? – спросила она.

– Каждый спешит к своему счастью, – отвечал он, – а мое счастье ожидает меня в Рашкове.

Ева приняла эти слова на свой счет она улыбнулась и, собрав все мужество, сказала:

– Но мой отец.

– Пан Нововойский ни в чем не будет препятствовать мне, – отвечал татарин.

При этом какая-то мрачная искра блеснула в его глазах. В Ямполье они не застали никаких войск: пехоты там никогда не бывало, а конница ушла, и в городе осталось не более десятка людей для охраны замка, или, точнее, его развалин. Ночлег был приготовлен, но Володыевская плохо спала, так как ее беспокоили известия, которые она узнала в Могилеве. Она много думала о том, что ее муж будет сильно беспокоиться, так как узнала, что дороженковский полк действительно ушел; в то же время она, разумеется, успокаивала себя, думая, что все слышанное ею – ложь. Ей приходило уже в голову взять часть отряда Азии и вернуться, но и здесь являлись препятствия: во-первых, Азия должен был подкрепить рашковский гарнизон, а отдав ей часть отряда, он не мог бы сделать этого и, в случае очевидной опасности, гарнизон оказался бы бессильным; во-вторых, они уже проехали две трети дороги; к тому же в Рашкове был знако-

мый ей офицер и сильный отряд который, будучи подкрепленным отрядом Тугай-бея и ожидавшимся отрядом ротмистров, мог возрасти еще больше и составить прекрасную силу. Ввиду всего этого Володыевская решила продолжать путь до конца.

Но все-таки она не могла заснуть. Первый раз за всю дорогу ее охватило такое беспокойство, словно над нею уже повисло несчастье и готово было тотчас разразиться. Быть может, этому содействовал ночлег в Ямполье, этом ужасном кровопролитиями месте. Об этом она знала из рассказов Заглобы. Здесь, во время Хмельницкого, стояла главная сила подольских резунов, под командою Бурлая; сюда приводили пленных и продавали их на восточные рынки или морили голодом; наконец, здесь в 1651 году, во время ярмарки, напал Станислав Ланцкоронский, воевода брацлавский, и произвел ужасную резню, память о которой еще была свежа во всем Приднестровьи.

Над всем городом носились кровавые воспоминания, там и сям чернелись пепелища, а со стен замка словно бы виднелись лица порезанных, казаков и поляков. Хотя Володыевская была не труслива, но боялась духов; говорили, что в самом Ямполье, в устье Шумиловки и на ближайших днестровских порогах каждую полночь слышен плач и стоны, а вода при лунном блеске кажется красной, как кровь. Мысль эта чрезвычайно беспокоила молодую женщину, и она невольно прислушивалась, не услышит ли сре-

ди ночной тишины стона и плача духов. Однако, она только слышала одни возгласы караульных, которые, ходя вокруг замка, время от времени, кричали: «Слуша-ай»

После таких возгласов мысли ее изменились, и она начала думать о спокойной светлице в Хрептиове, о муже, Заглобе и приятелях Ненашинце, Мушальском, Мотовидле, Снитке и других. В первый раз она почувствовала себя удаленной от них, в чужой стороне и до того затосковала, что ей захотелось расплакаться.

Она заснула только перед утром, и тогда ей снились удивительные сны: ей снился Бурлай, резуны, татары, кровавая картина резни, в которой она постоянно замечала лицо Азьи; но это был не их Азья, а как бы казак, дикий татарин или сам Тугай-бей.

Наконец она встала, обрадованная, что все видения кончились. Остальную дорогу она решила проехать верхом на Джиомете, во-первых, ради большего движения, и во-вторых, чтобы дать возможность поговорить Азье с Евой, которые ввиду близости Рашкова, наверное, хотели посоветоваться, каким образом объявить им о своем намерении Нововейскому и получить позволение на брак.

Азья, подав ей собственноручно стремя, посадил ее на лошадь, но сам не сел с Евой в сани, а стал во главе отряда, а затем приблизился к Володыевской.

Теперь она заметила, что отряд их еще уменьшился, и обратилась к молодому татарину с вопросом:

– Я вижу, что вы и в Ямполе оставили часть своего отряда?

– Да, пятьдесят лошадей, как и в Могилеве, – отвечал Азыя. – Зачем?

Он улыбнулся как-то особенно, оскалив зубы, как злая собака, которая прежде, чем укусить, показывает их, и, подумав, сказал:

– Для того, чтобы иметь гарнизон в своей власти и обезопасить возвращение вашей милости.

– Да если войска вернутся из степей, то там и без того будет много солдат.

– Войска туда нескоро вернутся.

– Откуда вы знаете?

– Потому что они сначала должны убедиться, что делается у Дороша, а это займет не менее трех-четырех недель времени.

– Если это так, то вы хорошо сделали, что оставили там людей, – заметила Володыевская.

Далее они ехали в молчании; Азыя постоянно смотрел на розовое личико Володыевской, полускрытое воротником и шапочкой, и за каждым взглядом закрывал глаза, как бы желая получше запечатлеть в своей памяти ее красоту.

– Вы должны поговорить с Евой, – возобновила разговор Володыевская. – Вообще вы мало говорите с ней, так что она удивляется вашей необщительности... Ведь скоро вам придется явиться к Нововейскому... Я и сама беспокоюсь об этом... Вы должны посоветоваться, как поступить в дан-

ном случае.

– Прежде всего я должен поговорить с вами, – как-то странно отвечал Азия.

– Так почему же вы не говорите?

– Жду посла из Рашкова... Я думал, что уж застану его в Ямполе... Я жду его с минуты на минуту.

– Да при чем тут посол?

– Вон, кажется, он едет, – избегая ответа, произнес татарин и поехал вперед, но спустя минуту вернулся.

– Нет, это не он! – сказал Азия.

Во всей его фигуре, в разговоре, взгляде, голосе было что-то беспокойное и горячее, так что все это сообщилось и Володыевской, но ни малейшего подозрения не закралось в ее воображение, потому что она объясняла это беспокойство близостью Рашкова и грозного отца Евы; но при всем том на сердце молодой женщины было так тяжело, словно это касалось ее собственной судьбы.

Приблизившись к саням, она ехала несколько часов подле Евы, разговаривая с ней о Рашкове, о старом и молодом Нововейских, о божественной Софье и, наконец, о местности которая с каждой минутой делалась все более дикой и пустынной. Правда, она была пустынной от самого Хрептиова, но там, по крайней мере, время от времени поднимались столбы дыма, обозначающие какой-нибудь хутор или жилище, тогда как здесь не было и следа человека, и если б Володыевская не знала, что едет в Рашков, где живут люди и на-

ходится польский гарнизон, то могла бы подумать, что ее ведут в неизвестную ей пустыню на краю света.

Осматривая окрестности, Володыевская печально остановила лошадь и осталась позади саней. Азия присоединился к ней, а так как он был хорошо знаком с этой местностью, то начал рассказывать ей о разных местах и называть их по названиям.

Но это недолго продолжалось, потому что от земли стал подниматься пар. Видно, здесь, в полуденной стране, зима не имела той силы, которой обладала в лесистом Хрептиове. Правда, здесь лежал снег кое-где в оврагах, в расселинах на обрывах скал, но, в общем, земля не была покрыта им и чернелась или блестела сырою завядшею травой, от которой поднимался туман и растилался на земле, представляя из себя подобие весенних вод разлившихся в долинах; далее туман поднимался вверх и закрывал собою солнце, вследствие чего ясный день казался пасмурным.

– Завтра будет дождь, – сказал Азия.

– Только бы не сегодня. Далеко ли до Рашкова?

Тугай-бей посмотрел на ближайшую окрестность, которая, однако, едва была заметна среди тумана, и ответил:

– Отсюда ближе до Рашкова, чем до Ямполья.

И он вздохнул глубоко, словно сбросив с груди тяжелый камень. В тот же момент послышался топот лошади, и вскоре какой-то верховой показался в тумане.

– А, Галим!.. Я узнаю его, – сказал Азия. Действительно,

это был Галим; доскакав до Азыи и Володыевской, он соскочил с бехмета и начал кланяться до стремени молодого татарина.

– Из Рашкова? – спросил Азыя.

– Да, из Рашкова, мой повелитель, – отвечал Галим.

– Ну, что там слышно?

Старый Галим поднял свое исхудалое лицо и взглянул на Володыевскую, как бы спрашивая татарина, может ли он говорить при ней.

– Говори смело, – отвечал на этот взгляд Азыя. – Войска ушли?

– Да, ушли; осталась только небольшая горсть.

– Кто повел?

– Пан Нововейский.

– Петровичи уехали в Крым?

– Давно. Остались только женщины и с ними старик Нововейский.

– Где Крычинский?

– Ожидает на другой стороне реки.

– Кто с ним?

– Адурович со своим отрядом. Он бьет тебе челом и отдастся в твое распоряжение, он и все те, которые еще не прибыли.

– Хорошо! – сказал, сверкнув глазами, Азыя. – Поезжай к Крычинскому и скажи ему занять Ращков.

– Воля твоя, мой господин.

С этими словами Галим вскочил на бежмета и исчез, как призрак, в тумане.

Зловещий блеск сверкнул в лице Азьи... Наконец-то настала решительная для него минута; минута ожидания и величайшего счастья. Сердце его сильно билось, дыхание замирало в груди. Некоторое время он молча ехал подле Володыевской; наконец, почувствовав, что голос не изменит ему, он повернул на нее свои непроницаемые глаза и сказал:

– Теперь я могу откровенно поговорить с вами.

– Я слушаю, – отвечала молодая женщина, пристально смотря на его изменившееся лицо.

Глава II

Азия придвинул своего коня к бехмету Володыевской так близко, что прикоснулся к ее стремени, и молча проехал еще несколько шагов, чтобы овладеть собою; он удивлялся, почему так тяжело дается ему это спокойствие, когда Володыевская была в его руках и не было ни одного человека, который бы отнял ее у него. Но он и сам не знал, что в душе его, вопреки всякой возможности и очевидности, таилась искра уверенности, что она откажет ему во взаимности. Но если надежда на обладание ею была слаба, то страшное желание было так сильно, что он дрожал, как в лихорадке. Но не раскроет она ему своих объятий, не бросится к нему на шею и не скажет слов «Я твоя» – слов, о которых он думал наяву и во сне; не прильнет она своими устами к его губам и не наградит поцелуем – все это он знал, но... но как она примет его слова? Что скажет? Потеряет ли она самообладание, как голубка в когтях орла, и позволит ли схватить себя, как беззащитная голубка отдается ястребу? Будет ли она просить пощады со слезами или криком поразит эту пустыню? Вот вопросы, которые мелькали в голове татарина. Однако настал час когда можно было снять с себя маску и показать ей настоящее свое лицо. Еще минута, весь страх пройдет и все будет кончено!

Наконец эта неуверенность и тревога превратились в та-

тарине в дикое бешенство, которое он начал развивать в себе до изнеможения: «Что бы ни случилось, она будет моею, сегодня или завтра – все равно, но она не уйдет от меня, да потом уж поздно будет уходить к мужу и, волей или неволей, она должна будет идти за мною».

При этой мысли дикая радость овладела им, и он вдруг отозвался таким диким голосом, которому сам удивился и не узнал его, словно это заговорил другой человек.

– Вы до сих пор не знали меня? – спросил он.

– Действительно, в этом тумане ваш голос до того изменился, – сказала с некоторым беспокойством молодая женщина, – что я не узнала его.

– В Могилеве нет войск, – продолжал он, – в Рашкове и Ямполе – тоже!.. Я здесь один господин. Крычинский, Адурович и другие – мои рабы. Я один – князь, сын владыки; я их визирь, мирза, вождь, как Тугай-бей; я их хан, я один силен, и все в моей власти.

– Зачем вы все это говорите мне?

– Вы до сегодняшнего дня не знали меня. Рашков недалеко. Я хотел быть гетманом татарским и служить Речи Посполитой, но гетман не позволил. Но не быть мне дольше липком и не служить ни под чьей командой. Самому полки водить на Дороша или на Речь Посполитую, как вашей милости будет угодно, как вы прикажете?

– Как я прикажу?.. Что с тобой, Азия?..

– То, что здесь все мои рабы, а я – твой! Что мне гетман!..

Позволит он или не позволит! Ваше слово – все для меня. Только скажите его, и у ваших ног будут Аккерман, Добруджа и все орды, которые здесь кочуют в степях. – словом, все будут ваши рабы, как и я Прикажи, и я не послушаю ни крымского хана, ни султана, я буду поражать их мечом, дам помощь Речи Посполитой, соберу новую орду в этих странах и буду ханом над ней, а надо мной – ты будешь одна царицей, тебе одной я буду кланяться и ждать твоих милостей.

Он наклонился к седлу и обхватил за талию пораженную и ошеломленную его словами Володыевскую.

– Разве ты не знала, что я люблю тебя? – сказал он, задыхаясь. – И исстрадался же я! Но зато ты будешь моею, и никто тебя не вырвет из моих рук! Да, ты моя, ты моя!

– Господи! – воскликнула Володыевская.

Но Азия так стиснул ее, что словно хотел задавить. Отрывистое дыхание начало вырываться из его груди, и глаза заблестели; он вытащил ее из седла, посадил на свое и прижал к своей груди, между тем как уста старались поймать ее губы и запечатлеть поцелуй.

Но Володыевская не крикнула, а начала отбиваться с необыкновенной силой. Между ними произошла сильная борьба, в которой слышалось тяжелое дыхание обоих. К Володыевской вернулось присутствие духа. Она сразу увидела всю опасность и хваталась за все, как утопающий за соломинку. В один миг она почувствовала под своими ногами

ту пропасть, в которую он увлекал ее; она увидела его любовь, измену, свою судьбу и бессилие; почувствовала тревогу, ужасную боль сердца и сожаление, а вместе с тем возмущение, бешенство и жажду мести. Такая деятельность мозга происходила в этой женщине, избраннице и подруге лучшего из воинов всей Речи Посполитой. В эту ужасную минуту прежде всего мелькнуло в ее головке «Отмстить!», а затем «Спасись!» Все ее мыслительные нервы до того натянулись, что каждый в отдельности предвидел будущее; ее руки невольно начали ощупывать вокруг него, и она наткнулась на костяную ручку восточного пистолета; в тот же момент она подумала: хоть бы пистолет оказался заряженным и она успела взвести кремень, но пока она согнет руку и наведет дуло в его лоб, он может отвести ее и лишить самозащиты, поэтому она решила поступить иначе.

Все это продолжалось не более секунды; он предвидел этот маневр и с быстротою молнии протянул к ней руку, но ошибся в ее намерениях, и не успел он схватить ее за руку, как она ударила его костяной рукояткой между глаз.

Удар этот был до того силен, что Азия не успел даже вскрикнуть и упал навзничь, увлекая ее с собою. Но Володыевская моментально вскочила и, сев на своего Джиомета, как вихрь, помчалась в противоположную сторону от Днепра, в степь.

Туман скрыл перед нею все видимое. Джиомет, прижав уши к голове, бежал наобум по скалам, расселинам и овра-

гам. Каждую минуту он мог попасть в какую-нибудь расщелину и разбить себя и всадницу об острия скал, но Володыевская ни на что не обращала внимания; больше всего она боялась липков и Азыи.

Но удивительная вещь! Теперь, когда она освободилась из рук негодяя, лежавшего почти мертвым среди скал, всеми ее чувствами овладела тревога. Теперь, приникши головою к гриве лошади и уходя, как серна от волков, она начала бояться Азыи больше, чем когда она была беспомощной в его объятиях. Какой-то ужас, надрывавший ее сердце, вызывал в ней стоны, боязнь, страх и жалобу; она нуждалась в защитнике, и потому из ее груди вырвались слова:

– Миша, Миша! Спаси меня!

Между тем Джиомет мчался во весь карьер и, ведомый животным инстинктом, перепрыгивал реки, огибал скалы, пока копыта его не перестали гудеть на твердой почве: по видимому, он выбежал на один из открытых лугов, находившихся между оврагами. Он был весь в пене, из его ноздрей валил пар столбом; но он продолжал бежать.

– Куда бежать? – спрашивала себя молодая женщина.

– В Хрептиов, – отвечало ей благоразумие.

Но ведь чтобы добраться до него, нужно проехать страшную пустыню, и в голове ее мелькнула мысль об оставленных Азыей отрядах конниц в Ямполье и Могилеве. Несомненно, эти липки были в заговоре с ним, схватили бы ее и отвели в Рашков. Очевидно, ей следовало углубиться в степь

на ночь, чтоб объехать надднестренские селения; тем более это нужно было сделать ввиду погони, которая наверно пойдет по берегу, между тем как в степях она могла встретиться с каким-нибудь польским отрядом, возвращающимся в крепость.

Однако быстрота лошади скоро начала ослабевать. Будучи опытной наездницей, Володыевская поняла, что ехать без отдыха невозможно; иначе она лишится лошади, без которой может погибнуть в этой пустыне.

Она сдержала коня и некоторое время ехала совсем медленно. Туман редел, но зато с бедного животного пар валил клубами.

Володыевская начала молиться. Но вдруг позади нее, шагах в трехстах, среди тумана раздалось ржание лошади. У молодой женщины волосы стали дыбом от страха.

– Мой конь упадет, но и те не железные! – громко сказала она и опять помчалась, как вихрь.

Некоторое время Джиомет мчался с быстротою голубя, гонимого ястребом, мчался до изнеможения; между тем ржание лошади постоянно отзывалось вдали. В этом ржании слышалось что-то чрезвычайно тоскливое и даже грозное.

Однако после первой тревоги Володыевская скоро пришла в себя и подумала, что если б на этой лошади ехал какой-нибудь всадник, то она не ржала бы: всадник, чтобы скрыть свое присутствие, заставил бы замолчать коня.

«Неужели бехмет Азыи бежит за мною!» – мелькнуло

у ней в голове.

Она повернулась и для предосторожности вынула два пистолета; но это было лишнее. Вскоре она заметила в редющей мгле бегущего за нею бехмета Азыи с раздутыми ноздрями и развеянной гривой. Увидев Джиомета, он еще быстрее начал приближаться к нему, не переставая заявлять о своем приближении отрывистым ржанием; конь Володыевской ответил ему тем же.

– Кось, кось, кось!.. – позвала Володыевская.

Ручная лошадь подошла совсем близко и позволила схватить себя за узду. Молодая женщина возвела глаза к небу и возблагодарила Бога.

– Господь не оставляет меня! – сказала она.

И действительно, он не оставлял ее в критическую минуту; схваченный ею бехмет Азыи мог пригодиться ей и сослужить большую услугу. Во-первых, в ее распоряжении были два самых лучших в отряде бехмета; во-вторых, у нее была перемена; в-третьих, бегство его доказывало, что погоня за нею пока не выслана. Если бы бехмет побежал за отрядом, липки, обеспокоенные отсутствием всадника, немедленно вернулись бы искать своего вождя; а так как он убежал за ее Джиометом, то им и в голову не придет, чтобы что-нибудь случилось с Азыей, и они пойдут искать его разве только после долгого его отсутствия.

– Ну, а до этого времени я буду далеко! – решила Володыевская. При этом, однако, она опять вспомнила об отрядах

в Ямполе и Могилеве.

– Да, надо объехать их и не приближаться к реке, пока не достигну Хрептиова. Хоть этот хитрый человек порасставлял для меня ловушки, но Господь спасает меня от них.

Сказав это, она начала готовиться к дальнейшему путешествию. При седле Азыи она нашла мушкет, рог с порохом, мешок с пулями и другой – с коноплянным семенем, которое татарин постоянно грыз. Приворачивая стремяна седла Азыи к своим ногам, молодая женщина подумала, что ей придется питаться коноплею всю дорогу, как птице, и поэтому старательно сберегла ее. Здесь же она решила избегать всех людей и хуторов, потому что в этой пустыне скорее можно было встретить злого, чем хорошего человека. При этом, однако, ей пришла мысль: чем же она будет кормить своих лошадей? Положим, как степные лошади, они могли сами прокормить себя, отрывая из-под снега траву и питаясь мхом, который добывали бы из расселин; но таким образом они могут пасть от худого питания. Но что было делать?.. Не могла же она, щадя их, подвергать себя опасности.

Кроме того, ее беспокоила мысль, как бы не заблудиться в пустыне. Конечно, ей нечего было бы бояться, если бы она поехала по берегу Днестра, но туда она не могла ехать. Что будет с нею, когда она въедет в мрачную пушу, где нет никакой дороги; как узнает, едет ли на восток, север или запад в особенности в темные, беззвездные ночи?.. Она не боялась зверей которыми была переполнена пуща: для это-

го у нее было оружие. Разумеется, волки, ходившие стаями, представляли немалую опасность, но она больше боялась людей, чем зверей, а еще больше – заблудиться.

– Ну, да что будет, то будет, – громко сказала она, – Господь доведет меня невредимой до моего мужа.

И, перекрестившись, она вытерла мокрое лицо, осмотрелась вокруг и пустила лошадей в карьер.

Глава III

Азыю никто и не подумал искать, и он лежал в пустыне, пока сам не пришел в себя.

Долго он лежал; затем поднялся, сел и, желая понять, что с ним случилось, начал осматривать окрестности.

Но он видел все как будто в тумане, потом заметил, что он видит только одним глазом, и то очень плохо. Другой был выбит и залит кровью.

Азыя поднял руку к лицу, и пальцы его ощупали запекшуюся кровь на усах; во рту тоже было полно крови, так что он должен был отплевываться; он почувствовал сильную боль в лице, поднял руку к глазам, но тотчас отнял и застонал.

Володыевская разбила ему верхнюю часть носа и левую скулу.

Азыя несколько минут просидел без движения, потом осмотрел неповрежденным глазом местность и, увидев в расщелине скал полосу снега, подполз к нему и начал прикладывать его к своему разбитому лицу.

Разумеется, снег тотчас облегчил его страдания, и когда он таял и сплывал розовыми струйками на усы, Азыя брал и прикладывал новые горсти снега. Кроме того, он начал с жадностью его есть, что тоже принесло ему немалое облегчение. Спустя некоторое время, он почувствовал себя настолько хорошо, что смог припомнить все случившееся.

В первые минуты он не чувствовал ни гнева, ни отчаяния, так как физическая боль заглушала все остальные чувства, кроме желанья скорейшей помощи.

Съев еще несколько пригоршней снега, Азия подумал о лошади, которой, конечно, не оказалось поблизости, и понял, что если он не захочет ждать, пока за ним придет кто-нибудь, то должен идти пешком.

Он уперся руками в землю, чтобы встать, но при этом почувствовал такую сильную боль, что застонал и опять сел.

Так просидел он более часа, пока собрался с силами. На этот раз ему удалось встать, опереться плечами о скалу и удержаться на ногах. Но подумав, что эту опору придется оставить и сделать несколько шагов в пустое пространство, он испытал такое чувство беспомощности, что он опять чуть не упал.

Однако он превозмог свое бессилие и, вынув саблю из ножен, оперся на нее и двинулся вперед. Дело пошло на лад. Сделав несколько шагов, он почувствовал, что его тело и ноги довольно крепки, что он отлично владеет всеми членами, и только голова была словно не его и, как гирия, шаталась на плечах то вправо, то влево, то вперед, то назад, ввиду чего он нес ее с большой осторожностью, точно боясь уронить на камни и разбить.

Время от времени голова начинала кружиться, в здоровом глазу делалось темно, и он вынужден был опираться обеими руками на саблю. Но по мере того как кружение проходило,

боль до того возрастала, что он выл, как собака.

Вой этот раздавался эхом в скалах и отзывался среди глухой пустыни; вой его был страшен, как вой упыря...

Уже смеркалось, когда он услышал перед собою топот лошади. Это был липковский десятник, вернувшийся к нему за приказанием.

Видя своего начальника в беспомощном состоянии, он доставил его в Рашков. В этот вечер Азия еще мог распоряжаться, но затем пег на кожи, и в продолжение трех дней не мог никого видеть, кроме грека-цирюльника, перевязывавшего ему раны, и Галима, помогавшего ему.

Только на четвертый день он пришел в сознание и понял, что с ним произошло. В тот же момент мысли его помчались за Володыевской; он видел ее бегущей среди скал в пустыне, и она казалась ему птицей, которая улетела от него навсегда; видел ее приехавшей в Хрептиов и в объятиях мужа, при этом его сердцем овладевала боль во сто раз несноснее его раны, а вместе с тем он чувствовал срам своего поражения.

– Убежала, убежала! – повторял он. и им овладевало такое отчаяние, что минутами он лишался рассудка.

– Горе мне. – говорил он Галиму, который старался успокоить его и уверял, что Володыевская не может уйти от погони; но он сбрасывал ногами кожи, которыми старый татарин накрывал его. грозил ножом ему и греку, выл, как дикий зверь, и вскакивал, желая лично гнаться за ней, схватить ее

и потом, от злости и дикой любви, задушить ее собственными руками.

Минутами он бредил в горячке и кричал Галиму, чтобы тот принес голову маленького рыцаря а его жену связал и запер рядом с ним в чулан. Иногда он разговаривал с ней, просил, грозил и протягивал руки, точно желая прижать ее к своей груди; наконец, он изнемог, заснул глубоким сном и проспал целые сутки.

Когда он проснулся, то чувствовал себя настолько бодрым, что смог увидеться с Крычинским и Адуровичем.

Им тоже необходимо было поговорить с ним, так как без него они не знали что делать. Хотя войска, ушедшие под командой Нововойского, не могли вернуться раньше двух недель, тем не менее какой-нибудь случай мог поторопить их, и поэтому необходимо было знать, как поступать. В сущности, Дцурович и Крычинский хотели вернуться в Речь Посполитую, но Азия вел все дело, и он один мог дать им указания, что им делать; он мог объяснить им, на чьей стороне большие шансы, вернуться ли им к султану или притворяться, что они служат Речи Посполитой, и как долго им притворяться. Они были убеждены, что в конце концов и Азия изменит Польше, но допускали, что, пока эта измена не обнаружилась, он прикажет им ждать войны, чтобы изменить с большею пользою. Эти указания должны были послужить им приказом, так как он был их вождем, руководителем всего дела, человеком хитрым, имеющим влияние и,

наконец, сыном Тугай-бея, известным между всеми ордами.

Оба стали у постели Азыи и начали бить ему челом; он слабо приветствовал их. Хотя он был почти здоров, но сидел с перевязанным глазом.

– Я болен, – сказал он, – женщина, которую я хотел сохранить для себя, ранила меня рукояткой пистолета и убежала. Это была жена Володыевского; о, чтоб его жену и весь его род постигла зараза!

– Пошли Аллах! – сказали оба ротмистра.

– Дай Бог вам счастья и благополучия, – отвечал Азия.

– И тебе, наш властелин!

Затем они начали говорить о том, что им делать.

– Нельзя медлить, как равно нельзя отложить султанской службы до войны, – сказал Азия. – После того, что случилось со мной и с этой женщиной, они перестанут нам верить и скоро нападут на нас. Но пока они нападут, мы нападём на них и сожжём город во славу Аллаха, а оставшуюся часть команды и жителей, поданных Речи Посполитой, возьмём в плен. Что касается валахов, армян и греков, то всех их имущество мы разделим между собою, а затем пойдём за Днестр к султану.

Крычинский и Адурович, совсем одичавшие в татарских ордах, среди которых они долго находились и грабили вместе с ними, вдруг сверкнули глазами.

– Спасибо тебе, наш господин, – молвил Крычинский, – нас уже пустили в этот город и теперь он в наших руках.

– Нововейский не препятствовал вам войти? – спросил Азыя.

– Нововейский знал, что мы переходим на службу в Речь Посполитую, а также и о том, что ты идешь, чтобы соединиться с нами; так что он считает всех нас своими.

– Мы стояли на молдавской стороне, – сказал Адурович, – но ходили к нему в гости, и он принимал нас, как дворян, говоря, что этим поступком мы искупаем наши прежние погрешности, а так как гетман, благодаря вашей поручке, прощает нас, то и ему не следует сторониться нас. Он даже хотел, чтобы мы расположились в городе, но мы отвечали, что не войдем туда, пока Азыя не привезет нам на это гетманского позволения. Несмотря на это, уходя с войсками, он сделал для нас прощальный пир, на котором просил оберегать город.

– На этом же пиру мы видели его отца и старуху, которая старается освободить из плена своего мужа, – сказал Крычинский, – а также и ту девушку, на которой Нововейский намеревается жениться.

– А! – произнес Азыя. – Я еще не подумал о том, что все они здесь. Нововейскую я сам привез.

И Азыя хлопнул в ладоши; на этот зов явился Галим.

– Скажи моим липкам, – сказал он, – чтобы они, как только увидят пожар в городе, бросились на тех солдат, которые находятся в крепостце, и перерезали их, а женщин и старика шахтича пусть свяжут и стерегут, пока я не сделаю нужных

распоряжений.

Потом он обратился к ротмистрам и прибавил:

– Сам я не могу помогать вам, потому что слаб, но все-таки сяду на коня и посмотрю, как вы будете действовать, мои добрые товарищи Действуйте, действуйте!

Крычинский и Адурович тотчас ушли, а за ними вышел и Азия; приказав подать коня, он поехал к частоколу смотреть с ворот высокой фортификации, что будет делаться в городе.

Многие из липчан тоже лезли на валы, чтобы натешиться зрелищем резни. Солдаты, не вышедшие в степь, видя, что липчане лезут на валы, тоже взобрались туда, без всякого подозрения увидеть что-нибудь ужасное. Впрочем, их было не более двадцати человек, а остальные сидели в городе по кабакам.

Между тем отряды Крычинского и Адуровича рассыпались по городу, в них находились преимущественно липки и черемисы, затем прежние жители Речи Посполитой, большую частью – шляхтичи, но так как они давно оставили ее, то ничем не отличались от диких татар Их прежние жупаны порвались, а потому на них были бараньи тулупы шерстью вверх, надетые на голые тела, обветренные и загорелые от степного ветра, солнца, дыма и грязи; оружие их, однако, было лучше татарского: все они были вооружены саблями, луками, калеными стрелами, а некоторые и самопалами. Лица их выражали то же зверство и жажду крови, какое было на лицах добружеских, белгородских или крымских татар.

Рассыпавшись по городу, они бегали с шумом и криками, которыми как бы подстрекали друг друга к резне и грабежу. Несмотря на то, что, по татарскому обычаю, многие уже взяли ножи в рот, жители города, состоявшие, как и в Ямполе, из валахов, греков и армянских купцов, не обращали на них внимания и смотрели с доверием; их лавки были открыты, купцы сидели перед ними по-турецки и перебирали пальцами четки, а крики липчан только доказывали им, что те затевают какую-то игру.

Но вдруг по углам базарной площади взвились столбы дыма, и липчане до того завыли, что купцы, их жены и дети побледнели, всеми овладела страшная паника.

В тот же момент сабли и тучи стрел посыпались на головы мирных жителей. Их крики, стук запираемых дверей и ставен смешались с топотом лошадей и воем грабителей.

Весь рынок задымился; слышались крики «Горим, горим! спасите!». А в то же время татары начали отпирать лавки и дома, вытаскивать за волосы женщин, детей, а с ними товары на улицу; туда же выволакивались домашняя утварь, мебель и перины, от которых пух поднимался облаками к небу; раздались стоны, крики и плач недорезанных, вой собак, рев скота и ржанье лошадей, которых охватывал огонь в строениях; красные языки огня видны были и днем среди дыма, поднимавшегося черными столбами.

В крепостце азыевские солдаты прежде всего бросились на беззащитных пехотинцев, в которых вонзались

по несколько ножей, а затем этим несчастным отрезали головы и приносили к ногам азыевой лошади.

Тугай-бей позволил и этим липчанам присоединиться к своим собратям в городе, а сам стоял и продолжал смотреть, но дым застилал кровавую работу Крычинского и Адуровича, убийственная гарь от горевших тел доходила до крепостцы; весь город горел в одном костре; время от времени раздавался выстрел из самопала, словно гром в туче, иногда убегал какой-нибудь человек, спасаясь от опасности, а за ним гнались целые десятки липчан.

Азия смотрел и радовался; ужасная улыбка озаряла его лицо, он оскаливал свои белые зубы; улыбка эта становилась еще ужаснее, искаженная болью засохшей раны на лице. Теперь он гордился своим поступком: он сбросил свою маску притворства и в первый раз после долгих лет дал волю своим разнузданным чувствам; теперь он чувствовал себя самим собою, настоящим сыном Тугай-бея.

Он сильно жалел, что Володыевская не видит этого пожара и резни, не видит его в новом самообмане. Он любил ее, и в то же время его распирала дикая жажда мщения ей.

«Она стояла бы здесь, при коне, – думал он, – я держал бы ее за волосы, и она целовала бы мои ноги, потом я взял бы ее. расцеловал и сделал бы ее моей невольницей!»

И его только одно удерживало от отчаяния – мысль, что, быть может, погонит, посланная за ней. или оставленные отряды в городах приведут ее к нему. За эту надежду он уце-

пился, как утопающий за доску, и это прибавляло ему сил.

Он стоял у ворот, пока вырезываемый город не затих, что очень скоро настало, потому что Крычинский и Адурович насчитывали в своих отрядах столько людей, сколько было жителей во всем городе, и только пожар пережил стоны умиравших и шумел еще до вечера.

Наконец он слез с коня и пошел в свою просторную избу; посередине ему настлали бараньих шкур, на которые он сел и стал ожидать прихода ротмистров.

Вскоре пришли они, а за ними сотники; все они были в радушном настроении, потому что добыча оказалась большей, чем они ожидали, так как вследствие нашествия крестьян, городок снова обогатился. Кроме добычи, они взяли более ста девушек и массу детей до десятилетнего возраста, которых могли выгодно продать на восточных рынках. Всех мужчин, старух и детей, неспособных выдержать продолжительное путешествие, порезали поголовно. Руки липчан дымилась от крови, тулупы пахли гарью. Все окружили Азью, и Крычинский сказал:

– После нас останется только груда пепла и головешек. Пока вернутся войска, мы могли бы еще двинуться на Ямполь... Там, пожалуй, не менее – если не более – добра, чем в Рашкове.

– Нет, мы не пойдем в Ямполь, – отвечал Азья, – там оставлены мои люди, которые зажгут город, а нам пора уходить в ханские и султанские земли.

– Твоя воля, – отозвались ротмистры и сотники. – Вернемся со славой и добычей.

– Здесь, в крепостце, есть еще женщины и старик, который воспитывал меня. – сказал Азия. – Его нужно наградить.

И он хлопнул в ладоши и приказал вошедшему Галиму привести пленных.

Вскоре привели богомольную пани, заплаканную Софью, бледную, как полотно, Еву и старого Нововейского. Последний был скручен лыками. Все были поражены, а тем более удивлены тем, что случилось. Только одна Ева, догадывалась, почему все это случилось, почему Азия долго не показывался и почему сожгли город, а их, как невольников, привели к нему. Она чувствовала, что Володыевская бежала, что Азия по своей гордости не хотел просить ее руки у ее отца, и что теперь, бесясь от злобы, он хочет силой овладеть ею, но она не боялась за свою жизнь.

Приведенные пленники не узнали Азию, так как его лицо почти все было завязано. Испуг их был ужасен: в первую минуту женщины подумали, что дикие татары напали на липчан, убили их и овладели Рашковым; присутствие Крычинского и Адуровича убеждало их, однако, что они находятся в руках липчан.

Все молча смотрели друг на друга; наконец старый Нововейский произнес неуверенным, но громким голосом.

– В чьих же мы руках?

Азия начал снимать с головы повязку, из-под которой по-

казалось его лицо, некогда красивое, а теперь навсегда обезображенное сломанным носом и черно-синим пятном вместо глаза: оно было чрезвычайно страшно и все проникнуто мезтью; его рот искривлялся конвульсивной улыбкой. Минуту он смотрел одним глазом на старого шляхтича и наконец ответил:

– В моих, сына Тугай-бея!

Но старый Нововейский уже узнал его; его узнала и Ева, сердце ее сжалось при виде этого отвратительного лица.

Молодая девушка закрыла лицо несвязанными руками, а шляхтич раскрыл рот и начал от удивления хлопать глазами.

– Азия, Азия! – повторял он.

– Да, тот самый которого вы воспитывали, которому вы были отцом, и у которого вспухла спина и обагрилась кровью от твоего родительского покровительства.

У шляхтича кровь прилила к голове.

– Изменник! – вскричал он. – Ты ответишь перед судом за свои поступки!.. Помни, что у меня еще остался сын!..

– И дочь, – прибавил Азия, – за которую ты когда-то приказал сечь меня кнутом, теперь я эту дочь дарю последнему из своих ордынцев для служения и удовольствия.

– Вождь, – отозвался вдруг ротмистр Адурович, – подари ее мне.

– Ах, Азия, Азия! Ведь я тебя всегда.

И Ева бросилась к его ногам, но Азия оттолкнул ее, а Аду-

рович схватил ее за плечи и поволок по полу к себе. Пан Нововейский весь посинел, лыки, которыми он был связан, скрипели на его руках, а из охрипшего горла вырывались какие-то непонятные слова.

Азыя встал со своего импровизированного сиденья и сначала пошел к нему тихо, а затем бросился, как зверь на свою добычу, и, схватив кривыми пальцами за усы, начал немилосердно бить по лицу и голове.

Он даже захрипел от злости, и когда шляхтич упал на землю, прижал его грудь коленкой, и нож блеснул в его руках.

– Спасите, спасите! – вскричала Ева. Но в этот момент Адурович ударил ее по голове и зажал ей рот своею широкой рукой, между тем Азыя продолжал свое дело и резал Нововейского.

Сцена эта бала до того ужасна, что даже липчанским сотникам сделалось холодно и жутко, потому что Азыя, с рассчитанным зверством, медленно водил ножом по горлу несчастного шляхтича, который ужасно стонал и хрипел; из разрезанного горла лилась кровь, по рукам палача и стекла ручьем на пол. Мало-помалу хрипение постепенно прекратилось, а вместо него послышался свист из разрезанного горла, ноги умирающего судорожно подергивались и стучали по полу. Азыя хладнокровно встал и бросил взгляд на бледное, но прелестное лицо божественной Софьи, которая стояла как мертвая; ее поддерживал один из липчан.

– Эту девушку я оставляю для себя, – сказал Азыя, – а по-

том подарю или продам кому-нибудь. Ну а теперь, – прибавил он, обращаясь к татарам, – как только вернется погоня – сейчас же в путь.

Но погоня вернулась только через два дня, да и то с пустыми руками, вследствие чего Азия выехал в султанскую землю в полнейшем отчаянии, оставив после себя лишь грудку золы.

Глава IV

Около двенадцати украинских миль отделяли Хрептиов от Рашкова, если ехать так, как проехала Володыевская, днестренская же дорога составляла около тридцати миль. Несмотря на то, что с ночлегов выходили очень рано и оставались поздною ночью, однако же, вследствие трудных переправ и переездов, это пространство нельзя было проехать менее, чем в три дня. В прежние времена люди и войска вообще не делали быстрых переходов, но кто хотел и кому нужно было, мог и поспешить. Володыевская, принимая это во внимание, рассчитала, что обратная дорога в Хрептиов отнимет у нее гораздо меньше времени, так как она ехала верхом и спасение ее зависело от быстроты бегства.

Однако в первый день она заметила свою ошибку: она не могла бежать днестрянским трактом, а должна была сделать крюк по степям. К тому же она могла заблудиться, попасть на оттаявшие реки или в непроходимые леса и болота, не замерзавшие зимой, наткнуться на человека или зверя, и хотя она намеревалась ехать и ночью, но невольно с каждой минутой убеждалась, что быстро ей до Хрептиова не добраться.

Ей удалось вырваться из рук Азии, но что же будет дальше? Несомненно, ей здесь было лучше, чем в омерзительных руках, однако же кровь ее стыла в жилах при мысли о том,

что ее ждало впереди.

Ей пришла в голову мысль, что если она станет щадить лошадей, то липчане могут настигнуть ее, так как они насквозь знали эту степь и от их глаза почти немислимо было скрыться, потому что они сновали по ней днем и ночью, даже весной и летом, гоняясь за татарами, когда копыта лошадей не оставляли следов ни в снегу, ни на размягшей земле; они читали в степи, как в книге, проникали ее, как орлы, и обнюхивали, как гончие собаки; вся жизнь их проходила в рысканиях по ней. Напрасно татары иногда уходили водою, чтоб не оставить следов: казаки, липчане и черемисы, как равно и польские загонщики, успели отыскивать их и являться перед ними как из-под земли.

Как тут убежать от такого народа? Разве оставить их далеко за собою, чтобы самая отдаленность сделала погоню невозможной. Но в таком случае попадают лошади.

«Да, несомненно попадают, если пойдут так быстро, как шли до настоящего времени», – с ужасом подумала Володыевская, посматривая на мокрые, дымящиеся их бока и пену, которая пластами падала с них на землю.

Она сдерживала их бег и начинала прислушиваться, но ей слышались отголоски погони в каждом порыве ветра, в шуме листьев, в сухом шелесте стеблей, ударяющихся друг об друга, в шуме крыльев перелетной птицы и даже в пустынной тишине.

Испуганная этим, она опять пускала коней и летела впе-

ред, пока их фырканье не показывало ей, что далее так бежать нельзя.

Чувство беспомощности и одиночества ужасно угнетало ее. Она казалась себе сиротою и несправедливо жаловалась на людей, дорогих ее сердцу, что они оставили ее.

Потом она подумала, что ее Господь карает за что-нибудь – за ее искание приключений, за страсть к охоте и другим опасным поездкам, шедшую вразрез с желаниями мужа, за оплошность, за недостаток благоразумия и ветреность.

При этом она расплакалась и, подняв головку вверх, всхлипывая, произнесла:

– Накажи меня, Господи, но не оставь! И помилуй Мишу, он невинен.

Между тем приближалась ночь, а с нею холод, неуверенность в дороге и беспокойство. Все предметы видимые начали ступшеываться, терять свои очертания, а вместе с тем оживляться и как бы подкарауливать ее. Выступы высоких скал казались ей гигантскими головами, одетыми в круглые остроконечные колпаки, которые выглядывали из колоссальных стен и зловеще смотрели на проезжающего внизу. Ветви деревьев, колеблемые ветром, казались ей человеческими руками: одни манили ее к себе, как бы желая сообщить что-то таинственное, другие предостерегали не приближаться. Корни вывернутых деревьев казались ей чудовищами, готовившимися схватить ее.

Володыевская была чрезвычайно отважна, но, как и все

люди того времени, верила в предрассудки; поэтому, когда совершенно стемнело, волосы на ее голове стали дыбом и она дрожала при мысли, что в этих степях обитают черти. Главным образом она боялась упырей. Вера в них была распространена по всему Днестру; из-за близости к Молдавии окрестности Ямполья и Рашкова пользовались в этом отношении худой славой: много там умирало внезапную смертью, без исповеди и покаяния.

Володыевская вспомнила все рассказы, слышанные ею в Хрептиове; старые рыцари говорили ей о пропастях, из которых, когда дул ветер, слышались тяжелые стоны и слова: «О Господи, Господи!» Слышала о блуждающих огнях, о смеющихся скалах, о бледных детях – вампирах с зелеными глазами и уродливой головой, которые просили путника взять их к себе на седло и, сев на него, высасывали кровь из человека; наконец, ей говорили о головах без туловища, ходящих на ногах паука, словом, о взрослых упырях, называемых по-местному «брукулаками», которые бросались на людей.

Она осенила себя крестным знамением и продолжала креститься до усталости руки; но тогда она творила молитву: только она одна могла спасти ее от упыря.

Лошади ободряли ее: не выказывая никакой тревоги, они фыркали и спокойно бежали. Время от времени она хлопала по бокам своего Джиомета, как бы желая убедить его, что она еще существует на свете.

Ночь, сначала темная, начала светлеть, и наконец через редкий туман замелькали на небе звезды. Это обстоятельство обрадовало Басю: во-первых, она перестала бояться, а во-вторых, смотря на звезды, она знала, в каком направлении находится Хрептиов. Осмотревшись вокруг, она заметила, что значительно удалилась от Днестра, потому что здесь было меньше скал, больше гор, поросших дубняком, и часто являлись широкие долины.

Однако время от времени ей приходилось спускаться в глубокие овраги с большим опасением, потому что на дне их было темно и холодно. Некоторые из них были так глубоки, что их приходилось объезжать, а из-за этого терялось много времени и удлинялся путь.

Но в этом отношении ей было гораздо хуже с ручьями и реками, которые стремились сетью к Днестру. Все они уже оттаяли, и кони храпели, входя ночью в воду. Володыевская переправлялась только в тех местах, где были отлогие берега, позволявшие допустить, что там было мелко. Тем не менее, в некоторых местах вода доходила до половины брюха лошадей; тогда молодая женщина становилась коленями на седло и, держась за переднюю головку его, старалась не замочить ног. Но это не всегда ей удавалось, и вскоре она почувствовала окоченение ног до колен.

– Хоть бы скорее день, – говорила она, – тогда я поеду энергичней и веселей.

Наконец она выехала на обширную равнину, поросшую

редким лесом, и, видя, что кони еле волокут ноги, решила остановиться и отдохнуть. В тот же момент оба бехмета протянули шеи к земле и, разгребая копытами снег, с жадностью начали хватать мох и завядшую траву. В лесу царствовала полнейшая тишина, нарушаемая только движением лошадей и хрустеньем травы.

Успокоив голод, или, точнее, обманув желудки, лошади, видимо, хотели лечь, но Володыевская не могла удовлетворить их желание, так как боялась отпустить даже подпруги и слезть на землю, опасаясь погони.

Все-таки она пересела на коня Азыи, так как Джиомет вез ее с самого полудня; несмотря на то, что он был благородной крови, он был гораздо слабее бехмета.

Утолив жажду, вскоре она почувствовала голод и принялась за коноплю, которая оказалась в мешочке при седле Азыи. Конопля показалась ей очень вкусной, хоть немного прогорклой; но она ела и благодарила Бога за эту находку.

Тем не менее она ела экономно, с расчетом, чтобы хватило этой пищи до Хрептиова. После еды ее начало клонить ко сну, глаза слипались, и в то же время она начала зябнуть; ее ноги совсем окоченели, она чувствовала сильнейшую усталость и слабость и в конце концов сомкнула глаза. Однако спустя минуту она открыла их с большим усилием.

– Нет, – сказала она, – лучше буду спать днем, во время езды, потому что если теперь засну, то замерзну.

Но как ни ободряла она себя, мысли ее мутились и пред-

ставляли всевозможные образы, между которыми представлялись пуща, бегство, погоня, Азия, муж, Ева. Все это куда-то бежало, как бежит волна, гонимая ветром. Азия вроде бы гнался за нею, но в то же время говорил с нею и заботился о лошадях; пан Заглоба сердился, что ужин простынет, муж показывал дорогу, а Ева ехала в санях и ела финики.

Все это потом исчезло, остался только непроницаемый мрак и пустота, которая проникала повсюду, даже в голову Володыевской, тушила в ней все видения и мысли, как ветер тушит горящий ночью фонарь на открытом воздухе.

Володыевская заснула, но, к счастью для нее, прежде чем мороз успел сковать все ее члены и заморозить кровь в ее жилах, ее пробудил необыкновенный шум, от которого лошади шарахнулись в сторону.

Она мигом пришла в себя, схватила мушкет и, пригнувшись к гриве лошади, начала раздувать ноздри и прислушиваться. Это была такая натура, что каждая опасность моментально пробуждала в ней отвагу и чувство самозащиты.

Прислушавшись, она живо успокоилась, так как этот шум производили дикие свиньи. Видно, волки подбирались к вепрям или вепри грызлись между собою, только от их хрюканья стонала роща. Шум этот происходил довольно далеко, но среди ночной тишины казался очень близким, так что Володыевская слышала не только визг и хрюканье свиней, но даже их сопящее дыхание. Вдруг раздался сильный топот и треск ломавшихся сучьев, и целое стадо сви-

ней, невидимых ей, промчалось мимо Володыевской и углубилось в пушу.

Несмотря на ужасное свое положение, в неисправимой женщине пробудилась охотничья жилка, и ей сделалось жаль, что она не видела этого стада.

«Жаль, что я не видала их, – подумала она. – Все-таки интересно посмотреть. Но не беда. Проезжая лесом, я еще не раз увижу их».

Однако потом она решила, что лучше не разглядывать свиней, а скорее бежать, и пустила коней. Впрочем, дольше она и не могла стоять, потому что холод очень докучал ей; только благодаря бегу лошадей она начала согреваться. Кони, поев мху и мерзлой травы, неохотно двинулись в путь. К тому же они обледенели и, казалось, еле передвигали ногами. Несмотря на это, они шли до полуденной остановки без отдыха.

Проехав поляну и глядя на Большую Медведицу, Володыевская углубилась в пушу, пересекаемую холмами и узкими оврагами. Сделалась темнее не только от деревьев, но и потому, что туши скрыл от нее звезды. Приходилось ехать наобум. Только одни яры доказывали ей, что она едет верным путем, так как она знала, что все они идут по направлению к Днестру, и поэтому она была убеждена, что едет на север. Она понимала, что опасно как слишком приближаться к Днестру, так и чрезмерно удаляться от него. Как одно, так и другое было неудобно: в первом случае она дала бы

большой крюк, а во втором могла выехать на Ямполь и попасть в руки врагов.

Но была ли она перед Ямполем, или на его высотах, или оставила его позади – об этом она не имела никакого понятия.

«Скорее я пойму, когда проеду Могилев, – подумала она, – потому что он лежит на дне глубокого оврага, который я наверно узнаю. Ах, скорее бы добраться до него. А там уж мне нечего бояться, потому что я буду во владениях Миши».

Между тем ночь стала еще темнее. К счастью, здесь лежал снег, на белом ковре которого можно было различать тени деревьев и пни и объезжать их; но зато она должна была ехать тихо, и ею опять овладевал тот страх, который беспокоил ее в начале ночи и леденил ее кровь.

«Если я увижу светящиеся огоньки низко, то это будет волк, – думала она, – ну, а если они будут на высоте человека?».

Но она вдруг громко вскрикнула:

– Во имя Отца, и Сына, и Святого.

Что это?.. Самообман или в самом деле дикий зверь сидел на суку на высоте роста человека?.. Но Володыевская отчетливо увидела два огонька.

И в глазах ее вдруг все потемнело; но когда она открыла глаза – уже ничего не было, только слышался какой-то шелест между деревьями; сердце ее сильно билось, точно хотело выпрыгнуть из груди.

Но она продолжала ехать, вздыхая по дневному свету; ночь была бесконечно долгой. Вскоре река преградила ей путь. Володыевская была далеко за Ямполем, на берегу Росовы, но она не знала, где находится, и только инстинктом угадывала, что подвигается к северу, если встретила реку. Она также чувствовала, что находится в низовьи реки, потому что холод значительно увеличился; по-видимому, морозило, потому что туман рассеялся и звезды опять показались на небе; они были гораздо бледнее и не светили, а просто мерцали.

Наконец ночь начала постепенно бледнеть; пни и деревья стали отчетливее, и в лесу сделалось совсем тихо.

Светало.

Вскоре Володыевская уже отличала масть лошадей, а на востоке показалась белая полоса, предвещавшая ясный день.

В эту минуту она почувствовала сильное утомление: рот постоянно открывался в продолжительном зеваньи, глаза слипались. Скоро она заснула крепко, но ненадолго, потому что ее пробудила ветка, за которую она зацепилась головою. К счастью, кони шли довольно тихо, пощипывая по дороге мох, и поэтому удар по голове веткой был несильным. Солнце уже взошло, и лучи его проникали сквозь безлиственные деревья. Володыевская ободрилась; за ночь она оставила за собою много гор, долин, лесов и оврагов.

«Только бы меня не схватили в Ямполе или в Могилеве, —

думала она, – а тем уж не догнать».

К тому же она рассчитывала на то, что, бежав с места происшествия, она ехала по скалам, на которых лошади не могли оставить следов. Но вскоре ею овладело сомнение.

«Ведь липчане умеют отличать следы на скалах и на камнях, – подумала Володыевская, – а потому энергично погонятся за мною: разве только их лошади попадают, и тогда я спасена».

Это последнее замечание было весьма правдоподобно; стоило взглянуть на своих лошадей и по ним судить о лошадях преследователей: и Джиомет, и бехмет опустили головы, бока у них провалились. По пути они то щипали мох, то засохшие листья на кустах, которые встречались с их носами. Видно было также, что их мучила и жажда, так как они пили у всех переправ.

Несмотря на усталость коней, Володыевская, выехав на поле, погнала их до другого леса, проехав который, она снова выехала на гористую открытую местность, за которою, в четверти мили от нее, показался дым, поднимавшийся ровным столбом к небу. Это было первое жилище, которое Бася встретила на своем пути; эта сторона, кроме побережья, была совсем пустынна вследствие частых нападений татар и постоянных польско-казацких войн. После последнего нашествия Чарнецкого, жертвою которого пала Буша, все местечки превратились в ничтожные деревни, а деревни заросли молодым лесом. А ведь после Чарнецкого тоже

было немало разных нашествий, войн, битв и резни вплоть до последнего времени, когда Собеский освободил страну от врагов. Теперь жизнь начинала входить в свою колею, но та местность, по которой ехала Володыевская, была еще совсем пустынна; в ней обитали только разбойники, но и тех выживали команды, стоявшие в Рашкове, Ямполе, Могилеве и Хрептиове.

Заметив дым, молодая женщина хотела ехать туда, так как это мог быть хутор или какой-нибудь шалаш, в котором она могла бы согреться и подкрепить силы, но, подумав, что в этой местности безопаснее встретиться со стаей волков, чем с одним человеком, она не решилась. Напротив, ей следовало здесь гнать лошадей, чтобы миновать это лесное жилище, в котором могла ожидать ее верная смерть.

В конце противоположного бора Володыевская заметила стог сена; она поехала прямо к нему, чтоб покормить лошадей. Разумеется, голодные кони с жадностью набросились на сено. К несчастью, им мешали мундштуки; но она боялась разнуздывать лошадей, рассуждая, что если здесь виден дым, то значит, это хутор или другое жилище; а раз здесь имеется сено, то, верно, есть и лошади, на которых ее могут догнать, и поэтому следовало быть начеку.

И она была права.

Володыевская провела у стога больше часа, дав поесть лошадям; в то же время она подкрепила свои силы коноплею и двинулась в путь. Но, проехав несколько верст, она вдруг

наткнулась на двух людей, несших на спинах вязанки хвороста.

Один из них был не стар, но и не молод, с рябым лицом, косыми глазами и зверским выражением лица; второй, подросток, был, по-видимому, безумным: это можно было видеть по его дурацкой улыбке и взгляду.

При виде всадника и оружия оба побросали свои ноши; они явно испугались, но были от нее так близко, что боялись бежать.

– Слава Богу! – отозвалась Володыевская.

– Во вики викив.

– Как зовется этот хутор?

– А зачим его звать?.. Хата, и вси!

– Далеко до Могилева?

– Мы не знаем...

И старик начал внимательно осматривать всадника. Так как Бася была в мужском костюме, то старик принял ее за подростка, и вдруг его лицо из испуганного сделалось ужасным и зверским.

– А що вы такой молоденький, пане льцарь?

– А тебе что?

– И одни едете? – спросил мужик, делая шаг вперед.

– Нет, за мной войско идет.

Мужик посмотрел на большую поляну и с сомнением отвечал.

– Хиба це правда; никого нима!

С этими словами он сделал еще два шага; его косые глаза загорелись, и он начал подражать голосу перепела, по-видимому, призывая кого-то.

Все это показалось Володыевской очень подозрительным, и она, не колеблясь, навела на него пистолет.

– Молчи, иначе я убью тебя! – крикнула она.

Мужик замолчал и тотчас упал на колени. То же сделал и мальчик; но этот последний начал выть по-волчьи. Вероятно, его безумие произошло вследствие какого-нибудь испуга, потому что его вой звучал ужасно.

Между тем Володыевская пустила коней и помчалась, как стрела. К счастью, в лесу не было снега, так что можно было ехать свободно. Вскоре она выехала на новую поляну, узкую, но длинную. Лошади, поев у стога, подкрепились и потому могли бежать.

«Что, если они дойдут домой, – подумала молодая женщина, – сядут на коней и помчатся за мной в погоню?»

Но эта мысль оказалась несостоятельной, так как ее лошади бежали теперь отлично, а хутор от них был на расстоянии не менее двух миль.

«Пока они дойдут до хутора, – думала она, – пока выведут лошадей, пока то да се, я буду от них далеко».

Прошло часа два или более, и Володыевская, убедившись, что за ней никто не гонится, сдержала лошадей, однако же ей было страшно, и слезы просились на ее глаза.

Эта встреча дала ей понять, чем были люди в этой стра-

не и чего можно было ожидать от них Правда, подобная встреча не была для нее неожиданностью, так как она знала на опыте, да и по рассказам других, что спокойные люди или оставили эту пустыню, или война их стерла с лица земли; остались только те, для которых уже не было ничего святого, так как они жили в постоянной тревоге, нападениях, видели больше зла, чем хорошего, и не знали, что такое собственность; поэтому они совсем одичали. Все это знала Володыевская, но человек, будучи одиноким в пустыне, находясь в постоянном угнетении и испытывая продолжительный холод и голод нуждается в сочувствии близкого существа. Так точно и она: увидев дым, обнаруживавший человеческое жилище, она мысленно стремилась туда, чтобы приветствовать живущих в нем и склонить на время свою усталую головку под гостеприимным кровом; между тем ужасная действительность оскалила на нее свои зубы, как злой пес.

– Ниоткуда помощи! – воскликнула она. – Дай Бог никогда больше не встречаться здесь с людьми.

Затем она подумала о том, почему мужик запел перепелом: значит, вблизи были еще люди, которых он звал к себе, значит, она попала на разбойничью дорогу, на разбойников, которые выгнаны были из своих логовищ и теперь прятались в глухих пущах, в которых соседство с обширными степями и скалами обеспечивало их будущность и безопасность.

«А что будет со мною, – продолжала она думать, – если встречу человек десять, пятнадцать?.. Ведь у меня один

мушкет, два пистолета, ну, саблей еще двоих положу – всего пять... а если их больше?.. Меня убьют. Я погибну». И насколько она в прошлую ночь желала прихода дня, настолько теперь жаждала скорее ночи, чтобы та скрыла ее от злых людей.

После этого ей пришлось проезжать еще два раза мимо человеческих жилищ. Однажды она увидела на высокой равнине больше десятка хат, в которых, быть может, жили добрые люди, но она предпочла объехать хутор, зная по опыту, что и крестьяне почти ничем не отличались от разбойников. Во второй раз она услышала в лесу отголоски топоров; по-видимому, рубили лес.

Наконец настала долгожданная ночь. Володыевская до того изнурилась, что дальше не могла ехать. Выехав в чистую степь, она сказала про себя: «Здесь я ни обо что не разобьюсь и не зацеплюсь за дерево, а потому должна заснуть, хотя бы мне пришлось замерзнуть».

Ей показалось, что она видит вдали на снегу несколько черных точек, движущихся в разных направлениях.

«Это, верно, волки», – подумала она.

Но, сделав еще несколько шагов и посмотрев в том же направлении, она уже ничего не увидела; потом моментально заснула и проснулась только тогда, когда бехмет Азии заржал под нею.

Она осмотрелась и обнаружила, что въехала в лес, деревья которого легко могли сбросить ее, сонную, на землю. В то же

время она увидела, что другого коня не было при ней.

– Что случилось? – спросила она себя с большой тревогой.

Ничего особенного, кроме отсутствия лошади, которая была привязана к ее седлу; ее руки так замерзли, что она не смогла крепко завязать узла, и измученная лошадь, дернув случайно головой, освободилась от привязи и осталась в степи, чтобы поискать себе корма под снегом и полежать.

К счастью, у Володыевской пистолеты были не в седельных кобурах, а за поясом; рога с порохом и с коноплею были при ней; потеря лошади также была нестрашна, так как бехмет Азии хоть и тише бежал, но был выносливее Джиомета. Правда, ей жаль было потерять своего любимца, и она хотела было отыскать его; но ее ужасно удивило, когда она посмотрела в степь и не увидела его, хотя ночь была чрезвычайно светла.

«Остался, остался, – подумала она, – где-нибудь упал или лег в овраге, и потому я не вижу его».

Бехмет заржал другой раз, вздрогнул и прижал уши к шее; но со стороны степи не было ответа.

– Поеду поищу его, – сказала Бася, и уже повернула лошадь, но вдруг ею овладела тревога и чей-то голос как будто прошептал: «Не ездь в степь, не ездь».

В ту же минуту слышались зловещие голоса, выходившие будто бы из-под земли, в которых можно было отличить вой, храпенье, писк и хрюканье. Дикие голоса эти тем более были ужасны, что в степи ничего не было видно, и Володи-

евскую обдал холодный пот, а из груди невольно вырвались слова:

– Что это значит?.. Что случилось?

Вскоре она догадалась, что волки загрызли ее коня, но она не понимала, почему она этого не видит, так как, судя по отголоскам, это происходило не более чем в пятистах шагах.

Из всего этого она заключила, что уже поздно мчаться на помощь: наверное, ее лошадь уже разорвана; теперь нужно было думать о своем спасении. Поэтому, выстрелив из мушкета для острастки, она двинулась в путь. По дороге ей пришла мысль, что, быть может, не волки зарезали ее коня, если те голоса выходили из-под земли. При этой мысли мороз пробежал по ее телу, но пораздумав, она припомнила, что, заснув, видела сон, будто съезжает с горы, а потом опять поднимается в гору.

– Да, так и было, – прошептала Володыевская, – верно, я проезжала какой-нибудь яр, в котором остался мой бедный Джиомет, где его и съели волки.

Остальная часть ночи прошла без приключений. Бехмет, поев утром, бежал сносно, так что Володыевская удивлялась его выносливости. Это был татарский конь «волчар», большой и удивительно сильный. Во время кратких остановок он ел все, что попадалось ему, без всякого разбора: мох, листья и даже древесную кору, и поэтому мог идти без усталости. На полянах она пускала его галопом, и он только слегка стонал и громко фыркал; сдерживаемый, он сопел, дрожал,

опускал голову, но не падал. Если бы Джиомета и не съели волки, он не вынес бы этой дороги.

На следующее утро Володыевская, помолясь Богу, занялась расчетом времени.

– От Азыи я убежала в четверг около полудня, – рассуждала она, – и мчалась до ночи, затем ехала ночь, затем день, потом опять целую ночь, и теперь начался третий день. Если и была погоня, то она должна уже вернуться, а следовательно, и Хрептиов недалеко: ведь я не жалела коней. Да, пора, давно пора, – прибавила она. – Господи! Смилуйся надо мною!

Иногда у нее являлось желание приблизиться к реке; по берегу ее она скорее бы определила, где находится, но она боялась могилевских липчан, оставленных у пана Горженского. К тому же, делая крюки, она могла еще не проехать Могилева. Несмотря на то, что сон смежал ее веки, она старалась смотреть, не появится ли тот глубокий яр, в котором расположен Могилев, но ничего подобного не видела и не знала, где находится.

Она не переставала молить Бога, чтобы Хрептиов был близко: она чувствовала, что не выдержит холода, голода и бессонницы; третий день кроме конопляного семени она ничего не имела во рту и хотя сэкономила, но утром съела уже все до последнего зерна.

Теперь она могла только жить надеждой, что Хрептиов очень близко; кроме этой надежды, ее поддерживало горя-

чечное состояние: она чувствовала, что как ни было холодно; ее руки и ноги, прежде совсем застывшие, теперь сильно горели, и ее мучила жажда.

«Только бы не лишиться рассудка, – думала она, – хоть бы как-нибудь добраться до Хрептиова, увидеть Мишу, вымолвить слово, а потом хоть умереть».

Часто ей приходилось перебираться через новые реки, которые были то мелкими, то замерзшими; на некоторых вода шла поверх льда, и хоть лед был крепкий, но она больше всего боялась подобных переправ, да и конь не любил их: входя в воду, он храпел, прижимал уши и упирался.

Было уже за полдень, когда Володыевская, проехав бор, вдруг очутилась на берегу какой-то довольно широкой реки. По ее мнению, это была Лядава или Калуса. При этом ее сердце забило от радости, так как Хрептиов был недалеко; если бы она даже проехала его, то во всяком случае в этой местности она была уже в безопасности. Берега реки были очень крутые и только в одном месте отлогие; там и вода была тише и заходила на лед, так как берега были замерзшие, а по середине реки протекала длинной полосой черная вода; но Володыевская подумала, что она найдет под этой полосой воды твердый лед и поэтому поехала к отлогому месту, где вода стояла, как в плоской тарелке.

Бехмет неохотно вошел в воду, как и при каждой переправе; он согнул шею и начал обнюхивать снег перед собою. Подъехав к бежавшей воде, Володыевская, по обыкновению,

стала коленями на седло, держась обеими руками за переднюю луку.

Вода зашлепала под копытами; лед действительно оказался твердым под водою; копыта ударили по нему, как по скале, но, по-видимому, подковы притупились в дороге, и бежмет начал скользить, ноги его разъезжались; вдруг он упал на передние ноги, затем вскочил, но снова поскользнулся и начал бить копытами. Володыевская дернула его за узду, в тот же момент послышался глухой треск, и задние ноги провалились под лея.

– Господи! – вскричала Володыевская.

Бахмет, еще стоя передними ногами на крепком льду, сделал сильное движение, но куски льда обламывались и уходили из-под ног, так что лошадь начала опускаться в глубину, стонать и храпеть, не имея опоры под ногами.

Володыевская, не теряя присутствия духа, схватилась за гриву лошади и, пробравшись по ее шее, соскочила на прочный лед, но поскользнулась и упала, а так как по льду шла вода то, разумеется, промокла. Но она быстро вскочила и, почувствовав под собою твердую почву, хотела спасти и коня; для этого она отошла к берегу и начала тащить его за поводья, сколько было сил.

Но бежмет все более погружался в воду и уже не мог вытащить даже передних ног, и наконец совсем погрузился: остались на поверхности только шея и голова. Он начал стонать, точно человек, оскаливал длинные зубы, глаза его смотрели

на Володыевскую и словно говорили:

– Нет, ты уже не спасешь меня: пусти поводья, иначе я и тебя втяну в воду.

Волей-неволей пришлось отпустить поводья, и вскоре лошадь очутилась подо льдом.

Видя, что уже ничем нельзя помочь, бедная женщина вышла на берег и, сев у обнаженного от листьев куста, начала плакать, как ребенок.

На минуту она лишилась энергии; все было против нее: неизвестность, темнота, животные, человек, звери, и только одна рука Всевышнего, казалось, бодрствовала над ней; на Него она надеялась, но и здесь обманулась. Она была преисполнена такими чувствами, которых не могла высказать, а только чувствовала их сердцем.

Что ей было делать? Жаловаться на судьбу, плакать?.. Ведь она употребила всю свою энергию, отвагу, перенесла все, что может перенести такое молодое существо, как она. И вдруг она лишилась лошади, этого последнего якоря спасения, единственного живого существа, которое было с ней. Без лошади Бася чувствовала себя бессильной в этой незнакомой пустыне, отделявшей ее от Хрептиова, среди лесов и оврагов, и не только беззащитной от людей и зверя, но одинокой и оставленной всеми.

И она плакала, пока не выплакала все слезы. После этого ею овладело полнейшее безотрадное спокойствие, и наконец она вздохнула.

– Против Божьей воли не пойдешь, – сказала она, – придется здесь умереть.

И она закрыла глаза, когда-то светлые и радостные, а теперь провалившиеся и мутные.

Несмотря на то, что ее тело совсем изнурилось и она ослабла, но мысли работали и сердце усиленно билось. Если бы ее никто не любил, то легче было бы умереть; но ведь ее все любили.

И она воображала, что будет, когда обнаружится измена Азыи и ее бегство, как ее будут искать, как найдут – замерзшую, посиневшую, спящую вечным сном под кустом у реки.

«Ах, в какое отчаяние придет мой Миша! – вдруг сказала она про себя, и затем начала извиняться. – Я, Миша, сделала все, что могла, – говорила Бася, мысленно обнимая его, – но трудно было поступить иначе, мой дорогой, потому что все в руках Бога... Он не захотел».

И ею овладела такая сильная любовь, такое желание умереть вблизи любимого человека, что она, собрав последние силы, встала и пошла.

Сначала маршировка эта показалась ей очень трудной, потому что она провела долгое время на лошади и теперь ноги казались ей чужими. К счастью, ей было очень тепло, так как горячка усиливалась.

Углубившись в лес, она шла довольно быстро, наблюдая, чтобы солнце было по левую сторону. Правда, оно уже перешло на другую сторону реки и, по-видимому, было далеко

за полдень – быть может, часа четыре или больше, но Володыевская не обращала на это внимания и не боялась приблизиться к Днестру: она чувствовала, что уже прошла Могилев.

– О, если б я знала это наверное, – говорила она, поднимая свое посиневшее и вместе с тем горевшее лицо к небу, – но ни зверь, ни деревья не скажут, далеко ли еще до Хрептиова. Если миля или две, то, может быть, я как-нибудь и доплетусь.

Разумеется, деревья молчали и даже затрудняли ей путь, и она спотыкалась на каждом шагу, задевая ногами за узлы и корни, присыпанные снегом. Через некоторое время ей сделалось невыносимо тяжело; она сняла шубку и осталась в кафтанчике, а затем пошла далее, то спотыкаясь, то падая в ямы, наполненные снегом. Ее сафьяновые сапожки, подшитые мехом и удобные только для езды в санях или верхом, не защищали от ударов о камни, корни и кочки; притом, пропитанные водою, они не выдержали бы продолжительного путешествия.

«Ну, что ж делать?.. Дойду босиком до Хрептиова или до смерти», – подумала она, и горькая улыбка озарила ее лицо. Но ее утешало то обстоятельство, что она много вынесла и если умрет в дороге, то муж не сможет упрекнуть ее в слабости. Она постоянно мысленно беседовала с ним и поэтому теперь громко сказала:

– О, Миша, другая бы и половины этого не доказала. Возьмем хоть Еву...

Она часто думала о Еве и молилась за нее; ей ясно было, что если Азья не любит этой девушки, тогда ее судьба, – как и всех остальных пленных в Рашкове, – будет весьма печальна.

– Им хуже, чем мне, – повторяла она, и это как бы ободряло ее и придавало новых сил.

Однако по истечении двух-трех часов пешей прогулки силы эти иссякали с каждой минутой. Солнце медленно зашло за Днестр, обдало красным отблеском все земное и наконец совсем исчезло; снег окрасился в фиолетовый цвет; золотистые лучи, разбросанные по обширному горизонту, начали суживаться и потухли.

Настала ночь.

Прошло еще около часа. Черный бор стоял молча, точно угрюмо думал, что ему делать с этим заблудившимся существом; в воздухе было тихо, и ни одна веточка не шелохнулась. Но ничего приятного не было в этой мертвенной тишине; напротив, она наводила тоску и онемение всех членов.

Однако Володыевская продолжала идти, жадно втягивая в себя свежий воздух, хоть и падала еще чаще, вследствие темноты и недостатка сил.

Хоть она часто поднимала глаза к небу, но уже не смотрела на Большую Медведицу; теперь она шла наобум, только потому, что нужно было идти, и потому, что ей начали мерещиться предсмертные видения. Например, ей казалось, что бор со всех сторон соединялся в четыре стены, со-

ставлявшие хрептиовскую светлицу, в которой она видела ясно камин с горевшим в нем огнем, офицеров, сидевших, по обыкновению, на лавках; Заглобу, спорившего со Сниткой; Мотовидлу, молча смотрящего на огонь, в котором время от времени что-то пищало, и он спрашивал: «Душа блуждающая, чего требуешь?» Видела, как паны Мушальский и Громько играли в кости с ее мужем, и она, подойдя к нему, говорит: «Миша, я сяду подле тебя, потому, что чувствую себя нехорошо». Миша обнимает ее: «Что с тобой, мой ангелок? А может быть?». И он наклоняется к ее уху и что-то шепчет она отвечает «Не знаю; но мне нехорошо». Ах, какая хорошая эта светлица, какой милый Миша... Только мне как-то не по себе.

Действительно, ей было не по себе. Потом горячка вдруг ослабевала, видения исчезли; она пришла в себя и восстановила в памяти все, что случилось.

– Да, я уйду от Азыи, – шепчет она, – теперь в лесу, ночь... не могу дойти до Хрептиоза и умираю.

После горячки ее охватывает лихорадка, пронизывающая до костей; ноги подгибаются, и наконец она становится на колени перед деревом.

В настоящую минуту ни малейшая тучка не затемняет ее мыслей. Ей не хочется расстаться с жизнью, но она знает, что пришла минута ее кончины и, желая поручить свою душу Богу, она отрывисто начинает:

– Во имя Отца и Сына.

Но дальше ее молитву прерывают какие-то ужасные, острые, скрипучие голоса, неприятно раздающиеся среди ночной тишины.

Бася раскрывает рот, и вопрос «Что это?» замирает на ее губах. Она прикладывает дрожащую руку к лицу, словно для того, чтобы убедиться, жива ли она и действительно ли она слышит эти голоса; она не верит своим ушам, и вдруг из ее груди вырывается восклицание:

– Боже!.. Да ведь это скрипят хрептиовские водоподъемы!.. Это колодцы. Это Хрептиов!..

И это умирающее существо вдруг вскакивает на ноги и, еле дыша и дрожа, с глазами, полными слез, и волнующейся грудью, опять бежит лесом, падает, встает и снова бежит.

– Да, там поят лошадей!.. Там Хрептиов. Это наши «журавли»!.. Ах, хоть бы добежать до ворот!.. Только бы до ворот!.. О, Боже, Боже!..

Лес начинает редеть, перед ее взором открываются снежные поля и холмы, из которых на нее смотрят несколько пар светящихся огоньков.

Но это не волчьи глаза, нет; эти огоньки из окон Хрептиова, который так сладко манит ее к себе, под свой спокойный и теплый кров; это крепостца, обращенная восточной стороной к лесу.

Было еще более версты, но Володыевская не заметила, как пробежала это расстояние. Солдаты, стоявшие на страже у ворот со стороны деревни, не узнали ее впотьмах, но про-

пустили, думая, что это кто-нибудь из слуг, исполнив поручение, возвращается к начальнику.

Употребив последние усилия, Бася вбежала на середину двора, прошла майдан, находившийся подле колодцев, у которых драгуны, вернувшись с объезда, поили на ночь своих лошадей, и наконец остановилась у дверей главного дома.

В эту минуту Заглоба и маленький рыцарь, сидя на скамье у камина, преспокойно попивали жженку и беседовали о Басе, которая хозяйничала в Рашкове. Оба скучали по ней и каждый день спорили о времени ее возвращения.

– Сохрани Бог, настанут дожди, слякоть и распутье, – говорил Заглоба, – и тогда Бог знает, когда она вернется.

– Нет, зима еще продержится, – отвечал маленький рыцарь. – Через какую-нибудь недельку-полторы я уже с нетерпением стану посматривать по направлению к Могилеву.

– Я предпочитал бы видеть ее в Хрептиове.

– А зачем же вы советовали ей ехать?

– Не брещи, Миша!.. Сам ты советовал.

– Только бы вернулась здоровой, – вздыхая, сказал Володыевский, – да поскорее.

В этот момент дверь скрипнула, и на пороге появилось какое-то оборванное и покрытое снегом существо.

– Миша! – раздался тоненький голосок.

Володыевский вскочил; в первый момент он остолбенел и только усиленно моргал.

– Миша! – опять услышал он. – Азия изменил... хотел

похитить меня, но я бежала, и. спаси, меня!..

С этими словами обессиленная женщина грохнулась на пол. Только теперь Володыевский пришел в себя и, прыгнув к ней, схватил ее, как перышко, на руки:

– Господи!.. – крикнул он.

Голова бедной женщины безжизненно свесилась с плеч Володыевского, и он, подумав, что держит только труп своей жены, страшно застонал.

– Умерла!.. Умерла!.. – завопил он.

Глава V

Весть о прибытии Володыевской мигом облетела весь Хрептиов, но никто, кроме мужа и Заглобы, не видел ее ни в этот вечер, ни в следующие дни. После первого обморока она на минуту пришла в себя и успела рассказать, что случилось, но вслед за тем впала в такое состояние, что никакими средствами нельзя было вынудить от нее ни одного слова; ее пробовали отогревать, поить вином, кормить, но она не узнавала даже мужа: не было больше сомнения, что для нее начинается тяжелая и продолжительная болезнь.

Между тем солдаты, узнав, что полковница вернулась, высыпали на майдан, а офицеры собрались в светлицу и с нетерпением ожидали новостей из боковой комнаты, в которой положили больную. Все соблюдали строжайшую тишину, которая нарушалась лишь суматохой прислуги, бегавшей то в кухню за горячей водой, то в аптеку за лекарствами; но они не останавливались, и их нельзя было ни о чем спросить. Неизвестность, в каком положении находилась общая любимица, убийственно действовала на всех.

Вскоре весь майдан был занят не только драгунами, но и вся деревня сошлась сюда; вопросы и ответы переходили из уст в уста, и скоро все узнали об измене Азыи и о том, как спаслась полковница. Народ возмутился при этом известии; солдаты роптали и шумели, приглушая голоса, чтобы

своим шумом не беспокоить больную.

Наконец, после долгого ожидания, Заглоба вышел к офицерам; глаза его были красны от слез, и волосы на голове топорщились; все обступили его и забросали вопросами:

– Жива?.. Жива?.

– Жива, – отвечал старик, – но, Бог знает, быть может, через час.

Голос Заглобы дрогнул, нижняя губа отвисла и задрожала, и он, вдруг схватившись за голову, грузно опустился на скамью и глухо зарыдал.

При виде его слез пан Мушальский, обняв Ненашинца, тоже заплакал; последний завторил ему; пан Мотовидло выпучил глаза, точно аршин проглотил; Снитко начал разглаживать руками полы своего жупана, потом заходил по комнате.

Солдаты, увидев через окно признаки их отчаяния, подумали, что полковница уже умерла, и подняли шум, выражая им свое отчаяние.

Заглоба, услышав крики, сильно рассердился и выбежал на майдан.

– Замолчите, черти!.. – цыкнул он приглушенным голосом. – Ах, чтоб на вас гром и молнии!..

Солдаты моментально стихли, поняв, что их отчаяние было несвоевременно, но не уходили с майдана.

Заглоба вернулся в светлицу и, успокоившись, сел на скамью. В эту минуту одна из служанок вышла из боковуши;

Заглоба вскочил и подбежал к ней.

– Ну, что? – спросил он.

– Спит.

– Слава Богу!

– Быть может, Господь подкрепит ее...

– Где полковник?

– У постели больной.

– Хорошо, ступай, куда послана.

Заглоба вернулся к офицерам, повторяя слова прислуги.

– Может, Господь сжалится над нею... Теперь она спит, и можно надеяться... Уф!

Все облегченно вздохнули и затем, окружив Заглобу, начали расспрашивать, что случилось с нею и как она бежала.

Заглоба подробно рассказал им все происшествия до последней минуты, причем снова зарыдал, прерывая свой рассказ.

– Если Господь сохранил ее в критическую минуту, – отозвался пан Мотовидло, вытирая мокрые усы от слез, – то спасет ее и теперь.

– Дай Бог, дай Бог!.. – отвечали офицеры.

В эту минуту послышался шум, больше прежнего, на майдане. Заглоба опять выбежал и увидел, что майдан переполнен народом и солдатами. Увидев Заглобу и двух других офицеров, солдаты стали полукругом.

– Замолчите, собачьи дети, – прикрикнул Заглоба. – иначе я прикажу.

Вдруг из полукруга выступил Исидор Люсня, драгунский вахмистр, истинный мазур и любимец Володыевского. Подойдя к Заглобе, он вытянулся в струнку и решительно сказал:

– Ваша милость!.. Если этот такой-сякой сын хотел обидеть нашу пани, то и мы хотим отмстить ему. Что я говорю, то скажут и все остальные. А если господин полковник не может с нами идти, то мы пойдем под начальством другого, хоть в самый Крым, только бы отомстить за нашу госпожу!..

В голосе вахмистра звучала холопская угроза; некоторые из драгунов и почтовиков начали скрежетать зубами, постукивать саблями и роптать. Этот глухой ропот, как ночное ворчание медведя, звучал зловеще.

Вахмистр продолжал стоять, вытянув руки по швам; он ждал ответа, а с ним ждали и все остальные; во всех чувствовались упрямство и ярость, готовые выйти из границ военной дисциплины.

Минуту продолжалось молчание, которое нарушил чей-то голос из дальних рядов.

– Кровь Азии – лучшее лекарство для полковницы!

Гнев Заглобы сразу прошел: его разжалобила такая любовь и привязанность солдат к Володыевской; притом, намек о лекарстве зародил в его старой голове благородную мысль послать за лекарем. В первую минуту в Хрептиове никто не подумал об этом; между тем в Каменце было несколь-

ко докторов, и между ними – известный грек, очень богатый человек, обладавший несколькими домами и славившийся своею ученостью; все его считали почти волшебником, а потому можно было думать, что этот человек едва ли поедет в Хрептиовскую пустыню за какую-нибудь незначительную цену, так как его даже вельможи величали «паном».

Заглоба призадумался на минуту и потом сказал:

– Заслуженная месть не минует этого пса, в чем я даю вам свое слово, и он лучше согласился бы ждать ее от короля, чем от Заглобы. Но ведь неизвестно, жив ли он, потому что полковница, вырываясь от него, угодила рукояткой пистолета в самую «мозговню». К тому же теперь не время думать о нем: надо прежде всего спасти полковницу.

– Мы готовы помочь ей хоть собственным здоровьем! – отвечал вахмистр Люсня.

Его слова подтвердили солдаты сдавленным ворчанием.

– Послушай, Люсня, – сказал Заглоба, – в Каменце живет медик Радопул. Поезжай к нему и скажи, что подольский генерал свихнул ногу за городом и ждет его помощи, и когда он выедет за городские стены, схвати его, посади на лошадь или в мешок и немедленно привези его в Хрептиов. А чтобы ты скорее вернулся, я прикажу расставить лошадей на каждом двухверстном расстоянии: мчись в карьер, только смотри привези его живым, потому что мертвый он нам не нужен.

Довольный шепот слышался в рядах; Люсня покрутил свои щетинистые усы.

– Я доставлю его невредимым и отпущу только в Хрептиове, – ответил он.

– Ступай!..

– Позвольте, ваша милость.

– Что еще?

– А если он потом околеет?

– Пусть околеват, только бы сюда приехал живой. Возьми шесть человек – и марш!

Вахмистр ушел, а за ним отделились еще шесть человек, которые живо начали седлать лошадей, обрадованные, что хоть что-нибудь могут сделать для своей любимицы. Не прошло и нескольких минут, как семь человек были на пути к Каменцу; следом за ними выехало еще несколько с лошадьми, назначенными для перемены по дороге.

Заглоба, довольный собой, вернулся в светлицу.

Спустя несколько минут Володыевский вышел из боковушки; он был похож на безумного и равнодушно слушал выражение сочувствия; сказав Заглобе, что Бася продолжает спать, он сел на лавку и устремил свой взор на дверь, за которой лежала больная. Офицерам казалось, что он прислушивается; все затаили дыхание, и в избе воцарилась невозмутимая тишина.

Прошло несколько минут; наконец Заглоба встал и подошел к нему на цыпочках.

– Миша, – сказал он, – я уже послал в Каменец за доктором, но... не послать ли еще за кем?

Володыевский смотрел на него рассеянно, точно не понимая, что он говорит.

– За священником. – прибавил Заглоба. – Ксендз Каминский мог бы приехать к утру.

Маленький рыцарь зажмурил глаза, повернул бледное лицо к камину и жалобно произнес:

– О, Господи, Господи, Господи!

Заглоба не стал ждать ответа и вышел распорядиться. Вернувшись, он уже не застал Володыевского в светлице. Офицеры сказали, что он пошел к жене, потому что та, во сне или в бреду, звала его.

Старик тотчас убедился лично: оказалось, что она звала мужа в бреду.

Щеки больной горели алым румянцем; с виду она казалась здоровой, но ее глаза были мутны, словно по ним разошлись бельма; белые руки однообразным движением как бы искали чего-то по одеялу. Володыевский лежал у ее ног полуживой.

Время от времени больная шептала непонятные слова, между которыми часто слышалось слово «Хрептиов». По-видимому, ей казалось, что она находится в дороге. Заглобу очень беспокоили эти движения рук: в них он видел быстрое приближение смерти Заглоба был опытный человек, и много людей умирало на его глазах, но он никогда не видал такого страдания, и его сердце рвалось на части: он не мог смотреть, как увядает этот цветок.

Будучи уверенным, что только один Господь может спасти

ее, он стал на колени у постели и начал молиться.

Между тем дыхание больной постепенно делалось тяжелее и превращалось в глухое хрипение. Володыевский вскочил с постели, Заглоба тоже встал с колен; оба посмотрели друг на друга, и в этом взгляде виден был ужас и отчаяние. обоим казалось, что больная умирает. Но это продолжалось не более минуты; скоро дыхание восстановилось, и она успокоилась.

С этой минуты они находились между опасностью и надеждой. Ночь шла очень лениво; офицеры не пошли спать, все сидели в тягостном ожидании решительных известий о жизни жены их начальника; время от времени они шептались, некоторые дремали. Через известный промежуток времени слуга входил в комнату, чтоб подложить дров в камин, и едва он прикоснулся к ручке двери, как все они вскакивали, предполагая, что это входит Володыевский или Заглоба и они услышат роковые слова:

– Умерла, бедненькая!..

Уже петухи начали петать, а пароксизм горячки все еще не проходил. Перед утром поднялся ветер, а за ним пошел дождь, который немилосердно хлестал по окнам; ветер завывал в трубы и выбрасывал клубы дыма с искрами в комнату.

С рассветом пан Мотовидло вышел из светлицы, так как он должен был уехать в объезд. Наконец настал sereneкий день и осветил измученные лица бодрствовавших всю ночь.

На майдане началось обыкновенное движение; среди свиста ветра слышалось топание лошадей, вытаскивание воды из колодцев, голоса солдат, а вскоре раздался колокольчик: приехал священник²³.

Когда священник вошел в комнату в белой ризе, называемой «комжей», все офицеры стали на колени. Всем казалось, что настала торжественная роковая минута, за которой должна была прийти смерть.

Так как больная лежала в беспмятстве, то священник не мог исповедовать ее, а только соборовал, а затем начал утешать и уговаривать маленького рыцаря подчиниться воле Бога. Но слова ксендза не могли утешить мужа, потому что в данную минуту он и сам близок был к помешательству.

В продолжение всего дня смерть витала над больною, как паук, который, свив свое гнездо в мрачном углу, незаметно опускается вниз, так и она каждую минуту незаметно опускала свою руку на голову бедной женщине и готова была отнять у нее жизнь. Всем присутствовавшим казалось, что тень смерти падает на лицо больной и что ее душа распростирает свои крылышки, чтоб улететь в неизвестное пространство, в другую, лучшую жизнь; затем смерть отходила, и снова надежда вселялась в сердца сочувствующих.

Однако эта надежда была очень обманчива, потому что

²³ У католиков было принято сопровождать священника со святыми дарами к больным с колокольчиком. Услышав его, народ становился на колени и произносил молитву.

никто не смел допустить, что больная переживет свою болезнь. Вследствие этого Володыевский все больше казался помешанным, так что Заглоба вынужден был просить офицеров, чтобы они следили за ним.

– Бога ради, – говорил он, – наблюдайте за ним; иначе он, наверное, воткнет в себя нож.

Хотя такая мысль Володыевскому не приходила в голову, но, находясь в отчаянии, он постоянно спрашивал себя:

– Неужели я должен жить, когда она умирает?.. Нет, я не могу отпустить ее одну. Что она скажет, когда, оглянувшись, не увидит меня подле себя?.

Из этого было ясно, что он хотел умереть вместе с нею: он не допускал жизни без нее, как равно не допускал, чтобы она могла быть счастливой в другой жизни без него и не сучала по нему.

После полудня зловещий паук опять скрылся под потолком; румянец больной исчез, и горячка уменьшилась настолько, что к ней вернулась память.

Полежав с закрытыми глазами, она открыла их, с вниманием посмотрела на мужа и затем спросила:

– Миша, я в Хрептиове?

– Да, моя дорогая! – отвечал, закусывая губу, Володыевский.

– И ты действительно стоишь подле меня?

– Да. Ну, как чувствуешь себя?

– Очень хорошо.

С этой минуты она все более приходила в себя. Вечером приехал вахмистр Люсня и вытряхнул из мешка каменецкого медика, вместе с его лекарствами. Бедняга еле дышал от страха. Но, убедившись, что он не у разбойников и что таким оригинальным образом он был приглашен к больной, он, придя в себя, пошел к ней и принялся за лечение; тем охотнее он готов был помочь, потому что Заглоба показал ему в одной руке мешочек золота, а в другой – пистолет.

– Это награда за жизнь, а это за смерть, – сказал он, показывая то и другое.

В эту же ночь, перед рассветом, зловещая смерть скрылась куда-то навсегда; приговор медика «Будет жива, но прохворает долго» раздался радостным эхом по всему Хрептиову. Услышав решение доктора, Володыевский до того расплакался от радости, будто он уже хоронил свою жену; Заглобу тоже бросило в жар, и он на радостях крикнул:

– Пить!..

Офицеры пожимали друг другу руки и поздравляли с благополучным исходом болезни всеми любимой и уважаемой женщины. Драгуны, почтовики и казаки собрались на майдан и, желая чем-нибудь выказать свою радость, просили полковника позволить им повесить нескольких пленных в честь скорого выздоровления их «пани».

Но маленький рыцарь не согласился на это.

Глава VI

Однако в продолжение недели Володыевская была до того слаба, что муж и Заглоба ожидали каждую минуту ее смерти, и если бы не уверения доктора, что она будет жива, то они пришли бы в отчаяние. Потом больной сделалось значительно легче, и хотя медик говорил, что она пролежит месяц или полтора, но все были убеждены в противном.

Володыевский, не отходивший ни на минуту от больной, полюбил ее за это время еще больше, так что, кроме нее, казалось, не видел света. Были минуты, когда он, сидя при ней и смотря на похудевшее, но уже веселое лицо и в глаза, в которых начал загораться прежний огонь, испытывал желание смеяться, плакать и кричать от радости.

– А ведь моя Баська выздоравливает!..

И он целовал ее руки, а иногда и маленькие ножки, которые так энергично шли по глубокому снегу в Хрептиов; словом, полюбил ее чрезвычайно, самоотверженно. Теперь он чувствовал себя в долгу у Бога и поэтому однажды сказал Заглобе в присутствии офицеров.

– Правда, я не богат, но хоть бы мне, чтоб разбогатеть, пришлось идти в работники, я все-таки построю хоть деревянную церковь. По крайней мере, я буду вспоминать о милосердии Бога при каждом ударе колокола и благодарить Его за милость ко мне.

– Прежде всего надо покончить с турецкой войной! – отвечал Заглоба.

– Господь лучше знает, чем я могу отблагодарить Его, – продолжал маленький рыцарь, – если ему нужна моя церковь, в которой бы молились Ему, то Он охранит меня от турецких пуль, а если захочет, чтоб я пролил свою кровь, то и ее не пощажу для Него.

Володыевская, по мере выздоровления, повеселела и, спустя две недели, вечером, приказала открыть дверь в светлицу, и когда все офицеры собрались туда, она приветствовала их своим серебристым голосом:

– Добрый вечер, господа!.. Ага, теперь уже не умру!..

– Слава Всевышнему! – отвечали воины хором.

– Слава Богу, дитына миленькая! – отозвался отдельно Мотовидло, который, как отец, любил Володыевскую и в минуты особенного волнения говорил по малороссийски.

– Смотрите господа, – продолжала выздоравливающая, – что со мной сделалось!.. Но кто мог ожидать этого?.. Хорошо еще, что все кончилось сравнительно благополучно.

– Господь хранит невинных, – отозвались голоса из светлицы.

– А еще пан Заглоба часто смеялся надо мною, что у меня больше охоты к сабле, чем к веретену. Хороша бы я была с этим веретеном или иглой. А ведь я – не пражда ли – отличилась, как мужчина?

– Пожалуй, и мужчина не отличился бы так!..

Разговор этот прервал Заглоба и, боясь, что он вредно отзовется на больной, запер дверь в боковушу. Володыевская надула губки: ей хотелось поболтать, а главное – послушать, как ее будут хвалить за геройство. Теперь, когда опасность миновала, она очень гордилась своим поступком и требовала похвал. Часто она обращалась к мужу и, дотрагиваясь рукою до его груди, как разнеженный ребенок, говорила ему:

– Хвали за мужество!

И он слушал ее, хвалил, нежил и целовал ее руки, глаза, лицо, так что Заглоба, несмотря на свою чувствительность, начинал ворчать:

– Ну, растаял, как баба, как дедовский бич...

Общая радость по поводу выздоровления Володыевской возмущалась только одной мыслью, а именно, об измене Азый, который мог причинить много неприятностей Речи Посполитой; затем о судьбе старика Нововойского, обеих барынь Боска и Евы. Володыевская чрезвычайно беспокоилась о них, так как рашковский инцидент был известен не только в Хрептиове, но и в Каменце и далее. Несколько дней тому назад в Хрептиов приехал пан Мыслишевский, который, несмотря на измену Азьи, Крычинского и Адуровича, питал надежду перетянуть на свою сторону некоторых липковских ротмистров. Следом за последним приехал и пан Богуш, а после них пришли известия из Могилева, Ямполья и даже из Рашкова.

В Могилеве пан Горженский, по-видимому, лучший сол-

дат, чем оратор, не позволил обойти себя. Подслушав инструкцию Азыи, данную липчанам, он сам напал на них со своею горстью солдат и частью перерезал, а частью взял в плен. Кроме того, он послал в Ямполь предостережение, вследствие чего уцелел и этот город, а вскоре туда пришли войска, так что пострадал только один Рашков. Володыевский получил оттуда письмо от пана Белогловского, который доносил ему обо всем случившемся и других делах Речи Посполитой.

«Хорошо, что я приехал, – писал он между прочим, – потому что Нововойский, занимавший мое место, не был бы в состоянии исполнять свои обязанности. Теперь он больше похож на кощя, чем на человека, и мы, наверное, потеряем его, так как отчаяние совсем его сломило: отца зарезали, сестру подарили Адуровичу, а молодую Боско Азыя взял к себе. Таким образом, хоть бы и удалось освободить их из плена, но они уже лишены чести. Все это мы узнали от одного липчанина, который при переправе через реку свихнул себе шею; мы взяли его и, поджаривая на угольках, вынудили у него признание. Тугай-бей, Крычинский и Адурович пошли под Адрианополь; Нововойский тоже стремится туда; он хочет отомстить Азые, хоть бы ему пришлось вытащить его из середины турецкого обоза. Он всегда был горяч, а теперь особенно, потому что дело идет о панне Боско, судьбу которой мы все оплакиваем, потому что она была очень хорошая девушка. Однако я успокаиваю его и гово-

рю, что Азия сам придет к нему, потому что война неминуема, как и то, что орды должны идти вперед. Я получил известие от турецких купцов, что под Адрианополь уже собираются войска орды – большая сила; туда же идут турецкие спаги, и скоро прибудет сам султан с янычарами. Да, милостивый государь, у них войск, как муравьев в лесу, а у нас только горсть. Одна надежда на каменецкую крепость, которая, быть может, защитит нас, если ее хорошенько осмотреть. В Адрианополе уже весна, и у нас – почти, потому что идут дожди и трава зеленеет. Я еду в Ямполь, потому что Рашков представляет груду золы, так что некуда ни головы преклонить, ни чего поесть. Притом я думаю, что скоро всех нас потянет туда».

У маленького рыцаря были свои известия, и тем более верные, что они происходили из Хотина: война была неминуема. Об этом он сообщил уже и гетману. Однако полученное письмо Белогловского, подтверждавшее его известия, произвело на него сильное впечатление. Конечно, он не боялся войны, но опасался за жену.

– Гетманский приказ собирать войска может прийти каждую минуту, – говорил он Заглобе, – и мне придется немедленно выступить, а тут Баська еще лежит, да и погода скверная.

– Хоть бы пришло десять приказов, – возразил Заглоба, – Баська – основание, и будем сидеть, пока она совсем не выздоровеет. Ведь война не скоро начнется, потому что по рас-

путице нельзя везти пушки к Каменцу.

– В вас всегда сидит старый волонтер, – сказал нетерпеливо маленький рыцарь, – неужели вы думаете, что можно игнорировать приказание ради частных интересов?

– Ну, если тебе милее приказ, чем Баська, то упаковывай ее и поезжай!.. – воскликнул Заглоба. – Я знаю, что ты готов на вилах посадить ее в бричку, если она не будет в силах сесть сама. Черт бы вас побрал с такой дисциплиной!.. По-старинному, человек делал, что мог, а теперь у вас все иначе, и стоит только сказать: «Гайда на турку!» – ты выплунешь свою жену, как косточку от вишни, и поведешь ее за собою на аркане.

– Побойтесь Бога!.. Что вы говорите?.. – воскликнул Володыевский. – Я ли не люблю Басю.

Заглоба сердито засопел, потом взглянул на Володыевского и, видя, что тот очень опечалился, ласково произнес:

– Послушай, Миша, ведь ты знаешь, что я говорю так только благодаря моему родительскому чувству к Басе. Иначе я не сидел бы здесь под турецким топором, вместо того чтобы сидеть где-нибудь за печью и пользоваться полным спокойствием в моих летах. Вспомни, кто сосватал тебя с Баськой?.. Если не я, то прикажи мне выпить кадку чистой воды.

– Жизнью своею я заплачу вам за это! – ответил маленький рыцарь.

И они обнялись. После этого Володыевский продолжал:

– Если будет война, то я уж так решил: вы возьмете Баську и поедете с нею к Скшетуским, в землю Луковскую. Ведь туда не дойдут турецкие войска.

– Я все сделаю для тебя, хоть у меня и чешутся руки на турку; для меня нет хуже этого народа, не пьющего, как свиньи, вина.

– Я только одного боюсь, что Баська захочет ехать в Каменец, чтобы быть фи мне. Я даже дрожу при этой мысли, а я убежден, что она настоит на этом.

– В таком случае не соглашайся. Ведь ты знаешь, сколько неприятностей вышло из этой рашковской экспедиции, а ведь я сразу был против нее.

– Неправда!.. Вы сказали, что не хотите советовать.

– Раз я так сказал, значит, не хотел советовать, потому что это вышло бы хуже.

– Стоило бы ее поучить, но что с ней сделаешь?.. Если она увидит меч над моей головой, то упрется и поставит на своем.

– Говорю: не позволяй!.. О, Господи!.. Какая ты, право, тряпка.

– Признаюсь, когда она выпялит на меня свои глаза и станет плакать, то растаю, как масло на горячей сковороде. Верно, она что-нибудь сделала со мной – иначе я не был бы таким мягким. Отослать-то я отошлю ее, потому что мне милее ее безопасность, чем мое здоровье, но когда я подумаю, что этим я сильно опечалю ее, то я даже немею от страха.

– Полно, Миша!.. Можно ли позволять водить себя за нос!..

– Ага!.. Вот вы как запели!.. А кто говорил, что я немилосерден к ней.

– Гм!.. – почесал затылок Заглоба.

– Кажется, ты человек умный, между тем теперь и сам чешешь за ухом.

– Потому что обдумываю, как поступить с нею.

– А если она сразу вперит в вас свои глаза?

– И, пожалуй, вперит, – сказал Заглоба с большой озабоченностью.

Оба они опечалились над этим вопросом, так как, правду сказать, Володыевская знала их насквозь. Они разнежили ее до крайности во время болезни и так любили, что мысль поступить с нею вопреки ее воле ужасала их. Что Володыевская покорно подчинится своей участи – это они хорошо знали, но даже Заглоба предпочел бы ударить на полк янычаров, чем выдержать ее взгляд.

Глава VII

В тот же день под вечер приехали к ним весьма желанные, но неожиданные гости, от которых они ожидали большой помощи: Кетлинги сделали им сюрприз, не предупредив их о своем приезде. Удивления и радости их нельзя было описать. Кетлинги, узнав, что жена маленького рыцаря выздоравливает, очень утешились этим; Христина тотчас отправилась в боковую комнату, и радостный писк Варвары дал понять рыцарям о ее счастье.

Кетлинг и Володыевский долго обнимали друг друга и то отталкивались, то снова соединялись в дружеских объятиях.

– О, Боже! – восклицал маленький рыцарь. – Кажется, я столько не обрадовался бы булаве, сколько приезду твоему. Ну, как живешь и что поделываешь в этой стране?

– Гетман назначил меня начальником каменецкой артиллерии, – отвечал Кетлинг, – и я приехал с женою в Каменец. Там, узнав о том, что с вами случилось, мы тотчас приехали в Хрептиов. Слава Богу, что все кончилось благополучно, а то мы ехали сюда в большом сомнении и не знали, что застанем здесь: радость или печаль.

– Радость, радость! – вскрикнул Заглоба.

– Как же все это случилось? – спросил Кетлинг.

Володыевский и Заглоба, перебивая друг друга, начали рассказывать, что и как случилось; Кетлинг слушал их

и удивлялся мужеству Баши.

Наговорившись досыта о разных делах, Володыевский спросил Кетлинга, что с ним было с тех пор, как они расстались. Кетлинг удовлетворил его любознательность и сказал, что после свадьбы он жил на границе Курляндии и что им обоим было так хорошо, как ангелам в небесах. Кетлинг, беря в жены Христину, знал, что берет «неземное существо», и с тех пор не изменил своего мнения.

Володыевский и Заглоба вспомнили, что Кетлинг всегда выражался высоким слогом, а потом опять начали обнимать его. После этого Заглоба обратился к Кетлингу и спросил:

– Ну, а не случился ли с тобой какой-нибудь казус, который брыкается ногами и пальцами ищет во рту зубов.

– Да, Господь наградил меня сыном, – смеясь, отвечал Кетлинг, – да и теперь.

– Я уже заметил, – прервал Заглоба. – А у нас все по-старому.

При этом он посмотрел на Володыевского, который быстро зашевелил своими усиками.

В эту минуту из комнатки больной вышла Христина и, остановившись у дверей, сказала:

– Баська зовет вас.

Все отправились в боковушку, в которой начались новые приветствия. Кетлинг целовал руки больной, а Володыевский – Христины, причем все смотрели друг на друга, как люди, долго не видавшиеся.

Кетлинг почти не изменился; его волосы были острижены, и поэтому он казался моложе своих лет; зато Христина сильно изменилась, по крайней мере, в настоящее время; теперь она не была такой гибкой и стройной, да и в лице побледнела, от чего пушок на ее губах казался чернее. Остались только прежние глаза и выражение, но черты лица потеряли свою прежнюю прелесть. Разумеется, это было временно, однако Володыевский, посматривая на нее, сравнивал ее со своей женой и задавал себе вопрос: «Как я мог полюбить ее?.. Где тогда были мои глаза?»

И наоборот, Володыевская казалась Кетлингу прекрасной, лицо ее хоть и побледнело во время болезни, но было нежным, как лепестки белой розы. Впрочем, в настоящую минуту она зарумянилась от радости, и ее ноздри по-прежнему быстро раздувались. Она казалась почти подростком и, на взгляд, ей можно было дать на десять лет менее, чем жене Кетлинга.

Но ее красота сильнее подействовала на Кетлинга только в том смысле, что он начал еще больше думать о жене и считать себя виновным по отношению к ней.

Обе женщины уже успели высказать все, что можно было высказать в такой короткий промежуток времени, поэтому теперь вся компания, сев у постели больной, начала вспоминать о прошлом. Но разговор их не клеился, так как в прошлом много было разных неприятных моментов, как, например, обручение Володыевского с Христиной и его равноду-

шие к Варваре, теперь любимой им жене, разные обещания, хлопоты, отчаяние. Пребывание в доме Кетлинга оставило у всех приятное впечатление, но о нем неловко было говорить, вследствие чего Кетлинг переменял тему.

– Ах, я и забыл вам сказать: ведь мы, по дороге, заезжали к Скшетуским, которые продержали нас две недели, и то не хотели отпустить. У них нам было так хорошо, что едва ли будет лучше в небесах.

– Ах, Боже мой! – воскликнул Заглоба. – Так вы были у них. Ну, как они поживают?.. Застали его дома?

– Да, застали, потому что он на время приехал от гетмана с тремя своими сыновьями, которые там служат в войсках.

– Я не видал Скшетуских после нашей свадьбы, – отозвался Володыевский. – Хоть он был в Диких Полях и его сыновья были с ним, но мне не удалось видеть его.

– По вам там ужасно скучают, – обратился Кетлинг к Заглобе.

– Ба!.. Да и я скучаю по ним, – отозвался старик – Но всегда ведь так: сидя здесь, я скучаю по ним, поеду туда – буду скучать по этой ласточке. Такая уж жизнь человеческая, что не в одно, то в другое ухо сквозит ветер, хуже всего быть сиротою. если б у меня было что-нибудь свое, то не любил бы чужое.

– Ведь и родные дети больше бы не любили вас, чем мы любим, – отозвалась Володыевская.

Заглоба обрадовался этому комплименту и, отбросив

мрачные мысли, вошел в свою колею веселого настроения.

– Гм!.. Глуп я был тогда у Кетлинга, – сказал он, посопев, – что, сватая вам Христю и Басю, не подумал про себя!.. А можно было бы. Ведь признайтесь, – прибавил он, обращаясь к женщинам, – вы обе были равнодушны ко мне и скорее вышли бы за меня, чем за Мишу или Кетлинга.

– Разумеется! – воскликнула Володыевская.

– Галька Скшетуская, в свое время, тоже предпочла бы меня, но теперь уже поздно!.. По крайней мере, невеста, не такая, которая бьет татар по зубам. Ну, а здорова ли она?

– Слава Богу, здорова, но опечалена, что ее два сына бежали из буковской школы в войска, – отвечал Кетлинг, – сам Скшетуский рад, что его дети такие герои, но мать есть мать!

– Много у них детей? – спросила Володыевская.

– Двенадцать мальчиков, а теперь пошли девочки.

– Да, это особенное расположение к ним Бога, – сказал Заглоба. – Всех их я, как пеликан, вынянчил собственными руками. Однако, придется средним надрать вихры, потому что, если уж они хотели бежать, то пусть бы бежали к Мише. Но погодите, это, верно, бежали Миша и Ваня. Их там такое множество, что даже сам отец путал их имена. Все они хорошие стрелки, и на полмили не увидишь ни одной вороны, потому что они всех их перестреляли из винтовок. Да, другой такой женщины ни днем, ни с огнем не отыщешь!.. Бывало, скажешь ей: «Слушай, Галька, шалуны подросли, пора

новых заводить!» И она, хоть фыркнет, но к сроку всегда готова, точно ей ветер приносил. Вы только подумайте: до того дошло, что если какая-нибудь женщина из окрестностей не могла дожидаться приплода, то одалживала у нее платье – и это очень помогало. Ей-Богу!..

Все, конечно, удивлялись, вследствие чего настала невольная тишина, которую нарушил Володыевский и, обращаясь к жене, произнес:

– Слышишь, Баська?

– Да замолчи ты, Миша! – отвечала жена.

Но Миша не хотел молчать, так как ему приходили разные мысли, которые он хотел высказать и сделать дело, беспокоившее его. Поэтому он начал говорить как бы между прочим, хотя в его словах и была задняя мысль.

– Не мешало бы навестить Скшетуских Положим, что его не будет дома, таё как он наверное пойдет к гетману, но ведь она женщина умная и останется дома.

При этом он посмотрел на Кетлинга и продолжал:

– Уже весна, и погода будет прекрасная. Теперь для Баськи еще рановато, но потом, быть может, я не стал бы противиться, потому что это приятельская обязанность. Пан Заглоба отвез бы вас, а к осени, когда все успокоится, и я приехал бы к вам.

– Да, это прекрасная мысль! – воскликнул Заглоба. – Но ведь я и так должен ехать, потому что уже достаточно был неблагодарным по отношению к ним, забыв, что они живут

на свете. Теперь мне даже совестно за себя.

– Что вы скажете на это? – спросил Володыевский, смотря в глаза пани Кетлинг.

Но та совершенно неожиданно спокойно отвечала:

– В другое время я с радостью была бы готова сопровождать Басю, но теперь этого не может быть, потому что я должна остаться при муже в Каменце и ни за что не брошу его одного.

– Что вы говорите! – воскликнул Володыевский. – Вы хотите остаться в крепости, которую наверняка станет осаждать неприятель, не знающий никаких послаблений. Если б еще мы воевали с какими-нибудь благородными людьми, а то ведь с варварами. А вы знаете, что значит попасть в турецкий или татарский плен?.. При одной мысли я весь дрожу!..

– Все-таки иначе не может быть, – возразила жена Кетлинга.

– Послушай, Кетлинг! – сказал в отчаянии Володыевский. – Неужели ты позволил командовать собою?.. Да побойся ты Бога!

– Мы долго спорили по этому вопросу, – отвечал Кетлинг, – но она поставила на своем.

– К тому же и сын наш в Каменце у одной знакомой. Но неужели вы думаете, что неприятель возьмет Каменец? – Она набожно вознесла свои ясные глаза к небу и прибавила: – Впрочем, Господь сильнее турка и не обманет нас в на-

шей надежде!.. А так как я поклялась мужу не оставлять его до смерти, то мое место при нем.

Маленький рыцарь смешался, потому что совсем не того ждал от Кетлинга.

Володыевская, заметив с начала разговора, куда ее муж клонит, хитро улыбнулась и вперила в него свои быстрые глаза.

– Слышишь, Миша? – спросила она.

– Замолчишь ли ты! – воскликнул сконфуженный муж и бросил отчаянный взгляд на Заглобу, как бы ожидая от него помощи, но этот изменник встал и внезапно сказал:

– Однако, соловья баснями не кормят и не единым словом сыт человек: пора подумать об ужине.

И с этими словами он ушел из комнаты больной. Вскоре за ним вышел и Володыевский.

– Ну, что? – спросил Заглоба.

– Что же? – отвечал маленький рыцарь.

– Ах, чтоб ей пусто было, этой Христе!.. Неудивительно, что Речь Посполитая гибнет, когда женщины управляют ею.

– Вы ничего не придумали?

– Если ты боишься жены, то, разумеется, ничего не придумаешь! Прикажи еще кузнецу подковать себя!..

Глава VIII

Кетлинги пробыли в Хрептиове около трех недель. По истечении этого времени Володыевская пробовала встать с постели, но оказалась еще настолько слабою, что не могла стоять на ногах. Она раньше выздоровела, чем собралась с силами, и доктор предписал ей лежать, пока совсем не окрепнет.

Между тем настала весна с теплым ветром, который разорвал черные тучи, как старые одежды, а потом начал сгонять их с неба, как пастух сгоняет стадо овец с поля. Тучи, уходя, часто бросали крупные капли дождя. Растаявшие снега образовали на разных полях целые озера воды, ручейки плыли длинною тесьмою в овраги, которые, в свою очередь, шумели и хлопотали, унося все в Днестр.

В промежутки разорванных туч проглядывало ясное, молодое солнце, влажное, словно оно только что выкупалось в этой всеобщей купальне.

Вскоре показалась из-под воды зеленая травка; тонкие веточки кустарников набухли, а солнце с каждым днем пригревало сильнее; появились стаи мелких птиц, диких гусей, аистов, журавлей; за ними появились ласточки; затрещали и лягушки в мелкой теплой воде, запели певчие птицы; словом, вся природа оживилась и все как-будто радостно восклицало:

– А-у! Весна пришла!

Но для этих несчастных стран она принесла не радость, а печаль, не жизнь, а смерть.

Через несколько дней после отъезда Кетлингов маленький рыцарь получил от пана Мыслишевского следующее письмо:

«На кучункарийских полях собираются войска. Султан послал значительные суммы в Крым. Хан с пятидесятитысячной ордой идет на помощь Дорошенке. Навала, как только обсохнут вешние воды, двинется по Черному и Кучменскому трактам. Да смилуется Господь над нашею бедною Речью Посполитою».

Володыевский тотчас послал с этим известием своего слугу Пентку к гетману.

Сам он, однако, не спешил из Хрептиова. Во-первых, как солдат, он не мог оставить этой станицы без приказа гетмана; во-вторых, он был опытный воин и знал, что татарские войска нескоро двинутся в поход, потому что еще вода не сошла, трава не выросла и казаки стояли в степях; а турков он ожидал только летом. Хотя они собирались под Адрианополем, но такой громадный табор войск, обозной прислуги, разной тяжести, лошадей, верблюдов и буйволов не мог быстро идти. Татарскую орду следовало ожидать гораздо раньше – в конце апреля или в начале мая. Правда, перед главным сегеном, насчитывавшим десятки тысяч войск, являлись небольшие отряды и более или менее значительные ватаги, как отдельные капли дождя перед ливнем. Но их не боялся маленький рыцарь. Даже лучший татарский

полк не мог устоять в открытом поле против польской конницы; что же тогда говорить о тех толпах, которые при одном известии о приближении войск рассыпались во все стороны, как пыль перед вихрем.

Во всяком случае времени было много, а если бы его было и мало, то Володыевский с удовольствием размял бы свои косточки в стычке с каким-нибудь чамбуликом, потому что он был воин по плоти и крови; близость войны возбуждала в нем жажду неприятельской крови, а вместе с тем успокаивала его.

Не так было с Заглобой, и хотя он в продолжение всей жизни достаточно привык ко всяким опасностям, тем не менее он больше беспокоился. В критические минуты он был даже отважен, но эта отвага была приобретена им часто помимо его воли; однако же первые известия о войне производили на него неприятное впечатление. Только когда маленький рыцарь объявил ему свои соображения, Заглоба ободрился и даже начал вызывать весь Восток на поединок.

– Когда христианские нации воюют между собою, – говорил он, – то и сам Господь печалует, да и ангелы почесывают затылки, потому что где заботлив хозяин, там заботлива и челядь; но кто бьет турка, тот удостоивается любви всего неба. Я слышал от одной духовной особы, достойной доверия, что все святые даже млеют при виде этих собачьих сынов; они отбивают у них аппетит к небесной пище и портят их вечное блаженство.

– Да иначе и быть не может, – отвечал Володыевский. – Дело в том, однако, что у турок большая сила, тогда как наши войска, в сравнении с ними, можно собрать в одну горсть.

– Все-таки турки не захватят всю Речь Посполитую. Разве у шведского короля Карла Густава мало было войск?.. А ведь тогда велись войны и с северянами, и с казаками, и с Ракочем, и с электором!.. А теперь где они?.. Всех уничтожили и даже междоусобную войну между ними затеяли.

– Правда. Я первый не боялся бы войны, потому что дал обет отслужить Богу за Его милосердие к Баське, но я думаю об этой стране, которая вместе с Каменцем может перейти, хоть на время, в руки неприятеля. Вы только подумайте, какое святотатство станут чинить они в наших церквях и сколько натерпится от них народ христианский.

– Только не говори мне ничего о казаках!.. Все они негодяи!.. Они поднимали руки против своей матери – отчизны, и пусть их встретит то, чего они заслуживают. Главное – Каменец защитить. А как ты думаешь: сдастся он?

– Я думаю, что подольский губернатор не позаботился принять меры к защите и не осмотрел его как следует а мещане, пока гром не грянул, тоже не подумали о том. Кетлинг говорил, что туда пришли хорошо вышколенные полки епископа Требицкого. Да что тут говорить!.. Ведь защищались же мы под Зборажем за ничтожными валами!.. А здесь и подавно защитимся, потому что Каменец – орлиное гнездо.

– Оно так, но неизвестно, найдется ли в нем орел, каким

был Вишневецкий, или ворона? Знаешь ли ты подольского генерала?

– Да, то богатый человек и хороший солдат, но немного ленив.

– Именно. Я это часто высказывал ему. Потоцкие однажды хотели, чтобы я ехал с ним за границу воспитывать его и обучать манерам. Но я ответил им: «Не поеду, потому что он ленив; в его обуви ни в одном сапоге нет по два уха, и он станет ходить в моей; а ведь сафьян дорог». Позже, при Марии Людовике, он ходил одетым по-французски, но у него всегда падали чулки, и он светил голыми пятками. Где ему до Вишневецкого!

– Каменецкие купцы тоже боятся осады, потому что в торговле застой. Они предпочли бы принадлежать туркам, только бы не закрывать своих лавок.

– Шельмы! – произнес Заглоба.

Оба призадумались над будущей участью Каменца; в частности они заботились только о Басе, которая, в случае сдачи крепости, должна была бы разделить участь всех жителей.

Подумав минуту, Заглоба вдруг хлопнул себя по лбу.

– Да чего же мы беспокоимся! – воскликнул он. – Зачем нам идти в этот паршивый Каменец и запирать себя? Лучше мы останемся при гетмане и станем действовать в открытом поле!.. В этом случае Баська не пойдет в полк и, волей или неволей, вынуждена будет уехать куда-нибудь подальше, например, хоть к Скшетуским... О, Миша! Господь ви-

дит мое сердце и знает мое желание биться с неверными, но для тебя и для твоей жены я откажусь от этого и увезу ее.

– Спасибо! – отвечал маленький рыцарь. – Разумеется, если я не буду в Каменце, то и Баська не поедет туда, но если гетман пришлет приказ ехать туда, то что тогда делать?.

– Что делать?.. О, черт побрал бы все эти приказы!.. Но, погоди, погоди!.. Я начинаю думать. Можно предупредить приказ!

– Каким образом?

– Очень просто. Напиши сейчас к Собескому и, сообщая ему какие-нибудь новости, в конце прибавь, что ввиду близкой войны ты, из любви к его особе, хотел бы остаться при нем и сражаться в открытом поле. Не правда ли, великолепная мысль? Во-первых, было бы непростительно запирать в стенах такого героя, как ты, когда он нужен в поле; во-вторых, за это письмо гетман еще больше полюбит тебя и наверняка оставит при себе. Ведь ему нужны верные солдаты. Ты только вникни: если Каменец выдержит, то вся слава этой победы падет на подольского генерала, а если ты отличишься в открытом бою, то это будет слава гетмана. Не бойся. Гетман не уступит тебя генералу. Вместо нас он отдаст других, но тебя и меня ни за что не уступит!.. Напиши и напomini ему о себе! О, мое остроумие еще стоит чего-нибудь, другого такого не сыщешь и среди навозных куч, в которых роятся куры. Ну, Миша!.. Теперь нам не мешает выпить при этой удобной okazji. Пиши письмо!..

Действительно, Володыевский очень обрадовался мысли Заглобы и поэтому обнял его.

– Да, – сказал он, подумав, – этим я не обману ни Бога, ни гетмана, ни отечества, потому что в открытом поле я принесу больше пользы, чем за каменецкими стенами. Сердечно благодарю вас. Я тоже думаю, что гетман с удовольствием оставит меня у себя под рукою, в особенности после моего письма. Но чтоб и Каменец не забыть, знаете, что я сделаю? Я соберу отряд пехоты, вышколю его и на свой счет отправлю в Каменец, о чем и сообщу гетману в письме.

– Еще лучше!.. Но откуда мы возьмем людей?

– Да у меня в подвалах сидит до сорока разбойников и левенцов²⁴, и я возьму их. Бася часто советовала мне, а когда я хотел казнить их, просила даровать им жизнь и превратить их из разбойников в солдат. Правда, я неохотно соглашался на это, потому что нужно было, для примера прочим, наказать их. Но так как теперь война на носу, то все можно. Это такой народец, который уже не раз понюхал пороху. Кроме того, я объявлю повсюду, что каждый, кто добровольно явится в полк из своих логовищ, тот получит полное прощение за свои преступления. Верно, соберется не менее ста человек. Жена будет очень довольна. Спасибо вам: вы сняли с моей души тяжелый камень.

²⁴ Левенсами назывались небольшие отряды казаков и крестьян, которые разбредлись, по окончании казачьих войн, по берегам Днестра и занимались грабежами и разбоями.

В тот же день маленький рыцарь отправил нового гонца к гетману и объявил разбойникам амнистию, если они добровольно поступят в пехоту. Те, разумеется, охотно согласились и обещали привлечь и других Володыевская очень обрадовалась. Тотчас послали за портными, которых собрали в Ушице и Каменце и заставили шить платье для новоявленных солдат. Каждый день бывшие разбойники учились ружейным приемам и маршировке на хрептиовском майдане. Володыевский радовался, что он будет сражаться в открытом поле и что жена его не подвергнется опасности во время осады Каменца, между тем как этим самым он окажет большую услугу как отечеству, так и осаждаемому городу.

Прошло несколько недель в подготовке новых солдат и их обмундирования, как вдруг, однажды вечером, гонец вернулся от гетмана с письмом, в котором заключалось следующее:

«Дорогой мой и милый Володыевский!

За то, что ты аккуратно присылаешь мне всякие новости, я не останусь у тебя в долгу; за это как я, так и отечество будут всегда благодарны тебе. Война неизбежна. Я тоже получил известия, что на Кучункарах стоит большая сила, состоящая вместе с ордою до трехсот тысяч. Орды могут двинуться каждую минуту. Ни о чем султан так не хлопочет, как о Каменце. Изменники липки покажут туркам все дороги, и доведут их и научат, как взять эту крепость. Я надеюсь, что Господь выдаст в твои руки эту гадину, Азию Ту-

гай-бея, в твои или Нововейского, над несчастьем которого я искренно болею и сочувствую ему. Что касается твоего предложения быть подле меня, то Господь видит, как я рад этому, но, к сожалению, не могу допустить, потому что подольский генерал после выборов был ко мне весьма доброжелателен, и поэтому я хочу послать к нему лучшего из воинов Речи Посполитой, так как очень забочусь о Каменецкой крепости Правда, там будет много людей, выдавших раз или два войну, но все они похожи на тех, кто хоть раз отведал вкусного блюда и целый век вспоминает о нем; а такого человека, который всю жизнь провел в огне и нуждается в нем, как в хлебе насущном, едва ли найдется, а если и найдутся такие люди, то они не имеют никакого влияния и не могут дать дельного совета Ввиду этого я и посылаю тебя, так как Кетлинг, хоть и хороший солдат, мало известен, между тем как на тебя будут обращены взоры всех граждан Несмотря на то, что командовать войсками будет другой, но все будут слушаться твоих советов и распоряжений. Хоть служба в Каменце довольно опасная, но мы уже привыкли к тому огненному дождю, от которого многие прячутся. За это нас достаточно вознаградит слава и благодарность потомства. Раз отечество в опасности, то я считаю лишним напоминать тебе спасать его».

Письмо это, прочитанное в присутствии офицеров, произвело большое впечатление, так как все предпочитали действовать в поле, а не в крепости.

Володыевский поник головой.

– Ну, что ты думаешь? – спросил Заглоба.

Маленький рыцарь спокойно взглянул на него и так же спокойно ответил:

– Что же мне думать?.. Пойдем в Каменец.

Казалось, что в его голове никогда не зарождалось другой мысли. Однако после этого он вдруг зашевелил усиками и прибавил:

– Да, товарищи, пойдем в Каменец и не отдадим его, пока сами не погибнем.

– Да, пока сами не ляжем костью, – повторили офицеры. – Ведь раз умирать!

Заглоба молчал, окидывая взглядом окружавших его, и видя, что они ждут его слова, вдруг запыхтел и сказал:

– И я пойду с вами, черт меня побери!

Глава IX

Как только просохла земля и травы зазеленели, хан двинулся на помощь Дорошу и взбунтовавшимся казакам во главе пятидесятитысячной крымской и астраханской орды. Сам хан, его родственники и все значительные мурзы и беи были одеты в кафтаны, полученные в подарок от падишаха. Все они шли теперь на Речь Посполитую не так, как обыкновенно ходили за добычей и пленниками: теперь они шли принять участие в священной войне, на погибель Ляхистану и всему христианству.

Другая, более грозная туча собиралась под Адрианоподем, туча, против которой могла устоять только одна Каменецкая крепость. Вся остальная Речь Посполитая похожа была на открытую степь или на больного человека, который не только не может защищаться, но даже встать на ноги. Все силы ее истощились в прежних, только в конце победных войнах со шведами, пруссаками, русскими, казаками, венгерцами; кроме того, ее обессилили войсковые конфедерации и бунты Любомирского. В конце концов ее ослабили домашние неурядицы, бессилие королей, распри вельмож, заблуждение шляхты и ужасы междоусобной войны. И напрасно великий Собеский предсказывал гибель: никто не хотел верить в возможность войны, вследствие чего не принимали никаких мер к обороне; в казне не было денег, а у гетма-

нов – войск. Силе, против которой едва ли могли устоять союзные войска всех христиан, гетманы могли противопоставить только несколько тысяч человек.

Между тем на Востоке, где все и вся подчинялось воле падишаха и народ служил как бы мечом в руках одного человека, все было иначе. Едва только развернули знамя великого пророка и повесили бунчуки над воротами сераля и на башне сераскериата, а улемы начали провозвещать священную войну, как пол-Азии и вся северная Африка поднялись, как один человек. Сам падишах приехал весною в Кучункарийскую долину и там начал собирать невиданные до этого в мире силы. Сто тысяч спагов и янычаров, отборных турецких войск, находилось только при его священной особе, не говоря уже о тех, которые потом начали собираться из всех более или менее отдаленных стран его владений. Жившие в Европе прибыли раньше; за ними пришли боснийские беги в ярких одеждах, злые, как змеи, и быстрые, как молния; затем пришли дикие пешие албанцы, сражавшиеся широкими кинжалами, за ними ватаги отуречившихся сербов; потом народ, живший на берегах Дуная, жители обеих сторон Балканских гор и далее – греческих. Каждый паша вел с собою целую армию, которая могла бы заполнить всю беззащитную Речь Посполитую. Потом явились валахи и молдаване, добруджские и белгородские татары; несколько тысяч липков и черемисов, которыми командовал Азия Тугай-бей и которые надеялись со временем

управлять несчастной, но хорошо известной им страной.

Вслед за ними двигалось ополчение из Азии. Паши Бруссы, Алепа, Дамаска и Багдада привели с собой, кроме регулярных войск, вооруженный народ, начиная с диких горцев, живущих в Малой Азии, и кончая смуглыми обитателями побережий Тифа и Ефрата. По повелению калифа явились сюда и арабы, белые бурнусы которых покрыли, точно снегом, Кучункарийскую долину; между ними были кочевники из песчаных пустынь и жители городов от Мекки до Медины. Не остались дома и вассальные египетские войска, жившие в Каире и любовавшиеся каждый вечер пирамидами, освещенными вечернею зарею, и блуждавшие по развалинам Фив, и жители тех мрачных стран, откуда вытекает священный Нил, которым солнце дочерна опалило кожу; все они, вооруженные, собрались в пространной Адрианопольской долине и молились каждый вечер о победе для ислама и о гибели страны, которая одна заслоняла целые века остальную часть мира перед последователями пророка.

Кроме шума всей этой массы вооруженного народа, сотни тысяч коней ржали на лугах; сотни тысяч буйволов, овец и верблюдов паслись рядом с табунами. Можно было подумать, что Господь, в Своем справедливом гневе, изгнал из Азии эти народы, как изгнал Адама и Еву, – в страну, в которой солнце светит бледнее и степи на зиму покрываются снегами. Все это шло и двигалось вместе со стадами; там были белые, темные и черные воины, одежды которых

блестели и пестрели в лучах весеннего солнца. А сколько там было языков и наречий! Все народы были чужды друг другу и удивлялись как одежде, так и оружию других; у каждого были свои обычаи и своя манера вести войну. Только одна вера объединяла все эти кочующие племена, и когда муэдзины начинали призывать на молитву, вся эта разноязычная масса обращалась лицом к востоку и в один голос воссылала мольбу к Аллаху.

Одной свиты и прислуги при султানে было больше, чем всех войск в Речи Посполитой. За войсками и ополчением тянулись купеческие караваны с предметами первой необходимости и разными другими товарами; возы их тянулись вместе с военным обозом.

Два трехбунчужные паши, ехавшие впереди всех войск, были заняты исключительно вопросом о доставлении войскам продовольствия, и они замечательно хорошо исполняли свои обязанности: всего было довольно. За войсками шли пороховой обоз, которым заведовал особый начальник, и двести пушек; между ними было десять осадных, какими не обладал никто из европейских монархов. Азиатские беи находились на правом крыле, а европейские – на левом. Лагерь занимал такую огромную площадь что рядом с ним Адрианополь казался маленьким городком. Палатки султана, отличавшиеся блестящим пурпуром, шелковыми шнурами, атласом и золотыми кистями, представляли как бы отдельный город, по которому ходила вооруженная стража, со-

стоявшая из черных абиссинских евнухов, одетых в желтые и голубые кафтаны. Там же ходили гаманы или носильщики из Курдистана, молоденькие пажи-узбеки с красивыми личиками; на них были наброшены в виде пелеринок шелковые покрывала, закрывавшие часть груди и плечи; кроме них, было множество разной прислуги, одетой в пестрое, как степные цветы, платье; здесь были конюхи, лакеи; факельщики, которые во время пути ночью освещали дорогу, и прислуга, назначенная для услуг сановников и придворных.

На просторном майдане, подле ставки султана, напомиравшей по своей роскоши обетованный рай Магомета, находились шатры, не уступавшие своею роскошью шатрам султана. Это были шатры визиря, улемов и анатолийского паши, молодого каймакана Кара Мустафы, на которого было обращено все внимание, как на светило будущей войны.

Перед палатками падишаха виднелась стража из поляхской пехоты; на головах их были высокие тюрбаны, отчего они казались великанами. Все они были вооружены дротиками на длинных древках и кривыми саблями. Палатки этой гвардейской пехоты находились рядом с султанскими. Далее был расположен лагерь страшных янычар, вооруженных мушкетами и копьями, которые составляли главную силу турецкой армии. Ни немецкий царь, ни французский король не могли равняться янычарам ни в знании военного дела, ни в численности. В войнах с Речью Посполитой народ ту-

рецкий, вообще слабый, не мог остаться победителем перед равной с ним по числу силой войска польского, а если и оставался когда победителем, то лишь имея перед собой значительно меньшее число воинов польских Янычары же не трусили и перед регулярной конницей Речи Посполитой и вступали с нею в бой. Весь свет боялся янычар, от них приходили в ужас даже в Царьграде. Сам глава турецкой империи – султан и тот чувствовал ужас перед этими преторианцами, и самым важным лицом Дивана был всегда главный ага этих «барашков».

После янычар следовали спаги; за ними регулярные войска пашей, а уже за этими последними – ополченцы. Все войска этого обоза уже несколько месяцев стояли под Константинополем, ожидая прибытия войск из отдаленных мест Турции и весенних, теплых дней, чтобы предполагаемый подход в Ляхистан можно было совершить без всяких затруднений.

Солнце, как будто исполняя волю падишаха, бросало свои яркие, горячие лучи на землю. Целый месяц простояла чудная погода; несколько раз только шел теплый дождичек, а все остальное время ни одной тучки не появлялось на небе. Яркие солнечные лучи озаряли белые палатки, разноцветную одежду турецких воинов, их громадные тюрбаны; лучи эти играли на остроконечиях шлемов, знамен и копий; вообще, все предметы, освещаемые солнечным светом, словно купались в нем. Вечером же на безоблачном небе появлялся ме-

сяц и освещал поклонников пророка, идущих под его знаком для покорения новых земель на далеком севере. Затем, поднимаясь выше, месяц становился все бледнее при блеске загоравшихся костров, и наконец, когда костры вспыхивали на всем пространстве, занятом лагерем, а массала-джиняры, арабы из Алеко и Дамаска, зажигали разноцветные фонарики у палаток султана и визирей, фонари эти казались звездами, сошедшими с неба и блистающими на равнине.

В войсках существовала образцовая дисциплина и порядок. Паши покорно исполняли волю султана, а войско беспрекословно повиновалось приказанию пашей. Провианта было взято вдоволь, как для людей, так и для животных. Всего было в изобилии. Время посвящалось учению, отдыху и молитве – и так было изо дня в день. Когда же муэдзины начинали с минаретов сзывать к молитве поклонников пророка, то все воины мусульманские, как один человек, обращивались лицом к востоку и, постелив перед собою кожу или коврик, становились на колени. Видя такой образцовый порядок во всем, все были уверены в успехе похода.

Султан приехал в войско в конце апреля и пробыл здесь около месяца, покуда обсохла земля. Здесь он проводил время в смотрах войск, а также приучал их к походной жизни и, сидя под пурпуровым балдахином, принимал послов. Султана сопровождала в походе его красавица жена Кассека со своим двором, женщины которого тоже были похожи на райских гурий.

Кассека ехала в позолоченном экипаже под пурпурной палаткой. Ее сопровождали другие экипажи и белые сирийские верблюды с выюками, также покрытыми пурпуром. Слух Кассеки во время путешествия услаждался пением ба-ядерок, а когда она, утомленная переездом, начинала дремать, то раздавались тихие, нежные звуки музыки, убаюкивавшие ее. В сильный полуденный зной над ней веяли опахалом из страусовых и павлиньих перьев, а перед шатром ее благоухали драгоценные ароматы из индийских курильниц. Она везла с собою все свои бесценные сокровища и украшения, какие только можно увидеть на Востоке и какие только мог приобрести султан. Поезд Кассеки блестел всеми цветами радуги от украшавших людей и животных драгоценных камней и золота. Встречавшиеся с этой сказанной процессией люди не смели взглянуть в лицо Кассеке, так как она принадлежала султану.

Тем временем солнце грело все больше и больше и наконец наступила страшная жара, вслед за чем был возведен и поход на Ляхистан. Войско об этом походе узнало по тому, что однажды вечером на высокой мачте, которая находилась у палатки султана, вдруг появилось знамя и раздался выстрел из пушки. Вслед за этим послышался бой священного барабана, а ему начали вторить и остальные; потом заиграли на флейтах, полунагие дервиши начали набожно завывать, и с наступлением ночи войско двинулось в поход, дабы избежать дневного зноя. Сначала выступили в поход табор и па-

ши, которые должны были заботиться о прокормлении войска; шло также с ними и множество ремесленников, на обязанности которых лежало ставить палатки. Затем шли стада верблюдов и стада животных, назначенных для убоя. Войску предназначено было каждую ночь по шести часов проводить в дороге, а затем приходиться на стоянку, где уже должен был быть готов обед и все для отдыха.

Через несколько часов после первой тревоги и само войско двинулось в поход. Султан вместе с улемами, визирем, молодым каймаканом Карз-Мустафой, «восходящим солнцем войны», и конвоем из «полянхой» пехоты выехал на возвышенное место, чтобы полюбоваться на отправляющееся войско. Хотя ночь была светлая от яркой луны, но султан все-таки не мог окинуть взглядом всего войска, так как оно, хотя и шло тесными колоннами, но было растянуто на несколько верст.

Вид такого множества воинов радовал сердце султана, и он, глядя на небо, благодарил Аллаха, перебирая при этом четки из сандалового дерева, – благодарил за то, что Аллах даровал ему власть над таким множеством народов. Затем, когда авангард скрылся из глаз, султан, прервав свою молитву, обратился к Мустафе, молодому черному каймакану:

– Я забыл, кто идет впереди всех?

– Райская светлость! – отвечал Кара-Мустафа. – В передовом отряде идут липки и черемисы, а ведет их твой верный пес, Азия, сын Тугай-бея.

Глава X

Сын Тугай-бея, Азия, долго стоял на Кучункарийской равнине, а затем, впереди всех турецких войск, пошел к границами Речи Посполитой.

После так несчастливо кончившегося для него приключения с женой Володыевского казалось, что счастье опять начало возвращаться к нему: он выздоровел, хотя красота его навеки была уничтожена, так как один глаз совсем вытек, нос был размозжен и голова его, когда-то походившая на голову сокола, теперь вызывала ужас своим безобразием, но это-то безобразие внушало еще большее уважение диким добружским татарам. Своим прибытием в лагерь он произвел большой переполох; воины, передавая друг другу о его подвигах, преувеличивали их до небывалых размеров. С восторгом рассказывали, как Азые удалось обмануть поляков, как еще никогда никто их не обманывал, и что, придя к султану, он всех черемисов и липков привел с собою, а дорогой сжег все города по течению Днестра, перерезав все польские гарнизоны и захватив богатую добычу. Все те воины, которые пришли из далеких стран Востока и никогда еще не воевали с поляками, с трепетом думали о встрече с конницей гяуров, которой они боялись больше всего на свете, и все они смотрели с глубоким уважением на Азию, как на победителя ляхов, не побоявшегося этих последних и тем положившего

начало войне. Вид этого «багадьяра» – богатыря ободрял их, тем более что он был сын Тугай-бея.

– Он получил воспитание у ляхов, – говорили татары, – но он – сын льва: искушав своих воспитателей, он стал слушать султану.

Визирь захотел познакомиться с ним; а молодой каймакан Кара-Мустафа, «восходящее солнце», который только и мечтал о славе и геройстве, даже почувствовал к нему склонность. Визирь и Мустафа очень подробно расспрашивали сына Тугай-бея о польской земле, о гетмане, войсках, Каменце, и ответы, получаемые от Азыи, радовали их, давая надежду на успешный исход войны, вследствие чего они могли получить название «гази», то есть завоевателей. Затем Азыя несколько раз был призван к визирю, а также и к Мустафе и получил от них в подарок верблюдов, лошадей и оружие.

Наконец, великий визирь даже подарил ему кафтан, что еще больше возвысило его в глазах липков и черемисов. Ротмистры Крычинский, Адурович, Моравский, Грохольский, Творковский, Александрович, когда-то служившие Речи Посполитой, а потом перешедшие к падишаху, безусловно признали над собою команду Азыи, как сына князя Тугай-бея и как воина, удостоившегося получить кафтан за свои необыкновенные подвиги. Его произвели в мурзы, и под его начальством находилось более двух тысяч самых отборных из татарских воинов, готовых по одному знаку его броситься в огонь и в воду. Начинающаяся война могла

принести много славы и почестей молодому мурзе.

Но, несмотря на все это, Азия не пользовался спокойствием душевным. Во-первых, его самолюбие было уязвлено тем, что татарские воины, в сравнении с янычарами или спагами, похожи были на гончих собак, бегущих впереди охотников. Татар здесь ни во что не ставили, хотя сам Азия пользовался большим уважением у турок. Для турок татары были необходимы, в другое время они даже побаивались их, но во время похода выказывали им свое пренебрежение. Все это, конечно, не скрылось от глаз Азии, и он отделил липков, как лучших воинов, от прочих татар орды. Но хорошего из этого ничего не вышло, так как он раздражил только этим разделением войск остальных добружских и белгородских мурз, но все-таки не убедил турецких офицеров в превосходстве липков над остальными ордынцами. Кроме того, воспитанный в Польше, Азия не в состоянии был свыкнуться с обычаями мусульман. Хотя в Польше он был простым офицером, но никогда так не унижался ни перед гетманом, ни перед начальством, как здесь, будучи мурзой и имея под своей властью всех липков. В присутствии визиря он должен был склоняться лицом в прах, перед Кара-Мустафой – бить поклоны до земли, перед главным агой янычар, перед пашами и улемами – падать ниц... Помня, что он сын Тугай-бея, Азия не мог свыкнуться со всем этим. Самолюбие и гордость, наполнявшие дикую душу Азии, заставляли его несказанно страдать от этих унижений. Но всего больше страдал он

при воспоминании о Басе. И не столько его мучил позор перенесенного поражения от нее, сколько мысль о невозвратимой надежде когда-либо обладать этой женщиной, безумно любимой им; он желал бы иметь ее в своем шатре, любоваться на нее, покрывать ее страстными поцелуями, бить и истязать ее. Если бы ему предложили на выбор: сделаться султаном и властвовать над Царьградом и Босфором или обладать Басей – он, не задумываясь, предпочел бы последнее управлению над половиной света и званию калифа. Любя и в то-же время ненавидя всеми силами души своей, он тем сильнее желал обладать ею, что она принадлежала другому. Ее чистота и верность мужу еще больше разжигали в нем страсть, а при воспоминаниях о тех поцелуях, которые он запечатлел на ее устах в овраге после битвы с Азба-беем, а также и о том, как он держал ее в своих объятиях во время борьбы с нею под Рашковым, он чувствовал безумные желания. Азия не знал, вернулась ли Бася к мужу или погибла в степи. Порою мысль о ее смерти радовала его, а иногда эта же мысль приводила его в полное отчаяние. Иногда он горько раскаивался в том, что задумал похитить Басю, сжечь Рашков и убежать из Хрептиова; он сожалел о том, что не остался в Хрептиово хотя бы простым офицером, но зато имел бы возможность всегда видеть властительницу души своей – Басю.

Зося же Боско находилась в шатре Азии и страшно страдала от жестокого обращения с ней Тугай-бея. Он обращался

с ней, как с последней невольницей, не имея к ней никакого сострадания. Он мстил ей за то только, что она не Бася. Хотя он вполне пользовался ею, наслаждаясь ее молодостью и красотой, но это не мешало ему время от времени с бешенством накидываться на нее, топтать ее ногами, стегать плетью ее нежное молодое тело. Она невыразимо страдала, и еще больше потому, что не имела никакой надежды на избавление. Расцвет ее жизни начался в Рашкове: она там страстно полюбила Адама Нововойского. Она полюбила его горячо, беззаветно, как любят первый раз в жизни, а злая судьба бросила ее в объятия этого ужасного слепца, который сделал ее своей игрушкой и невольницей; она, трепеща всем телом, должна была ползать перед ним, как побитая собака; глядеть на его лицо и на руки, не думает ли он схватить плеть, чтобы начать свои истязания над нею, и при этом должна была не дышать и не показывать своих слез...

Она не имела надежды на сострадание или на избавление от ужасной судьбы. Если бы ей и удалось избавиться от этого ада, то все-таки она, уже опороченная, не могла быть прежней чистой Зосей. Прежнее было невозвратимо. Но так как сама по себе она нисколько не была виновна ни в чем, всегда была чиста и непорочна, то и удивлялась, за что Бог так страшно и немилосердно наказал ее? И от этих сомнений она еще больше страдала.

Так страдала она дни, недели, месяцы. На Кучункарийские поля Тугай-бей явился со своими липками зимой,

а в июле начался поход к границам Польши Зося прожила все это время в стыде, муках и непосильных трудах. Несмотря на красоту и доброту Зоси и на то, что Азия держал ее у себя в качестве наложницы, он заставлял ее работать, как невольницу, страшно ненавидя ее за то, что она была не Бася. На ее обязанности лежало справлять все домашние работы, водить скот на водопой, приносить воду для омовений и дрова для костров. В отряде липков не было обычновения закрывать женщинам лица покрывалами, не так как в других турецких отрядах; но липки стояли особняком и, проведя почти всю жизнь в Речи Посполитой, не могли привыкнуть к обычаям Востока. Если кто-нибудь из солдат имел пленницу, то эти невольницы не закрывали лиц покрывалами, хотя им и не позволено было ходить далеко от границ, где стояли липки, потому что иначе их непременно похитили бы янычары, но в лагере липков они ходили свободно и могли свободно заниматься хозяйством.

Хотя Зосе и тяжело было ходить за дровами и водить животных на водопой, но она охотно исполняла эту обязанность, так как дорогой она могла наплакаться вволю, в палатке же это было невозможно. Однажды Зося несла в лагерь вязанку дров и по дороге встретила мать свою, которая жила у Галима и подарена была этому последнему Азией. Мать и дочь бросились в объятия друг другу и их едва могли разнять. Узнав об их встрече, Азия исполосовал Зося плетью, но несмотря на это, она все же была чрезвычайно рада

этой встрече. Раз как-то Зося, стирая белье у пруда, увидела вдали идущую Еву, которая несла на плечах ведра с водою, сгибаясь под их тяжестью. Фигура Евы заметно изменилась, стан ее пополнел, но лицо все-таки напоминало черты лица Адама, и сердце бедной Зоси сжалось при воспоминании о любимом человеке, и она потеряла сознание. При этой встрече девушки от страха не сказали друг другу ни одного слова.

Страшные мучения, которым подвергал Азия Зося, довели ее до такого состояния, что она больше ничего в жизни не желала, как только избавиться от побоев – и это желание сделалось единственной целью в ее жизни. Если бы на месте Зоси была Володыевская, то она, не задумываясь, зарезала бы своего мучителя, не заботясь о последствиях, но Зося была слишком молода, да к тому же не отличалась силой характера. В конце концов дело дошло до того, что Зося стала считать за великую милость, если этот страшный слепец из-за минутного каприза целовал ее, наклоня над нею свое изуродованное лицо. Находясь вместе с Азией, она следила за каждым его взглядом, за каждым движением, стараясь угадать его желание и расположение духа.

Если же Зося не сразу угадывала о его желании – он приходил в бешенство, клыки его начинали блестеть, как у старого Тугая, и Зося, дрожа от страха, бросалась к нему в ноги, ползала перед ним, целовала побелевшими губами его сапоги и, цепляясь за его колени, кричала, как ребенок, которого

собираются наказать:

– Не бей меня, Азья!.. Прости, не бей.

Но прощения от него она никогда не получала. Он мучил ее за то, что она была не Бася, и, кроме того, мстил за то, что она была когда-то невестой Нововойского. Хотя Азья и не был трусом, но при мысли о встрече с этим геркулесом, с которым у него были такие ужасные счета, его порядочно корбило. Ему казалось, что во время предстоящей войны встреча его с Адамом была неизбежна. Он не мог забыть о его существовании, так как Зося своим присутствием напоминала о нем, за что он и мстил ей жестокими побоями.

Между тем, по приказанию падишаха, войска его выступили в поход Липки, добручане и другие татары должны были составлять авангард, с чем согласны были и визирь с каймаканом. До Балкан все войско шло вместе, не разделяясь. Поход этот не отличался особенными трудностями: войско, чтобы не утомляться от дневного зноя, шло ночью, проводя в дороге не более шести часов, а затем, останавливаясь на отдых. Дорога перед ними освещалась горящими смоляными бочками. Войска растянулись по всей необозримой равнине, покрыв собою и долины, и горы. Сначала шли вооруженные войска, за ними обозы, где находились также и гаремы, а за обозами – многочисленные стада.

Во время этого путешествия в одном из прибалканских болот экипаж Кассеки так глубоко увяз, что его не могли оттуда вытащить двадцать волов. «Господин! Это дурное

предзнаменование для тебя и для войска», – сказал султану главный муфтий. «Дурное предзнаменование!» – повторяли в обозе полупомешанные дервиши. Перепуганный этими предсказаниями падишах решил отослать домой красавицу Кассеку, а также и других женщин.

Приказ султана был объявлен всему войску. Одни из воинов отсылали невольниц своих к себе домой, другие же, которым некуда было отсылать, просто убивали их, не желая продать их в чужие руки, но тем не менее тысячи женщин были проданы барышникам из караван-сарая, которые перепродавали их на рынках Стамбула, а также и по соседству – в Азии. Продажа эта продолжалась три дня. Азия также продал Зою на рынке, где купил ее один богатый старик, константинопольский купец, чтобы подарить своему сыну, и заплатил за нее Азие большие деньги.

Зоя со слезами умоляла купца купить также и мать ее, и купец, будучи весьма добрым человеком, исполнил ее желание, купив за очень дешевую цену мать Зои. На другой день Зоя, а также и мать ее с другими женщинами были отсланы в Стамбул, где жизнь Зои хотя была такая же позорная, но все-таки сделалась лучше. Новый хозяин полюбил ее, и через несколько времени она сделалась его женой. С нею вместе жила и мать ее.

Бывали случаи, что многие из проданных в неволю через несколько лет возвращались на свою родину. Зою также кто-то отыскивал через армян, греческих купцов, посоль-

ских слуг – но все это было напрасно: отыскать ее не могли; затем поиски эти вдруг прекратились, а Зося так и умерла в гареме, не увидав ни отечества, ни близких и дорогих для нее людей.

Глава XI

Сильное движение заметно было в приднестровских станицах еще раньше, чем выступили турки из-под Адрианополя. Гетман то и дело посылал гонцов с приказами в Хрептиов, так как этот последний ближе других находился к Каменцу. Одни из приказов гетмана пан Михаил сам исполнял, а некоторые пересылал с людьми, на верность которых мог надеяться, в другие станицы. Вследствие этого гарнизон Хрептиова стал меньше. Например, пан Мотовидло ушел из Хрептиова со своими казаками на Умань на помощь к Ганенку, который с немногочисленным отрядом верных Польше казаков воевал против Дорошенки, соединившегося с крымской ордой. Паны Мушальский, Снитко, Ненашинец и Громька, спешили с товарищеской хоругвью и линкгаузовскими драгунами к Батогу, где находились Лужецкий с Ганенком, наблюдавшие за действиями Дороша. По приказанию гетмана, пан Богуш должен был оставаться в Могилеве до появления вблизи города татарских чамбулов. Знаменитый Рущич, который мог поспорить в партизанстве только с Володыевским, получил также приказ гетмана, но самого его нигде не могли отыскать; знали только, что Рущич, взяв с собой несколько десятков человек, уехал в степи, а затем его никто больше не видал. О местопребывании его узнали спустя долгое время; по всему войску разнесся слух, что кру-

гом стоянки Дорошенки с союзными ему татарами скачет какой-то дьявол и каждый день похищает воинов, то поодиночке, то целые немногочисленные отряды. Только тогда все убедились, что это был пан Рущич, потому что никто, исключая пана Михаила, не мог так надуть неприятеля. И на самом деле, это был не кто иной, как пан Рущич.

Володыевский, согласно приказанию гетмана, должен был отправиться в Каменец. Гетман знал, что приезд Володыевского придаст храбрости гарнизону и ободрит жителей. Гетман был убежден, что Каменец должен пасть, но для него важно было, чтобы эта крепость продержалась хотя бы до тех пор, куда Польша успеет собраться с силами для отпора неприятеля. Зная, что Каменец не выдержит осады, гетман все-таки посылал туда своего любимого воина и первого польского рыцаря на верную смерть.

Он знал, что Володыевский должен погибнуть, и не жалел его. В голове гетмана всегда была одна мысль, которую он, долгое время спустя после этого, высказал в Вене, говоря, что госпожа Воинова может производить людей на свет, а война их только губит. Он не боялся умереть за отечество, считая это обязанностью воина, и если смерть его могла принести большую пользу отечеству, то она должна была казаться для воина высшим благом и самой драгоценной наградой. Гетман убежден был в том, что и Володыевский разделяет его мнение.

Да к тому ж и не время было думать о спасении одного

какого-либо война, когда гибель угрожала костелам, городам и вообще всей Польше. На Европу шел весь Восток, а между тем христианский люд, охраняемый Польшей, не хотел подать ей помощи. Гетман желал только одного: чтобы Каменцу удалось защитить Речь Посполитую, а она, в свою очередь, защитила бы другие христианские государства.

Конечно, все это могло бы совершиться, если бы Польша имела какие-нибудь силы для обороны и если бы внутри нее царило согласие. Но гетман нуждался в войнах даже для рекогносцировок, а не то что для сражения. Если он посылал солдат для защиты одной какой-нибудь местности, то другая оставалась совершенно беззащитной от неприятеля. Стража, поставленная ночью у лагеря падишаха, была гораздо больше, чем все войско гетмана. Неприятель шел и от Днепра, и от Дуная. Самый ближайший из них для поляков был Дорошенко с крымской ордой. Напав на пограничные области и предав огню все вокруг себя, он вырезал все население. Гетман выслал против него все лучшие войска, но людей не хватало даже для рекогносцировок.

Вследствие всего этого гетман послал пану Михаилу письмо следующего содержания:

«Я уже подумывал послать тебя навстречу неприятелю к Рашкову; но побоялся поступить таким образом, потому что неприятель мог переправиться в десяти местах на наш берег, и тогда бы захватил нашу страну, вследствие чего ты не мог бы попасть в Каменец, где ты необходим. Я со-

всем было забыл о Нововейском, но вчера случайно мне пришлось вспомнить о нем, и так как он в настоящее время находится в страшном отчаянии, то я надеюсь, что согласится на мое предложение. Пошли ему от моего имени приказ идти как можно дальше вперед, навстречу неприятелю, и пусть повсеместно разгласит слух, что мы обладаем многочисленным войском. В помощь Нозовейскому ты отдели часть своей конницы. Если же неприятель будет от него невядалеке, то пусть он является перед ним то тут, то там, но ни в каком случае не сдается ему. О действиях неприятеля мне все известно, но если Нововейский разузнает что-нибудь новое – пусть сообщит тебе, а ты уже дашь знать мне, и затем в Каменец. Передай Нововейскому, чтобы он не медля отправлялся, да и ты также соберись для отъезда в Каменец, но не раньше, чем получишь известие с молдавского берега и от Нововейского».

На время Нововейский переселился в Могилев, и так как носились слухи, что он намеревался приехать в Хрептиов, то Во-лодыевский и послал к нему приглашение немедленно приехать туда, так как он получит приказ на имя его от гетмана.

И Нововейский три дня спустя появился в Хрептиове. Но его трудно было узнать, так он изменился. Знакомые его, встретившись с ним, подумали, что пан Бялогловский правду сказал, назвав его кашеем. Прежнего в нем ничего не осталось – ни бодрости, ни веселости, ни удали. Он стал казаться

еще выше от страшной худобы. Страшно пожелтевший, даже черный, он смотрел на своих близких приятелей, как бы не узнавая их; ему надо было несколько раз повторять одно и то же, чтобы он мог вполне уразуметь смысл сказанного. По-видимому, в его жилах текла уже не кровь, а желчь, и он старался отгонять от себя некоторые мысли, боясь от них сойти с ума.

Хотя каждый из населения пограничных областей понес какое-нибудь несчастье или оплакивал кого-нибудь из близких после столкновения с турками, но на голову Нововейского обрушилось сразу несколько несчастий. Все те, которых он любил со всею страстью своей буйной природы, исчезли для него навеки: отца, сестру и невесту он потерял в один день. Конечно, он с радостью предпочел бы смерть любимых им девушек их позору. Но все жесточайшие муки Нововейского могли показаться пустяками в сравнении с тем, что должны были выносить эти несчастные девушки. Как он ни старался не думать обо всем этом, но это ему все-таки не удавалось.

По наружности он был спокоен, но в душе не мог примириться с судьбою, и всякий, взглянув на мертвенное равнодушие его, мог понять, что под ним скрывается что-то такое, что приведет эту стихийную натуру великана к чему-нибудь ужасному. Все это очень ясно выразалось на его лице, так что друзья сторонились его и боялись напомнить при нем о его несчастьи.

Приехав в Хрептиов и увидав Басю, Нововейский снова пережил все свои муки. Поздоровавшись с нею и целуя ее руку, он застонал, как раненый зверь, причем глаза были налиты кровью, а жилы на шее напряглись, как канаты. Бася, увидав Нововейского, заплакала и, как мать, с любовью обхватила его голову руками, Нововейский же при этом бросился к ее ногам, и едва его удалось поднять с пола. Узнав, какое поручение возлагает на него гетман, он ожил и с выражением какой-то злой радости в глазах сказал:

– Я все исполню и сделаю еще больше!..

– Если встретитесь с этим кровожадным псом, оплатите ему вдсятеро, – заметил пан Заглоба.

Нововейский не сразу ответил Заглобе, а сначала взглянул на него безумными глазами и направился к старику, словно намереваясь кинуться на него.

– Поверьте, – сказал он наконец, – я никогда не сделал зла этому человеку, но, напротив, всегда любил его!..

– Верю, верю! – поспешно отвечал старый шляхтич, прячась за спину Володыевского. – Я пошел бы с тобою вместе, если бы не проклятая подагра в ноге.

– Адам! – проговорил пан Михаил. – Когда ты собираешься выехать?

– Сегодня вечером.

– Возьми сотню моей конницы, а две сотни, кроме пехоты, останутся еще у меня. Пойдем на площадь!

Они вышли, чтобы отдать некоторые приказания. При вы-

ходе они заметили ожидающего их, вытянувшегося в струнку, Исидора Люсню. В Хрептиове уже все узнали о походе Нововейского, почему вахмистр и явился с просьбою к Володыевскому от себя лично, а также и от своих товарищей, прося, чтобы он отпустил их в экспедицию с Нововейским.

– Так вот как? Ты желаешь уйти от меня? – спросил удивленный комендант.

– Господин комендант, все мы поклялись отомстить этому такому-сякому сыну! А что если он попадает в наши руки?

– Это действительно так! Мне говорил уже об этом пан Заглоба, – заметил Володыевский.

Люсня обратился к Нововейскому:

– Господин комендант!

– Что скажешь?

– Если мы его поймаем, позвольте только нам его там осмотреть хорошенько.

При этих словах лицо Люсни сделалось таким жестоким и зверским, что Адам сию же минуту, обратясь к маленькому рыцарю, стал просить и умолять его, говоря:

– Прошу вас, отпустите со мной этого человека!

Комендант, конечно, без слов согласился на его просьбу, так что в тот же день вечером сто воинов под командой Нововейского отправились в путь.

Дорога, по которой они ехали, вела на Могилев и Ямполь и была им хорошо знакома. Отряд Нововейского встретился в Ямполье с бывшим гарнизоном Рашкова; двести человек

из этого гарнизона, по приказанию гетмана, пошли вместе с Нововейским, а остальные, под командой Бялогловского, отправились в Могилев к отряду пана Богуша.

Нововейский с отрядом пошел прямо на Рашков.

Окрестности Рашкова представляли из себя пустыню, а сам Рашков – кучу пепла, развеянную уже ветром. Горсть жителей этого местечка разбежалась в разные стороны в ожидании войны, так как уже май был в начале и ежеминутно можно было ожидать прибытия в эти места добружской орды. На самом же деле эта орда вместе с турками находилась еще на Кучункарийской равнине; но жители Рашкова не знали об этом, а потому и торопились поскорее убраться подальше из этих окрестностей.

Дорогой Люсня развивал различные планы, которыми, как ему казалось, должен был руководствоваться Нововейский, если бы пожелал поймать неожиданно врага. Свои предположения он снисходительно высказывал перед своими подчиненными.

– Вы, конские лбы, – говорил он им, – вы этого ничего не знаете и не понимаете, а я, старик, знаю. Мы приедем в Рашков, там спрячемся и будем выжидать. Подойдет орда к броду, сначала переправятся передовые отряды, у них уж такой обычай, что весь чамбул стоит и ждет до тех пор, пока его не уведомят, что все безопасно. Ну, и мы дремать не будем, нападём на них и погоним, как овец, к Каменцу.

– А если так, то мы, пожалуй, и не поймаем этого извер-

га, – заметил один драгун.

– Молчать! – отвечал Люсня. – Кто же будет у них впереди, как не липки?

Оказалось, что вахмистр был прав. Дойдя до Рашкова, Нововейский остановился здесь со своим отрядом для отдыха. Все войско было убеждено, что Нововейский поведет их к пещерам в окрестностях Рашкова и что, спрятавшись там, они будут ожидать прихода передовых турецких отрядов.

Но предположения эти не оправдались. На другой день, после отдыха, Нововейский повел войска из Рашкова.

– Уж не в Ягорлык ли мы пойдем? – говорил вахмистр.

Выйдя из Рашкова, они подошли к Днестру и через несколько минут были уже у так называемого «кровавого брода». Нововейский молча спустился в воду на своем коне и направился к противоположной стороне.

Воины с удивлением спрашивали при этом друг друга: «Что ж это такое? Мы идем в Турцию?» Но это были простые солдаты, а не «вельможные паны», которые могли только советоваться да кричать «Не позволим!» Эти воины привыкли подчиняться железной дисциплине, которая существовала в станице, и они без всякой нерешительности погнали своих коней в воду за Нововейским. Хотя их и изумляло, что он ведет их в Турцию, которой не мог победить весь мир, а их было всего только триста человек, но все-таки они шли за своим комендантом беспрекословно. Вследствие их переправы вода взволновалась, и воины забыли уже удивляться,

а старались сохранить сухим корм как для себя, так и для лошадей.

Переправившись на противоположный берег, воины опять начали посматривать с удивлением друг на друга.

– Господи, ведь это мы уже в Молдавии, – шепотом говорили они между собою.

И воины стали поворачиваться к Днестру, освещенному заходящим солнцем и блестящему, как золото. Находившиеся на берегу скалы со многими пещерами также озарены были яркими лучами солнца. Эти скалы имели вид стены, готовой отделить всех этих воинов от родины и многих, может быть, навсегда.

Люсне показалось, что Нововейский сошел с ума. Но все-таки он не вышел из повиновения, так как обязанностью начальства было приказывать, а подчиненных – исполнять эти приказания.

Лошади, переправившись на другой берег, начали фыркать. «На здоровье! На здоровье!» – крикнули воины. Всеми это было принято за хорошее предзнаменование, и они ободрились.

– Вперед! – скомандовал Нововейский.

И войско тронулось навстречу тысячам неприятелей, идущим с запада и остановившимся на Кучункарийской равнине.

Глава XII

Весь этот поход Нововейского с тремя сотнями солдат против сотен тысяч турок мог показаться людям, не посвященным в военное искусство, полнейшим сумасшествием. Но этот поход, хотя и был очень смелым, все-таки имел свои основания.

Во-первых, в то время партизанам часто случалось бороться против врага во сто раз сильнеешего; подойдя близко к неприятелю и замеченные им, они обращались в бегство, обороняясь от погони и таким образом увлекая за собою неприятеля, а улучшив удобную минуту, оборачивались и нападали сами на врага, из преследуемых превращались в преследователей и побеждали. Эта тактика называлась «процедурой с татарами», во время которой неприятели старались перехитрить друг Друга в устройстве засад и ловушек. Этим в особенности прославился Володыевский, затем пан Рушич и, наконец, пан Пиво с Мотовидлой, Нововейский, выросший в степи, был также не из последних партизан, почему и можно было надеяться, что он не попадает в ловушку при встрече с ордой.

При этом он также принял во внимание, что за Днестром находились степи, где удобно было скрыться. Хотя по берегам рек и были небольшие поселки, но вообще вся эта местность была почти пустынна; по берегам Днестра она пред-

ставлялась холмистой и усеянной скалами, затем продолжалась степью, там и сям покрытою лесом, в котором бродили большие стада различных зверей: диких буйволов и кабанов, оленей, серн и других. Между прочим, падишах изъяснил желание перед началом войны узнать численность своих войск, чтобы еще больше убедиться в своей силе, вследствие чего белгородские татары и добружане, которые населяли низовье Днестра, должны были идти за Балканы, куда направились и молдавские каралаши; таким образом, местность эта совершенно опустела, так что здесь почти никогда нельзя было встретить ни одного человека.

При том же пан Нововейский был знаком с обычаями татар; он знал, что в своих владениях они шли, не соблюдая никаких предосторожностей, но что, перейдя польскую границу, они будут чрезвычайно осмотрительны. И Нововейский был прав в своих предположениях. Конечно, турки не могли рассчитывать на встречу в Бессарабии, на границе татарской земли, с польским войском, в котором чувствовался такой большой недостаток при охране даже собственных границ.

Нововейский убежден был, что неприятель будет поражен его появлением, и этим он выиграет еще больше, чем предполагал гетман, кроме того, его предприятие могло погубить Азью и липков. Конечно, Нововейский был уверен, что липки и черемисы пойдут впереди других войск, чтобы указывать дорогу в Речь Посполитую, которая им хорошо была известна. В соображение молодого поручика входили все эти

обстоятельства, на чем он и основывал успех своей экспедиции. В душе Адама жило еще только одно желание: схватить врасплох Азыю, отомстить ему и освободить сестру и Зосю, а самому погибнуть на войне; вот все, чего жаждал измученный горем молодой Нововейский.

Все эти мечты и надежды оживили его и вывели из оцепенения. Трудный поход по незнакомым степям, здоровый воздух и опасное предприятие – все это возвратило ему прежнее здоровье и силы. Теперь воспоминания и страдания, наполнявшие его душу, уступили место мыслям и чувствам партизана, обдумывающего, как бы лучше поразить неприятеля.

Перейдя Днестр, отряд Нововейского направился по долине Прута, скрываясь днем в лесах и камышах, а по ночам спеша делать переходы, соблюдая при этом величайшую предосторожность. Весь фаят этот представлял собою почти пустыню, так как в нем изредка только можно было встретить поля, засеянные кукурузою, а обитали в нем только کوچующие племена.

Отряд подвигался вперед очень осторожно, стараясь объезжать большие селения, но в небольшие поселки они не боялись заезжать. Эти поселки состояли из двух – трех хат, и, конечно, обитатели их не стали бы предупреждать буджакских татар о прибытии отряда. Впрочем, вахмистр принимал все предосторожности, чтобы не попасться, врасплох, но вскоре и он бросил свои наблюдения, убедясь, что жители этих поселков, хотя и турецкие подданные, сами со стра-

хом ожидали прихода турецких войск и принимали отряд молодого поручика за каралашей, которых падишах послал в Турцию.

Поселяне очень охотно доставляли воинам кукурузные лепешки, сушеное зерно и вяленое мясо. Каждый житель имел свое стадо овец, быков и табуны лошадей, которые тщательно были спрятаны в камышах по берегам рек. Иногда отряду Нововейского встречались многочисленные стада полудиких буйволов, которых пасли несколько пастухов. Эти пастухи со своими стадами кочевали по степи, переходя с места на место, ища корма для животных. Пастухи по большей части были татары, и Нововейский, окружив этих «чабанов», убивал их, чтобы они не могли передать о нем в Буджак. Затем, забрав необходимое для него число рогатого скота, продолжал свой путь.

Чем дальше отряд подвигался на юг, тем чаще стали встречаться стада. Их сопровождало большое число татар, так что Нововейский в продолжение двух недель погубил три партии пастухов, состоявших из нескольких десятков человек. Убив пастухов-татар, воины снимали с них одежду и, выпарив вшей, надевали ее на себя, желая казаться дикими чабанами и пастухами. На второй неделе уже все войско облачилось в татарские костюмы и имело сходство с чамбулами, исключая только вооружения регулярной польской кавалерии. Между прочим, сняв с себя верхнее платье, они постарались запрятать его, чтобы при возвращении, на обратном

пути, могли бы переодеться в свое платье. Издали их вполне могли принять за турок, тем скорее, что перед ними шли стада, которые должны были служить им пищей. Но, конечно, вблизи каждый мог узнать в них Мазуров по их русым усам и голубым глазам.

Дойдя до Прута, войско стало спускаться в долину с левого берега. Нововейский знал, что кучманская дорога совершенно обращена в пустыню бывшими набегами, и, следовательно, войска султана и татарские орды должны были идти на Фалень, Гуш, Котиморы и по молдавской дороге, могли, наконец, направиться и к Днестру, а также, перейдя через Бессарабию, появиться затем недалеко от Ушиц, уже во владениях Польши. Убежденный в своем предположении, молодой поручик замедлял путь и, несмотря на проволочку времени, старался подвигаться с большою осторожностью, чтобы не попасть врасплах на татар. Дойдя до разветвления рек Серета и Текича и скрывшись, он долго простоял тут, чтобы люди и лошади могли отдохнуть и подстеречь, когда к ним приблизится передовой отряд ордынцев.

Нововейский нарочно выбрал эту местность для стоянки, так как берега здесь были покрыты терновником и другими растениями. Этот лес простирался на далекое пространство. В некоторых местах заросли образовали отдельные купы деревьев, между которыми легко было остановиться лагерем. В других же местах лес рос сплошной массой. Так как было начало весны, то деревья едва еще расцветали, но в середине

и конце весны лес этот представлял из себя сплошное море белых и желтых цветов. Здесь нельзя было встретить ни одного человека, но зато в изобилии водились разные животные и птицы. Здесь даже можно было встретиться с медведем, утащившим у войск двух овец, вследствие чего Люсня хотел идти на него облавой, но Нововойский запретил ему употреблять при этом мушкеты, боясь, что их местопребывание будет открыто врагами, и потому воины, отправившись на медведя, взяли с собою только топоры и рогатины.

Солдаты заметили также следы костров на песчаном берегу, но, очевидно, эти следы остались от прошлогоднего пребывания здесь кочевников со стадами или татар. И как воины ни искали, как ни разведывали, – все-таки не могли найти здесь ни одного человека.

Молодой поручик отдал приказ отряду остановиться на этом месте и ожидать появления турок.

Разбили палатки; на опушке леса поставили часовых, чтобы одни из них следили за дорогой в Буджак, а другие сторожили ее со стороны Прута. Нововойский знал приметы, по которым можно было узнать о приближении врагов. Адам и сам ездил с небольшими отрядами в рекогносцировки. Отряду было очень удобно в этой пустыне, так как погода стояла чудная, хотя днем и было очень жарко, но под тенью деревьев легко было укрыться от дневного зноя; зато ночи стояли лунные, тихие, и эту ночную тишину нарушало только пение соловьев. В эти восхитительные ночи Нововойский стра-

дал невыносимо и не в состоянии был заснуть, вспоминая о прежнем счастье и о постигшем его горе.

Одна только мысль еще могла успокоить его – мысль о мести, для которой уже наступало время, и если бы ему удалось отомстить врагу, то он был бы вполне счастлив. Отмстить или самому погибнуть – вот что сделалось целью его жизни.

А время все шло да шло. Нововейский хозяйничал в этой пустыне и ездил на разведки. Солдаты же его в это время осматривали все дороги, яры, болота и, постоянно находясь в разъездах по лесу, успели захватить несколько стад и умертвить несколько партий кочевников, причем зорко наблюдали – не появится ли где неприятель. И вот наконец они дождались его появления.

Как-то поутру воины вдруг заметили, что в воздухе появилось множество птиц. Некоторые же пернатые бежали по степи целыми стаями от берегов Дуная и с добружских болот. Все эти стаи птиц летели и бежали, как бы спугнутые кем-нибудь. Увидав это переселение птиц, воины взглянули друг на друга и воскликнули: «Идут! Идут!» Все воины сразу ожили, грозно зашевелив усами, глаза их метали молнии; но при всем этом в воинах не замечалось никакой тревоги, так как вся жизнь их прошла в «процедурах с татарами» и приближение неприятеля не внушало им никакого страха. Они тотчас же залили костры из опасения, чтобы дым не выдал их присутствия в лесу, затем оседлали лошадей, и весь отряд готов был идти в бой.

Нововейскому осталось только определить время отдыха неприятеля, чтобы напасть на него в этот момент врасплах. Он знал, что войска падишаха не пойдут сплошной массой, так как они шли по владениям султана, не опасаясь ничего. Он рассчитывал, что авангард состоит из липков и пойдет, как и всегда, на расстоянии одной или двух миль во главе первого по силам турецкого отряда.

Он не знал, на что решиться: встретить ли турок в дороге, с которой поляки хорошо ознакомились, или подстеречь неприятеля в лесу. В конце концов он решил на последнее, так как войско, не замеченное врагами, легко могло напасть врасплах на неприятеля. Но вот прошел еще один день и одна ночь, в которую не только по лесу летели птицы, но бежали и звери, спугнутые турками. Утром же показался и сам неприятель.

От опушки леса шла огромная холмистая равнина, исчезающая за горизонтом. Поляки заметили турок на этой равнине: они довольно быстро подвигались к Текичу. Войско Нововейского, скрытое в лесу, следило за неприятелем, который то скрывался за холмами, то снова виден был на всем протяжении.

Вахмистр Люсня, у которого зрение было необыкновенно остро, внимательно следил за приближением неприятеля и наконец, подойдя к Нововейскому, сказал:

– Господин поручик! Там народу немного: это пастухи выгоняют на пастбище стада.

Несколько времени спустя Нововейский убедился, что Люсня говорил правду, чему он был очень рад.

– Так, значит, они остановятся на отдых в расстоянии мили или полутора миль от этих кустов? – спросил он.

– Да, – отвечал Люсня, – они, как видно, идут вперед ночью, а днем отдыхают и спасаются от солнечного зноя где-нибудь в тени; лошадей же и быков они посылают вперед на пастбища до самого вечера.

– А сколько, по-твоему, там людей около стада?

Люсня вернулся к опушке леса и долго не показывался оттуда. Затем он возвратился назад и сказал:

– Лошадей – тысячи полторы, а людей около них не более двадцати пяти человек. Тут они у себя дома и ничего не боятся, а потому и не заботятся особенно об охране.

– А людей ты распознал?

– Они еще очень далеко; но это непременно липки, пан поручик! Не улизнуть им от нас.

– Конечно, – сказал Нововейский.

Молодой поручик был убежден, что ни один человек не может уйти от таких партизан, как он и его воины, для которых не представляло особенного труда забрать весь этот вражеский отряд живьем.

Тем временем пастухи уже очень близко пригнали свои стада к опушке леса, а Люсня опять выдвинулся на его окраину и затем вернулся назад с лицом, озаренным какой-то свирепой радостью.

– Липки, пан поручик, точно липки, – прошептал он.

Выслушав Люсню, Адам закаркал наподобие ворона, и вслед за этим отряд драгун двинулся в чащу леса. В лесу этот отряд разделился на две половины: одна половина поместилась в овраге, чтобы при случае выскочить из него в тылу табуна и липков, другая же половина расположилась полукругом в ожидании неприятеля.

Все это произведено было чрезвычайно тихо, так что самый чуткий слух не услышал бы ничего: не было слышно ни звяканья сабель или шпор, ни ржания коней, а топот их копыт заглушался густой травой. Даже лошади партизан словно понимали, что от сохранения тишины зависит успех предприятия, и были тихи и покорны; одно только карканье ворона из леса и оврага нарушало эту тишину.

Липки остановились со своими стадами у леса. Животные, разделившись на кучки, разошлись по равнине. В это время молодой поручик сам вышел к окраине леса и наблюдал за всеми действиями пастухов. Полдень еще был неблизко, но солнце уже высоко поднялось на небе и изрядно грело. Кони, ища прохлады, подошли к лесу, к опушке которого подъехали пастухи и, привязав коней, пустили их; таким образом, кони паслись, а липки пошли в глубь леса и остановились на отдых под самым тенистым деревом.

Затем они развели костер, и когда от него образовались уголья, положили туда половину жеребенка, а сами, удалясь от костра, сели неподалеку.

Одни из пастухов лежали на траве; другие сидели в кружок по-турецки и вели между собою разговор, а один пастух играл на пищалке. Тишина леса нарушалась только карканьем ворон.

Запах горелого мяса дал знать пастухам, что жаркое готово, и они, сняв его с угольев, положили под дерево, где находились остальные липки. Жаркое разрезали на части, и окружившие его липки стали пожирать с жадностью полусырые куски мяса, причем кровь из него текла по их пальцам и бородам.

Поев мяса, липки запили его кумысом и, с минуту поговорив друг с другом и чувствуя слабость от чрезмерного пресыщения, легли отдыхать.

С наступлением полудня жара сделалась невыносимой. Всеобщая тишина ничем не нарушалась, даже не слышно было карканья ворон.

Некоторые из липков встали и пошли к окраине леса взглянуть на коней; товарищи же их, растянувшись на земле, спали как мертвые.

Но сон их время от времени прерывался стоном или бормотаньем; вероятно, от сильного перепоя и обжорства им снился какой-нибудь ужасный сон. Из их бреда только можно было разобрать ясно произносимое слово «Алла! Алла!».».

Внезапно на опушке леса раздался какой-то невнятный, но вместе с тем ужасный звук, похожий на предсмертный хрип человека, которого душат, не дав ему даже крикнуть.

Пастухи, точно предчувствуя что-то недоброе или инстинктивно почуяв опасность, проснулись.

– Что это такое? Где же те, что пошли к лошадям?..

В ответ из-за кустов кто-то сказал по-польски:

– Те уж не вернутся!

В одно мгновение пастухи были окружены поляками, которые бросились на них, а перепуганные татары даже не успели схватиться за ножи и онемели от ужаса. Поляки смяли пастухов. Даже земля дрожала от борьбы сбившихся в одну кучу человеческих тел. Время от времени раздавались резкий свист и сопенье или хриплый стон; но через минуту все это смолкло.

– Сколько живых? – спросил кто-то из нападавших.

– Пятеро, господин поручик.

– Осмотреть трупы, чтобы кто-нибудь не притворился мертвым, и каждому для удостоверения – нож в сердце, а пленников – к огню!

Согласно этому приказанию, драгуны прикололи неприятелей к земле, употребив для этого их же собственные ножи. Затем занялись пленниками. Их приволокли к кострам, привязав им ноги к палке; раскидав костер, Люсня вытащил уголья из пепла.

Пленные липки следили за всем этим блуждающими взорами. Трое из пленных служили прежде в Хрептиове и знали Люсню так же, как и он их.

– Ну, приятели, теперь вы у нас запоете, а если кто из вас

не захочет, тому придется идти на тот свет на поджаренных подошвах. Для старого знакомства и угольков не пожалею.

После этих слов Люсня прибавил в костер сухих ветвей, запылавших большим пламенем.

Затем подошел к пленникам Нововейский и стал их расспрашивать. Из их ответов Адам убедился, что предположения его оправдались, так как действительно липки и черемисы под начальством Азыи шли впереди всех войск султанских. Турки шли только по ночам, чтобы не истомиться от зноя, а днем отдыхали на стоянке. Они не остерегались нападения неприятелей, так как нельзя было предположить, чтобы враг здесь мог напасть на них, ведь они были невдалеке от Днестра и у побережья Прута, то есть вблизи орды; они шли впереди всех войск со стадами быков и овец. Верблюды также находились при них и везли палатки начальников. Местопребывание Азыи в лагере можно было узнать по шатру, на верхушке которого помещен был бунчук, а кругом этого шатра находились значки липков. Отряд Азыи находился на стоянке за милю от расположившихся в лесу поляков; в отряде Азыи насчитывалось до двух тысяч воинов, но часть из них находится при белгородской орде, отставшей на милю от отряда липков.

Затем молодой поручик расспросил пленных о кратчайшем пути к стоянке отряда Азыи и о расположении шатров, наконец, спросил о том, что всего сильнее мучило его.

– А какие женщины у Азыи в палатке?

Липки, бывшие в Хрептиове, хорошо знали отношения Нововейского к этим женщинам и боялись сказать ему всю правду об участии его сестры и невесты.

Они знали, что гнев его всецело должен обрушиться на них, и стали отнекиваться, вследствие чего вахмистр немедля сказал:

– Господин поручик, не подогреть ли им подошвы? Тогда они заговорят.

– Ну, всунь им ноги в уголья, – отвечал Нововейский.

– Помилуйте, – крикнул Ильяшевич, старый липок из Хрептиова, – помилуйте! Я скажу все, что видел своими глазами.

Вахмистр вопросительно взглянул на Нововейского, как бы желая знать, привести в исполнение его приказание или нет, несмотря на слова липка, но молодой поручик махнул рукой и, обратясь к старому липку, проговорил:

– Ну, говори, что ты видел?

– Мы, пан не виноваты, – ответил Ильяшевич, – мы шли за начальством, наш мурза подарил сестру вашей милости Адуровичу, который взял ее к себе в шатер. Я видел на Кучункарах, как она шла за водой с ведрами, и помогал еще ей, потому что она была беременна...

– Увы! – прошептал Нововейский.

– Другую панну наш мурза взял себе. Мы нечасто видали ее; но не раз слышали ее плач и крики; хотя мурза и жил с нею, но чуть ли не каждый день хлестал ее нагайкой и топ-

тал ногами.

Губы Нововойского задрожали, и чуть слышно он спросил липка:

– Где они теперь?

– Проданы в Стамбул.

– Кому?

– Мурза и сам хорошо этого не знает. От султана вышел указ, чтобы в лагере не было женщин. Все продавали своих пленниц на базаре, продал своих и мурза.

Все смолкло у костра. Допрос был кончен. Время от времени знойный южный ветер качал ветки деревьев, все более и более шумевших. Воздух становился удушливым, а вдали виднелись темные облака с медно-красными краями.

Окончив допрос, Адам удалился от костра и, совершенно обезумев от горя, поплелся бессознательно куда глаза глядят. Наконец в изнеможении он упал на землю, судорожно царапая ее ногтями, грыз свои руки, издавая при этом предсмертное хрипенье и конвульсивно вздрагивая всем своим могучим телом.

Так прошло несколько часов. Воины следили за ним, но никто из них, даже вахмистр, не решался беспокоить его.

Между тем жестокосердный Люсня, надеясь, что Нововойский ничего не будет иметь против этого, заткнул пленникам рты травой, чтобы они не кричали, а затем зарезал их, как животных. Он оставил живым одного только Ильяшевича, рассчитывая на его услуги в качестве проводника.

Покончив с липками, Люсня оттащил их еще трепетавшие тела в сторону от костра, а сам отправился взглянуть на Нововейского.

– Если даже поручик и ошалеет, – проворчал он, – мы все-таки того сцапаем.

Наконец наступил уже и вечер. Теперь все небо было покрыто облаками, которые все более и более сгущались, темнели и, не изменяя своего красноватого оттенка, сталкивались друг с другом, спускаясь к земле. Время от времени проносился вихрь, наклоняя деревья к самой земле и яростно разбрасывая по степи тучи листьев; затем наступало затишье, ветер словно пропадал в земле, а в это время из облаков слышалось какое-то шипенье, шум, шорох; казалось, что это громовые удары готовятся в облаках, чтобы затем разразиться над землей.

– Буря! Буря идет! – шептались между собою драгуны.

Буря была уже недалеко. Сделалось почти совсем темно. Гроза разразилась на востоке, где течет Днестр, а раскаты грома слышны были у Прута; тут они и стихли, затем гром загремел над Буджакскими степями, и наконец, весь горизонт был охвачен грозой.

На спаленную от зноя траву упали крупные капли дождя.

В этот момент молодой поручик появился перед солдатами и крикнул громовым голосом:

– На коней!

Через минуту Нововейский уже отправился в путь во гла-

ве полутораста всадников. Выехав из лесу на поляну, где около табунов находилась остальная половина отряда, караулившая конюхов, которые могли убежать к Азые, Нововейский присоединился к нему, и воины, окружив табун и гоня его перед собою, кричали и вопили, как всегда делали это татарские пастухи.

Ильяшевича тащил за собою на аркане Люсня, крича ему изо всех сил на ухо, желая покрыть своим голосом громовые удары:

– Указывай, собака, дорогу, а не то я тебе горло перехвачу!

Гроза продолжалась, тучи уже чуть не касались земли, а воздух вдруг сделался невыносимо жарким: ураган приближался. Вдруг во тьме блеснула на мгновенье молния, послышался удар грома, за ним другой, третий, и снова все стихло. Лошади, обезумев от страха, неслись вперед под дикие крики воинов; расширив ноздри, с развевающимися гривами, они мчались, едва касаясь земли ногами. Затем послышался опять гром, уже не смолкавший ни на мгновенье, а кони все летели среди этой бури по степи, похожие на толпу ужасных вампиров или дьяволов.

Отряд Нововейского не нуждался в проводнике, так как кони мчались прямо к стоянке Азьи, которая была уже недалеко от них. Но раньше, чем они домчались до его лагеря, ураган достиг страшных размеров. Все небо ежеминутно перекрещивалось сверкавшей молнией, при блес-

ке которой воины Нововойского увидели вдали лагерь татар. От страшных раскатов грома земля дрожала, а нависшие над нею облака ежеминутно грозили падением. Потом начался страшный ливень, затопивший всю степь. В наступившей затем тьме ничего нельзя было рассмотреть; горячий пар поднимался от раскаленной дневным зноем земли.

Минуту спустя отряд Нововойского, с табуном коней во главе, остановился перед лагерем Азыи.

Но табун этот у самых шатров вдруг разбежался по сторонам; а триста воинов, неистово крикнув и потрясая при блеске молнии саблями, бросились в шатры.

Хотя липки перед дождем и видели во время сверкания молнии идущие стада, но не подозревали, что их гнали поляки. Они были испуганы и изумлены, что пастухи пригнали табун к шатрам. Липки стали с криком отгонять лошадей, вышел из своей палатки и сам разгневанный Тугай-бей. В это самое мгновение табун обратился в бегство, и среди мглы показались какие-то неизвестные люди, число которых гораздо превышало численность пастухов.

– Бей! Коли их!.. – загремел в воздухе страшный крик.

Этот человеческий ураган налетел на липков так мгновенно и так неожиданно, что мысль о спасении уже не могла никому прийти в голову. Не успел Азыя отступить на шаг к своей палатке, как был оторван от земли и сжат в железных объятиях, от которых кости его ломались, а спустя минуту ему удалось взглянуть в лицо своего победителя – и от ужаса

он впал в беспамятство.

Началась страшная резня. Липки почти не в состоянии были защищаться; все было против них: и буря, и тьма, и незнание числа врагов, их внезапное нападение; все это произвело между ними страшную панику. Среди них произошел страшный хаос; они не знали, где бы укрыться, почти все были безоружны; большинство татар во время нападения спало; как безумные, метались они во все стороны, толкали и топтали друг друга; лошади опрокидывали их, топтали копытами, а поляки убивали саблями без милосердия, яростно мстя им. Кровь, смешанная с дождем, лилась потоками. Татарам представилось, что небо падает им на головы, а земля разверзлась под ногами. Затем татары небольшими группами стали разбегаться, но они так обезумели от ужаса, что вместо того, чтобы бежать без оглядки вперед, кружились около побоища, встречались друг с другом и попадали опять в руки неприятеля. Наконец из отряда липков не осталось никого в лагере: одни из них были убиты, другие разбежались, в плен никого не брали. И вот звуком трубы возвещено было о прекращении погони за беглецами и о сборе поляков в назначенное место.

Триста польских воинов нанесли поражение отборной, славящейся своей сноровкой и опытностью двухтысячной татарской коннице, часть которой осталась лежать на месте побоища среди луж собственной крови, другая же, пользуясь темнотой и бурей, бежала пешая, без оглядки, куда глаза

глядят. Полякам в битве помогли ураган и темнота, словно сам Бог послал им свою помощь против изменников.

Нововейский впереди своего отряда двинулся в обратный путь, когда уже наступила глубокая ночь. Он направился к границам Речи Посполитой. Азяя, привязанный веревками к спине лошади, без чувств, с переломанными ребрами, ехал между Нововейским и Люсней.

Оба они заботливо охраняли его, как какую-нибудь драгоценность.

Ураган уже не свирепствовал так, как прежде, хотя по небу и носились еще большие тучи; но между ними уже показывались звезды, отражение которых было видно в небольших озерках, произведенных в степи страшным ливнем.

Глава XIII

Спасшиеся бегством татары сообщили обо всем случившемся белгородской орде; а эта последняя через гонцов дала знать о поражении липков в лагерь падишаха, в Ордунгамайон; это известие страшно поразило весь лагерь султана, как и его самого.

Падишах так растерялся от этого известия, что в течение двух дней не знал, что и делать, так что пан Нововойский мог в полной безопасности подвигаться к границам Польши. Наконец султан послал белгородский и добруджский отряды разузнать, какие войска находятся в окрестности. Но это приказание падишаха было неприятно для войска, так как они не желали подвергаться опасности, ибо слухи о поражении татар страшно преувеличивали все дело, и войска, пришедшие из центра Азии или Африки и никогда не воевавшие в Польше, страшились встречи с конницей гяуров, вторгшейся в пределы владения султана. Все были удивлены поступком Нововойского: визирь и Кара-Мустафа, а также и султан начали сомневаться в легкости победы над Речью Посполитой, которую они прежде считали совершенно обессиленной. Был составлен военный совет, на котором падишах с гневом обратился к визирю и Кара-Мустафе.

– Вы меня обманули, – сказал он. – Должно быть, ляхи не так-то слабы, если сами идут сюда, к нам навстречу.

Вы рассказывали, что Собеский не будет защищать Каменец, а вот он теперь перед нами со всем войском.

Визирь и каймакан старались уверить падишаха в том, что это была просто шайка разбойников, хотя сами были убеждены в противном, так как на поле сражения оставлены были неприятелем мушкеты и мешки с платьем воинов. Вспоминая недавние походы Собеского на Украину, также чрезвычайно дерзкие, но кончившиеся полным успехом для поляков, они думали, что и в эту войну Собеский пожелает обойти также и турок.

– У него нет войск, – говорил великий визирь каймакану, после того как оба они вышли от султана, – у него нет войск, но в нем – дух льва, не знающего страха; если он успел собрать хоть несколько тысяч и находится здесь – мы пойдем в крови к Хотину.

– Хотелось бы мне с ним помериться, – сказал молодой Кара-Мустафа.

– Да отвратит Аллах от тебя несчастье, – ответил великий визирь.

Наконец белгородские и добруджские войска точно узнали, что поблизости их нет никакого войска, хотя они и открыли следы отряда, человек в триста, быстро направлявшегося к Днестру. Татары, вспомнив о происшедшем с липками, не преследовали врагов, боясь какой-нибудь ловушки. Поражение липков так и осталось для турок непостижимым, но затем в Ордунгамайоне все пошло по прежнему, и войска

султана продолжали свой поход.

А Нововейский, не заботясь больше ни о чем, ехал в Рашков со своим пленником. Хотя молодой поручик и спешил воротиться в Рашков, но верные драгуны его, разузнав на другой же день, что за ними погони не может быть, все-таки ехали, не утомляя своих коней. Пленник все время ехал между Адамом и Люсней. У несчастного Азьи были сломаны два ребра, а раны на лице, которые нанесла ему Бася, опять открылись вследствие того, что он был привязан к спине лошади и голова его свешивалась вниз; кроме этого, и борьба с Нововейским способствовала открытию его ран, что все вместе совершенно обессилело его. Люсня очень заботился о нем, боясь, что он умрет в дороге и избежит их мести. Но Азья желал смерти, догадываясь о своей участи, и задумал умереть с голоду. Он не стал принимать пищи; но вахмистр и тут нашелся: всыпав в водку или в молдаванское вино растертые в порошок сухари и раздвинув ножом челюсти Азьи, вливал ему в рот это вино. Раны на лице Азьи облепляли мухи и комары, и вахмистр лил на лицо его воду, боясь, чтобы раны не загноились и тем не ускорили смерти пленника. Молодой поручик, едучи рядом с Азьею, не сказал ему ни одного слова. Когда они отправились в путь, Азья обратился к нему с просьбой освободить его, взамен чего сулил ему возвратить сестру и невесту, но Нововейский отвечал липку:

– Лжешь, собака! Ты продал обеих константинопольскому

купцу, а тот перепродал их кому-нибудь на базаре.

К Азые подвели Ильяшевича, и тот, обратясь к нему, проговорил:

– Да, эфенди! Ты продал ее, сам не зная кому, а Адурович продал сестру богатыря, хотя она была от него беременна.

Выслушав Ильяшевича, Азия подумал, что Нововойский тотчас же убьет его, но когда предположения его не сбылись, он решился вывести из себя молодого поручика, чтобы тот в сильном раздражении покончил с ним и тем спас от ожидавшей его страшной казни. Азия начал приводить в исполнение свои планы, хвалясь перед Нововойским всем тем, что он сделал его близким. Он дразнил Адама, рассказывая, как увлек к себе Зосю, надругался над ней и затем истязал ее, топтал ногами и стегал плетью ее нежное тело; рассказал также и о смерти его отца. Адам, слушая все это, не в состоянии был отъехать от Азыи, хотя бледное лицо его обливал пот и все тело судорожно передергивалось; но все-таки он сдержал себя и не покончил с Азией.

Мучая своими рассказами неприятеля, Азия вместе с тем мучил ими и самого себя, потому что рассказы эти заставляли его вспомнить о недавнем его благополучии: мурза, любимец каймакана, Азия сам повелевал над многими, теперь же, привязанный к коню и чуть не съедаемый мухами, приготавлился к мучительной казни. Потеря сознания приносила ему облегчение от мук. Это стало повторяться с ним очень часто, что и заставляло Люсню беспокоиться, довезут ли они

его живого до Рашкова, хотя было уже недалеко и ехали они днем и ночью, ненадолго останавливаясь для отдыха и кормежки. Но душа татарина не хотела легко расстаться с искалеченным телом его. В конце пути молодой татарин впал в бессознательное состояние, с ним сделалась горячка, время от времени тяжелый сон овладевал им. Ему часто снилось, что он все еще в Хрептиове и вместе с паном Михаилом отправляется в дальнюю экспедицию; то грезились ему проводы жены Володыевского в Рашков; представлялось также, что Бася, похищенная им, находится у него в палатке; он бредил о разных битвах, командовал, считая себя гетманом польских татар, имеющим над своей головой бунчук. Но затем, при пробуждении, сознание возвращалось к нему, и перед его глазами опять являлись Нововойский, Люсня, кивера драгунов, которыми заменили воины бараньи шапки татарских пастухов, и снова страшная действительность представлялась его взору. При каждом движении лошади он чувствовал невыносимую боль во всем теле, и сознание оставляло его. Тогда вахмистр обливал водой Азыю, и память возвращалась к нему только для того, чтобы смениться горячечным бредом, после чего наступал тяжелый сон, за которым следовало пробуждение и возвращение к страшной действительности.

Порою он сомневался, что был сыном Тугай-бея, – так жалок и ничтожен он был теперь, сомневался и в том, чтобы жизнь его, в которой он так много испытал и которая, как ка-

залось, должна была привести его к великой цели, угаснет так скоро и так позорно и мучительно.

Время от времени ему казалось, что по окончании этих мук и смерти он тотчас же будет в раю. Живя между христианами, он сам когда-то веровал во Христа, и при воспоминании о Нем сильный страх напал на него, так как он знал, что Христос не помилует его. Конечно, если бы нашелся какой-нибудь пророк, имеющий силу большую, чем Христос, то он спас бы его от Нововейского. Но он все же надеялся, что пророк окажет ему сострадание, взяв к себе его душу раньше, чем его окончательно замучают враги.

Тем временем они уже приближались к Рашкову и подвигались теперь по скалистой местности, которая давала знать, что Днестр уже недалеко. Между тем к вечеру пленник стал бредить, перемешивая свои грезы с действительностью.

Наконец он почувствовал, что конь его остановился, вокруг него восклицали: «Рашков, Рашков!» Затем ему послышался стук топоров о дерево.

При этом на его голову полилась вода, а в рот стали вливать водку. Он совершенно очнулся. Он открыл глаза и увидел перед собою звездную ночь, а несколько десятков факелов окружали его. Затем послышались голоса:

– Очнулся?

– Очнулся, смотрит во все глаза.

В этот момент вахмистр наклонился над ним.

– Ну, братец, пора! – говорил Люсня очень спокойно. –

Пора и тебе!..

Теперь Азые было легко дышать, так как он лежал прямо, руки его были вытянуты по обеим сторонам головы, и грудь дышала свободнее, чем тогда, когда Азыя был привязан к лошади. Руки его были привязаны к бревну, идущему вдоль спины, так что он не мог ими пошевеливать. Увидав свои руки, обернутые соломой, намоченной в смоле, Азыя догадался, что это означает. Кроме того, он увидел, что тело его от пояса и до пяток было без всякой одежды, невдалеке от него торчало острое свежесобранного кола, другой толстый конец которого упирался в пень дерева. От ног пленника шли веревки, концы которых оканчивались постромками, прикрепленными к упряжи лошади. Свет факелов освещал круг коней и двух человек, находившихся подле них и державших лошадей под уздцы.

Увидав все эти приготовления, несчастный пленник взглянул почему-то на небо, украшенное звездами и золотым серпом луны.

«Они посадят меня на кол!» – мелькнуло в его голове.

При этом он судорожно стиснул зубы. Вся кровь прилила к его сердцу, лицо же охватил озноб, и на лбу показались крупные капли пота. Ему мерещилось, что почва исчезает из-под него, и сам он летит в какую-то бездонную пропасть. Он опять потерял сознание, а заботливый Люсня снова прежним способом стал вливать ему в рот водку.

Хотя Азыя кашлял и выплевывал угощение Люсни,

но некоторое количество водки все-таки попало ему в желудок. И странная перемена произошла с ним: он не чувствовал опьянения, напротив, сознание вполне возвратилось к нему и соображение было чрезвычайно быстро. Азия ясно понимал все, что делали вокруг него, и в сильном возбуждении страстно желал, чтобы все это поскорее кончилось.

Вдруг он услышал тяжелые шаги и, увидав перед собой Нововейского, весь задрожал. Он не чувствовал страха перед вахмистром, он слишком презирал его, но вид молодого поручика вселял в него какой-то суеверный ужас и отвращение, заставляя его трепетать. Он не презирал Нововейского, не имея на это повода, но увидя его, подумал: «Я в его власти и боюсь его!» Все это вместе было так ужасно, что у Азии встали дыбом волосы.

Нововейский обратился к нему и сказал:

– За то, что ты сделал, ты погибнешь в муках.

Татарин молчал, тяжело дыша.

Молодой поручик отошел в сторону, воцарилась тишина. Наконец вахмистр, обращаясь к липку, произнес:

– Ты поднял руку на нашу пани, но она теперь у мужа в спальне, а ты в наших руках! Настало твоё время!

При этих словах муки Азии дошли до невероятной степени, превзойдя все, прежде испытанные им. Перед своей смертью этот несчастный узнал, что все его кровавые дела, измена, жестокости, все муки, перенесенные им, и даже близкая мучительная смерть его – все это пропадает даром,

ни к чему не привел. Он был бы вполне удовлетворен, если бы узнал, что Бася умерла, но сознание, что она жива и принадлежит другому, усилило муки его в этот предсмертный час вблизи острия кола, орудия его смерти. Вахмистру даже и в голову не приходило, насколько он своими словами еще сильнее заставил мучиться пленника, иначе он не дал бы отдыха Азые, повторяя ему эти слова.

Наконец душевные муки должны были уступить место мукам телесным. Вахмистр приподнял Азыю обеими руками за бедра, направил их, куда нужно было, и обратился к людям, которые держали коней, он крикнул им:

– Трогай! Шагом марш!

Лошади двинулись, потянув за собою Азыю. Одну секунду его волокли по земле, а затем тело его наткнулось на острие кола, впившегося в него. Собрав последние силы, Азыя стиснул зубы, но все-таки, не выдержав этой пытки, оскалил зубы и крикнул: «А-а-а!» Этот крик не походил на крик человека, а скорее на карканье ворона.

– Шагом, – скомандовал Люсня.

Ужасный крик Тугай-бея повторился.

– Каркаешь? – спросил Люсня.

Затем, обращаясь к своим людям, он крикнул:

– Ровно! Стой! Вот и все! – прибавил он, обращаясь к Азые, который вдруг замолк и только глухо стонал.

Потом поспешно выпрягли коней и, подняв кол, толстый конец его опустили в вырытую для этого яму и засыпали яму

замлей. Азия был в сознании и смотрел на все эти действия сверху вниз. Мучения подобной казни еще увеличивались тем, что казненные таким образом жили после этого еще дня три. Голова Азии упала на грудь, губы шевелились, чмокая, и он как бы жевал что-то. Страшная слабость овладела им, а перед глазами его была ужасающая беловатая мгла, но он все же различал в этой мгле лицо солдат и Люсни и вполне сознавал, что посажен на кол и от тяжести тела надвигается все больше и больше на острие его; наконец он почувствовал предсмертный холод, а чувство боли стало уменьшаться. Время от времени беловатую мглу заслонял мрак. Но Азия тогда начинал моргать своим глазом, чтобы все видеть до последней минуты жизни. Он внимательно смотрел то на один, то на другой факел, которые представлялись ему огоньками, окруженными радужными кругами.

Но муки Азии еще этим не кончились; к колу с буравчиком в руке приблизился вахмистр и крикнул воинам:

– Подсадите меня!

Драгуны исполнили это приказание, и вахмистр очутился вблизи Азии, который, моргая глазом, глядел на него, как бы стараясь узнать, кто появился тут у него наверху. Между тем Люсня сказал:

– Пани выбила тебе один глаз, а я поклялся и другой тебе высверлить.

При этих словах он запустил острие в зрачок, повернул раз-другой, а когда веко и тонкая кожица вокруг глаза на-

вернулись на спираль, дернул.

И тогда из обеих глазных впадин Азыи хлынула кровь, словно слезы в два ручья потекли по его лицу.

Лицо его побелело и становилось все блее. Драгуны в молчании принялись гасить факелы, будто стыдясь того, что евет освещает чудовищное это действие; только от лунного полумесяца струилось серебристое, неяркое сияние на тело Азыи.

Голова его совсем опустилась на грудь, только привязанные к бревну и обмотанные смоляной соломой руки его вздымались кверху, словно этот сын Востока призывал месть турецкого полумесяца на своих мучителей.

– На коней! – раздался голос Нововейского.

В последний момент вахмистр поджег факелом вознесенные руки татарина, и отряд двинулся к Ямполю, а среди руин Рашкова, среди ночи и пустоты остался на высоком колу один только Азыя, сын Тугай-бея, и светил долго.

Глава XIV

Три недели спустя, в полдень, Нововейский прибыл в Хрептиов. Из Рашкова он добирался так долго оттого, что часто переправлялся на другой берег Днестра, нападая врасплох на чамбулы. Те рассказывали потом подходившему султанскому войску, будто повсюду видели польские отряды и слышали о многочисленной войске, которое, не дожидаясь, как видно, пока турки достигнут Каменца, само преграждает им дорогу и сразится с ними в решающей битве.

Султан, которого уверяли в бессилии Речи Посполитой, был крайне поражен и, высылая вперед польских татар, валахов и придунайские орды, сам подвигался очень медленно. Несмотря на безмерную свою мощь, битвы с регулярным войском Речи Посполитой он весьма опасался.

Володыевского Нововейский не застал в Хрептиове – маленький рыцарь вслед за паном Мотовидло отправился к пану подлясскому биться против крымской орды и Дорошенки. Там, еще упрочив свою славу, вершил обратные дела: разбил грозного Корпана, тело его в Диких Полях оставив зверям на растерзание; грозного Дрозда тоже разбил, и бесстрашного Малышко тоже, и двух братьев Синих, знаменитых казацких наездников, и много небольших ватаг и чамбулов.

А пани Володыевская в день прибытия Нововейского со-

биралась как раз в Каменец с оставшимися людьми и с обозом: нашествие близилось, и пора было покидать Хрептиов. С печалью в сердце уезжала Бася из деревянной крепости, где немало пришлось ей, правда, пережить, но где прошла счастливейшая пора ее жизни – при муже, среди славных воинов, среди любящих сердец. Нынче по своей доброй воле она ехала в Каменец навстречу неведомой судьбе и опасностям, какими грозила осада.

Но, обладая мужественным сердцем, она не поддавалась печали и с вниманием наблюдала за сборами, за работой солдат, за обозом. Помогали ей в этом Заглоба – он в любой ситуации превосходил всех разумом – и несравненный лучник Мушальский, храбрый и опытный воин.

Все они обрадовались прибытию Нововейского, хотя по лицу молодого рыцаря тотчас поняли, что ни Евы, ни прелестной Зоси из басурманской неволи вызволить ему не удалось. Ручьями слез оплакала Бася судьбу обеих женщин: проданные неведомо кому, они, может статься, были затем увезены со стамбульского базара в Малую Азию, на острова в турецких владениях или в Египет и томились в гаремах. И потому не только что выкупить, но и узнать что-либо о них было невозможно.

Плакала Бася, плакал благоразумный пан Заглоба, плакал и Мушальский, несравненный стрелок, только у Нововейского глаза были сухие, ему уже и слез не хватало. Когда же стал он рассказывать, как подошел к Дунаю, почти что

к самому Текичу, и там, под самым носом ордынцев и султана, разгромил липков, а зловещего Азыю, сына Тугай-бея, в плен забрал, оба старых рыцаря зазвенели саблями и закричали:

– Давай его сюда! Здесь, в Хрептиове, он должен погибнуть! На это Нововейский ответил:

– Не в Хрептиове, но в Рашкове погиб он, там, где ему и надлежало, а смерть ему здешний вахмистр придумал, и была она не из легких.

Тут рассказал он, сколь мучительную смерть принял Азыя, Тугай-беев сын, а они слушали с ужасом, хотя и без сожаления.

– Что Господь за преступление карает, это дело известное, – сказал наконец Заглоба, – странно, однако, что дьявол так плохо защищает своих слуг!

Бася вздохнула благочестиво, подняла глаза к небу и, минуто поразмыслив, ответила:

– А ему силы не хватает могуществу Господа противостоять!

– О, вы, ваша милость, в самую точку угодили! – вскричал Мушальский. – Да будь дьявол – избави Бог, конечно, – сильнее Господа нашего, тогда всякая справедливость, а с нею и Речь Посполитая исчезли бы с лица земли!

– Я оттого и турок не боюсь, что, primo²⁵, они сукины сы-

²⁵ во-первых.

ны, а secundo²⁶, сыны Велиала, – ответил Заглоба.

Все замолчали. Нововейский сидел на лавке, уронив руки на колени и стеклянными глазами уставясь в землю.

– Тебе, однако, должно бы полегчать, – обратился к нему Мушальский, – справедливая месть большое все же утешение.

– Скажите, сударь, вам и в самом деле полегчало? Лучше ли вам теперь? – выпытывала Бася полным сострадания голосом.

Исполин помолчал немного, словно пытаясь разобраться в собственных мыслях, и наконец ответил, как бы и сам удивленный, и очень тихо, почти что шепотом:

– Вообразите, судари, Бог мне свидетель, я тоже думал, полегчает мне, когда я его убью. И я видел его на колу, видел, как глаз ему буравом сверлили, и уверял себя, что мне теперь легче, а меж тем неправда это! Неправда!

Нововейский обхватил руками горемычную свою голову и проговорил сквозь стиснутые зубы:

– Легче было ему на колу, с буравом в глазу, легче с горящими ладонями, нежели мне с тем, что сидит во мне, о чем думаю, о чем помню ежечасно. Одна только смерть для меня утешение, смерть, смерть – вот что!..

При этих словах его Бася – сердце у нее было смелое, солдатское – встала вдруг и, положив несчастному руку на голову, молвила:

²⁶ во-вторых.

– Пошли тебе Бог смерть под Каменцем, верно ты говоришь, только смерть для тебя утешение!

Он же закрыл глаза и стал твердить:

– О, да! Вознагради вас Бог!..

В тот же вечер все двинулись в Каменец.

Бася, выехав за ворота, еще долго, очень долго оглядывалась на крепость, сиявшую в свете вечерней зари, наконец, осенив ее крестом, сказала:

– Дай Бог нам с Михаилом еще воротиться к тебе, милый Хрептиов!.. Дай Бог, чтобы ничего худшего нас не ожидало!..

И две слезинки скатились по лицу ее. Странная грусть стиснула у всех сердца – в молчании поехали дальше.

Тем временем опустились сумерки.

До Каменца ехали медленно из-за большого обоза. В нем были фуры, табуны коней, волы, буйволы, верблюды; воинская челядь присматривала за стадами. Кое-кто из челядинцев и солдат женился в Хрептиове, так что и женщин доставало в обозе. Войска было столько же, сколько у Нововейского, к тому еще двести человек венгерской пехоты – отряд, который маленький рыцарь снарядил и обучил за свой счет. Опекала его Бася, а командовал им бывалый офицер Калушевский. Истинных венгров в пехоте той вовсе не было, а венгерской она звалась потому лишь, что снаряжение там было мадьярское. Подофицерами служили там солдаты-ветераны из драгун, а рядовыми – бывший разбойный

люди и грабители, схваченные и приговоренные к виселице. Им даровали жизнь с условием, что они станут верой и правдой служить в пехоте и храбростью загладят давние свои грехи! Были среди них и охочие; покинув овраги, пещеры и всякие иные разбойничьи прибежища, они предпочли пойти на службу к хрептиовскому «маленькому соколу», нежели чуют меч его, нависший над своими головами. Был то народ не слишком послушный и не совсем еще обученный, однако же отчаянный, привыкший к невзгодам, опасностям, да и к кровопролитию тоже. Бася очень любила эту пехоту, как Михайлово дитя, и в диких сердцах пехотинцев вскоре проснулась привязанность к этой милой и доброй женщине. Теперь они шли подле ее коляски с самопалами на плече и саблями на боку, гордые тем, что охраняют ее, и готовые яростно защищать Басю в случае, ежели бы какой чамбул встал у них на пути.

Но путь был пока свободен; Володыевский все предусмотрел, да и слишком любил он жену, чтобы из-за промедления подвергать ее опасности. Так что путешествие совершалось спокойно. Выехав после полудня из Хрептиова, они ехали до вечера, затем всю ночь и на другой день, тоже после полудня, увидели перед собою высокие каменецкие скалы.

При виде этих скал, при виде крепостных башен и бастионов, украшавших их вершины, бодростью преисполнились сердца. Им казалось немислимым, чтобы кто-нибудь, кроме Бога, мог разрушить эти твердыни, окруженные разветв-

лениями реки. В этот чудный летний день башни костелов и купола церквей, освещенные солнцем, блестели из-за утесов, как исполинские свечи. В этой прелестной местности было все мирно, тихо и радостно.

– Бася, – сказал Заглоба, – не раз уже язычники грызли эти стены и всегда ломали себе зубы. Да, сколько раз я видел как они уходили отсюда, хватаясь руками за пасть, потому что она у них болела. Бог даст, и теперь будет то же.

– Конечно! – отвечала обрадованная Бася.

– Был уже здесь один из царей их, по имени Осман. Это было, как теперь помню, в 1621 году. Приехал это он как раз с того берега Смотрича, из Хотина, вытаращил глаза, разинул рот, смотрел, смотрел и наконец спросил: «А кто строил эту крепость?» – «Бог!» – ответил визирь. «Так пусть же ее и осаждает сам Бог, а я еще с ума не сошел!» – и сейчас же повернул назад.

– Да еще как скоро уходили, – заметил Мушальский.

– Уходили скоро, – отвечал Заглоба, – потому что мы их подгоняли копьями. Помню еще тогда меня рыцари подхватили на руки и торжественно принесли к пану Любомирскому.

– Как, вы были и под Хотинном? – спросил несравненный стрелок из лука. – Просто верить не хочется, как подумаешь, где только вы ни были и чего только ни испытали!

Обидевшись немного, пан Заглоба отвечал:

– Не только был, но даже получил рану, если же вы так

любопытны, я мог ее сейчас же вам показать, но только где-нибудь в сторонке, так как в присутствии пани Володыевской хвастаться этой раной совершенно неприлично.

Мушальский понял, что старый шляхтич насмехается над ним, но состязаться с ним в остроумии был не в силах, а потому постарался переменить разговор.

– Да, вы говорите совершенную истину, – сказал он. – Когда находишься где-нибудь далеко и слышишь людской говор: «Каменец не защищен, Каменец погибнет», поневоле страх возьмет, а как взглянешь на этот Каменец, ей-Богу, является какая-то бодрость в душе.

– А к тому же и Михаил будет в Каменце! – воскликнула Бася.

– Может быть, и пан Собеский пришлет нам подкрепление. Слава Богу, беда еще не так велика; бывало нам и хуже, а мы не уступали!

– Если бы даже было и хуже, так все дело в том, чтобы не потерять смекалки! Нас не съели и не съедят до тех пор, пока мы не оробеем, – закончил пан Заглоба.

Все находились в радостном настроении и молчали, но молчание их было прервано весьма неприятным обстоятельством. К коляске жены Володыевского вдруг подъехал Нововойский, радостный и улыбающийся, каким его никто не видал в последнее время. Глядя на Каменец, он как-то странно улыбался. Мушальский, Заглоба и Бася с изумлением глядели на него, удивляясь, что вид Каменца так благо-

творно подействовал на его душу. Наконец несчастный промолвил:

– Благословенно имя Господне! Много было горя – но вот настала и радость!

Затем, обращаясь к Басе, он сказал:

– Обе они у лятского войта Томашевича, и хорошо, что они сюда скрылись, потому что в такой крепости ничего с ними уже не сделает этот разбойник.

– О ком вы говорите? – спросила с ужасом Бася.

– О Зосе и Еве.

– Господи помилуй! – воскликнул Заглоба. – Не поддавайся дьявольскому искушению!

Молодой поручик продолжал:

– Неправда также, что рассказывают и про моего отца, что будто его зарезал Азия.

– Он сошел с ума, – шепнул пан Мушальский.

– Вы, конечно, позвольте мне поехать вперед, – сказал опять Нововойский. – Я так давно их не видал, что даже стосковался! О, скучно, скучно жить без любви!

Затем, поклонившись несколько раз, Нововойский прищпорил коня и умчался.

Мушальский с несколькими драгунами поскакал за ним, чтобы не потерять его из виду. Бася горько заплакала, а пан Заглоба сказал:

– Эх, золотой был малый, но не по силам ему было такое несчастье. К тому же одною мезтью человек не прожи-

вет на свете.

В Каменце спешили покончить все приготовления к обороне. Люди разных наций, живущие в этом городе, были заняты работами на стенах старого замка и у восточных ворот, особенно много рабочих было у русских ворот. Рабочие каждой национальности находились под начальством своего войта. Первое место между этими войтами занимал войт лятский Томашевич, так как он был необыкновенно храбр и хорошо стрелял из пушек. Для работ употребляли и тачки, и лопаты; рабочие каждой отдельной нации старались превзойти друг друга в работе. Надзирали за этими работами офицеры разных полков, а нижние чины оказывали в работе помощь жителям; шляхта тоже не сидела сложа руки, а работала, не думая о том, что Бог создал их руки только для сабли.

Более легкие работы были возложены на людей, которые не в силах были исполнять работ, требующих больших физических сил. В этом случае пан хорунжий подольский, Войцех Гумецкий, показывал пример прочим, таская тачку с камнями; при виде трудящегося хорунжего, у прохожих навертывались слезы на глазах. Между рабочими ходили доминиканцы, иезуиты, братья Святого Франциска и кармелиты, благословляя их. Женская часть населения также приносила свою посильную дань этому труду: они доставляли рабочим напитки и кушанья. Красавицы армянки и еврейки, дочери и жены богатых купцов из Карвасеров, Звиняци, Заиковцев и Дунай-города, заставляли восхищаться воинов своей кра-

сотой.

Но самое сильное волнение произвел на население приезд Баси. Хотя в крепости было много весьма достойных дам, но не одна не имела такого знаменитого мужа, как Бася. Сама Бася пользовалась здесь также большой славой. О ней рассказывали в Каменце как о весьма храброй женщине, которая проводила жизнь между полудиким населением степи и вместе с мужем участвовала в отважных экспедициях. Знали здесь также и о похищении ее Азыей и о том, как она сумела убежать от него невредимой. Кто не знал ее раньше, считали ее каким-то гигантом в юбке, легко ломающим подковы и раздирающим панцыри. Но они были страшно поражены, увидев Басю. «Сама ли это пани Володыевская или только ее дочка?» – спрашивали те, которые никогда не видали ее. «Она сама», – отвечали другие, которые уже прежде встречались с нею. Все вообще были чрезвычайно удивлены, увидев в Басе чуть не девочку, с маленьким розовеньким личиком. Толпа глядела также с немалым изумлением на «непобедимый» гарнизон Хрептиова, на драгун, между которыми находился также и Нововейский, ехавший с улыбающимся лицом и безумными глазами. Конвоировавшие Басю несколько сотен отборных солдат придали еще больше мужества жителям. «Это не какое-нибудь войско; эти воины не испугаются турков», – говорили в народе. Воины из отряда епископа Требицкого, которые только незадолго перед этим прибыли в крепость, а также и некоторые из жителей предполагали,

что между войском находится и сам «маленький рыцарь», вследствие чего и стали кричать:

– Да здравствует пан Володыевский!

– Виват Володыевский, виват!

Крики эти наполняли радостью сердце Баси, так как для женщины приятнее всего на свете слышать похвалы мужу, тем более, если эти похвалы вытекают из тысячи уст посреди большого города. «Сколько здесь рыцарей, – думала она, – и вот никому из них не кричат „виват“, а только моему Михаилу!» Если бы пан Заглоба не предупредил ее, что она должна держать себя прилично, как подобает важной особе, и отвечать на поклоны, подобно королеве, которую встречают при въезде в столицу, то Бася, вероятно, согласно своему пламенному желанию, крикнула бы: «Виват Володыевский!» Но, вспомнив наставления старого шляхтича, она сдержала себя. Этот же последний раскланивался также на обе стороны, махал шапкою; наконец знающие его крикнули и ему «виват», тогда он, обратясь к народу, сказал:

– Господа, кто устоял под Зборажем, устоит и в Каменце.

Исполняя предписания маленького рыцаря, путники приблизились к женскому монастырю доминиканок, который недавно был выстроен. У Володыевского в Каменце был свой домик, но он решил поместить Басю в монастыре, который стоял в уединенном месте, куда ядра редко когда могли залететь; да к тому же, будучи покровителем этого монастыря, он знал, что его милую Басю примут радушно. И он не ошиб-

ся: игуменья мать Виктория, дочь Стефана Потоцкого, воеводы брацлавского, оказала Басе самый любезный прием и крепко обняла ее при этом. Освободившись от объятия игуменьи, она попала в другие – к любимой тетке своей Маковецкой, давно не встречавшейся с ней. Тетка и племянница заплакали, увидя друг друга; не выдержал и пан стольник лятычевский, и у него полились слезы; он тоже очень любил Басю. Затем появилась Христя Кетлинг и также высказала радость свою, что наконец увидела Басю. Кругом-Баси потом составился кружок из монахинь и шляхтянок, знакомых и незнакомых. Были тут и пани Марцинова Богушева, Станиславская, Калиновская, Хоцимерская, пани Гумецкая, жена подольского хорунжего. Некоторые из них желали узнать от Баси о своих мужьях, как, например, Богушева, другие же хотели знать ее мнение о нападении турок и том, падет ли Каменец или выдержит осаду. Ей очень льстило сознание, что все они считают ее за особу, хорошо понимающую военное дело. Поэтому она и не пожалела слов для ободрения их. «Не может быть и речи о том, что мы не сумеем отразить неприятеля, – сказала она. – Не позже чем через два дня приедет сюда Михаил, а уж как только он займется обороной крепости, все мы можем спать спокойно; наконец, и самая крепость, как известно, неприступна; насчет этого я, слава Богу, кое-что смыслю!»

Известие о приезде в Каменец пана Михаила и уверения Баси произвели на женщин благотворное действие; они со-

вершенно ободрились после разговора с Володыевской. Хотя наступил уже вечер, но к Басе стали являться с визитами офицеры каменецкого гарнизона, так как Володыевского все уважали и любили за его доблести; они расспрашивали Басю о времени прибытия пана Михаила в крепость и о том, останется ли он в ней во время осады. Но Бася, чувствуя усталость после дороги, приняла только четырех офицеров: майора Квасиброцкого, епископа краковского, командовавшего пехотой, писаря Ржевусского, временно принявшего начальство над полком Лончинского, и Кетлинга. Кроме того, Басе нужно было позаботиться и о Нововейском, который упал с лошади перед монастырем и потерял сознание. Несчастного молодого человека перенесли в келью и пригласили к нему доктора, лечившего Басю в Хрептиове. Доктор нашел у Нововейского болезнь мозга и сказал, что болезнь эта весьма тяжкая, так что, по всей вероятности, его ожидает смерть. Долго после того говорили о Нововейском Бася, Мушальский и Заглоба, размышляя над несчастной судьбой его.

– Доктор говорил мне, – заметил Заглоба, – что если Нововейский останется жив, то после хорошего кровопускания он выздоровеет от сумасшествия и после этого будет легче переносить свое горе.

– Нет уже для него никакого утешения, – отвечала Бася.

– Зачастую лучше было бы человеку не иметь совсем памяти, – заявил Мушальский, – но даже животные, и те не совершенно лишены ее.

Пан Заглоба, недолго думая, стал развивать мысль Мушальского:

– Если бы у вас не было памяти, вы не могли бы бывать у исповеди, – сказал старый шляхтич, – следовательно, сравнились бы с лютеранами и были бы достойны адского огня. Вас уже ксендз Каминский ловил в богохульстве; но, видно, пословица говорит правду, что как волка не корми – он все в лес смотрит.

– Какой я волк! – заметил знаменитый стрелок – Вот Азия – тот волк!

– А разве я не говорил этого? – спросил Заглоба. – Кто первый сказал: это – волк?

– Нововейский передавал мне, что он и днем, и ночью слышит, как Ева и Зося кричат ему «Спаси!», а как тут спасти их? Все это и должно было закончиться болезнью, потому что никто не в состоянии перенести такое горе. Он мог бы перенести еще их смерть, но не позор.

– Теперь бедняга лежит, как кусок дерева, и ничего не сознает, – сказал Мушальский, – а жаль его – хороший был наездник!

Во время этого разговора вошел слуга и сказал, что в город приехал генерал подольский с целым двором и несколькими десятками пехоты.

– Начальствование принадлежит ему, – сказал Заглоба. – Честно это со стороны Николая Потоцкого, что он хочет быть здесь, а не в другом, более безопасном месте; но я по-

прежнему хотел бы, чтобы его здесь не было. Он не соглашался с гетманом, не верил в возможность войны, а теперь, кто знает, не придется ли ему поплатиться за это жизнью!

– Может быть, и остальные Потоцкие придут за ним вслед! – отвечал Мушальский.

– Видно, турки уже недалеко! – сказал Заглоба. – Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Дай Боже генералу быть вторым Иеремией, а Каменцу – вторым Зборажем.

– Так и будет, или мы раньше погибнем! – сказал кто-то у входа.

Бася вскочила и, крикнув «Михаил!», бросилась обнимать вошедшего Володыевского.

Маленький рыцарь много нового сообщил Басе, а затем уже рассказал все новости и в военном совете. Пан Володыевский разбил не один маленький чамбулик, сражаясь чуть не перед носом крымского хана и Дорошенки. В Каменец он привел с собою и пленников, которые могли дать верные сведения о войсках хана и Дорошенки.

Но не все гарнизоны были так счастливы в битвах, как пан Михаил. Так, например, пан Подлясский, имея большой отряд под своей командой, потерпел поражение в кровавом бою. Крычинский с белгородской ордой и липками, спасшимися после тыкичинского побоища, разбил пана Мотовидлу на Молдаванской дороге. Перед отъездом в Каменец маленький рыцарь заехал в Хрептиов, чтобы еще раз взглянуть на то место, где он провел так много счастливых дней.

– Я был там, – рассказывал он, – сейчас же после вашего отъезда; еще и место после вас не успело остынуть. Я мог бы легко догнать вас, но предпочел переправиться около Ушицы на молдавский берег, чтобы там послушать, что делается в степи. Некоторые чамбулы уже перешли через Днестр и опасаются наткнуться на какую-нибудь засаду. Прочие татары идут в авангарде турецкого войска и скоро будут здесь. Будет осада, милая голубка, будет, ничего не поделаешь против этого; но мы не сдадимся, так как тут всякий будет сражаться не только за отечество, но и за свое имущество.

После этих слов пан Михаил пошевелил усами и, притянув к себе жену за руки, расцеловал ее. Больше в этот день никаких подобных новостей Володыевский не рассказывал. На другой день утром собрался военный совету епископа Ланцкоронского, на котором находились пан генерал подольский, подкоморий подольский Ланцкоронский, писарь подольский, Ржевусский, хорунжий Гумецкий, Кетлинг, Маковецкий, майор Квасибродский и прочие, в присутствии которых пан Михаил опять рассказал свои новости. На этом совете пан генерал объявил, что он отказывается от начальства над крепостью, а передает его военному совету. Володыевскому сильно не понравилось заявление генерала, и он заметил, что в решительную минуту должен быть один ум и одна воля. «Под Зборажем было три полковника, – прибавил он, – которым власть принадлежала по закону, однако они уступили ее Иеремии Вишневецкому, потому что в опасно-

сти лучше слушаться одного».

Но эти слова не возымели никакого действия на членов совета. Ученый Кетлинг привел в пример даже римлян, которые ввели диктатуру, хотя были лучшими воинами в мире. Но епископ Ланцкоронский, считавший Кетлинга за еретика, потому что Кетлинг был шотландец, и не любивший его, отвечал ему, что поляки могут состязаться в знании истории с иностранцами и что им нечего брать пример с римлян, так как они сами понимают все слишком хорошо, не уступая в храбрости этим самым римлянам. «Несколько умных людей, – прибавил он, – дадут гораздо лучший совет, нежели одно какое-нибудь лицо». В конце концов он начал расхваливать генерала за скромность, между тем как все члены совета хорошо понимали, что это была не скромность, а что генерал отказывался, боясь ответственности. При окончании своей речи епископ посоветовал начать переговоры с врагом. При этих последних словах все воины повскакали со своих мест разгневанные, скрипя зубами и хватаясь за сабли, они восклицали: «Мы сюда пришли не для переговоров!» «Парламент только спасает монашеская ряса!» Вышедший совершенно из себя пан Квасибродский закричал: «В исповедальне тебе место, а не в военном совете». После этих слов поднялся страшный шум. Епископ поднялся со своего места и громко сказал: «Я был бы рад первый сложить свою голову за храмы Божий и мою паству, и если я упомянул теперь о переговорах и о промедлениях, то беру Бога во сви-

детели, что я хочу этого не для того, чтобы отдать крепость неприятелю, но только для того, чтобы дать гетману время собрать войско для нашей же обороны. Язычникам страшно одно имя Собеского, и если бы даже у него не было большого войска, стоит только пронестись слуху, что он идет сюда, – и неверные тотчас же снимут осаду с Каменца». После слов епископа все замолчали и успокоились, поняв, что епископ не имел намерения сдать крепость врагу.

Вслед за епископом начал говорить маленький рыцарь:

– Неприятель, прежде чем осадить Каменец, должен сначала сокрушить Жванец, потому что ему нельзя будет оставлять у себя за спиной этот укрепленный замок. Ну, так я беру на себя труд – конечно, если позволит пан подкоморий подольский, – запереться в Жванце и продержаться там как раз столько времени, сколько рассчитывает выиграть епископ при помощи переговоров. Я возьму надежных людей и до тех пор, пока я буду жив, будет цел и Жванец.

Тут все члены собрания закричали:

– Это невозможно! Ты нужен здесь! Без тебя граждане потеряют присутствие духа, да и солдаты не так охотно будут сражаться. Невозможно это никоим образом! Кто здесь опытнее тебя? Кто был под Зборажем? А если понадобится пойти на вылазку, кто поведет нас? Ты пропадешь в Жванце, а мы все здесь пропадем без тебя.

– Я буду делать, что прикажет начальство, – отвечал пан Михаил.

– В Жванец следовало бы послать какого-нибудь удальца, чтобы он помогал мне! – заявил подкоморий подольский.

– Пусть идет Нововейский, – раздалось несколько голосов.

– Нововейский не может идти, так как у него воспаление мозга, – возразил Володыевский, – он лежит в постели и никого не узнает.

– Посоветуемся покамест о том, кому где стать и какие ворота защищать, – сказал епископ.

Все общество взглянуло на генерала подольского, который заявил следующее:

– Прежде чем я отдам приказания, я хотел бы послушать, что скажут опытные воины; так как опытностью в военном деле всех превосходит здесь Володыевский, то я прошу его первого сказать свое мнение.

По мнению маленького рыцаря, следовало вначале укрепить форты около города, потому что, по всей вероятности, турки первым делом сделают нападение на эти форты. Все общество было согласно с ним. Войска разделились таким образом, что вся пехота в шестьдесят тысяч солдат находилась под предводительством нескольких военачальников, так как Мыслишевский должен был охранить правую сторону замка, левую – пан Гумецкий, который прославился в сражении под Чудновым; пан Володыевский выбрал для себя защищать самый опасный пункт – со стороны Хотина, а пониже его расположился отряд сердюков, майор же Квасибродский стал со стороны Зинковец; Вонсович охранял южную

часть, капитан Букар с отрядом пана Красицкого взял для защиты стену, прилегающую ко дворцу. Все войско состояло из воинов, закаленных в боях; это были воины по призванию, а не какие-нибудь новички в военном деле. Эти рыцари, начав служить с юных лет в польском войске, всегда немногочисленном, привыкли побеждать врага в десять раз сильнее и считали это делом обыкновенным. Красавец Кетлинг был сделан главным начальником над крепостной артиллерией за то, что он отличался от товарищей своих чрезвычайной быстротой и меткостью выстрела, а главным начальником в замке был пан Володыевский, вполне пользовавшийся свободой, предоставленной ему генералом подольским. Он мог делать вылазки в какое угодно время и когда сам найдет нужным.

Все воины были очень рады, когда узнали, какие места достались им для охраны, они гремели саблями и кричали от радости. Генерал подольский, видя войско в таком воодушевлении, подумал про себя: «Я не верил, что можно защитить крепость, и явился сюда без всякой надежды на успех, повинувшись только голосу совести; но теперь, кто знает, не удастся ли нам с такими воинами отразить неприятеля. Я прославлюсь, и меня будут называть вторым Иеремией, и в таком случае, ей-Богу, меня привела сюда счастливая звезда!»

Вследствие всего этого мысли его совершенно изменились: теперь он был твердо уверен в защите Каменца,

как раньше убежден был в его падении; он ободрился, стал более самоуверен и с большим одушевлением начал обсуждать дела обороны.

Решено было, чтобы пан Маковецкий с небольшим числом шляхтичей, польских мещан, более выносливых в бою, и несколькими десятками армян и евреев остался в городе и стал бы у русских ворот. У Лутских же ворот надлежало стать пану Градецкому, а Жуку и Матчинскому поручили управлять пушкой у этих ворот. Караул перед ратушей взял на себя Лукаш Дзековский, начальником же над цыганами за русскими воротами поставлен был пан Гацмирский. Сторожевой пост от самого моста до двора пана Сеницкого занял Казимир Гумецкий, брат храброго Войцеха. Над лятскими воротами стали Станишевский и Марцин Богуш; у Пушечной башни расположились Юрий Скажинский с Яцковским, около самой Бялблотской расселины. Башня же Резника была охраняема паном Дубровским и Петрошевичем. Томашевич получил поручение защищать главный шанец, а малый был поручен Яцковскому. Затем сделали и третий шанец, с которого потом много вреда было нанесено туркам одним евреем, чрезвычайно искусным пушкарем.

Окончив распределения войска, все пошли на ужин к генералу подольскому, во время которого этот последний с особенной любезностью относился к Володыевскому, посадив его на почетном месте, угощал и предсказывал, что по окончании осады в благодарность за оказанные

им услуги отечеству потомство присоединит к его прозвищу «маленького рыцаря» еще название «Гектора Каменецкого». Пан Михаил отвечал, что готов пролить за отечество последнюю каплю крови и, обратясь к епископу, сказал, что желал бы завтра в церкви дать обет послужить отечеству от всей души. Разумеется, епископ беспрекословно согласился на желание Володыевского, понимая, что это принесет отечеству большую пользу. И вот, на другой день утром, в соборе началось торжественное богослужение. Там присутствовало почти все население Каменца. На полу перед алтарем лежали Володыевский и Кетлинг, а Бася и Христя, стоя на коленях тут же за решеткой, плакали: им хорошо было известно, что мужья их, давая этот обет, шли на верную смерть. После обедни епископ вынес к народу причастие; в это время пан Михаил, встав на колени на ступеньках алтаря, сказал следующее:

– За величайшие благодеяния и особенное покровительство Господа Бога и Его единственного Сына, которое я испытал на себе, я чувствую себя обязанным выразить благодарность особенным образом, а потому даю обет и клянусь, что подобно тому, как Он и Его Сын помогли мне, так и я до последнего моего издыхания буду защищать Его Святой Крест. Приняв начальство над старым замком, клянусь и присягаю, что, пока я жив и буду в состоянии шевельнуть рукою или ногою, не пущу в крепость языческого неприятеля, живущего в разврате, а также и со стены не сойду,

и не выкину белого флага, хотя бы даже мне пришлось погибнуть под развалинами. Да поможет мне в этом Бог и Его Крест Святой. Аминь!..

Тишина в храме наступила невозмутимая, торжественная, затем наступила очередь Кетлинга:

– Даю обет, – сказал он, – что за особенные благодеяния, которые я получил в этом новом отечестве моем, я буду защищать крепость до последней капли крови и скорее погибну под ее развалинами, чем увижу, как неприятельская нога ступит на ее стены, и как от искреннего сердца и искренней благодарности даю я обет, так да поможет мне Бог и Крест Святой. Аминь!

После чего Володыевский, а затем и Кетлинг облобызали чашу с дарами, поданную им епископом. Видя все это, и другие рыцари стали шумно заявлять: «Все клянемся!» «Друг подле друга погибнем!» «Не падет эта крепость!» «Клянемся! Клянемся!» Все воины вынули сабли и шпаги из ножен, так что от блеска оружия в костеле стало очень светло. Свет этот озарял грозные лица и глаза, горевшие пламенем. Всей толпой овладело необыкновенное воодушевление. Потом раздался звон всех колоколов; послышались торжественные звуки органа; епископ произнес слова молитвы: «*Sub Tuum Praesidium*»²⁷. В ответ ему раздалась сотня голосов. Таким образом молился народ в крепости, охранявшей христианство и служившей входом в Польшу. После

²⁷ Под водительство твое (лат.)

обедни Кетлинг и Володыевский, держа друг друга за руки, вышли из костела. Им пришлось выслушать много приветствий и благословений от народа, потому что все были вполне убеждены, что эти рыцари исполнят свою клятву и что не смерть, а победа витает над их головами. Но никто из этой толпы не знал, кроме самих рыцарей, какую страшную клятву они дали, да еще два любящих женских сердца чувствовали, какое страшное горе угрожает им, отчего Бася и Христя были в страшном беспокойстве. Когда Бася, возвратясь в монастырь, осталась наедине с мужем, то, зарыдав как ребенок, она произнесла:

– Помни... Миша, что... не дай Господи, случится с тобою, какое несчастье, я... я... не знаю... что... со мною... будет...

Рыдания прервали ее слова; пан Михаил страшно расстроился и, шевеля усами, наконец проговорил:

– Э, полно, Бася, так надо, полно!

– Лучше мне было бы умереть, – сказала Бася.

При этих словах усы Володыевского зашевелились еще быстрее и он проговорил несколько раз: «Молчи, Бася, молчи!» И, чтобы успокоить ее, прибавил:

– А помнишь, что я сказал, когда Бог возвратил мне тебя. Я сказал следующее: «Боже! Что будет Тебе угодно, то я и сделаю. После войны, если я останусь жив, я построю церковь, но во время войны я должен сделать что-нибудь необыкновенное, чтобы отблагодарить Тебя как следует!»

Что там крепость! Мало и этого за такое благодеяние Его ко мне. Пришло время! Неужели будет лучше, если Спаситель скажет: «Твои обеты – игрушечки?» Да пусть меня лучше раздавят камни крепости, чем я нарушу слово, данное Богу. Так надо, Бася, вот и все!.. Будем верить в Бога, Бася!..

Глава XV

До Каменца донеслись слухи, что на Гринчук напали татары, которые забирали скот, а жителей уводили в селения и деревни не сжигали, чтобы не дать знать о себе. Володыевский, узнав об этом, поскакал со своей конницей к Гринчуку на помощь Васильковскому, который уже успел разбить татар, причем ему досталось много добычи и пленных. Маленькому рыцарю пришлось отправиться с пленниками в Жванец, где он предоставил их в распоряжение пану Маковецкому, чтобы этот последний, вынудив под пыткой их показания, записал бы их. Володыевский намерен был переслать эти показания гетману и королю. Из показаний татар узнали, что на помощь им был прислан ротмистр Стинган с молдаванами, а путь через границу указан был им перкулабами. Но никакие самые ужасные пытки не могли заставить их сказать, где находится падишах с главным войском, так как пленники и сами этого не знали, идя во главе других войск небольшими отдельными отрядами и не имея регулярного сообщения с главным отрядом.

Однако же все пленники единогласно показали, что падишах идет на Польшу со всем своим войском и должен скоро быть под Хотинном. Разумеется, эти показания пленных татар не были новостью для военачальников Каменца, но так как в Варшаве при дворе короля все еще сомневались в воз-

возможности войны, то татары вместе с их показаниями были отосланы, по приказу пана подкомория подольского, в Варшаву.

Таким образом, отряд пана Михаила вернулся очень довольный удачей своего первого разъезда. Вечером Володыевский принимал у себя секретаря своего побратима Габарескула, главного хотинского перкулаба. Перкулаб приказал передать пану Михаилу – «зенице ока» и «сердечному другу», – чтобы тот принял все предосторожности и, если не надеется, что Каменец выдержит осаду, то поскорее уехал бы из крепости, так как в Хотине с часа на час ждут прибытия падишаха с войском. Перкулаб побоялся переписываться с Володыевским, оттого и велел своему секретарю передать все словесно.

Маленький рыцарь послал с секретарем благодарность перкулабу и, щедро одарив посла, отпустил его, а сам, между тем сообщил эти новости комендантам.

Хотя сообщенное перкулабом и не было неожиданностью, но все-таки поразило всех. Приготовления к обороне города начали производиться с удвоенной скоростью; не медля ни минуты, Иероним Ланцкоронский умчался в свой Жванец, откуда можно было следить за всем, что творится в Хотине.

Таким образом время шло в ожидании врага, когда наконец 2 августа падишах появился у Хотина. Мусульманское войско рассеялось по всей равнине и наводило ее всю.

При виде Хотина, этого последнего города на границе турецких владений, все воины султана, как один человек, крикнули: «Аллах! Аллах!» Польские владения были на противоположной стороне Днестра, и эти-то невооруженные владения турецкие воины должны были покрыть собою или предать огню. Так как эта громада войск не могла вся поместиться в городе, то ей и пришлось разместиться в поле, там, где некогда войска Речи Посполитой победили такое же многочисленное турецкое войско. Все думали, что настало теперь время к отмщению, и, конечно, никто из турок, не исключая и султана, не предполагал, что для них эта местность будет опять роковою. Все были твердо убеждены в победе. Это убеждение оживляло все сердца, и войско, составленное из различных народностей, дико кричало, требуя немедленной переправы на «берег неверных». Но вдруг раздалось пение муэдзина – и воцарилось молчание. И все это безграничное море человеческих голов, покрытых различными головными уборами, преклонилось к земле, шепча молитвы, и шепот этот перенесся через Днестр к Речи Посполитой.

Но вот был подан сигнал для отдыха, и послышались звуки барабана, труб и флейт. Хотя войско и не особенно было утомлено во время пути, но султан, однако, желал, чтобы солдаты вполне отдохнули от дальней дороги из Адрианополя. Неподалеку от Хотина протекал ручей, в котором султан совершил омовение, а затем поместился в хотинском дворце, а воины его расположились в поле, разбив для себя палатки.

Погода стояла чудная, и вечерняя заря предвещала такую же и на завтра. Помолясь, войско предалось отдыху. Загорелись сотни тысяч костров, которые заставили тревожно биться сердца глядевших на них из окон замка в Жванце; эти костры были так многочисленны, что, по рассказам польских солдат, ездивших на разведку, «казалось, будто весь молдавский берег в огнях». Но по мере того как луна поднималась все выше на небе, костры погасли, кроме сторожевых и в лагере воцарилась мертвая тишина.

На рассвете следующего дня янычары, татары и липки получили приказ султана – переправиться через Днестр и овладеть Жванцем. Но поляки, под предводительством храброго Иеронима Ланцкоронского, не ожидая прибытия врагов, напали на янычар во время их переправы. Войско Иеронима Ланцкоронского составляли четыреста человек польских татар, восемьдесят киянов с собственной товарищеской хоругвью; все это войско заставило смешаться янычар и погнало их к Днестру. А тем временем татарский чамбул вместе с липками, перейдя в сторону Днестра, овладел Жванцем.

Пан подкоморий узнал об этом по дыму пожара и крику жителей, и в ту же минуту отдал приказ к отступлению и помчался во весь карьер, чтобы подать помощь погибавшим. Не имея за собою погони, так как янычары были пехотинцы, пан подкоморий уже почти доехал до Жванца, но в это время отряд польских татар перешел на сторону турок и бросил на землю свои значки. Минута была критическая: та-

тары предполагали, что поляки, заметив измену, смешаются, и, собрав все силы, бросились на отряд пана подкомория. Но кияне, следуя примеру своего храброго военачальника, стойко выдержали нападение татар. Между тем товарищеская хоругвь так стиснула татар, что они не выдержали. Вся местность около моста была устлана телами врагов, особенно много пало липков, которые бросались в самый огонь сражения, отличаясь этим от остальных татар; много их также легло на улицах Жванца. Покончив с татарами и увидев приближающихся от Днестра янычар, пан подкоморий заперся в крепости, но раньше этого послал в Каменец гонца просить помощи.

Султан не рассчитывал в один день взять крепость в Жванце, предполагая овладеть ею в то мгновение, когда все войско будет переправляться через реку. Султан рассчитывал, что для занятия Жванца достаточно будет и тех отрядов, которые он послал, и поэтому остальные янычары и орды не переправились на другой берег Днестра, а переправившиеся, после того как пан Ланцкоронский заперся в крепости, овладели местечком. Здесь они стали распоряжаться по-своему: работая и саблями, и кинжалами, убивая мужчин и детей и насилуя молодых женщин, они собирали в то же время добычу. Местечко они оставили в целости, не сожгли его, предполагая, что оно пригодится как им, так и другим отрядам для стоянок.

Между тем пану подкоморию сообщили, что с крепост-

ной башни видно, как от Каменца движется какой-то отряд конницы. Вслед за этим пан Ланцкоронский отправился сам на башню со своими приближенными и стал смотреть через подзорную трубу, выдвинутую в бойницу, в поле. Помолчав немного, он сказал:

– Это легкая конница из хрептиовского гарнизона, та самая, с которой Васильковский совершил экспедицию в Гринчук. Наверно, и теперь он сам идет сюда к нам на помощь.

Затем он снова взглянул в трубу.

– Я вижу волонтеров; должно быть, это отряд Войцеха Гумецкого.

Вслед за этим он крикнул:

– Слава Богу! И сам Володыевский с ними, я вижу его драгун. Господа, сделаем и мы вылазку и, Бог даст, прогоним неприятеля не только из местечка, но даже и совсем с нашего берега!

Он поспешил вниз и занялся подготовлением киян к вылазке. Наконец, татары, бывшие в Жванце, первые увиделидвигающуюся на них конницу и, громко крича «Аллах! Аллах!», спешили собраться в одно место. По улицам местечка разнеслись звуки бубнов и флейт; со своей обычной быстротой и несравненной ловкостью эта пехота построилась в ряды.

Затем отряд, как бешеный, помчался за город и напал на легкую кавалерию. Этот отряд янычаров в сравнении с гарнизоном Жванца, включая сюда же и помощь польской

конницы, был втрое больше. Вследствие чего татары так решительно и напали на пана Васильковского. Но этот последний был не из трусливых и всегда очертя голову бросался в опасность; он приказал своему отряду мчаться во весь опор навстречу неприятелю, несмотря на большое число врагов. Татары были изумлены такой необыкновенной храбростью. Они не любили вступать в рукопашный бой. Но раздался пронзительный свист флейт и звуки бубнов, а также грозные крики мурз, ехавших позади отряда, – все это призывало на «кенсим», то есть к резне, – а между тем лошади, встав на дыбы, пятились назад; видно было, что на врагов напала паника и они всеми силами старались избежать предстоящей битвы, и вдруг отряд их, подойдя на выстрел к польскому отряду, разделился на две половины и затем разбежался по полю, пустив при этом тучу стрел в воинов Васильковского.

Между тем этот последний, не зная о пребывании янычар в другой стороне Жванца, догонял одну из половин разделившегося неприятельского отряда и, догнав, вступил в бой с теми, которые, имея дурных лошадей, не успели убежать от погони. Но другая половина чамбула не зевала и, поворота своих коней, налетела на Васильковского с целью окружить его; в это время подоспели польские волонтеры, а также и подкоморий со своими киянами; окруженные почти со всех сторон, татары побежали. Во время этого бегства одна группа преследовала другую, человек преследовал че-

ловека. Много татар погибло на поле сражения, в особенности их немало уничтожил Васильковский своею рукой, бросаясь один на толпу врагов. Но пан Михаил, отличавшийся на войне всегда спокойствием и благоразумием, не пускал в дело своих драгун, так как не обращал внимания на трусливую орду и зорко следил, не появятся ли где спаги, янычары или другое более выдающееся войско.

Но вдруг к маленькому рыцарю подъехал пан подкоморий со своим отрядом.

– Янычары у реки, – воскликнул он, – атакуем их!

Выхватив шпагу из ножен, маленький рыцарь скомандовал своему отряду:

– Вперед!

Подтянув поводья, чтобы легче было управлять лошадьми, и наклонясь вперед, воины помчались сначала рысью, затем вскачь. Миновав ряд домов, которые находились близ реки у восточной стороны крепости, драгуны заметили янычар и поняли, что им придется вступить в бой с регулярной пехотой падишаха.

– Руби! – крикнул пан Михаил.

И тогда только конница понеслась в карьер.

Янычары, не имея понятия о той помощи, которая явилась в подкрепление жванецкому гарнизону, отправились спокойно на берег Днестра с целью переправиться на другую его сторону. Двести человек янычар находились уже у реки, и некоторые из них были на плотах, спеша переехать

на другую сторону. За этим отрядом следовал другой, равный по численности первому. Воины эти двигались поспешно вперед, соблюдая строжайший порядок; но вдруг они увидели неприятельскую конницу и моментально обратились фронтом к полякам. Раздались ружейные выстрелы, как будто во время смотра. Янычары и не подумали отступить, но, дико крича, кинулись с саблями на неприятеля, предполагая, что товарищи их, которые оставались на берегу, окажут им помощь, стреляя из ружей. Но рассчитывать на подобную помощь было безумием; так могли думать только янычары. За это они дорого и поплатились. Мчавшаяся неудержимо в карьер конница налетела на янычар, смяла их, сея вокруг ужас и разрушение. Некоторые из янычар, упавших под первым сильным натиском, поднялись и кинулись врассыпную к Днестру, где оставшаяся часть их отряда стреляла время от времени в поляков, высоко прицеливаясь, чтобы не попасть в своих. Янычары, находившиеся у переправы, не знали, на что решиться: переехать ли на пароме на другую сторону или кинуться на поляков. Но от последнего намерения их удержал вид бегущих янычар, которых беспощадно рубили драгуны, топча их копытами своих коней. Время от времени группа янычар, сильно стиснутая драгунами, как бы огрызалась, поворачиваясь с отчаянием к неприятелю и отбиваясь, как загнанный в ловушку зверь. Все это видели находившиеся на берегу янычары и поняли, что вступать в рукопашный бой с поляками, владеющими с таким искусством

холодным оружием, было опасно. Драгуны без милосердия рубили янычар, да так быстро и ловко, что невозможно было уследить за мельканием сабель, от звона которых гудело все вокруг. Затем группы неприятелей рассыпалась во все стороны.

Пан Васильковский был всегда впереди своего отряда, не думая о своей безопасности. Но Володыевский, опытный боец и более хладнокровный, чем пан Васильковский, поступал совершенно иначе. Во время нападения он посылал свою конницу вперед, а сам немного отставал, чтобы обозреть место побоища. Рассмотрев все внимательно, он бросался в битву, пробивался в ряды янычар, направлял свою конницу куда следует и опять отставал от нее, следил за ходом битвы и потом снова бросался в бой. Но вдруг поляки, увлекшись погоней за янычарами, промчались мимо них (подобные случаи нередки во время стычек конницы с пехотой). Некоторые из янычар, видя себя отрезанными от реки поляками, кинулись к городу, надеясь скрыться в подсолнухах, росших у околицы. Маленький рыцарь догнал двух передних и двумя ударами сабли убил их. Третий из янычар, видя смерть своих товарищей, выстрелил в Володыевского из винтовки, но дал промах. Вслед за тем пан Михаил ударил его саблей между носом и ртом, и янычар покотился мертвым. После этого маленький рыцарь, долго не думая, бросился за остальными беглецами, которых и убил наповал, не дав им добежать до подсолнухов. Только двое из беглецов бы-

ли пойманы обитателями местечка. Пан Михаил даровал им жизнь, сказав, что впоследствии распорядится ими.

Вслед за этим Володыевский, немного взволнованный, увидел, что большая часть неприятельского войска приперта к реке, кинулся в самый пыл сражения и, поравнявшись со своей конницей, принялся опять работать саблей. Он убивал и направо, и налево, а то и перед собой наносил удары неприятелю, и янычары валились кругом него за смертью. На янычар напал ужас, и они, крича, толпою остановились перед ним, он же все быстрее и быстрее наносил им удары. Его шпага блестела то здесь, то там, но рассмотреть, кого он рубит и кого колет, было невозможно вследствие быстроты его движений.

Пан подкоморий с удивлением смотрел на сражающегося Володыевского, даже сам перестал сражаться, и хотя он уже много слышал о фехтовальном искусстве пана Михаила, но теперь, глядя на него, не верил своим глазам. Схватившись за голову, он стал повторять: «Ей-Богу, это что-то необыкновенное!» Другие воины кричали: «Смотрите, смотрите, нигде вы этого больше не увидите!»

Между тем янычары, уже совсем припертые к реке, кинулись в беспорядке на плоты. Места на плотях было довольно для беглецов, так как перед битвой переправлялось народу больше, чем возвращалось назад, и, разместившись на плотях, янычары быстро стали удаляться от берега, и с паромов загремели янычарки. Поляки отвечали им из бандале-

тов; дым расстилался вдоль берега, поднимаясь к небу. Паромы быстро удалялись, а поляки, одержавшие победу, радостно кричали и грозили кулаками неприятелям, кричали им:

– А что, собака, будешь знать! Попробовал?

Иероним Ланцкоронский, не дожидаясь окончания перестрелки, тут же, на поле сражения, заключил маленького рыцаря в свои объятия.

– Просто глазам своим не верю, – сказал он. – Это чудеса, достойные описания.

На что пан Михаил отвечал:

– Врожденная способность и практика – вот и все! Я был во многих сражениях.

Потом, обнявшись еще раз с паном подкоморием, Володыевский посмотрел на берег и сказал:

– Посмотрите, ваша милость, вот это так действительно редкое зрелище!

Пан Ланцкоронский посмотрел по направлению, указанному Володыевским, и увидел на берегу пана Мушальского, целящегося из лука.

Пан Мушальский, как и прочие воины, сражался сначала врукопашную, но так как янычары были уже далеко от берега и пули из винтовок и пистолетов не могли догнать их, то знаменитый стрелок из лука, встав на самом высоком месте берега, натянул лук и начал прицеливаться.

В этот момент и увидели его маленький рыцарь с подкоморием. Этим зрелищем действительно можно было залю-

боваться! У знаменитого стрелка из лука, сидящего на коне, левая рука была вытянута вперед и крепко сжимала лук, правая же была прижата к самой груди, и от сильного напряжения жилы на лбу его налились кровью; между тем он спокойно прицеливался. Сквозь облака порохового дыма вдали виднелись плоты с беглецами, отражавшиеся в прозрачных водах Днестра, необыкновенно широко разлившегося от таявшего снега в горах. Не слышно было уже на берегу бандалетов, и глаза всех воинов обратились на несравненного стрелка из лука, а потом в сторону цели, избранной им для выстрела.

Вдруг стрела просвистела в воздухе, но никто не был в состоянии уследить за полетом ее, только вслед за тем увидели все, что у стоявшего у руля здоровенного янычара внезапно повисли руки и, пошатнувшись, он полетел в воду, разлетевшуюся брызгами во все стороны.

– В память твою, Дыдюк!.. – сказал Мушальский. Затем несравненный стрелок взял вторую стрелу.

– В честь пана гетмана! – произнес он, обращаясь к товарищам.

Все стояли молча, затаив дыхание; через минуту стрела снова прожужжала в воздухе, и второй янычар, как подкошенный, упал на дно парома.

Плоты еще быстрее поплыли по воде, а Мушальский, улыбаясь, сказал пану Михаилу:

– Теперь в честь уважаемой вашей супруги.

И лук был натянут в третий раз, и стрела, слетевшая с него, убила третьего янычара. Из среды польских воинов послышался радостный крик, которому ответом был яростный крик янычар. После этого пан Мушальский ушел, а за ним пошли и остальные воины, направляясь к городу.

Идя по дороге, воины с удовольствием глядели на лежащих мертвых врагов своих. Трупов татар был не особенно много, так как большинство их не вступали правильно в бой, а спешили переправиться через Днестр; но зато янычар было очень много убито, и, лежа на земле, некоторые из них еще судорожно вздрагивали; все они были обобраны и раздеты подчиненными подкомория.

Взглянув на мертвых янычар, маленький рыцарь сказал:

– Мужественный это народ, и идут они в бой так же смело, как дикий кабан на охотника; но они и вполосину не так опытные, как шведы.

– Однако они дали залп так дружно, будто орех раскусили, – заметил пан подкоморий.

– Это произошло само собою, а не благодаря их уменью, потому что у них вообще не принято обучать чему бы то ни было войска. Это была гвардия самого султана, и она еще кое-что умеет; но, кроме них, существуют также и регулярные янычары, которые гораздо слабее янычар султана.

– Ну и дали же мы им себя знать! Слава Богу, что эту войну нам придется начать такой важной победой.

Впрочем, пан Михаил думал совершенно иначе.

– Эта победа невелика и не важна! Хорошо уже и то, что она ободрит людей, первый раз бывших в сражении, а также и жителей Каменца, но другого значения она не будет иметь.

– Неужели вы думаете, что у неверных не убавится смелости?

– У неверных смелости не убавится.

Вскоре они доехали до города; навстречу им вышли лычки и подвели двух пленных янычар, которых захватил в плен пан Володыевский, когда они хотели спрятаться в подсолнухах.

Один из пленников был слегка ранен, а другой вполне здоров. Он был смел до дерзости. Остановившись в замке, пан Михаил приказал Маковецкому допросить этого пленника. Володыевский, хотя и хорошо знал турецкий язык, но говорил на нем очень медленно. Маковецкий расспрашивал пленника о местопребывании султана, нет ли его уже в Хотине и когда он предполагает подойти к Каменцу.

Янычар не уклонялся от ответов, но отвечал с чрезвычайно гордой осанкой.

– Падишах сам здесь при войске, – говорил он. – В лагере говорили, что завтра Галиль и Мурад паши переправятся на этот берег, взяв с собою мегсидисов, которые немедленно начнут копать рвы. Завтра или послезавтра наступит день вашей гибели.

При этих словах янычар, убежденный, что одно имя пади-

шаха приводит в трепет поляков, подбоченясь, продолжал:

– Безумные ляхи! Как вы смели тут, на глазах у султана, нападать на его слуг и убивать их? Неужели вы думаете, что минует вас страшная кара? Неужели вас может спасти эта маленькая крепость! Не будете ли вы через несколько дней невольниками султана! Теперь вы похожи на псов, кинувшихся на своего хозяина...

Показания пленника были тщательно записаны Маковецким; слыша нахальные речи турка, маленький рыцарь при последних словах пленника ударил его по лицу. После чего этот последний стал выражаться гораздо сдержаннее и проникся, по-видимому, особым уважением к Володыевскому. Наконец допрос кончился, и пленники были уведены, а маленький рыцарь, между прочим, сказал:

– Надо обоих пленников и их показания как можно скорее отправить в Варшаву. Ведь там, при дворе королевском, до сих пор еще не верят в войну.

– Что это за мегсидисы, с которыми будут переправляться Галиль и Мурад? – спросил пан Ланцкоронский.

– Мегсидисы – это инженеры, которые будут устраивать валы и насыпи для пушек, – отвечал Маковецкий.

– Ну, а как вы полагаете, правду ли говорил этот пленник и не солгал ли он нам?

– Если вам будет угодно, – отвечал Володыевский, – то ему можно будет поджарить пятки. У меня есть вахмистр, который разделся с Азией, сыном Тугай-бея; в этих делах

он неподражаем; но, по моему мнению, янычар говорил совершенную правду. Сейчас должна начаться переправа, помешать которой мы не в силах, хотя бы нас было в сто раз больше. Нам остается только собираться в путь и ехать в Каменец с добытыми сведениями.

– Мне так повезло под Жванцем, что я с большим бы удовольствием остался бы в крепости, если бы только мог быть уверен, чтобы по временам вы будете делать из Каменца вылазки, чтобы помочь мне. А там будь что будет.

– У них двести пушек, – отвечал Володыевский, – а когда они перевезут два тяжелых осадных орудия, так эта крепость не продержится и одного дня. Я сам хотел было в ней запереться, но теперь, когда хорошенько осмотрел, вижу, что это бесполезно.

Все остальные разделяли мнение пана Михаила, кроме подкомория, который говорил, что он на время останется в Жванце, хотя, как знаток военного дела, вполне признавал целесообразность мер, предложенных маленьким рыцарем. Но колебание пана Ланцкоронского кончилось, когда в комнату вбежал только что примчавшийся с берега реки Васильковский.

– Господа! – крикнул он. – Весь Днестр усеян паромами так, что воды не видно.

– Переправляются? – спросили все в один голос.

– Переправляются. Турки на паромах, а татары вброд, держась за лошадей.

Подкоморий, уже не колеблясь ни минуты, отдал приказание затопить старые крепостные гаубицы, а вещи, какие находились в крепости, по возможности припрятать или увезти в Каменец. Пан Володыевский со своим отрядом помчался к одной из дальних возвышенностей, откуда можно было хорошо видеть переправлявшихся турок.

Все пространство реки, которое только можно было окинуть взглядом, было покрыто паромами и челнами. Галиль и Мурад-паша переправлялись. На судах, уже давно приготовленных для переправы, ехало множество янычар вместе со спагами. Кроме этого, на берегу еще оставалось громадное количество войск Володыевскому казалось, что турки собираются построить мост. Впрочем, главные силы турецких войск еще не были выдвинуты. Наконец подкоморий со своим отрядом подъехал к маленькому рыцарю, и они отправились к Каменцу. Прибытия их ожидал. Потоцкий в своей квартире, где было чрезвычайно многолюдно; все офицеры, находившиеся в Каменце, собрались у Потоцкого; а перед домом его стояла большая толпа мужчин и женщин, которые были сильно испуганы и с нетерпением ожидали получить какие-нибудь известия.

– Неприятель переправляется, и Жванец уже в его руках! – сказал маленький рыцарь.

– Работы по укреплению Каменца окончены, и мы ждем неприятеля! – отвечал Потоцкий.

Услышав, что неприятель уже недалеко, народ сильно

заволновался. «К воротам! К воротам! – раздались крики по всему городу. – Неприятель в Жванце». Желая увидеть турок, мещане и их жены спешили к крепостным башням, уверенные, что оттуда они скорее всего увидят неприятеля, но воины не пускали их в помещение войск.

– Ступайте домой, – кричали они толпе, – если вы будете мешать обороне, то ваши жены скоро увидят турок поближе.

Но особенного волнения не было в городе, так как там уже знали о сегодняшней победе и судили о ней, конечно, по рассказам весьма преувеличенным, чему способствовали также и солдаты, передавая о сражении разные небылицы.

– Пан Володыевский разбил янычар, самую гвардию султана, – твердили все. – Куда им тягаться с паном Володыевским! Он убил самого пашу. Не так страшен черт, как его малюют! Не устояли они перед нашими войсками! Так вам и надо, собаки! Чтоб вам пропасть и с вашим султаном.

Между тем мещане, захватив с собою фляжки с водкой, медом и вином, снова пришли к шанцам, и на этот раз солдаты любезно приняли их и начали с ними пировать. Потоцкий не препятствовал этому пиру, зная, что это придаст бодрости солдатам, а затем велел воинам палить из пушек, так как пороху в крепости было очень много, а эти выстрелы могли вызвать большое изумление в рядах турок, если они услышат это веселое салютованье.

В сумерки пан Михаил, выйдя от генерала подольского, взял слугу и поехал с ним к монастырю, желая скорее

увидеть Басю. Пан Володыевский поехал глухими улицами, но все-таки он окружен был большою толпой народа, кричавшей «vivat» Володыевскому, а матери, поднимая детей вверх, кричали: «Вот он! Смотрите и помните!» Но многие были удивлены, видя небольшую фигуру Володыевского, и не могли понять, как такой невысокий, веселый и добродушный человек мог быть первым и грозным воином всей Польши. Пан Михаил ехал довольный, улыбающийся. Приехав в монастырь и увидав Басю, он бросился в ее объятия.

Она уже знала о сегодняшней победе мужа от пана подкомория, который рассказал ей все подробно, при чем по приглашению Баси присутствовали все женщины, бывшие в монастыре: Потоцкая, Маковецкая, Кетлинг и другие. Во время рассказа пана подкомория гордость и радость Баси дошли до своего апогея. Через минуту после того, как женщины разошлись, приехал пан Михаил.

Володыевский, когда прошла первая минута радостной встречи, успокоясь от волнения, сильно уставший, сел за ужин. Жена сидела рядом с ним, угощая его и то и дело подливая меду в его кубок Маленький рыцарь, страшно проголодавшийся, так как он ничего не ел целый день, не заставлял себя долго просить и поглощал кушанья, а также и вина с большим аппетитом. Бася между тем с вниманием слушала его рассказы о сегодняшней битве, встряхивая по обыкновению своим чубиком.

– Ага! Ну и что же? Что же? – спрашивала Бася.

– Сильные бывают между ними молодцы; но не ищи среди турок знатока фехтовального искусства, – рассказывал маленький рыцарь.

– Так что, пожалуй, и я могла бы с каждым из них померяться?

– Конечно! Если и не померишься, так только потому, что я тебя не возьму.

– Ах, если б хоть разок! А знаешь, Михаил, когда ты идешь на вылазку, я нисколько не беспокоюсь. Я знаю, тебя никто не одолеет.

– Разве меня не могут подстрелить?

– Молчи, молчи! Разве нет Господа Бога над нами! Самое главное, что ты не допустишь себя заколоть.

– Одному и двоим не дамся в руки.

– И троим, Миша, и четверем!

– И четверем тысячам, – сказал, поддразнивая Басю, Заглоба. – Ах, если б ты, Миша, знал, что она здесь вытворяла, когда пан подкоморий рассказывал о сегодняшнем деле. Я думал, что лопну со смеху, ей-Богу! Носом фыркала, как коза, а сама заглядывала в лицо каждой бабе поочередно, чтобы видеть, восхищаются ли они как следует. Я даже боялся, что она запрыгает козликом, а это зрелище совсем не соответствовало бы ее достоинству.

Пужинав, маленький рыцарь потянулся от страшного утомления и, обняв жену, проговорил:

– Моя квартира в замке уже готова; но как мне не хочется

возвращаться!.. Бася, а ведь я, пожалуй, здесь останусь?.

– Как хочешь, Миша, – отвечала Бася, опуская глазки.

– Да! – воскликнул Заглоба. – Меня уже здесь считают за какого-то гриба, а не за мужчину, потому что мне позволено жить в монастыре. Ох, пожалееет об этом игуменья, вот посмотрите! Заметили вы, как пани Хоцимерская моргала мне?.. Она вдова – больше я ни слова не скажу!

– Ей-Богу, пожалуй, останусь, – произнес маленький рыцарь.

– Лишь бы только отдохнул хорошенько!

– А почему бы ему и не отдохнуть? – спросил Заглоба.

– Потому что мы будем все говорить, говорить, говорить!..

В это время пан Заглоба собирался отправиться к себе и искал шапку; найдя ее, он сказал:

– Ах, не будете вы говорить, говорить, говорить!.. Сказав это, он удалился.

Глава XVI

С рассветом следующего дня Володыевский отправился под Княгин; на пути он встретился с отрядом спагов, под командой Балук-паши, прославленного турками за его военные действия. Володыевский взял его в плен. Пан Михаил, весь день трудясь в открытом поле, к ночи отправился на военный совет к Потоцкому, где и пробыл до первых петухов. Утомленный до последней степени, он едва только успел уснуть крепким сном, как вдруг проснулся от пушечной пальбы. В то же самое время явился к нему жмудин Пентко, верный слуга и почти друг маленького рыцаря.

– Ваша милость! – воскликнул он. – Неприятель подступил к городу!

Володыевский вскочил с постели.

– А чьи это пушки палят?

– Наши. Подъехал большой отряд и захватил скот в поле...

– Янычары или конница?

– Конница, ваша светлость. Все они черные, как уголь. Наши все крестят их; кто знает – не черти ли это?

– Черти или не черти, а нам надо выехать к ним, – отвечал Володыевский. – Ты отправляйся к пани и скажи ей, что я еду в поле. Если она захочет придти в крепость, чтобы посмотреть на неприятелей, – скажи ей, что я позволяю,

но только с паном Заглобой, в благоразумии которого я уверен.

Через полчаса маленький рыцарь с драгунами и охотниками из шляхты, пожелавшими отличиться в бою, отправился в поле.

Турецкая кавалерия, доходившая до двух тысяч человек, большею частью состояла из египетской гвардии падишаха, а частью из спагов. Эти гвардейцы, сильные и мужественные мамелюки с берегов Нила, со своим блестящим вооружением, в разноцветных, затканых золотом головных уборах, в белых бурнусах, с оружием, украшенным драгоценными камнями, представляли из себя несравненную по красоте конницу в целом мире. Вооружение их состояло из копий с древками из коленчатого тростника, чрезвычайно кривых сабель и кинжалов. Они мчались на своих быстрых и легких лошадях, издавая дикий вой и потрясая оружием. В старой крепости, откуда эта кавалерия была хорошо видна, все залюбовались турецким войском.

Маленький рыцарь со своим отрядом поехал к ним навстречу. Но рукопашный бой для обеих сторон был весьма затруднителен; турки боялись близко подходить к крепости, опасаясь выстрелов, посылаемых в них артиллерией, а пан Володыевский боялся выйти из-под ее защиты и напасть на неприятеля, который был гораздо многочисленнее его. Таким образом, турки и поляки носились по полю на далеком расстоянии друг от друга, вращая оружием и громко

крича. И вот, по-видимому, туркам надоела эта бесцельная скачка, и от войска время от времени стали отделяться поодиночке воины и, подъезжая близко к полякам, вызывать их на единоборство.

– Господа! Нас вызывают! Кто хочет сразиться с наездниками?

Недолго думая, горячий Васильковский первым помчался на этот вызов, за ним полетел Мушальский, великий мастер рукопашного боя, а вслед за ними уже поехали пан Мязга из герба Прус, который особенно искусно на всем скаку нанизывал на копье перстень, лежащий на земле. Кроме этих рыцарей туда же поскакали Теодор Падеревский, Озевич, Шмлуд-Плоцкий, князь Овсяный, пан Муркос Шелюта и другие удалые рыцари в количестве нескольких десятков, а также и толпа драгун, которые спешили за богатой добычей, а особенно их привлекали арабские кони мамелюков. Люсня, предводительствуя драгунами, уже издали старался выбрать для себя противника побогаче.

День был безоблачный, и из старой крепости все поле было видно, как на ладони. Мало-помалу пушки на валах смолкли, так как боялись, что выстрелы могут попасть в своих, и пушкари, оставив бесполезную пальбу, начали смотреть на бой. Между тем враги, рассеявшись по полю, подъезжали близко друг к другу и осыпали один другого различными ядовитыми словами, подзадоривая неприятеля.

– Не съедите нас, неверные псы! – кричали поляки. –

Сам здесь! Не защитит вас и ваш ложный пророк!

Турки со своей стороны не оставались у них в долгу и кричали им по-турецки и по-арабски. Многие из поляков знали турецкий язык, так как им пришлось побывать в плену у турок. Турки стали богохульствовать, смеясь над Богородицей, и тогда поляки, не помня себя от ярости, помчались, как вихрь, чтобы отомстить неприятелю за это богохульство.

Первым отмстителем явился Мушальский, который пустил стрелу в молодого бея в пурпуровой чалме и серебряной кольчуге. Стрела попала в левый глаз бея, половина ее ушла в голову, и молодой бей полетел с лошади. Мушальский подъехал купавшему турку и приколол его саблей к земле. Все доспехи и вооружение погибшего бея Мушальский взял себе, как и его коня, а затем крикнул по-арабски:

– Дай-то Господи, чтобы это был сын султана! Сгнил бы он здесь прежде, чем у вас заиграют зорю.

Воины, слыша слова Мушальского, страшно рассвирепели, и в то же мгновение два бея напали на него. Но Люсня, словно разъяренный волк, перерезав им путь, убил одного из них. Сначала Люсня ранил бея в руку, и когда бей наклонился, чтобы поднять с земли упавшее из раненой руки оружие, Люсня моментально отрубил чему голову. Другой бей, видя все случившееся, быстро умчался назад, но Мушальский пустил ему вдогонку стрелу из своего лука, которая и умертвила бея.

Шмлуд-Плоцкий был третьим, убившим своего врага.

Он положил его на месте, ударив бердышем по голове. Дорогая материя тюрбана несчастного разорвалась от удара, а кривой конец бердыша так глубоко вошел в кости черепа, что пан Шмлуд-Плоцкий с большим усилием вытянул его. Остальные воины не так были счастливы, но в большинстве случаев шляхтичи, благодаря своей опытности в поединках, одерживали верх над неприятелем. Гамди-бей, могучий турецкий воин, умертвил двух драгун, а князя Овсяного ранил в лицо своей кривой саблей. Этот последний упал с коня, обливаясь кровью, а Гамди спешил уже к пану Шелюте, у лошади которого была сломана нога. Увидя приближающегося к нему Гамди, пан Шелюта соскочил с коня, готовясь вступить в бой с могучим беем. Но тот направил на него своего коня, и когда Шелюта упал, ранил его саблей в плечо и умчался в поле, чтобы вновь с кем-нибудь сразиться.

Но все боялись вступить в бой со всадником, обладавшим такой могучей силой. Ветер развеивал его белый бурнус, придавая ему вид крыльев хищной птицы. Черное, с дико-сверкавшими глазами лицо Гамди было озарено зловещим блеском, падавшим на него от позолоченной кольчуги, а кривая сабля блестела над головой, как луч месяца.

Две стрелы, пущенные в Гамди паном Мушальским, зазвенели, отскочив от его кольчуги, и упали в траву. Пан Мушальский затем не знал, на что решиться: вступить ли самому в бой с Гамди или пустить стрелу в его коня. Но в это время бей сам стал приближаться к нему.

И пан Мушальский вступил в бой с беём посредине поля. Мушальский, желавший захватить бея живым, гордясь своею необыкновенной силой, вышиб из рук Гамди саблю, схватил его одной рукой за горло, другой за шлем и притянул к себе. Но, к несчастью, подпруга под конем Мушальского лопнула, и он стремглав полетел на землю, а бей рукоятью сабли ударил своего врага в голову и оглушил его. Войска турок возликовали, слышались их радостные возгласы, зато поляки были страшно встревожены. Затем обе стороны бросились друг на друга всею-массою; одни старались взять в плен врага, а другие желали хотя бы выручить тело своего товарища.

Володыевский, как полковник, не имел права вступить в этот бой. Но увидав поражение Мушальского и возраставший успех Гамди-бея, он не вытерпел и помчался на поле битвы. Бася, смотревшая на этот бой из старого замка, увидела в подзорную трубу мчавшегося мужа и, обратясь к старому Заглобе, стоявшему рядом с ней, крикнула:

– Михаил скачет! Михаил скачет!

– Вот когда ты узнаешь его вполне! – воскликнул старый волк. – Смотри в оба, смотри, куда он бросится. Да не бойся!

Вся взволнованная и трепещущая, Бася следила за битвой, глядя в подзорную трубу, которая дрожала в ее руках. Она не опасалась за жизнь мужа, так как стрельба из луков и винтовок была прекращена, но ее охватило страшное любопытство, и она, быстро дыша, с ярким румянцем на ще-

ках, летела душой за мужем и вдруг высунулась из бойницы, так что пан Заглоба в испуге схватил ее за талию, боясь, что Бася упадет в ров.

– Двое скажут на Михаила! – закричала она.

– Двумя будет меньше, – отвечал пан Заглоба.

Действительно, два огромных спага приближались к Володыевскому. Небольшая фигура пана Михаила давала им надежду на легкую победу, а по костюму они легко узнали в нем начальника, и тем заманчивее для них была победа над ним: она могла бы их прославить. И вот они сравнились с Володыевским, отдалясь от других воинов. Пан Михаил на скаку, не приостанавливаясь, нанес каждому из неприятелей по легкому удару, но от этих ударов те упали замертво на землю.

А Володыевский помчался за другими всадниками и начал сыпать удары, от которых турки падали кругом него мертвыми. Мусульмане почуяли врага, превосходившего их силой, и с ужасом старались избежать встречи с ним, бросаясь от него в сторону. Но маленький рыцарь настигал беглецов и ударом сабли убивал их.

Между тем артиллеристы, следившие за стычкой с крепостного вала, начали радостно кричать, а многие даже, подбежав к Басе, целовали край ее одежды, некоторые же осыпали турок насмешками. Пан Заглоба то и дело должен был останавливать Басю, которая от радости не знала, что делать, смеяться или плакать.

А маленький рыцарь тем временем все поражал да поражал врагов, и вдруг поле битвы огласилось громкими возгласами турок: «Гамди, Гамди!» Правоверные звали на помощь своего могущественного бойца, чтобы он сразился с этим маленьким всадником, казавшимся туркам воплощенной смертью.

Но Гамди и сам уже давно видел этого зловещего рыцаря, но, боясь сразиться с ним, чтобы не потерять своей славы, а также боясь умереть таким молодым, он делал вид, что не замечает его, и старался держаться на противоположной стороне поля. Здесь он поразил, между прочим, Ялбжика и Коса и в это время услышал отчаянные вопли турок, призывавших его. Для Гамди стало ясным, что прятаться дольше нельзя и что приблизился момент приобрести величайшую славу или погибнуть. И, издав нечеловеческий крик, Гамди во весь опор помчался к Володыевскому.

Маленький рыцарь издали заметил Гамди и также поспешил ему навстречу. Обе неприятельские стороны приостановили сражение. А Бася, стоявшая в крепости и выдававшая уже прежние подвиги Гамди, побледнела, хотя и беззаветно верила в непобедимость мужа, между тем как старый Заглоба казался вполне спокойным.

– Я хотел бы скорее быть наследником этого язычника, чем им самим, – внушительно проговорил он.

Флегматичный жмудин Пентко так слепо верил в непобедимость своего господина, что без всякого волнения увидал

мчавшегося навстречу пану Михаилу Гамди и запел даже потихоньку народную песенку:

«Ой ты, глупая, глупая собака, Ведь это волк бежит из леса! Ты зачем пустилась ему навстречу, Если не можешь его одолеть?»

И вот наконец враги соединились на середине поля. За каждым из них встали в ряд воины, следя за поединком двух могучих рыцарей. Мгновенно сердца у всех зрителей замерли. Но затем из рук Гамди вылетела его кривая сабля, сверкнула над головами сражавшихся, и бей, пораженный насмерть, согнулся в седле, сомкнув глаза. Маленький рыцарь, быстро захватив врага за шею левой рукой, увлек его в сторону, где находились его воины. Гамди беспрекословно повиновался своему победителю и даже пришпоривал своего коня, ощущая острие стали в груди. Гамди имел очень жалкий вид, руки его болтались, как плети, а по лицу текли слезы. Передав пленника на руки Люсне, пан Михаил снова отправился на поле сражения.

Но вдруг раздался звук труб и флейт из главного турецкого отряда, призывавший воинов назад. Наездники со стыдом и изумлением поспешили к своим войскам, унося в своем сердце воспоминание о страшном маленьком рыцаре.

– Это был шайтан! – говорили друг другу спаги и мамелюки. – Кто с ним свяжется, тому не миновать смерти! Не кто другой, как сам шайтан!

Польское войско еще некоторое время оставалось на по-

ле сражения, давая знать этим, что победа осталась за ним. Затем поле огласилось троекратным торжественным криком поляков, и они отправились к крепости, из которой, по приказу Потоцкого, началась опять стрельба в турок. Но турки также спешили отступить, и вскоре на поле битвы остались только трупы. Из крепости были высланы люди, чтобы предать земле павших польских воинов, погребением же турок занялись слетевшиеся вороны. Но пир этих птиц был непродолжителен, потому что им помешали явившиеся в тот день вечером новые отряды турок.

Глава XVII

На другой день после битвы к Каменцу подступило огромное турецкое войско, состоявшее из спагов, янычар и ополченцев из Азии, идущих под предводительством самого визиря. Сначала поляки думали, что турки пойдут на приступ, судя по большому количеству их войска, но неприятелю надо было только осмотреть крепостные стены и насыпи, для чего они и привезли с собою инженеров. Мыслишевский с пехотою и отрядом конных волонтеров встретил визиря. И вот начался бой, благополучно окончившийся для поляков, хотя и не так блестяще, как вчера. Потом, по приказанию визиря, янычары подошли к крепости, стены которой и форты тотчас же потряслись от пушечной пальбы. К той части крепости, которую защищал пан Полчанский, подошли также янычары и тотчас навели на нее орудия. Ответом на этот залп были чрезвычайно меткие выстрелы, которыми Полчанский стал сверху угощать турок. Янычары, боясь, что поляки нападут на них сбоку, вскоре стали удаляться по жванецкой дороге, направляясь к своему главному отряду.

Вечером того дня появился в Каменце чех, тайком бежавший от жестокостей янычара-аги, у которого он был каюком. Поляки узнали от него о пребывании турок в Жванце и о том, что луга неподалеку от деревни Дпужко были также заняты ими. Между прочим, на расспросы поляков чех рас-

сказал, что в турецком войске господствует бодрое настроение, чему способствовало также и хорошее предзнаменование: дня за два до этого перед шатром падишаха внезапно появился из земли столб дыма, тонкий внизу и кверху колоссально расширявшийся. Это явление, по объяснению мурфтия, предвещало падишаху, что слава его возрастет до небес и что судьбою ему предназначено разрушить неприступную каменецкую крепость. По словам беглеца, турки только боялись появления в Каменце Собеского и, помня прежние победы над ними поляков, боятся с ними вступать в бой в открытом поле и предпочтут сразиться с каким угодно другим народом, но только не с польскими воинами. Но все-таки турки вполне были убеждены, что возьмут Каменец (хотя бы и с большими затруднениями), так как войск у Речи Посполитой нет. Кара-Мустафа предложил взять крепость штурмом, но визирь, как опытный военачальник, не согласен на это, а думает сделать кругом города окопы, а затем бомбардировать его. Падишах, после первого побоища с поляками, согласился с мнением визиря «вести правильную осаду».

Рассказ беглеца поверг в уныние всех старших офицеров, слушавших его. Все были убеждены, что турки будут штурмовать крепость и надеялись, что выдержат штурм, причем турки должны будут потерять многих из своего войска, так как всегда во время атаки крепости осаждающие теряют много людей и каждая неудачная атака приводит их в сомнение, а осажденные ободряются и продолжают храбро выдер-

живать осаду. Все эти зборажанцы любили битву, вылазки и борьбу на крепостных стенах; если бы турки пошли штурмом на крепость, то мещане Каменца, тоже воодушевленные патриотическим чувством, стали бы на защиту крепостных стен, тем более если бы турецкое войско при каждой атаке было отражено с большим уроном для атакующих. Что касается до правильной осады, то она только измучила бы осажденных, заставляя их сомневаться в победе над врагом, и в конце концов понудила бы их к переговорам с неприятелем. Рассчитывать на вылазки также было нельзя, потому что тогда бы пришлось оставить крепостные стены без войск, а послать за эти стены челядь и мещан было невозможно, потому что они не всостоянии были бы сдержать натиска янычар.

Придя к такому убеждению, военачальники чрезвычайно опечалились, и надежда на благополучное окончание осады исчезла из их сердец. Надеяться на успех было нельзя еще и потому, что между поляками не было единодушия, не говоря уже о многочисленности турецкого войска. Хотя пан Володыевский упрочил свою военную славу и был в полном смысле знатоком своего дела, но он был не знатного рода; к тому же маленький рыцарь не в состоянии был передать другим своей беззаветной любви к родине, так же как не умел передать необыкновенного искусства, с каким он дрался на рапирах. Главный начальник крепости – Потоцкий страдал отсутствием веры в себя, в других и в Поль-

шу, да к тому же он не был военным. Он только и рассчитывал на мирные переговоры с турками. Брат его, хотя имел тяжелую руку, но не отличался и легкостью ума. Надежда на чью-либо помощь извне также была немыслима, так как сам гетман Собеский, при всем своем величии, был бессилен, так же как и король, и Речь Посполитая.

И вот к Каменцу подступили 16 августа хан с крымской ордой и Дорошенко с казаками, которые и расположились на всем громадном пространстве полей неподалеку от Орынина. По прибытии этого войска в тот же день Суфанказ-ага советовал сдать город Суфанказ-ага прибавил, что если поляки тотчас же последуют его совету и сдадут город, то турки предоставят им такие льготы, каких еще никогда не было ни при каких осадах. Потоцкий желал знать условия турок, но на военном совете, где он высказал свое желание, его выслушали с негодованием, заглушив его голос грозными криками, и туркам был послан отказ. Наконец неприятель вместе с падишахом стал приближаться к Каменцу.

Эта громада войск, двинувшись к крепости, состояла из поляхской пехоты, янычар и спагов. Каждый пашалык имел своего пашу, и все это были обитатели Европы, Азии и Африки. Громадные таборы, состоящие из тяжело нагруженных возов, в которые запряжены были быки и мулы, тянулись за войском. Все это шло день и ночь, останавливаясь время от времени и разбивая палатки, которыми покрывалось тогда такое громадное пространство, что с самых вы-

соких башен каменецкой крепости нельзя было рассмотреть ни одного клочка земли, не покрытого полотном. Наконец турки стали ставить лагерь, под охраной которого стреляли в осажденных, а те отвечали им пушечной пальбой. Канонада эта продолжалась вплоть до вечера, когда уже Каменец был так окружен, что только одни голуби могли попасть туда. А когда звезды появились на небе, перестрелка окончилась.

Осада продолжалась без перерыва несколько дней. Защитники крепости наносили много вреда осаждающим. Как только появятся янычары толпою, то в них из крепости тотчас же летели ядра и рассеивали эту толпу. К тому же турки, по-видимому, не знали, что в крепости и фортах есть не одно дальнобойное орудие, и поставили свои палатки слишком близко к крепости. Польское войско, по совету Володыевского, не мешало в этом неприятелю, но когда турки от сильного зноя забрались в палатки, то из крепости стали беспрерывно палить. Это произвело страшную панику между турками, так как ядра, пробивая полотно палаток, убивали воинов, отрывали от скал куски и этими мелкими и острыми камнями осыпали турок. Янычары поспешно стали отступать в сильном беспорядке, и в ужасе, со страшными воплями мчались они, опрокидывая на своем пути другие палатки. В то же самое время на смешавшегося неприятеля бросился Володыевский с конницей, и большое число янычар было им уничтожено до прибытия на помощь к ним султанской конницы. Командовал этой канонадой Кетлинг,

а ляцкий войт, Киприйян, бывший при Кетлинге, произвел большой урон в турецком войске. Этот Киприйян сам подкладывал фитиль к орудиям и затем следил за результатом выстрелов, радуясь их меткости.

Между тем турки также деятельно работали, копая апроши, насыпая шанцы и ставя на них орудия. Перед бомбардировкой турки выслали для переговоров посла, который с письмом султана, укрепленным на длинном древке, подъехал к крепости и показал письмо полякам. Высланные из крепости драгуны схватили посла и привели его в замок Падишах, извещая поляков о своей силе, могуществе и милосердии, требовал, чтобы поляки сдали город. «Мое войско, – писал султан, – так же многочисленно, как пески морские и листья древесные. Взглянув на небо, усеянное звездами, вспомните, что и войско турецкое столь же многочисленно. Я не похож на других повелителей, я милосерд, и так как я потомок истинного Бога, поэтому и начинаю свое дело с Его помощью. Но знайте, ляхи, что я не терплю гордости и потому советую вам без сопротивления исполнить мое желание и волю, а не то все вы погибните от моего меча, потому что ни один человек не осмеливался противиться моей воле».

Поляки долго не знали, какой ответ дать туркам. Пан Заглоба посоветовал отрубить хвост у какой-нибудь собаки и послать его падишаху вместо ответа, но, разумеется, этот совет не приняли и послали к султану с письмом некое-

го Юрицу, весьма смышленного человека и к тому же знающего турецкий язык. Поляки писали следующее: «Хотя мы и не желаем обидеть султана, но также не можем и повиноваться ему, так как присягали в верности своему королю. Без боя Каменец не будет сдан, так как мы дали клятву защищать его и церкви до последней возможности». Послав этот ответ, офицеры разошлись, а пан Ланцкоронский и генерал подольский, пользуясь их отсутствием, поспешили послать к султану другое письмо, в котором просили его о перемирии на месяц. О посылке второго письма скоро узнали на фортах и окопах; все зашумело, заволновалось, послышался звон сабель. «Так вот как, – шумели поляки, – мы, члены совета, страдаем здесь около пушек, горя как в огне, а тайно от нас пишут письма и посылают их к неприятелю». И в тот же вечер все офицеры пошли к пану генералу, во главе их находились Маковецкий и Володыевский, оба чрезвычайно пораженные всем случившимся.

– Как же это так? – воскликнул лятычевский стольник. – Неужели вы порешили выдать город неприятелю, если выслали посла с письмом? Как могли вы это сделать без нашего ведома?

– Раз мы тоже призваны принимать участие в военных советах, мне кажется, что не следует писать письма неприятелю без нашего ведома, – заявил маленький рыцарь. – Мы не позволим даже и говорить о сдаче города; всякий, кто рассчитывает на это, пусть лучше заблаговременно уда-

лится с заседания.

Произнося эти слова, Володыевский от смущения шевелил усами, так как он благоговел перед дисциплиной и ему было чрезвычайно неприятно возражать своему начальству. Он и решился на это только потому, что поклялся защищать крепость до последней капли крови.

Генерал подольский был сильно смущен.

– Я полагал, что все будут согласны с этим, – отвечал он.

– Нет на это нашего согласия! Все мы здесь хотим погибнуть! – воскликнули десятки голосов.

– Очень рад слышать это, – отвечал генерал, – и мне наша вера дороже жизни. Я никогда ничего не боялся и не буду бояться. Прошу вас, останьтесь и поужинайте со мною. За столом мы легко помиримся.

Но офицеры не пожелали остаться у генерала.

– Наше место на стенах, а не за столом, – возразил маленький рыцарь.

В это время приехал Ланцкоронский и, разузнав дело, обратился к Маковецкому и Володыевскому:

– Уважаемые друзья, – сказал он, – здесь у каждого в душе то же самое, что и у вас, и никто не думает о сдаче города. Я послал к султану просить о перемирии на четыре недели. Я написал так: в течение этого времени мы пошлем к нашему королю просьбу о помощи иждеждемся от него ответа, а затем пусть будет как Богу угодно.

Усы маленького рыцаря снова зашевелились, но теперь

уже от гнева и вместе с тем от желания посмеяться над тем, кто так плохо понимает военное дело. Пан Михаил, с детских лет привыкший к военной службе, не мог представить себе, чтобы мог найтись человек, который бы предложил неприятелю перемирие с тою целью, чтобы иметь возможность получить подкрепление.

Офицеры стали переглядываться друг с другом. «Шутки это или не шутки?» – спросили некоторые; потом все замолчали.

– Ваше преподобие, – сказал наконец Володыевский, – я участвовал в походах и бывал в войсках татарских, казачьих, русских, шведских, но никогда ничего подобного не слышал. Ведь султан сюда не затем явился, чтобы соблюдать наши выгоды, но чтобы достигнуть своей цели – победы над нами. Как же он может согласиться на перемирие, если ему пишут, что оно нам нужно для того, чтобы просить и ждать от короля помощи?

– Если он не согласится, то ведь хуже не будет, чем теперь, – отвечал епископ.

Маленький рыцарь возразил на это:

– Кто просит перемирия – показывает всем свой страх и бессилие, а тот, кто ждет помощи, не уверен в своих силах. Все это знает теперь неверная собака из вашего письма, и нам от этого будет один только вред.

Слова эти опечалили епископа.

– Я мог бы сейчас находиться где-нибудь в более безопас-

ном месте, – сказал он, – и вот теперь за то, что я не захотел бросить своей паствы в минуту опасности, мне приходится выслушивать упреки...

Слова прелата смягчили сердце Володыевского. Ему стало жаль епископа и, став перед ним на колени, он поцеловал его руку.

– Боже сохрани, чтобы я осмелился кому-нибудь делать упреки, – сказал он. – Но так как у нас здесь военный совет, я должен сказать то, что говорит мне моя опытность.

– Что же теперь делать? Допустим, что я виноват, но как же теперь поступить? Как поправить зло? – спросил епископ.

– Как поправить зло? – повторил Володыевский.

Подумав немного, он воскликнул:

– Что ж, это возможно! Господа, пожалуйста за мною.

И Володыевский удалился. За ним ушли и офицеры. Спустя четверть часа весь город потрясен был страшной канонадой. Маленький рыцарь, собрав желающих, сделал с ними вылазку. Янычары, не ожидавшие нападения, спали в апрошах, и поляки, набросившись на них, произвели страшное поражение; янычары, спасшиеся от мечей поляков, поспешили укрыться в своем лагере.

После вылазки пан Михаил отправился к генералу подольскому, где застал еще епископа.

– Ваше преподобие, – весело заявил он, – вот мое мнение!

Глава XVIII

Ночь, последовавшая за этой вылазкой, прошла в перестрелке, хотя и с перерывами; чуть рассвело, как было сообщено, что несколько турок подошли к воротам крепости и просят выйти для переговоров. Посоветовавшись между собою, поляки решили, что во всяком случае надо узнать, что им нужно, и послали для переговоров с послами Маковецкого и Мыслишевского.

С Маковецким и Мыслишевским пошел за ворота также и Казимир Гумецкий. Турецких послов было тоже трое: Мухтар-бей, Саломи, рушукский паша, и Козра – переводчик. При виде поляков, вышедших для переговоров, турки поклонились им, приложив кончики пальцев к сердцу, устам и голове. Поляки вежливо отвечали на их приветствие и спросили о цели их прибытия. Паша Саломи отвечал: «Друзья! Вы нанесли нашему падишаху сильную обиду, которая непременно опечалит всех справедливых, и Бог предвечный пошлет на вас кару, если вы не поторопитесь загладить вашу вину. Ведь вами был послан к нам Юрица, который просил визиря о перемирии? Поверя вашему слову, мы вышли из окопов и из-под охраны скал, тогда вы навели на нас свои пушки, выстрелы которых нанесли нам страшное поражение, а затем сами вы бросились на нас из крепости, перебив наше войско, усеяв телами путь к палатке султана.

Конечно, этот поступок ваш не пройдет для вас даром, и падишах только в таком случае окажет вам свое милосердие, простив вас, если вы тотчас же отдадите нам город и форты, выражая при этом свое искреннее сожаление и полное раскаяние».

Пан Маковецкий отвечал послу следующее: – Юрица – пес, нарушивший данные ему инструкции. Он приказал также своему слуге вывесить белое знамя, за что его и будут судить военным судом. Епископ частным образом, лично от себя, спрашивал вас, нельзя ли будет заключить перемирие. Но так как и вы не переставали стрелять в нас в то время, когда к вам был отправлен посол с письмами (а я сам этому свидетель, так как осколком камня мне рассекло губу), то вам также невозможно требовать прекращения стрельбы. Если вы теперь пришли с соглашением на перемирие, то хорошо, а если нет, то передайте, друзья, вашему властелину, что мы по-прежнему будем защищать стены города, пока все не погибнем или же, что вернее, пока вы все не погибнете среди этих скал. Мы ничего не можем, друзья, сказать вам больше, кроме пожеланий, чтобы Бог продлил дни ваши и дал вам достигнуть глубокой старости.

Этим переговоры и окончились, и послы разошлись в разные стороны. Возвратясь в крепость, Маковецкий, Гумецкий и Мыслишевский передали желания падишаха.

– Вы, конечно, не согласитесь на них, – заявил Казимир Гумецкий. – Прямо говоря, эти псы требуют, чтобы мы к ве-

черу выдали им ключи города.

Многочисленное собрание отвечало на это любимым выражением:

– Не поживится у нас ничем этот неверный пес; не уступим ему и с позором отсюда прогоним; не хотим сдаваться!

На этом решении и остановились. И вот опять началась стрельба. Тем временем неприятель успел переправить много тяжелых орудий на позицию, ядра которых, перелетая через брустверы, попадали в город. Всю остальную часть дня и всю ночь артиллеристы провели в тяжелых трудах. Они падали мертвыми, но некому было заменить убитых. Чувствовался страшный недостаток в прислуге, которая должна была подносить порох. С рассветом канонада стихла.

Но с зарею гром орудий опять раздался с фортов. От этой пальбы жители пробудились и наполнили собою улицы. «Готовится штурм!» – восклицали горожане и указывали друг другу на форты. «А пан Володыевский там?» – с беспокойством спрашивали одни. «Там! Там!» – отвечали им другие.

Звонили колокола в часовнях обоих фортов, а кругом раздавался бой барабанов. В то время, когда город еще спал, на рассвете зимнего утра, все это звучало торжественно и таинственно. И вдруг в турецком войске заиграли зорю. Один хор музыкантов отвечал другому, и звуки эти разливались по всему необозримому табору. Правoverные стали просыпаться. Когда совсем рассвело, то шанцы и апроши, которые тянулись длинной цепью вдоль крепости, начали ясно обо-

значаться, и вдруг загрохотали оттуда турецкие пушки, поднялся невыразимый, ужасный грохот и шум, которому вторило эхо в скалах Смотрича.

На залпы турок с крепости поляки отвечали залпами, густой дым заслонил собою и Каменец, и турецкие укрепления, так что ничего нельзя было рассмотреть. Неприятельские пушки оказались смертоноснее польских, так что при городских пушках погибло сразу по два и по три из артиллерийской прислуги. По шанцам ходил францисканский монах, благословлявший орудия, и этому несчастному оторвало нос и часть губы клином из-под пушки; кроме того, этим же клином были убиты стоявшие около монаха два еврея, славившиеся храбростью и особенным искусством наводить орудия.

Турецкие пушки преимущественно направлены были на крепостные стены. Защитником этого укрепления был пан Гумецкий, окруженный огнем и дымом; большая часть людей из его сотни погибла, другие же были все ранены. Хотя Гумецкий и сам онемел и оглох от грома орудий, но все же с помощью лятского войта принудил замолкнуть турецкую батарею до прибытия новых турецких орудий вместо прежних, оказавшихся негодными для употребления.

Три дня непрерывно продолжалась эта бешеная канонада. Турки сменяли своих артиллеристов по четыре раза в сутки, а в Каменце одни и те же люди, без сна и пищи, раненные, задыхавшиеся от дыма, должны были находиться

при пушках; солдаты все это переносили с замечательной стойкостью, но мещане до того были изнурены и упали духом, что добровольно не ушли уже к орудиям, и их подгоняли туда палками. Большинство мещан тут же кончило и жизнь. Весь вечер и ночь третьего дня, с четверга на пятницу, турки, как бы давая отдых людям на крепостных стенах, направили главные силы своих орудий на форты.

Гранаты из больших мортир сыпались на оба форта, особенно на старый; но, впрочем, «они приносили мало вреда, – как говорит современник, – так как впотьмах полет каждой гранаты хорошо виден, чем и дается возможность удалиться оттуда, где граната должна упасть». Только на рассвете, когда утомленные люди падали от усталости и засыпали, много народу убито было этими гранатами.

Пан Михаил, Кетлинг, Мыслишевский и Квасибродский стреляли из фортов в турок Генерал Потоцкий, невзирая на опасность, часто заходил на них, и задумчиво расхаживал под градом пуль и ядер.

К вечеру пальба сделалась сильнее. Теперь Потоцкий приблизился к маленькому рыцарю и сказал:

– Господин полковник, мы здесь не удержимся.

– До тех пор, пока они не прекратят пальбы, мы удержимся, – отвечал пан Михаил. – Но они выгонят нас минами, они уже и теперь роют.

– Неужели роют? – спросил генерал с волнением.

– Семьдесят орудий стреляют, – сказал Володыевский, –

и грохот выстрелов почти не прекращается, но случаются минуты затишья. Как только наступит такая минута, прошу вас только внимательно прислушаться, и вы подстержете их работу.

И эта минута не заставила себя долго ждать, да к тому же и случай помог им. У турок внезапно разорвало одну из громадных пушек, что вызвало среди них замешательство. И пока с других батарей послали узнать о случившемся, стрельба на время прекратилась.

В это время Потоцкий и маленький рыцарь подошли к самому концу одного из батальонов и стали прислушиваться. Вдруг до слуха их донеслись совершенно отчетливые удары мотыг, которыми, по-видимому, долбили скалистую стену.

– Роют, – сказал Потоцкий.

– Роют, – повторил Володыевский.

И оба замолчали. Генерал был сильно встревожен и сжал руками свою голову. Видя это, маленький рыцарь сказал:

– Это вещь обыкновенная при всякой осаде. Под Зборажем враги рыли под нами мины день и ночь.

Потоцкий, подняв голову, спросил Володыевского:

– А как поступал Вишневецкий в таком случае?

– Мы суживали все более и более наши окопы.

– А нам как следует поступить?

– Нам надо забрать пушки и все, что только возможно взять с собою, и перенести в старый замок, потому что он построен на таких скалах, что их не взорвать и минами. Я все-

гда думал, что форты послужат нам только для того, чтобы дать первый отпор неприятелю; я даже предполагал, что нам придется самим их взорвать на воздух и защищать серьезно только старый замок.

На минуту воцарилось молчание, голова генерала опять склонилась на грудь.

– А если нам придется отступить и из старого замка? Куда мы тогда денемся? – произнес он взволнованным голосом.

Усы Володыевского шевельнулись, он выпрямился и, указывая пальцем на землю, сказал:

– Я – только туда!

В тот же момент раздался опять гром орудий, и гранаты посыпались на стены крепости. Но так как наступили уже сумерки, то летящие гранаты были хорошо видны. Генерал удалился, а маленький рыцарь отправился на батареи, где стал ободрять осажденных, давая им советы, и затем, встретив Кетлинга, сказал:

– Ну что?

На лице Кетлинга показалась кроткая улыбка.

– От гранат светло, как днем, – сказал он, подавая руку пану Михаилу. – Не жалеют они для нас освещения!

– У них разорвало большое орудие. Что, это твоя работа?

– Моя.

– Мне страшно хочется спать.

– И мне тоже, но некогда.

– Да, – сказал Володыевский, – и жены наши теперь в тре-

воге. При этой мысли и сон пропадает.

– Они молятся за нас, – сказал Кетлинг, поднимая глаза к темному небу, где летали гранаты.

– Дай Бог здоровья им обеим!

– Между женщинами, – начал Кетлинг, – нет.

Не успел он окончить своих слов, как Володыевский, стоявший в это время спиной к стенам, внезапно закричал необыкновенным голосом:

– Господи помилуй, что я вижу!

И Володыевский кинулся бежать. Чрезвычайно удивленный Кетлинг оглянулся и недалеко от батареи увидел Басю, Заглобу и жмудина Пентка.

– К стене, к стене! – кричал маленький рыцарь, увлекая их как можно скорее под прикрытие блиндажа. – Господи, что же это такое!

– Что ты поделаешь с такою, как она! – говорил прерывающимся голосом и задыхаясь Заглоба. – Прошу, уговариваю: «Погубишь и себя, и меня!» Становлюсь на колени – ничего не помогает. Не мог же я ее одну пустить! Ничего не мог сделать, ничего! «Пойду да пойду!» Вот она какая!

На лице Баси выражался испуг, она чуть не плакала. Но причиной ее испуга были не гранаты и ни гром орудий – она боялась гнева мужа своего. Со сложенными по-детски ручками, она со слезами на глазах говорила ему:

– Я не могла оставаться, Миша; ей-Богу, не могла! Не сердись, Миша, я не могу оставаться, когда ты здесь погибаешь,

не могу, не могу!

Действительно, пан Володыевский рассердился на жену и крикнул было: «Бася, да побойся ты Бога!» Но затем ему жаль стало упрекать свою верную подругу, и, когда головка Баси прижалась к его груди, он проговорил:

– Товарищ ты мой верный, верный до смерти! И он заключил ее в свои объятия.

Между тем старый шляхтич, прячась под стеною, торопливо передавал Кетлингу следующее:

– Хотела и твоя идти, да мы ее обманули, сказали, что не пойдем. Как же! В ее-то положении, Родится у тебя артиллерийский генерал, подлец я буду, если не генерал!.. Да, а на мост, который ведет из города в крепость, гранаты падают, как груши. Я думал, что умру... со злости, а не от страха. Я поскользнулся и упал на острые осколки и так поцарапался, что неделю нельзя будет садиться. Придется монахиням лечить меня, отбросив в сторону стыдливость. Ох! А эти шельмы стреляют да стреляют, чтоб их гром побил. Пан Потоцкий хочет мне передать команду!.. Дайте вина солдатам, иначе они не выдержат. Смотрите, смотрите, граната!.. Ей-Богу, упадет где-нибудь здесь!.. Спрячьте Басю. ей-Богу, близко!..

Но граната эта упала довольно далеко, на крышу лютеранской часовни в старом замке. Так как своды этой часовни были очень прочные, то поляки сделали из нее пороховой склад. Но упавшая на нее граната пробила свод, вследствие

чего произошел взрыв, треск от него был сильнее пушечных выстрелов; оба форта потряслись в своем основании. Люди на батареях сильно встревожились, и оттуда послышались громкие возгласы, пушечная пальба стихла с обеих неприятельских сторон.

Оставив Заглобу и Басю, Кетлинг с Володыевским побежали на крепостную стену. Одну только минуту слышно было, как они, задыхаясь, отдавали какие-то приказания, но затем бой турецкого барабана заглушил их голоса.

– Будет штурм, – прошептал Заглоба.

Услышав взрыв, турки, по-видимому, убеждены были, что взорвало оба форта, а верные их защитники пали под развалинами или смешались от ужаса. Думая таким образом, они готовы были идти штурмом. Тем временем в шанцах падишаха раздавался сильный бой барабана. Многочисленная толпа янычар, выйдя из шанцев, быстро побежала к крепости. Огни уже были погашены в обоих лагерях, но при свете месяца ясно были видны белые шапки янычар. На штурм вышло несколько тысяч янычар и несколько сот волонтеров. Многим из этих воинов уже не пришлось больше увидеть своего отечества, но они бежали на этот штурм, надеясь праздновать полную победу.

Маленький рыцарь быстро пробежал вдоль стен.

– Не стрелять! Ждите команды, – кричал он около каждого орудия.

Взбешенные турками драгуны, вооруженные мушкетами,

прилегли на верху вала. Всюду воцарилась тишина, прерываемая только звуками шагов турок. Чем они ближе подступали к крепости, тем более и более убеждались, что сразу возьмут оба форта. Большинство янычар предполагало, что защитники ушли в город и на стенах никого не осталось. Достигнув рва, они начали наполнять его фашинами, мешками с шерстью, снопами соломы, так что в одну минуту ров наполнился. На стенах все молчало. Но только что первые ряды янычар вступили на подстилку засыпанного ими рва, как вдруг с одного из бастионов послышался пистолетный выстрел и громкая команда:

– Пли!

И вдруг на обоих фортах и соединяющих их окопах вспыхнул огонь. Раздалась пушечная пальба, ружейные выстрелы, крики сражающихся. Янычары и турецкие волонтеры сражались, сбившись в одну кучу, так что каждый выстрел осажденных поляков находил себе верную жертву. Некоторые из турок кинулись на стену, с которой были соединены бастионы, и попали между трех огней. Обеспамятев от ужаса, неприятели сбились в беспорядочную кучу, и вскоре эта куча превратилась в холмы судорожно подергивающихся в предсмертной агонии тел. Как только Кетлинг увидел этих столпившихся турок, он стал осыпать их картечью с обеих сторон, и тогда они попробовали спастись бегством, но Кетлинг отрезал им путь к спасению, направив выстрелы на узкий проход между бастионами.

Таким образом, поляки отбили штурм по всей линии. Турецкое войско, обезумев от ужаса, издавая крики, обратилось в бегство. В это время турки поспешно зажгли на своих шанцах смоляные бочки, фонари, огни и ракеты, чтобы воспрепятствовать вылазке поляков, а также и осветить дорогу для беглецов.

Увидав, что часть турецкого отряда заперта в западне, маленький рыцарь кинулся со своими драгунами на янычар. Эти последние еще раз попробовали спастись бегством, бросившись к выходу, но встречены были целым дождем свинца и олова, направленного на них Кетлингом, и проход этот тотчас же загражден был высоким валом, состоявшим из мертвых тел. Тем, которые остались в живых, предстояло также погибнуть, потому что поляки не намерены были никого брать в плен. Янычары бились, как львы. Собравшись в группы по пятеро, по трое, по двое, эти сильные люди, вооруженные копьями, ятаганами и саблями, бились отчаянно. Зная, что им не избежать смерти, они, обезумев от ужаса и ярости, бросались поодиночке на воинов. Драгуны моментально рассекали их саблями на куски. Польские воины также не уступали янычарам. Бессонница, голод и усталость до того озлобили поляков, что они, как разъяренные львы, кидались на неприятелей и без пощады крошили их саблями в куски. При свете смоляных бочек, зажженных по приказанию Кетлинга, чтобы осветить поле битвы, можно было рассмотреть стойких Мазуров, которые отчаянно дрались

с янычарами и рубили саблями. Сражаясь на другом крыле, маленький рыцарь превзошел себя, зная, что жена следит за каждым его движением. Турки были убеждены, что встреча с Володыевским будет стоить им жизни. Подобное мнение о маленьком рыцаре явилось у турок по впечатлениям прежних схваток, а также по рассказам хотинских турок. Вследствие этого янычары, попавшие в западню между бастионами, увидев Володыевского, закрывали глаза и без сопротивления умирали под ударами шпаги его, произнося: «Кишмет». Но вот янычары уже не в состоянии были сопротивляться, они кинулись к выходу, загороженному кучей мертвых тел, и были все перебиты поляками.

Войско, все в крови, с песнями и криками возвращалось по рву, усеянному трупами турок. Неприятель обменялся еще один раз залпами, и затем все смолкло.

– Слава Богу, – сказал пан Михаил, – теперь будет тихо до завтрашней зари, и можно будет отдохнуть, а мы заслужили отдых.

Но надежда на отдых не оправдалась, так как с наступлением ночи опять послышался звон мотыг, которыми турки долбили каменную стену.

– Ах, это хуже пушечного грома, – произнес, прислушиваясь, Кетлинг.

– Вот бы теперь сделать вылазку! – заметил маленький рыцарь. – К несчастью, это невозможно, потому что солдаты страшно утомлены. Они не спали и не ели все эти дни,

хотя в припасах нет недостатка: не было свободного времени. К тому же при минерах находятся постоянно на страже несколько тысяч янычар, чтобы мы не помешали как-нибудь работе. Нам только одно остается – взорвать самим свой замок и запереться в старом.

– Только не сегодня, – отвечал Кетлинг. – Посмотри – люди попадали, как слоны, и спят мертвым сном. Драгуны даже не вытерли своих сабель.

– Бася, ступай назад в город и ложись спать, – заявил вдруг Володыевский.

– Хорошо, Миша, я пойду, если ты хочешь, – покорно отвечала Бася, – но теперь монастырь заперт, а мне хотелось бы остаться здесь и посидеть около тебя, когда ты заснешь.

– Удивительная вещь, – сказал Володыевский, – после такой работы у меня совсем пропал сон и даже нет охоты ложиться.

– Это потому, что ты разгорячился, играя с янычарами, – сказал Заглоба. – Так всегда бывало и со мной. Я никогда не мог спать после сражения. Что же касается Баси, то к чему ей тащиться по ночи в запертый монастырь. Не лучше ли ей остаться до утренней зари.

Бася, подбежав к старому шляхтичу, обняла его. Володыевский, желая исполнить желание жены, сказал ей:

– Если так, то пойдем в комнаты.

И они отправились. Но войдя в дом, увидели, что комнаты полны пыли от штукатурки, которая потрескалась во время

бомбардировки, вследствие чего Бася с мужем пошли опять к стенам и сели в нише старых замурованных ворот.

Здесь, в нише, они сидели, прижавшись друг к другу. Тихая, теплая августовская ночь была светла от полного месяца, освещавшего своими серебристыми лучами лицо Баси и пана Михаила. На дворе крепости там и сям видны были группы спящих солдат и трупы погибших воинов, которых еще не успели похоронить. Мерцающие лучи месяца перебежали по этим группам, как бы желая знать, кто из этих воинов спит от усталости и кто уже уснул мертвым сном. За стенами замка, в промежутке между двумя бастионами, где лежали трупы янычар, крепостная челядь и драгуны копошились около мертвецов, обирая с них все, что только можно было взять. Добыча для них была дороже сна. С зажженными фонарями в руках они разговаривали между собою, а один даже пел песенку, содержание которой совершенно не соответствовало занятию певца:

«Зачем мне наряды, казна золотая,
Алмазы с их чудной игрой?
Я счастлива буду, весь век голодая,
В избушке, мой милый, с тобой!»

Вскоре, однако, и здесь все стихло. И в этой немой тишине слышались только глухие удары мотыг да возгласы польских часовых: «Слушай же» Очарованные этой чудной ночью, Бася и маленький рыцарь чувствовали какую-то грусть

и вместе с тем сладкую истому. Бася, взглянув на мужа, увидела, что и он глядит на нее.

– Миша, ты не спишь?

– Удивительно, но мне совершенно не хочется спать!

– А хорошо тебе здесь?

– Хорошо. А тебе?

Кивнув головой, Бася отвечала:

– Ах, как хорошо, Миша! Ты слышал, что там сейчас пели? «Я счастлива буду, весь век голодая, в избушке, мой милый, с тобой!..». – повторила Бася последние слова песни.

Затем они снова замолчали. Наконец маленький рыцарь произнес:

– Бася! Послушай, Бася!

– Что, Миша?

– По правде сказать, нам так хорошо друг с другом, что если бы один из нас был убит, другой страшно затосковал бы...

Для Баси было ясно, что муж, говоря «если бы один из нас был убит» вместо «если б один из нас умер», намекал только на свою смерть. В ее голове мелькнула мысль, что муж, вероятно, не рассчитывает остаться в живых при этой осаде, а потому и задумал приготовить ее к этому страшному удару. Предчувствие чего-то ужасного как клещами стиснуло ей сердце, и, заломив руки, она закричала:

– Миша, сжался надо мной и над собой!..

Маленький рыцарь отвечал ей взволнованным голосом, но, по-видимому, спокойно:

– Вот видишь, Бася, ты не права, – сказал он, – потому что, хорошенько подумав, что такое наша жизнь? И над чем тут голову ломать? Кого удовлетворит земное счастье и любовь, когда все здесь так хрупко, как высохшая веточка?.. Правда?..

Но рыдания Баси были ему ответом. Затем она сказала:

– Не хочу, не хочу, не хочу!..

– Клянусь Богом, ты не права, – повторил опять маленький рыцарь. – Посмотри: там вверху, за этим тихим месяцем – страна вечного счастья. О такой стране стоит поговорить! Кто достигнет одного из лугов, находящихся там, тот, как усталый, измученный конь, вздохнет наконец вольно и будет пастись без тревоги. Когда настанет и мой черед (а ведь это для солдата дело обыкновенное), ты должна сказать сама себе: «Ничего!» Просто должна сама себе сказать: «Миша уехал далеко – дальше, чем отсюда до Литвы, но ничего! Я ведь тоже поеду за ним следом». Бася, да полно же, не плачь! Кто раньше из нас уедет туда, тот приготовит другому квартиру – вот и все!..

И, вдохновившись и как бы заглядывая в будущее, Володыевский взглянул на небо и продолжал:

– Какое счастье предстоит нам! Допустим, что я уже буду там. Вдруг кто-то начинает стучаться в небесные врата. Святой Петр отворяет я бегу посмотреть, кто пришел. Боже, это моя Бася!.. Как я брошусь к ней тогда, как закричу от радости!.. Господи, слова не выговоришь, пожалуй,

от счастья! И не будет больше слез, а только вечная радость и веселье! Там не будет ни турок, ни пушек, ни мин под стенами, там наступит, наконец, покой и счастье! Эх, Бася, запомни раз навсегда: это ничего!

– Миша, Миша! – повторила Бася.

И снова воцарилась тишина, нарушаемая только глухими ударами мотыг в каменную скалу.

Вдруг пан Михаил произнес:

– Бася, давай вместе помолимся.

И они стали молиться. Мало-помалу молитва успокоила их, и сон сомкнул им глаза.

Перед рассветом Володыевский проводил жену до моста, который соединял крепость с городом.

– Помни, Бася, – это ничего! – сказал он, прощаясь с нею.

Глава XIX

С рассветом канонада возобновилась. Вырытый турками ров тянулся на пятьсот футов вдоль стен крепости и в одном месте доходил даже до самой стены. Турки без перерыва стреляли с окопов, употребляя для этого винтовки. От этих выстрелов поляки прятались за кожаными мешками, набитыми шерстью, но, кроме того, с шанцев турки посылали в неприятеля гранаты и бомбы, и поляки то и дело падали мертвыми около своих пушек. Из пехоты маленького рыцаря сразу было убито гранатой шесть человек, а у пушек убиты были один за другим все пушкари. Наконец, вечером уже для всех офицеров стало ясно, что необходимо удалиться из новой крепости, тем более что ежеминутно нужно было ожидать, что турки взорвут одну из мин. Вследствие этого ночью, при неумолкаемой пальбе, каждая сотня воинов, имея во главе своего ротмистра, успела еще до утра перенести в старый замок все пушки, порох и провизию. Старый замок, построенный на скале, был безопаснее: его не так скоро можно было взять и труднее подвести мины. На военном совете Володыевский сказал, что готов защищаться в старом замке хоть целый год, только бы не вздумали вести с турками переговоров о мире. Весть об этих словах Володыевского разнеслась по всему городу и ободрила народ. Все знали, что Володыевский до последнего дыхания будет

верен данному слову. Оставляя новый замок, поляки подвели мины под оба бастиона и под главную часть новой крепости, которые перед полуднем и были взорваны. Но туркам этот взрыв не причинил много вреда, и они не заняли тотчас города, так как еще не успели забыть о вчерашнем погроме. Разрушенная крепость представляла громадный вал обломков и развалин. Хотя эти развалины и представляли затруднение для входа неприятеля, но зато они служили прикрытием для турецких стрелков и минеров (что было еще хуже), которые уже принялись за новую мину. Эти работы у турок производились очень успешно, так как за ними следили опытные итальянские и венгерские инженеры, служившие падишаху. Поляки не могли вредить туркам никаким оружием, так как те были скрыты от них. Маленький рыцарь начал уже подумывать о вылазке, но тотчас устроить этого было нельзя. Утомленные солдаты почти не в состоянии были шевельнуть рукой, так как у каждого из них на правом плече образовались от непрерывного прикладывания ружья опухоли и кровоподтеки. А между тем следовало как можно скорее прервать работы турок, иначе главные ворота замка могли быть взорваны. Обдумав все это, маленький рыцарь распорядился устроить за воротами высокий вал и, не теряя присутствия духа, заявил:

– Что за беда! Если взорвут ворота – мы будем защищаться за валом; взлетит и этот – мы успеем насыпать новый вал; и так далее – до тех пор, пока у нас под ногами будет хоть

аршин земли.

Но генерал подольский, уже не имевший ни малейшей надежды, возразил на это:

– А когда и аршина не останется?

– Тогда и нас не останется, – ответил маленький рыцарь.

И вот Володыевский велел бросать в турок ручные гранаты, наносившие им много вреда. Особенным искусством в этом деле отличался поручик Дембинский; немало турок погибло от его работы, пока самому ему не оторвала руку лопнувшая в ней граната. От подобного же случая умер и капитан Шмидт. Солдаты гибли и от пушечного огня, и от метких выстрелов янычар, которых прикрывали развалины новой крепости. Поляки же нечасто стреляли из крепостных орудий, чем были сильно опечалены все горожане. «Если наши не стреляют – значит, и сам Володыевский сомневается в том, что может отстоять город», – говорили жители. Но ни один из военных не решался первым даже заикнуться о том, что осталась только одна надежда – на переговоры с неприятелем. Но Ланцкоронский громко заявлял об этом, зная, что воинская честь для него не обязательна. Впрочем, сначала послали Васильковского к генералу разузнать о состоянии дел в крепости. Генерал сообщил, что он не надеется, чтобы крепость устояла до вечера, но что защитники ее убеждены в противном.

Получив такой ответ, военные также заговорили: «Мы делали все, что могли, никто из нас не щадил себя, но что

невозможно – то невозможно, и надо вступить с турками в переговоры». Об этих речах узнали горожане, и на площади у ратуши собралась толпа народу. Но народ не изъявлял желания начать переговоры с турками и, по-видимому, вовсе не хотел этого, хотя и не высказывал ничего. Только несколько богатых армянских купцов в душе рады были окончанию осады, так как их торговля могла опять возобновиться, все же прочие армяне, издавна уже поселившиеся в Польше, а также ляхи и русины желали защищаться. «Уж если надо было сдаваться, то следовало сделать это сразу, – тихо говорили то здесь, то там, – потому что тогда можно было бы выговорить хорошие условия, но теперь враги будут немилостивы, и лучше уж погибнуть под развалинами».

Народ стал высказывать свое недовольствие все громче и громче, но вдруг этот ропот обратился в крики восторга, и громкое «ура» огласило площадь.

Что было причиной этой радости? Народ увидел появившегося на площади Володыевского в сопровождении Гумецкого, которых генерал послал сообщить горожанам о положении дел в крепости. Крики восторга потрясли воздух при виде любимого рыцаря; одни так кричали, как будто турки вошли в город, у других же при виде маленького рыцаря показались слезы на глазах, так как следы страшного утомления отразились на его лице, худом и почерневшем от порохового дыма, глаза были красны и совершенно ввалились, но на вид он был бодр и весел. Прибывшие едва могли про-

тиснуться сквозь толпу и добрались наконец до зала совета, где их встретили с большою радостью. Епископ тотчас же им сказал:

– Дорогие братья! *Nec Hercules contra plures!* Нам писал уже генерал подольский, что вы принуждены сдаться.

Но пылкий Гумецкий, не обращая внимания на присутствовавших, резко возразил:

– Генерал потерял голову и обладает только одним качеством, что не дорожит ею. Что же касается защиты крепости, я уступаю слово Володыевскому, который сумеет лучше меня рассказать об этом.

Все присутствовавшие взглянули на Володыевского, который, пошевелив усами, отвечал:

– Боже мой! Кто здесь затеял разговор о сдаче? Не все ли мы присягнули именем Божиим, что погибнем скорее все до одного?

– Мы присягнули, что сделаем все, что от нас зависит, и мы все уже сделали! – отвечал епископ.

– Кто что обещал, пусть сам и отвечает за это! А я и Кетлинг присягнули, что не отдадим неприятелю крепости, пока мы живы, – и не отдадим. Если я обязан пред обыкновенным человеком сдержать свое слово, то что же должен я сделать по отношению к Богу, который превосходит бесконечно всех нас?

– Но в каком состоянии крепость? Мы слышали, что под воротами неприятель вырыл подкоп? Долго ли вы

выдержите? – спрашивали многочисленные голоса.

– Есть ли под воротами подкоп или еще только будет, а перед воротами уже существует прекрасный вал, и я приказал втащить на него орудия. Дорогие братья, побойтесь Бога! Подумайте только о том, что надо будет предать храмы Божьи в руки неверных, которые превратят их в мечети, чтобы в них совершать свои мерзости. Как же вы говорите так легко о сдаче города? С каким духом отворите вы ворота, чтобы впустить врагов в самое сердце отечества? Я сижу в самом замке и не боюсь подкопов, а вы здесь, вдали в крепости, в городе, их боитесь. Бога ради молю вас, не уступайте неприятелю, пока живы! Пусть память о нашей обороне останется в потомстве такую, как осталась и оборона Зборража.

– Турки превратят крепость в груды развалин, – заметил кто-то.

– Пускай! И за развалинами можно защищаться!

При этих словах маленький рыцарь вышел из себя.

– И я буду защищаться за кучей развалин, если мне поможет Бог! Скажу вам прямо: не отдам туркам крепости! Слышите?

– И погубишь город? – спросил епископ.

– Пусть лучше погибнет, чем перейдет в руки неверных! Я сдержу присягу! Я не стану больше тратить слов и пойду назад к своим пушкам. Они одни защищают Речь Посполитую, а все остальные ее продают!..

И он удалился. Гумецкий последовал за ним, причем сильно хлопнул дверью на прощанье. Они спешили вернуться в крепость, где им легче дышалось среди разрушения, мертвых тел, пуль, – легче, чем среди трусливых и недоверчивых людей. Пан Маковецкий нагнал их по пути.

– Миша, – сказал он, – скажи мне откровенно, говорил ли ты о защите крепости для ободрения унывающих или ты и впрямь рассчитываешь удержаться в замке?

Пожав плечами, Володыевский отвечал:

– Пусть город сдастся, а я, ей-Богу, целый год буду еще защищаться!

– Почему вы не стреляете? Все перепугались за вас и потому заговорили о сдаче.

– Мы не стреляем потому, что занялись бросаньем ручных гранат. Гранаты эти приносят больше вреда неприятельским минерам.

– Послушай, Миша, есть ли у вас в замке такие орудия, которые могли бы обстреливать пространство позади русских ворот? Если, чего не дай Боже, турки прорвутся, они подойдут к воротам. Я охраняю их изо всех сил; но с одними мещанами, без солдат, ничего не поделаешь.

– Не беспокойся, дружище! – отвечал Володыевский. – Я направил уже в ту сторону пятнадцать пушек. О замке тоже не тревожьтесь. Мы не только сами отразим неприятеля, но даже, если понадобится, вышлем и вам к воротам подкрепление.

Слова Володыевского очень обрадовали пана Маковецкого, и он уже намеревался уйти, как вдруг Володыевский, удержав его, спросил:

– Скажи, пожалуйста, – ты ведь чаще меня бываешь на этих совещаниях, – скажи мне, хотят ли они нас только испытать или в самом деле думают отдать Каменец султану?

Опустив голову, Маковецкий отвечал:

– Миша, отвечай мне искренно, разве не этим должно кончиться дело? Некоторое время мы еще продержимся, неделю, две, месяц, два месяца, – а в конце концов все-таки принуждены будем сдаться.

Маленький рыцарь бросил на него угрюмый взгляд и, подняв руки, проговорил:

– И ты, Брут, против меня? В таком случае позор падет на вас одних, так как я не привык к нему!

И таким образом, с горечью в сердцах, они расстались.

Только что маленький рыцарь вернулся в крепость, как неприятель взорвал главные ворота старой крепости. С минуту канониры не могли прийти в себя от ужаса. Облака дыма и пыли поднимались к небу, а камни и кирпичи летели во все стороны. В ту же минуту враги ринулись в пролом, но Кетлинг не допустил их ворваться в крепость, встретив картечью, и повторял этот маневр несколько раз. Володыевский, Гумецкий и Мыслишевский поспешили на помощь Кетлингу с пехотой и драгунами, и весь вал густо покрылся солдатами. Началась взаимная перестрелка двух вражду-

ющих сторон. Стреляли из мушкетов и винтовок, осыпая вал пулями, как дождем. Турки засели в развалинах новой крепости – в каждой нише, за камнями, в каждой отвер-
стии сидело их по три, по два, по пяти, по десятку, – и от-
туда стреляли в поляков. Из Хотина то и дело прибывало
новое подкрепление туркам. Один отряд шел за другим, и,
скрывшись под развалинами, они начинали тотчас же стре-
лять в поляков. Тюрбаны наводнили весь двор новой кре-
пости. Время от времени это море тюрбанов устремлялось,
издавая дикие крики, к пролому. Но там их встречал Кет-
линг ядрами и картечью, которые убивали их наповал, заго-
раживая эту брешь трепетавшими кучами человеческого мя-
са. Четыре раза порывались янычары кидаться на приступ,
но Кетлинг каждый раз отражал их нападения. Сам Кетлинг
был похож на гения войны, окруженный дымом, пламенем
и лопающимися гранатами. А между тем лицо его не выра-
жало никакого беспокойства, и в нем не заметно было ника-
кого волнения. Он внимательно следил за проломом и время
от времени, взяв фитиль из рук пушкаря, сам приближал его
к орудию, зорко следя за результатом выстрелов. То вдруг
улыбка начинала скользить по его губам, и он говорил своим
товарищам:

– Не войдут!..

Это был бой не на жизнь, а на смерть. Войска обеих непри-
ятельских сторон как бы желали превзойти друг друга в этой
борьбе, сражаясь с беззаветной храбростью. Офицеры, каза-

лось, хотели опередить солдат, и наоборот. Эти воины не думали о смерти и не обращали на нее никакого внимания. А между тем здесь погибло много людей. Смерть унесла уже Гумецкого и коменданта киянов Мокошинского. Затем был ранен в грудь старик Канушевский, давнишний приятель маленького рыцаря. Это был седой солдат с душою ягненка, но вместе с тем и грозный, как лев. Маленький рыцарь успел поддержать раненого старика, иначе он грохнулся бы о землю. Старик, умирая, проговорил: «Дай руку, дай скорей руку!..» – и через секунду добавил: «Слава Богу», и смертная бледность покрыла его лицо. Происшествие это было перед четвертым штурмом. Партии янычар как-то удалось пробраться в пролом, но Кетлинг встретил их сильным огнем, благодаря чему они уже не возвратились обратно. В это время на турок напал и маленький рыцарь с пехотой и с помощью прикладов и штыков отразил нападающих.

Время шло, а битва все не утихала. В городе уже узнали о геройской обороне. Это известие всех наэлектризовало и возбудило у многих жажду к битве... Мещане, особенно молодежь, подбадривая один другого, говорили: «Идем на помощь в замок! Идем, идем! Не допустим погибнуть братьям! Вперед!» Эти возгласы были слышны по всему городу. И вот несколько сотен людей, вооруженных кое-каким оружием, но большим запасом мужества, двинулись к мосту. Неприятель, заметив их, тотчас же направил на них свои выстрелы, и мост вскоре покрылся трупами этих несчастных,

но все-таки некоторым из них удалось перейти его, и в ту же минуту, стоя на валу, они вступили в бой с турками.

Наконец и четвертый штурм был отбит поляками со страшным уроном для турок; все надеялись хоть немного отдохнуть. Однако этим надеждам не суждено было сбыться. Битва продолжалась до самого вечера. Только в девять часов перестрелка прекратилась, и турки удалились от развалин новой крепости; оставшиеся в живых польские офицеры начали осматривать пролом. Володыевский тотчас же приказал заваливать эту брешь чем попало. Все войско, не исключая и офицеров, трудилось без усталости, без различия положений. Брешь была заложена бревнами, фашинами, обломками и землей. Хотя все знали, что турки каждую минуту могли возобновить бомбардировку, но по окончании работы лица всех воинов прояснились и надежда, вместе с желанием новых подвигов, опять наполнила их души. В этот день поляки одержали большую победу над турками.

Взяв друг друга под руки, Кетлинг с Володыевским по окончании работы обошли площадь, стены, осмотрели двор новой крепости и были очень обрадованы, увидев большие потери неприятеля.

– Там труп лежит на трупе, – сказал маленький рыцарь, указывая на развалины, – а около пролома такие кучи турок, что хоть лестницу приставляй. Кетлинг, ведь это твоя работа!

– Лучше всего, что мы так заделали теперь пролом,

что туркам опять нет доступа, и им придется начинать новый подкоп. Их войска бесчисленны, но такая осада через один или два месяца должна им наконец опротиветь.

– А за это время успеет прийти к нам на помощь гетман Собеский. Во всяком случае, что бы ни случилось, мы с тобой связаны присягой, – сказал Володыевский.

В это мгновение они посмотрели друг на друга; затем маленький рыцарь спросил едва слышно:

– А сделал ты, о чем я тебе говорил?

– Все готово, – прошептал Кетлинг, – но я думаю, что до этого не дойдет, так как мы действительно можем продержаться здесь довольно долго и иметь еще немало таких дней, как нынешний.

– Если бы Бог послал и завтра тоже!

– Аминь, – ответил Кетлинг, поднимая глаза к небу. Затем разговор их был прерван пушечной пальбой. Турки снова стали обстреливать крепость гранатами. Но большинство гранат лопались, не достигая цели, и мгновенно гасли. Кетлинг следил за полетом гранат глазами знатока.

– На том шанце, откуда стреляют теперь, фитили у гранат слишком сильно пропитаны серою, – сказал он.

– Начинают стрелять и на прочих, – отвечал Володыевский.

Началась бомбардировка. Но турки обстреливали теперь больше город, нежели крепость. Зато они начали с трех сторон рыть новые мины. По-видимому, враги твердо решились

взорвать на воздух Каменец.

Кетлинг и пан Михаил приказали опять бросать ручные гранаты в ту сторону, откуда слышались удары мотыг. Но результата, который получался от этого метания гранат, за темнотою ночи нельзя было видеть. К тому же глаза, всех поляков устремлены были к городу, над которым носились гранаты, многие из них разрывались в воздухе, другие же падали на крыши домов. В городе сразу загорелись костел св. Екатерины и церковь св. Георгия в русской части города; горела также и армянская церковь, которая еще раньше, днем загорелась, а теперь от гранат окончательно сгорела. С каждой минутою пожар становился все сильнее и сильнее, и зарево осветило всю окрестность. В крепости слышны были крики, долетавшие туда из города; казалось, что горит весь город.

– Скверно! – сказал Кетлинг. – Теперь мещане потеряют присутствие духа.

– Пускай горит все, – отвечал маленький рыцарь, – лишь бы уцелела скала, на которой можно защищаться!

Тем временем крики, доносившиеся из города, становились все сильнее и сильнее. Теперь уже горели склады на армянском базаре, которые загорелись от пламени, перешедшего на них с армянской церкви! Тут горели драгоценные товары – ковры, меха, золотые и серебряные вещи, принадлежавшие армянским купцам. Через минуту пламя начало показываться и над домами обывателей.

– Кетлинг, – отозвался сильно встревоженный Володыев-

ский, – следи за бросанием ручных гранат и мешай, сколько можешь, больше неприятельским минерам, а я поеду в город: у меня сердце замирает от страха и неизвестности о судьбе монастыря доминиканок. Слава Богу, что хоть замок оставили в покое, так что можно и отлучиться.

Володыевский сел на коня и умчался. Через два часа он возвратился в крепость с Мушальским, который уже выздоровел от раны, полученной им от Гамди. Приехав в замок, он рассчитывал, что сможет оказать помощь осажденным стрельбою из лука.

– Здравствуйте! – сказал Кетлинг. – Я уже начал было беспокоиться. Ну, что делается у доминиканок?

– Все, слава Богу, благополучно! – отвечал Володыевский. – Ни одна граната туда не попала. Место самое спокойное и безопасное.

– Слава Богу! А Христя не перепугалась?

– Спокойна, как у себя дома. Сидит себе с Басей вдвоем в одной келье, и с ними пан Заглоба. При них и Нововойский, к которому возвратилось сознание. Он просил меня взять его с собою; но бедняга еще не может стоять долго на ногах Кетлинг, поезжай теперь ты, а я подежурю за тебя.

Кетлинг бросился обнимать Волдыевского. Его душа уже давно стремилась к Христе – и он приказал оседлать коня. В ожидании, пока его приказание будет исполнено, Кетлинг стал опять спрашивать маленького рыцаря о том, что происходит в городе.

– Мещане тушат огонь и довольно спокойны, но богатые армянские купцы, у которых горят лавки, отправили депутацию к епископу с требованием сдать город неприятелю. Узнав об этом, я, хоть и дал себе слово не являться больше на эти совещания, пошел однако, чтобы узнать, в чем дело. Там я дал пощечину одному из них, который больше всех настаивал на том, чтобы сдать город. Епископ за это разгневался на меня. Плохо, брат! Трусость начинает проявляться у многих; нашу готовность защищаться никто и в грош не ставит. Нам не сочувствуют, не хвалят и говорят, что мы понапрасну подвергаем город опасности. Я слышал также, что на Маковецкого напали за то, что он не соглашался на минутные переговоры с неприятелем. Сам епископ заявил ему: «Мы не изменяем ни вере нашей, ни королю, но к чему приведет нас дальнейшее сопротивление? Не будет ли последствием этого упрямства осквернение святынь, позор девушек и женщин, плен детей, неповинных ни в чем! А заключив договор, мы можем спасти их от гибели и выговорить себе свободный пропуск». Это говорил епископ, а генерал только головой кивал да повторял: «Пусть я погибну, если это неправда».

– Да будет воля Божья! – ответил Кетлинг.

Сильное отчаяние овладело Володыевский, и, ломая руки, он воскликнул:

– Если бы это была правда! Но беру Бога в свидетели, что мы еще можем выдержать осаду!

В это время Кетлингу подвели коня. Володыевский, прощаясь с ним, сказал:

– Поезжай через мост осторожнее: туда часто попадают гранаты.

– Через час я возвращусь, – ответил Кетлинг и, вскочив на коня, поскакал в город.

А Володыевский с Мушальским отправились на крепостные стены.

Отсюда с трех пунктов воины бросали ручные гранаты, направляя их в те места, откуда раздавались удары мотыг. Люсня следил за минерами с левой стороны крепости.

– Ну, как дела? – спросил Володыевский.

– Плохо, господин комендант, – доложил вахмистр, – они уже сидят в скале, и только у входа в мину иногда граната попадает в кого-нибудь. Мало толку из этого.

И в других местах тоже было не лучше. К тому же пошел дождь, небо было покрыто тучами. Отсыревшие фитили гранат едва загорались. Темнота тоже много мешала работе.

Отозвав в сторону Мушальского... пан Володыевский сказал ему:

– Послушайте, товарищ, что если мы попробуем передуть этих кротов в их норах?

– Мне кажется, что это значит идти на верную смерть; ведь их наверняка стерегут целые полки янычар. Но отчего же, попробуем!

– Конечно, полки охраняют их; но ночь достаточно темна,

и они легко могут быть смяты и приведены в замешательство. Подумайте только, что в городе поговаривают о сдаче. А знаете ли почему? Потому, говорят эти трусы, что под вами ряд мин и вы не уцелеете! бот мы и зажали бы им рты, когда бы нынешнею же ночью уведомили их, что мин больше не существует. Стоит ради этого рисковать головой или нет?

Подумав несколько, Мушальский отвечал:

– Стоит! Клянусь Богом, стоит!..

– В одном месте мина только что начата, и мы ее не тронем, – сказал Володыевский, – но вот в этих двух местах разбойники подкопались уже довольно глубоко. Вы возьмите пятьдесят человек, я столько же, и мы попробуем передуть этих кротов. Желаете вы взяться за это?

– Конечно! Я захвачу с собою гвоздей, авось удастся заклепать какую-нибудь турецкую пушку.

– Сомневаюсь, чтобы это удалось нам, хотя несколько орудий стоят недалеко отсюда. Подождем, однако, Кетлинга, он лучше других знает, как помочь нам в решительную минуту.

Кетлинг возвратился через час, не позже ни на минуту, и спустя полчаса два отряда польских воинов, по пятидесяти человек в каждом, подошли к пролому и осторожно стали выходить из замка. Затем они скрылись в ночной темноте. По приказанию Кетлинга еще несколько времени метали ручные гранаты, но затем он велел прекратить эту работу и ждал. Он страшно беспокоился, вполне понимая всю

опасность безумной удали Володыевского. А время шло да шло... Кетлинг предполагал, что отряды должны были дойти, но под землю все так же раздавались глухие удары мотыг о скалу.

Наконец внизу крепости, с левой ее стороны раздался пистолетный выстрел. Выстрел этот едва достиг слуха осажденных, заглушаемый пальбой, а также и сыростью воздуха. На него, может быть, не обратили бы внимания поляки, если бы до их слуха не достиг вслед за выстрелом какой-то страшный шум. «Дошли, – подумал Кетлинг, – но вернуться ли. Вслед за тем раздался бой барабанов, слышались крики, свист флейт, ружейные выстрелы: пальбу эту производили в беспорядке турки. Выстрелы раздавались со всех сторон: по-видимому, турки отовсюду стремились на помощь минерам; предположение Володыевского оправдалось: турецкие войска пришли в замешательство. Янычары стреляли наобум и по большей части вверх, боясь попасть в своих; они, стреляя, перекликались друг с другом. Выстрелы с каждой минутой становились все чаще и чаще. Володыевский произвел страшный переполох своим появлением в минах Турки бросили из окопов несколько гранат, чтобы осветить местность. Кетлинг отвечал им градом картечи, направив выстрелы на сторожевые турецкие отряды. И вот началась канонада с обеих неприятельских сторон. В городе раздался звук набата, там предположили, что крепость уже взята турками. Между тем, в турецком лагере думали, что по-

ляки напали сразу на всех минеров; и вот вся неприятельская армия поспешила на защиту их Смелой затее Володыевского помогала темнота ночи. Летящие гранаты и пушечные выстрелы только на одно мгновение освещали окрестности, а затем все опять погружалось во мрак. И вдруг началась гроза, дождь лил как из ведра, ужасные раскаты грома заглушали стрельбу. Кетлинг с небольшой кучкой своих воинов, спрыгнув с вала, побежал к брешу.

Ожидание было непродолжительным. Спустя немного времени между балками, которыми был загорожен пролом, появилась чья-то фигура.

– Кто идет? – крикнул Кетлинг.

– Володыевский! – загремело в ответ.

Кетлинг и Володыевский обнялись.

– Ну что, как там? – спрашивали офицеры, сбежавшие к пролому.

– Слава Богу. Инженеры перебиты, инструменты их изломаны и разбросаны, вся их работа пропала.

– Слава Богу! Слава Богу!

– А Мушальский вернулся со своими?

– Нет, он еще не возвращался.

– Следовало бы пойти к нему на помощь. Господа, кто хочет?

При этих словах к брешу приблизились солдаты Мушальского. Между ними многих не хватало, так как они погибли от неприятельских выстрелов. Но эти возвратившиеся вои-

ны были веселы, так как вылазка их вполне удалась. В руках многих из них находились мотыги, буравы и другие инструменты, как явные доказательства пребывания их в минах.

– А где же Мушальский? – спросил Володыевский.

– В самом деле, где же Мушальский? – повторило несколько голосов.

Переглянувшись между собою, воины знаменитого стрелка молчали, только один опасно раненный воин отвечал едва слышно:

– Пан Мушальский погиб. Я видел, как он упал, я также упал около него, но поднялся и пошел за своими, а он остался.

Офицеры были опечалены, узнав о смерти знаменитого стрелка, так как Мушальский был одним из самых храбрых польских воинов. Офицеры забросали раненого вопросами, желая узнать подробности о смерти Мушальского; но тот уж был не в силах отвечать им, кровь лила из него ручьем, и вскоре он скончался.

– В войсках сохранится о нем память, – говорил пан Ква-сибродский, – и всякий, кто переживает эту осаду, прославит его имя.

– Уже не будет никогда такого стрелка из лука, – сказал кто-то.

– Он был самый сильный человек в Хрептиове, – заметил Володыевский. – Взяв червонец в руки, он мог одним нажатием пальцев вдавить его в сырую доску. Один только Под-

бил ента, родом литвин, превосходил его силою; но тот погиб давно, еще под Зборажем, теперь только Нововойский, пожалуй, сравняется с ним силою.

– Да, потеря наша велика, – твердили прочие. – Только в старину рождались такие герои!

Сказав это последнее слово в память Мушальского, все пошли на вал. Володыевский послал гонца к епископу и генералу подольскому сообщить об истреблении мин и о том, что поляки убили турецких инженеров во время вылазки. Это известие чрезвычайно удивило всех, но вместе с тем произвело неприятное впечатление, так как генерал подольский и епископ предполагали, что минутное торжество не спасет город, а между тем приведет турок еще в большую ярость, и что эти победы осажденных могли бы иметь успех, если бы в это же самое время велись переговоры с турками. Вследствие всего этого епископ и генерал подольский решили не прерывать переговоров с неприятелем.

Конечно, ни Кетлинг, ни Володыевский, не рассчитывали, что сведения, доставленные ими, дадут такой результат. Напротив, они предполагали, что ободренные горожане с удвоенной силой будут продолжать защищаться, тем более что городом нельзя было овладеть, не взяв сначала крепости. Ну, а крепость не только защищалась, но даже, нападая на турок, побеждала их, следовательно, вести с неприятелем переговоры о мире не было никакой необходимости. Ни в порохе, ни в снарядах, ни в съестных припасах город не чув-

ствовал нужды; следовало только охранять городские ворота да тушить пожары.

С начала осады эта ночь была самой приятной из всех для маленького рыцаря и Кетлинга. Никогда они не были так твердо убеждены в благополучном окончании битвы и в том, что они не погибнут, а также спасут и жизнь дорогих для них существ.

– Еще два – три штурма, – говорил маленький рыцарь, – и турки устанут сражаться и порешат выморить нас голодом, а запасов у нас, слава Богу, довольно. Сентябрь не за горами, и через какие-нибудь два месяца наступят дожди и холода. У турок войска не очень-то выносливы; если они прозябнут раз-другой как следует, то и отступят.

– Многие из них родом из Египта или из других стран, в которых растет перец, – заметил Кетлинг. – Ничтожный холод будет им губительным. В худшем случае мы выдержим осаду около двух месяцев, независимо от того, будут турки штурмовать крепость или нет. Невозможно также предполагать, что к нам не явится никто на помощь. Очнется же наконец Речь Посполитая, и если бы даже гетману не удалось собрать большого войска, он одними стычками и партизанской войной измучит турок.

– Кетлинг, мне все кажется, что пробил наш час.

– Все в руках Божиих, но мне думается, что дело не дойдет до этого.

– Конечно, если кто-нибудь из нас не погибнет, подобно

пану Мушальскому. Да, жаль, что так случилось, и досадно мне за него, хотя он погиб и геройской смертью.

– Пошли и нам, Господь, такую, лишь бы не теперь, потому что, скажу тебе откровенно, Миша, мне очень жаль... Христи.

– А мне Баси... Что ж? Мы честно трудимся, и Бог сжа-лится над нами. Не знаю и сам почему, но мне очень радостно на душе. Надо будет и завтра что-нибудь обделать хоро-шенько.

– Турки в окопах сделали себе деревянные щиты из бревен. Я хочу применить способ, какой иногда употребляется на море, чтобы сжигать корабли: по моему приказу теперь намачивают в смоле разные тряпки, и я надеюсь, что завтра к обеду мне удастся сжечь все эти работы турок.

– Вот как! – сказал маленький рыцарь. – Ну, так и я устрою вылазку, когда начнется пожар; они, конечно, растеряются, а кроме того, никому из них в голову не придет, чтобы мы могли устроить вылазку днем. Кетлинг, завтрашний день может быть еще более радостным, чем нынешний.

Поговорив таким образом, они отправились спать, потому что были очень утомлены. Но не прошло и трех часов, как Володыевский был разбужен Люсней.

– Господин комендант, новости!

– Что такое? – вскричал Володыевский, вскакивая с постели.

– Пан Мушальский вернулся.

– Господи, что ты рассказываешь?!

– Вернулся. Я стоял в проломе, вдруг слышу – кричит кто-то с другой стороны по-нашему: «Не стрелять, это я!» Смотрю, а это идет к нам пан Мушальский, переодетый янычаром.

– Слава Богу, – сказал маленький рыцарь.

И Володыевский бросился к Мушальскому. Рассветало. Стрелок находился по эту сторону вала в белом бурнусе, и сходство его с настоящим янычаром было до того поразительно, что едва можно было поверить, чтобы это был стрелок. Встретясь с Володыевский, он радостно поздоровался с ним.

– А мы уже оплакивали вас! – воскликнул Володыевский.

В это время к ним подошли другие офицеры, а с ними Кетлинг. Удивленные офицеры засыпали стрелка вопросами, спрашивая, каким образом на нем оказался костюм янычара. И Мушальский стал им рассказывать о своем приключении.

– На возвратном пути я споткнулся на труп янычара и ударился при падении головой о ядро. Несмотря на то, что на голове у меня была шапка, я вдруг потерял сознание, потому что после удара, нанесенного мне Гамди, еще не вполне оправился, и малейшее потрясение было для меня необыкновенно чувствительно. Очнувшись, я увидел, что лежу на мертвом янычаре, как на мягкой постели. Я пощупал голову, – вижу, что она не ранена, хотя и болит. Я снял шап-

ку и подставил голову под дождь, а сам думаю про себя: «Отлично!» Тут мне пришла в голову мысль раздеть этого янычара и отправиться к туркам. Надо вам сказать, что я по-турецки говорю, как и по-польски, а сверх того и по наружности я мог походить на турка. Пойду-ка я к ним, подумал я, до послушаю, что они говорят между собою. Признаюсь, было мне немного страшно: вспомнилась мне неволя моя, все мои бедствия в турецком плену, – но я все-таки отправился. Ночь была темная, костры у них горели только кое-где, и я ходил между ними, словно у себя дома. Многие из них лежали в ложементх под прикрытием. Я пробрался и туда. Один-два раза меня спросили: «Что ты шляешься?» А я им на это в ответ «Да спать что-то не хочется!» Некоторые из них, собравшись в кружок, толковали об осаде. Мало они надеются на успех Я собственными ушами слышал, как бранили они одного из здесь присутствующих, а именно коменданта хрептиовской крепости. (Тут пан Мушальский поклонился Володыевскому.) Я повторю их собственные слова, так как эта брань врагов лучше всяких похвал. «Пока, – говорили они, – этот малый пес (так прозвали вас эти собаки), пока этот малый пес защищает крепость, нам никогда не овладеть ею». Другие говорили: «Его не берет ни пуля, ни железо, и от него, как от чумы, веет смертью». Затем все начали роптать: «Мы здесь одни сражаемся, а остальное войско ничего не делает. Ополченцы лежат себе и греются на солнце, татары занялись грабежом, а спаги

шляются по базарам». Падишах твердит нам: «Дорогие мои овечки», но, должно быть, не очень-то мы ему дороги, если он нас прислал на убой. Недолго мы здесь выдержим и, пожалуй, поплатится за это немало народу и не одна голова слетит с плеч.

– Слышите, господа? – воскликнул Володыевский.

– Если взбунтуются янычары, то султан тотчас же перепугается и снимет осаду. Клянусь Богом, что я говорю вам сущую правду, – продолжал Мушальский. – Вообще янычары – народ довольно беспокойный, а тут, как на зло, они находятся в очень незавидном положении: я думаю, что стоит им только перенести один или два таких штурма, и они оскалят зубы на янычар-агу, на каймакана, а то, пожалуй, и на самого султана.

– Это верно, – воскликнули офицеры. – Пусть попробуют еще хоть двадцать раз идти на штурм, – мы готовы их встретить!

Зазвенели сабли, глаза польских воинов устремились на неприятельские батареи. Володыевский, заметив все это, воодушевляясь и сам, прошептал Кетлингу:

– Новый Збораж, новый Збораж!..

Между тем пан Мушальский продолжал свой рассказ:

– Вот все, что я слышал у них. Мне не хотелось уходить, потому что я надеялся услышать что-нибудь еще важное; но оставаться долго было делом рискованным, так как ночь близилась к концу. Я перешел тогда к тем шанцам, отку-

да не производилось стрельбы, чтобы потихоньку удалиться из турецких укреплений. Смотрю, а там и часовые не расставлены, а лежат, как и в других местах, янычары или слоняются в беспорядке туда и сюда по батареям. Подобрался я к огромной пушке, никто даже не окликнул меня. А вы уже знаете, что я захватил с собою несколько гвоздей для заклепки орудий. Всунул я один гвоздь в запал – не идет надо ведь молотком его загонять... Что тут делать? Хорошо, что Бог дал кое-какую силу моим рукам (вы, господа, вероятно, видели не раз, что я могу сделать этими руками); надавил я гвоздь ладонью, скрипнул зубами от боли... ничего, идет, вижу, гвоздь, по самую шляпку вошел! Тут уж я обрадовался!..

– Господи! Неужели вы делали это?.. Вы заклепали большое орудие? – посыпались вопросы со всех сторон.

– Одно и другое. Знаете, как удалось заклепать одно, опять мне сделалось жаль уходить. Пошел я к другому орудю, немного рука побаливает, а ничего: гвозди вошли.

– Господи! – воскликнул Володыевский. – Еще никто из нас не совершил здесь большего подвига, никто не заслужил себе такой славы!.. Виват Мушальский!

– Виват! Виват! – повторили офицеры.

Затем в честь Мушальского и солдаты прокричали «виват», и эти крики ликования донеслись до турецких окопов и привели еще в больший ужас турок. Мушальский, весь сияющий, кланялся на все стороны. Он поднял вверх свою

огромную сильную руку и, показав на ладони два синих пятна, сказал:

– Ей-Богу, правда! Вот вам доказательства!..

– Верим, верим! – крикнули все в ответ. – Слава Богу, что вы благополучно вернулись к нам!

– По дороге я видел кое-какие деревянные постройки, – заметил Мушальский. – Хотелось мне поджечь их, да ничего под рукой не было подходящего.

– Знаешь что, Михаил, – воскликнул Кетлинг, – у меня заготовлены для этого просмоленные тряпки. Пусть знают, что мы и сами можем нападать.

– Начинай! Начинай! – воскликнул Володыевский.

После этого Володыевский поспешил отправиться в штаб и послал оттуда вновь посла в город:

«Мушальский не погиб во время вылазки и возвратился благополучно в крепость; он успел заклепать у врагов два осадных орудия. Потолкавшись среди янычар он слышал, что они собираются взбунтоваться. Через час мы надеемся сжечь у турок деревянные постройки; если будет только возможно, я пойду опять на вылазку».

И вот, не перешел посол еще моста, как стены замка задрожали от выстрелов. Теперь поляки первые начали бой. При бледном мерцании утренней зари понеслись в неприятельский лагерь горящие тряпки и, падая на деревянные строения, зажигали их. Вслед смоляным тряпкам полетели гранаты. Измученные до последней степени янычары целы-

ми толпами удалялись с окопов. Даже зори не играли в это утро в неприятельском лагере. Вскоре появился и сам визирь со своим корпусом; но, должно быть, и в его душу закралось сомнение: некоторые из пашей слышали, как он гневно бормотал:

– Им битва приятнее отдыха! Ну и люди в этой крепости!.. Турецкие же воины тревожно восклицали:

– Малый пес начинает кусаться! Малый пес начинает кусаться!

Глава XX

И вот наступил день 26 августа, который сделался роковым днем для истории этой войны. Осажденные ожидали сильного натиска неприятеля. И они не ошиблись. С рассветом минные работы турок с левой стороны крепости опять начались. По-видимому, они закладывали новую мину, гораздо опаснее прежних. Множество конных и пеших воинов издали охраняли работы. На окопах также копошилось большое число турецких воинов. Вдруг на равнине, со стороны Длужка, показалось большое войско в цветных головных уборах. Это ехал визирь со своим войском, чтобы руководить самому штурмом. К окопам были подвезены новые орудия, множество янычар забралось в развалины новой крепости, укрывшись в обломках и рвах, чтобы в случае надобности начать рукопашный бой с поляками.

Перестрелка, начатая поляками, произвела в турецких окопах минутное замешательство. Янычары побежали было от окопов, но бомбы преградили им путь, заставив вернуться обратно, и канонада со стороны турок опять возобновилась. Гранаты, ядра, картечь летели в крепость; обломки, кирпичи и пыль летели на головы поляков. Воздух был насыщен пылью и дымом, так что трудно было дышать, да к тому же ничего нельзя было рассмотреть сквозь мглу, стоявшую в воздухе. Пушечная пальба, удары ядер в каменные

стены, вопли турок, крики поляков, треск разрывающихся гранат – все это слилось в один страшный хор. Турки обстреливали и крепость, и город со всеми его воротами, и все башни его. Но крепость энергично защищалась, на залпы турок она отвечала залпами, дрожала от выстрелов, как бы дышала огнем, смертью, желая заглушить турецкие выстрелы и добиться или победы, или гибели.

Внутри крепости Володыевский перебегал от орудия к орудию, от стены к стене, от башни к башне, ободряя и одушевляя всех своим примером. Солдаты, увлеченные его примером, убежденные в победе, зная, что это последний штурм, после чего наступит мир и они покроются бессмертной славой, – воины эти, охваченные боевым пылом, бросались за крепостные стены, вызывая неприятелей на рукопашный бой. Под прикрытием порохового дыма янычары два раза пытались взять приступом пролом, но оба раза поляки прогоняли их, и янычары, убегая, оставляли позади себя груды мертвых тел. После полудня в помощь туркам пришел нерегулярный отряд пехоты, но эти воины не знакомы были с дисциплиной и только испускали дикие крики, но не шли на приступ, хотя офицеры и подгоняли их нагайками. Явился каймакан, но дело не подвинулось вперед! И так как ежеминутно можно было ожидать замешательства в войске и беспорядочного отступления, то войску велено было отойти, и турки отступили, начав перестрелку, не умолкавшую ни на одну минуту.

Так продолжалось почти до вечера. Наконец пальба из орудий дошла до такой степени, что в крепости нельзя было слышать ни одного слова, даже сказанного громко на ухо. Воздух был раскален до невозможности; пушки поливали водой, но вода тотчас испарялась и, соединясь с дымом, затемняла дневной свет. А пушки все продолжали стрелять.

После трех часов у турок были подбиты три пушки, а через несколько минут той же участи подверглась и мортира, стоявшая неподалеку от этих пушек. Канониры гибли один за другим. Чем дольше продолжалась битва, тем яснее становилось, что каменецкая крепость возьмет верх над турецкими укреплениями и что победа останется на стороне поляков.

И вот выстрелы на турецких батареях стали стихать.

– Скоро конец! – крикнул Володыевский изо всех сил на ухо Кетлингу, желая, чтобы тот услышал его.

– И мне тоже кажется! – отвечал Кетлинг. – Надолго ли только? До завтра?

– Может, и на более долгий срок Сегодня победа за нами!

– И благодаря нам!..

– Надо подумать хорошенько об этой новой мине. Выстрелы турок становились все реже и реже.

– Стреляйте, стреляйте без перерыва! – воскликнул Володыевский и кинулся к канонирам.

– Стреляйте, ребята, – кричал он – стреляйте до тех пор, пока не замолчит последнее турецкое орудие. Во славу Бога

и Пречистой Девы! Во славу Речи Посполитой!..

Слова Володыевского были покрыты радостными возгласами солдат, видевших, что штурм близится к концу, и они с удвоенным рвением принялись осыпать ядрами турок.

– Это мы вам вечернюю зорьку играем! Зорьку вечернюю, собаки!.. – восклицали поляки.

Внезапно произошло что-то весьма странное. Вдруг турецкие орудия мгновенно все смолкли. Из крепости еще продолжали стрелять, но затем офицеры стали смотреть друг на друга и спрашивать:

– Что такое? Что случилось?.

Кетлинг, сильно встревоженный, отдал приказ прекратить стрельбу.

– Вероятно, они окончили подкоп и хотят нас взорвать на воздух! – заметил один из офицеров.

Маленький рыцарь грозно посмотрел на говорившего и ответил:

– Подкоп еще не кончен, а если и будет кончен, так от взрыва пострадает только левая сторона крепости, и мы будем защищаться в ее развалинах до последнего издыхания!.. Поняли?

Опять воцарилась тишина, казавшаяся какой-то торжественной, зловещей; тем ужаснее казалась она после канонады, от которой стены дрожали и земля колебалась. Взоры всех устремлены были на турецкие окопы, но из-за густого дыма ничего нельзя было разглядеть.

Наконец среди этой мертвой тишины послышались с левой стороны крепости удары мотыг под землей.

– Я говорил, что мина еще не окончена! – сказал Володыевский.

– Вахмистр! Возьми двадцать человек и осмотри новую крепость, – сказал Володыевский, обращаясь к Люсне.

Через минуту вахмистр уже скрылся в бреши со своим отрядом.

Безмолвие снова воцарилось в польском войске. Тишина эта время от времени нарушалась хрипеньем умирающих да ударами мотыг о скалу.

Спустя довольно много времени. вахмистр воротился со своими людьми.

– Господин комендант, – сказал он, – в новой крепости нет ни души.

Володыевский удивленно взглянул на Кетлинга.

– Уж не сняли ли они осады? Ничего не видно за дымом...

Между тем облака дыма мало-помалу рассеялись, так что можно было рассмотреть город. Вдруг с башни раздался чей-то голос, который испуганно кричал:

– На воротах белое знамя!.. Мы сдаемся!..

Взоры всех воинов обратились в сторону города, стараясь разглядеть его сквозь дым. Все были страшно поражены, слова замирали на устах, на лицах выразалось изумление.

И действительно, в городе появились белые знамена на русских и лятских воротах, а также и на башне Батория.

Володыевский сделался блее полотна, развевавшегося над городскими воротами.

– Кетлинг, видишь? – прошептал он, обращаясь к товарищу.

Кетлинг, такой же бледный, как и Володыевский, отвечал.
– Вижу!..

Они взглянули друг другу в глаза и этим взглядом без слов передали друг другу то, что было теперь у них на душе. Им приказывали сдать крепость – этим рыцарям, поклявшимся скорее погибнуть, чем отдать туркам город, – велели сдать тогда, когда штурм уже отбит, и победа на стороне поляков.

Мысли в голове их крутились, как вихрь. Они сожалели о двух любимых ими существах, жаль было и жизни, и счастья, они глядели друг на друга, как безумные, глядели на город с отчаянием, как бы желая убедиться, не обманывает ли их зрение и действительно ли настал их последний час.

Через несколько времени примчался в крепость Герасим, адъютант, посланный из города генералом подольским.

– Приказ коменданту! – крикнул он.

Наступила тишина. Володыевский, приняв приказ, молча прочитал его и сказал, обращаясь к офицерам:

– Господа! Комиссары уже переехали в челноке через реку и отправились в Длужек для подписания договора с турками. Через несколько минут они вернутся оттуда. Мы должны до наступления вечера очистить крепость и немедленно

выставить белое знамя.

Все молчали. Слышно было только частое дыхание защитников.

– Надо выкинуть знамя. Я соберу сейчас своих людей, – сказал наконец Квасибродский.

Под команду своих начальников солдаты строились в ряды, скидывая ружья на плечи.

Подойдя к Володыевскому, Кетлинг спросил:

– Пора?

– Подождем комиссаров и узнаем, каковы условия. К тому же я сам спущусь туда.

– Нет, спущусь я... Я лучше тебя знаю погреба и помню, где что стоит.

Но разговор их был прерван криком:

– Комиссары возвращаются! Комиссары возвращаются!

Спустя несколько минут в крепость явились послы: подольский судья Грушецкий, стольник Жевуский и черниговский хорунжий Мыслишевский. Несчастные послы шли, печально опустив головы. Одеты они были в затканые золотом кафтаны – подарок визиря.

Облокотясь на дымящееся еще орудие, дуло которого было направлено на Длужек, Володыевский ждал послов. Послы, подойдя, молча поклонились ему.

– Каковы условия сдачи? – спросил Володыевский.

– Город не будет разрушен; жизнь и имущество жителей обеспечены. Всякий, не пожелавший остаться, имеет право

отправиться, куда ему будет угодно.

– А Каменец? Комиссары опустили головы.

– Каменец отдается султану, на веки веков!..

И послы ушли, но не могли пройти через мост от собравшегося на нем народа, а направились в сторону и вышли через южные ворота, спустились к реке и на челноках поплыли к лятским воротам. На равнине уже появились янычары. Из города народ спешил к старой крепости, заняв всю площадь перед нею, и несмотря на желание его проникнуть в самую крепость, солдаты, по приказанию маленького рыцаря, никому не позволяли войти в нее.

Володыевский велел войскам удалиться из крепости и, позвав Мушальского, сказал ему.

– Старый товарищ, прошу тебя о последней услуге: пойдешь сейчас к жене и передай ей от меня на мгновение он остановился.

– И передай ей от меня: это ничего! – быстро закончил он.

Мушальский ушел. Воины не спеша оставляли замок. Володыевский, сидя на коне, смотрел на все происходившее. Но замок опустел не скоро, так как развалины крепости затрудняли путь.

Кетлинг подошел к Володыевскому.

– Я иду! – сказал он, стиснув зубы.

– Иди, но подожди немного, пока войска не выйдут. Иди.

И они заключили друг друга в объятия и простояли так молча несколько минут. Глаза их горели каким-то необык-

новенным огнем. Затем Кетлинг побежал к пороховым погребам.

А Володыевский, сняв шлем, осмотрелся кругом и начал молиться.

Последние слова его молитвы были:

– Боже, дай ей сил вынести терпеливо горе! Успокой ее!..

Между тем Кетлинг поторопился. Войско еще не успело выехать, как бастионы поколебались, раздался страшный взрыв. Башни, стены, люди, лошади, глыбы земли – все это взлетело на воздух.

Так кончил жизнь свою Володыевский, Гектор каменецкий, первый рыцарь Речи Посполитой.

Посреди костела, в коллегiate Станиславова, стоял высокий катафалк кругом которого горело множество свечей. На катафалке, в двойном фобу – оловянном и дубовом – лежал Володыевский. В костеле в это время началось отпевание, и гроб был уже заколочен. Вдова покойника желала похоронить его в Хрептиове, но так как в то время вся Подолия уже находилась во власти турок, то и решили похоронить его в Станиславове, куда были присланы под турецким конвоем изгнанники каменецкие и сданы гетману.

Звон всех колоколов раздавался в Станиславове. В костеле было множество народа, пришедшего последний раз взглянуть на первого польского рыцаря, Гектора каменецко-

го. Народ перешептывался между собою, говоря, что ждут прибытия гетмана, которого до сих пор нет, а отложить печальную церемонию нельзя ввиду того, что каждую минуту нужно ожидать появления татарских чамбулов.

Около фоба стояли друзья и подчиненные покойного: Мушальский, Мотовидло, Снитко, Громыко, Ненашинец, Новейский и многие другие, но большую часть из них составляли офицеры из Хрептиова. Здесь были почти все те, которых так радушно принимал у себя в Хрептиове Володыевский, он же лежал мертвый, окруженный своей неувядаемой славой.

Желтоватый отблеск погребальных свечей падал на суровые лица воинов, отражаясь блестящими искрами в слезах, текущих из глаз этих рыцарей. Распростертая крестом на полу, лежала Бася, окруженная воинами, а рядом с нею находился измученный, трясущийся пан Заглоба. Когда гроб с дорогим для Баси прахом везли из Каменца в Станиславов, вдова все время шла пешком за ним. Теперь приходилось этот гроб предать земле. Идя за гробом по дороге из Каменца, она бессознательно повторяла все одну и ту же фразу: «Это ничего». Ей казалось, что у нее все расчеты с жизнью покончены. Она повторяла и теперь перед катафалком эту же фразу, повторяла потому, что это были последние слова любимого ею существа. Нет, смерть мужа не была для нее «ничем», напротив, это было и отчаяние, и разбитая жизнь, и погибшее счастье, мрак и отчаяние. Для нее уже не существо-

вало ни надежды, ни милосердия, а одна пустота, и от всего этого мог избавить ее только Бог, отняв от нее жизнь.

Но вот уж в главном алтаре окончилась обедня; зазвонили колокола, и ксендз возгласил: «Requiescat in pace»²⁸. Дрожь пробежала по телу Баси, в ее смутном сознании вдруг мелькнула одна ясная мысль: «Уже, уже! Сейчас уже его возьмут от меня!» Но в это время товарищи покойного стали готовиться, чтобы сказать длинную речь, а на амвоне появился ксендз Каминский, который часто, бывало, проводил вечера у маленького рыцаря в Хрептиове и напутствовал к смерти Басю во время ее тяжелой болезни.

Наполнявший костел народ стал кашлять и сморкаться, как и всегда это бывает перед проповедью, вслед за тем наступила тишина, и глаза всех обратились на проповедника.

Но с амвона вдруг раздались звуки барабанного боя.

Все присутствовавшие в костеле были удивлены, а между тем ксендз Каминский не переставал бить тревогу; но вдруг барабанный бой затих, и наступила невозмутимая тишина. Вслед за тем барабанный бой снова раздался, потом опять, и в конце концов, швырнув палочки на пол и подняв руки вверх, ксендз воскликнул:

– Полковник Володыевский!

В ответ на это воззвание раздались истерические рыдания Баси. Все, бывшие в костеле, почувствовали ужас. Обеспамятевшую Басю пан Заглоба с Мушальским вынесли из ко-

²⁸ «Да почиет с миром» (лат.)

стела.

Между тем ксендз продолжал:

– Володыевский! Бога ради, Володыевский! Трубят в поход! Война! Неприятель на границах! И ты не видишь, не хватаешься за меч, не вскакиваешь на коня?.. Воин, воин, что сделалось с тобой? Неужели ты забыл свою прежнюю доблесть и хочешь оставить нас одних в тоске и беспокойстве?.

В костеле раздались рыдания и стоны – то рыдали рыцари, рыдал весь народ; и плач, и стоны эти повторялись, как только ксендз касался в своей речи мужества, любви к отечеству и других доблестей покойного; ксендз и сам был растроган своей речью. Лицо его покрылось бледностью, на лбу выступили крупные капли пота, голос дрожал. Он грустил по Володыевскому, скорбел о нем; сердце его разрывалось от страданий; ему жаль было Каменца, жаль Польши, которая гибла в руках турок Ксендз закончил свою проповедь следующей молитвой:

– Боже, Твои храмы будут обращены в мечети и будут звучать стихи Корана там, где мы до сих пор читали Твое святое Евангелие! Ты унизил нас, Господи, отвратил от нас лицо Свое и отдал во власть развратному турку. Твои судьбы неисповедимы; но. Боже, кто же теперь окажет врагам сопротивление? Кто защитит отечество?.. Ты, которому известно все, что было, есть и будет в свете. Ты знаешь, что нет в мире конницы лучше нашей! Боже! Есть ли какая-нибудь другая

более ловкая и быстрая? Я вот Ты отнимаешь у нас таких защитников, за спиной у которых весь христианский мир мог безопасно славить Твое имя!.. Отче милостивый! Не оставь нас, окажи милосердие Твое! Пошли нам защитника, пошли победителя для слуг и рабов скверного Магомета, пусть он придет сюда, пусть станет среди нас, пусть ободрит сердца наши. Боже! Пошли нам его!

Как раз при этих словах в дверях костела произошла какая-то суматоха, и в храм явился гетман Собеский. Взоры всех обратились на него. Невольно все почти затрепетали, а гетман между тем пробирался к гробу своего любимого рыцаря, величественный, с лицом Цезаря, громадный!..

Могущественные рыцари его свиты сопровождали гетмана.

– *Salvator*²⁹! – воскликнул ксендз в пророческом восторге.

А гетман, став на колени перед катафалком, начал молиться за упокой души Володыевского.

²⁹ Спаситель, избавитель (лат.)

Эпилог

Через год после того, как Каменец пал и в Польше враждовавшие между собою партии пришли к более и менее мирному соглашению, Речь Посполитая сама явилась защитницей границ своих на востоке.

Смело сама она объявила войну. Тридцать одна тысяча конницы и пехоты под командой великого гетмана Собеского явилась во владения падишаха и двинулась к Хотину, желая напасть на более многочисленную армию Гуссейн-паши, находившуюся под Хотинном.

Одно имя Собеского уже приводило турок в содрогание. В год, последовавший за падением Каменца, гетман Собеский с несколькими тысячами войска храбро сопротивлялся туркам, разбивая целые отряды, и забрал в плен много турецкого войска; все это так повлияло на старого Гуссейна, что он, имея гораздо более многочисленное войско и получив помощь от Каллан-паши, боялся вступить с Собеским в сражение в открытом поле и скрылся в укрепленный замок.

Лагерь был окружен войском гетмана, и турки узнали, что Собеский предполагает взять его с бою. Это намерение казалось всем беспримерным в военной истории, так как никто никогда не решался воевать с армией более многочисленной, да еще находившейся за валами и рвами. Гуссейн-паша имел в своем распоряжении сто двадцать пушек,

а во всем войске Речи Посполитой их было всего пятьдесят. Неприятельская пехота была в три раза больше польской; в лагере турок одних янычар находилось более восемнадцати тысяч. Но Собеский не терял веры в свою звезду и был убежден в своем войске, зная, какое влияние он имеет на него.

Под его командой находились люди бывалые, с детства свыкшиеся с боевой жизнью, люди, всю жизнь прошедшие в осадах, экспедициях и многих сражениях, – одним словом, это было войско, закаленное в боях. Большинство из них еще не забыло имени Хмельницкого, Збоража и Берестечка; многие дрались во всех боях со шведами, пруссаками, русскими, в междоусобных и с венгерцами. Под командой гетмана находились и отряды станичников, для которых сражение было таким же обыкновенным явлением, как для нас мир; некоторые отряды состояли из одних ветеранов. Русский воевода командовал пятнадцатью гусарскими хоругвями, конницей, признанной иностранцами лучшей в целом мире; здесь находилась также и легкая кавалерия, с которой гетман, после гибели Каменца, так много рассеял татарских чамбулов; была тут и полевая пехота, умевшая справляться с янычарами при помощи одних только штыков.

Все эти люди получили воспитание на войне: такое воспитание получали в Польше целые поколения. Люди эти во время вражды партий были рассеяны, служа то одной партии, то другой. Но когда все пришли к мирному соглаше-

нию, то и воины собрались под одно знамя, и гетман вполне был убежден, что с ними он одержит верх над более многочисленным войском Гуссейна и Каплана. Военачальниками над этим войском были люди, составившие себе историю целым рядом побед и поражений.

Собеский царил над ними всеми и направлял эти тысячи. Но как звали тех, остальных предводителей, имена которых должны были обессмертиться славой под укрепленным Хотинном?

Имена их были: великий Пац и Михаил Казимир Радзивилл. За несколько дней перед этим они присоединились к королевскому войску, а теперь, согласно приказанию гетмана, остановились под Хотинном и Жванцем. Они имели в своем распоряжении двенадцать тысяч войска, из которых две тысячи составляли отборную пехоту. Местность от Днестра к югу занимали союзные валахские войска, которые накануне сражения оставили турецкий лагерь и соединились с христианами. Рядом с валахами стоял Контский с отрядом артиллерии. Контский, знаменитый своим умением вести земляные работы и действовать артиллерией при осаде крепостей, был неоценимым человеком. Контский познакомился с военным делом за границей, но скоро своим знанием превзошел учителей-иностранцев. Неподалеку от отряда Контского стала русская и мазурская пехота под начальством Корыцкого, а рядом с нею расположился гетман Дмитрий Вишневецкий, приходившийся двоюродным братом больно-

му королю. Под его командой находилась легкая конница. Андрей Потоцкий, бывший враг гетмана, а затем пламенный поклонник его гения, со своей собственной пехотой стал бок об бок с Вишневецким. Яблоновский, русский воевода, расположился рядом с Потоцким и Корыцким. Под начальством Яблоновского находилось пятнадцать тысяч гусар в блестящих панцырях, которые бросали мрачную тень на их лица. Над головами их был целый лес копий, но они, сознавая свою непобедимую силу, стояли непоколебимо, спокойно, зная, что участь битвы зависит от них.

Из второстепенных по положению рыцарей здесь был подлясский каштелян Лужецкий; брата его турки убили в Бодзанове, и Лужецкий за смерть его дал клятву вечно мстить туркам; затем здесь еще находился писарь коронный Стефан Чарнецкий, приходившийся родственником великому Стефану. Во время битвы под Каменецкой крепостью он со шляхтой перешел на сторону короля и своим поступком чуть не возбудил междоусобной войны. В настоящее же время он хотел отличиться своею храбростью на поле сражения. Седой старик Габриель Сильницкий, вся жизнь которого прошла в сражениях, находился также здесь; много тут было и других воевод, которые ничем особенным не прославили себя в прежних боях, но страстно желали прославиться в предстоящем.

Между рыцарями, не имевшими сенаторского звания, был знаменитый зброженец Скшетуский, образцовый воин,

принимавший участие в каждом бою, происходившем за последние тридцать лет в Речи Посполитой. Волосы на голове его серебрились, но зато он имел шестерых сыновей, которые могли соперничать в силе с дикими вепрями. Двум старшим сыновьям война была уже знакома, но два младшие были новичками в военном деле и первый раз вышли на поле сражения, а поэтому они рвались в битву, так что отец едва мог удержать их.

Окружавшие их воины с большим уважением относились к ним; но солдат еще больше изумлял слепой на оба глаза Яроцкий. Подобно Яну, королю чешскому, слепой Яроцкий принял участие в сражении. Около него не было ни детей, ни родных, и слепого старца, желавшего сложить голову за родину и прославить себя этим, вели под руки двое слуг. Жевуский, потерявший в этом году на войне отца и брата, также находился здесь. Мотовидло, только что освободясь из татарского плена, прибыл сюда немедля с Мыслишевским. Мотовидло пылал желанием отплатить туркам за свою неволю, а Мыслишевский, оскорбленный турками под Каменцем, явился сюда также для отмщения им. Невзирая на договор и благородное происхождение Мыслишевского, янычары избили его под Каменцем. Были здесь и станичные воины с Днестра: одичавший Рушич и несравненный стрелок из лука – Мушальский. Он не погиб в Каменце только потому, что перед взрывом крепости Володыевский послал его к своей жене с каким-то поручением; тут же были и Снитко,

и Ненашинец, и Громыко, и несчастнейший из всех – Нововейский.

Все любившие горячо Нововейского от души желали ему смерти, как единственной избавительницы от страшного горя. Выздоровев, Нововейский весь этот под провел в нападениях на татарские чамбулы уничтожая их, и в особенности много погубил липков. После поражения Мотовидлы Крычинским Нововейский бросился по следам этого последнего, гоняясь за ним без устали по всей Лодолии, в конце концов совсем замучил его. В это время ему попался в руки Адурович, и Нововейский, придерживаясь правила не оставлять пленных в живых, содрал с него живого кожу. Но все муки, которым он подвергал своих врагов, не успокоили его души. За месяц перед сражением под Хотинем Нововейский вступил в гусарский полк, под начальство русского воеводы.

Вот с каким войском подошел к Хотину Собеский. Первым долгом все эти рыцари жаждали отмстить туркам за оскорбления, которые нанесли они Польше, но воины также желали отплатить им иза собственные свои обиды, так как почти каждый из них в войне с турками потерял кого-нибудь близкого. Вследствие всего этого Собеский спешил начать сражение, зная, какая ярость царит в сердцах его воинов.

И наконец 9-го ноября 1673 года бой начался схваткой наездников с обеих сторон. Поляки, увидав утром, что турки выехали из-за вала, бросились им навстречу. Схватка окон-

чилась потерями с обеих сторон, но убитых турок было больше. Вообще же потери были незначительные. Несчастный пан Май еще в начале стычки пронзен был ударом кривой сабли гиганта-спага; но тот поплатился за это своею головою, которую Скшетуский-младший отрубил ему одним ударом, чем и заслужил похвалы отца и название сильного и удалого рыцаря от товарищей.

Таким образом сражались эти наездники, то попарно, то целыми группами, а не принимавшие участие в этой стычке с большим нетерпением ожидали возможности сразиться с неприятелем. В это время отдельные отряды польских воинов заняли места, предназначенные для них Собеским. Позади пехоты Корыцкого, на старой дороге в Яссы, стоял пан гетман со своим штабом и осматривал лагерь Гуссейна. На лице Собеского выражалось полное спокойствие, как у человека, уверенного в себе. Минутами лицо его принимало задумчивое выражение, он рассылал адъютантов с приказами и следил за борьбой наездников. Перед вечером гетмана посетил русский воевода.

– Турецкие окопы так велики, что их невозможно атаковать со всех сторон сразу, – сказал воевода русский.

– Завтра мы ворвемся в окопы, а послезавтра в три четверти часа уничтожим эти войска, – спокойно отвечал Собеский.

Настала ночь. Наездники удалились с поля сражения. По приказанию Собеского отдельные отряды подошли к око-

пам.

Гуссейн, заметив это, начал стрелять в поляков из пушек, желая помешать им, но этим он все-таки не достиг своей цели. На рассвете польская пехота устроила высокую насыпь и укрылась за этим валом от неприятельских выстрелов. Некоторые из поляков подошли на ружейный выстрел к турецкому лагерю. Янычары встретили их частой стрельбой из мушкетов. Согласно приказу гетмана, польские воины не отвечали на выстрелы турок, но спешили приготовиться к атаке и с нетерпением ожидали команды, чтобы в тот же момент броситься на неприятеля. Вытянувшаяся в линию польская пехота видела носившиеся над их головами ядра и картечь. Начавшаяся перед рассветом перестрелка, которую вела артиллерия Контского, продолжалась и до сих пор без перерыва. В это время нельзя было заметить, какое страшное опустошение производили польские снаряды, но после боя обозначилось все это очень ясно; выстрелы попадали в места, на которых были скучены шатры спагов и янычар.

Таким образом дело шло до полудня, а так как в это время наступил уже ноябрь, дни были короткие, а потому следовало спешить. Вдруг послышались звуки барабанов, труб и прочих инструментов, восклицания десятка тысяч голосов слились вместе, и польские воины бросились в атаку.

Турки были атакованы поляками сразу с пяти сторон. Отряды иностранцев шли под предводительством опытных во-

еначальников Деннемарка и Христофора де Когана. Деннемарк, имевший пылкую натуру, опередив другие отряды, первым прибыл к окопам, и эта поспешность чуть не послужила гибелью: для всего отряда. Турки встретили этих храбрцев выстрелами из десятка тысяч ружей. Предводитель отряда Деннемарк был убит, и войско его пришло было в замешательство, но, к счастью, в это время подоспел к ним на помощь де Боган, и колебание в войске прекратилось. Отряд де Богана спокоина и уверенно перешел местность, которая отделяла польское войско от турецкого, шагая в такт музыке. На выстрелы неприятеля де Боган приказал своему отряду отвечать тем же. Едва, только солдаты завалили фашинами ров, как де Боган перешел через, него первым, несмотря на то, что пули летали кругом него; затем он отдал поклон янычарам и в тот же момент пронзил шпагой их хорунжего. По примеру своего полковника, солдаты, также бросились на неприятелей, и завязалась отчаянная схватка, в которой обе стороны дрались, как разъяренные львы.

Тетвин и Денгоф повела от деревенька Тарабанов в атаку пеших драгун, а Асвер Гребен и Гайдеполь вели другой отряд драгун. Офицеры полка, Гайдеполя служили: прежде под начальством Чарнецкого и прославились еще в Дании. Солдаты этих полков, отборные молодцы, рослые, сильные, почти исключительно набраны были в королевских имениях; они были безупречны как в качестве конных, так пеших. Эти воины напали на ту сторону неприятельского лагеря, ко-

торуую защищал джамак, то есть нерегулярное войско из янычар, и, несмотря на то, что турок было очень много, все-таки эти отряды поляков привели их в замешательство, принудив к отступлению, и когда битва перешла в рукопашную, то неприятель волей-неволей должен был защищаться, чтобы иметь возможность хоть как-нибудь отступить. Итак, поляки сначала взяли эту часть окопов с воротами, а затем уже польская конница могла беспрепятственно войти внутрь окопов.

Окопы эти с остальных трех сторон были атакованы отрядами Кобылецкого, Михаила Жебровского, Петра Ковчика и Галецкого с полевой пехотой. Самая горячая битва происходила перед главными воротами, ведущими на дорогу в Яссы; здесь сражались мазуры с гвардией Гуссейн-паши, который то и дело посылал новые отряды янычар на помощь к сражающимся, стараясь всеми силами отстоять эти ворота, иначе через них ринулась бы в лагерь неприятельская пехота. Но поляки, овладев воротами, всеми силами старались оставить их за собою, хотя их и отбрасывали отсюда картечь и град ружейных пуль, и кроме того, на них нападали все новые и новые многочисленные отряды янычар. В это время Кобылецкий, не дожидаясь нападения турок, сам кинулся на них со своим отрядом, как рассвирепевший зверь. Бой был ужасный. В дело было употреблено всевозможное оружие: сабли, ножи, ружейные приклады, лопаты, банники, даже бросали друг в друга камнями, и под конец дело до-

шло до того, что неприятели царапали друг друга, кусали, били кулаками. Два раза уже Гуссейн направлял свою конницу на польскую пехоту, чтобы смять ее, но оба раза поляки с такой силой отбрасывали турок, что конница эта, смешавшись, должна была отступить. Видя эту битву, гетман сожалелся над своими удалыми пехотинцами и прислал им на помощь всю обозную прислугу.

Этим сбродом командовал пан Мотовидло. Раньше эта прислуга никогда не принимала участия в битве, но теперь, взяв в руки оружие, какое попало под руку, они бросились в битву так охотно, что даже изумили самого гетмана. Может быть, их влекла на поле сражения жажда добычи, а может быть, они заразились горячкой битвы, которой охвачено было в этот день все войско гетмана. Но так или иначе, а этот сброд, с яростью напав на турок, заставил их с первого же натиска отступить от ворот на расстояние ружейного выстрела. Новые отряды янычар, посланные Гуссейном на подмогу своим полкам, начинали сражаться еще с большим остервенением. И так прошло несколько часов. Между тем Корыцкий с отборными войсками атаковал ворота, гусарский полк тоже двинулся к окопам.

Тем временем с восточной стороны окопов примчался к Собескому адъютант.

– Воевода бельский взошел на вал! – крикнул он, задыхаясь от усталости.

За этим адъютантом прискакал другой:

– Оба литовских гетмана взошли на вал!

А за этими вестниками время от времени прибывали новые послы с тем же докладом. Сумерки уже наступили, но лицо Собеского озарено было каким-то необыкновенным светом.

– Теперь наступила очередь конницы, – сказал он Бидзинскому, – но это придется отложить до завтра.

Но ни в польском, ни в неприятельском лагере никто не думал, чтобы Собеский приказал отложить до утра главную атаку турецких окопов. А между тем адъютанты мчались в разные стороны, передавая ротмистрам приказ быть наготове к атаке. Пехота построилась в ряды; конница, с саблями наголо, взяла копыя наперевес. Все войско ждало с нетерпением начала атаки, потому что все были измучены, холодом и голодом.

Но желанный приказ все не являлся. Наконец уже наступила темная ночь. Целый день шел дождь, а к ночи вдруг подул сильный ветер, неся с собою ледяной дождь и снег. Этот сырой и холодный ветер был ужасен, мучителен. Он замораживал кровь в жилах и был несравненно мучительнее всякого мороза. Ожидая приказа, люди коченели, лошадей едва можно было сдержать на месте. С каждой минутой положение становилось все ужаснее и невыносимее. Заботиться о еде или о том, чтобы развести огонь, было невозможно, так как с минуты на минуту ожидали приказа начать атаку. Эта ночь осталась в памяти у многих как «ночь

мучений и скрежета зубовного». Беспрестанно раздавались крики ротмистров: «Смирно! Смирно!», и воины, привыкшие к строгой дисциплине, беспрекословно повиновались этой команде, стоя неподвижно и терпеливо ожидая приказа от гетмана.

Турки также стояли под дождем и ветром, в глубоком мраке, окоченевшие; они готовы были к бою.

У них тоже не разведен был огонь, и они также ничего не ели и не пили, и каждую минуту ожидали атаки, не выпуская из рук оружия. Привыкшие к суровому климату польские солдаты могли еще вынести мучения этой ночи, но турецкое войско, выросшее в темных странах Румелии или Малой Азии, должно было выносить больше, чем позволяли силы. Наконец Гуссейн догадался о намерении гетмана: этот порывистый ветер со снегом и дождем был лучшим помощником поляков. Стало понятным, что спаги и янычары, проведя ночь таким образом, наутро должны падать от изнеможения и не подумают даже сопротивляться, пока сражение не оживит и не разогреет их оледенелые члены. Теперь все это стало ясным и для поляков, и для турок. Между тем к Гуссейну явились два паши: Яниш-паша и Киайя, командующий янычарами, опытный старый вояка. На лицах их выражалась сильная забота.

– Господин, – начал Киайя, – если «овечки» мои простоят так до рассвета, то не надо будет на них тратить ни пуль, ни сабельных ударов!

– Господин, – сказал Яниш-паша, – спаги мои позамерзают, и завтра некому будет сражаться с гяурами!

Гуссейну ясно представилось полное поражение его войск и собственная гибель. Но он ничего не мог сделать и в бесильной ярости дергал свою бороду. Не мог же он позволить войску разложить костры и подкрепиться теплой пищей, тогда поляки моментально бы атаковали их. И так уже порою с валов доносились звуки трубы, как бы сигнал коннице начать атаку.

По мнению Киайи и Яниша, следовало самим туркам, не дожидаясь атаки, немедленно напасть на поляков, и тем легче им будет сбросить неприятеля с вала, что он не ожидает нападения. Можно еще надеяться, что ночью турки одержат победу, а в бою, который произойдет утром, их гибель неизбежна.

Но поступить по совету пашей Гуссейн не решился.

– Как же это? – сказал он. – Вы изрезали весь лагерь рвами, видя в этом единственное спасение от этой дьявольской конницы, а теперь нам придется самим переходить через рвы и подвергать себя очевидной опасности? Вы это придумали и посоветовали устроить, а теперь толкуете о другом!..

И Гуссейн не позволил идти на неприятеля атакой, а сказал, чтобы в поляков стреляли из пушек картечью. Контский отвечал туркам тем же. А ночь становилась все ужаснее и ужаснее. Дождь пронизывал до костей, охлаждал тело и замораживал кровь. И в эту долгую, ужасную ночь в сердцах

поклонников пророка исчезла вера в благополучный исход войны, твердость оставила их, и вместо этого в их сердцах водворилось отчаяние.

Перед рассветом Яниш-паша, явившись опять к Гуссейну, посоветовал отдать приказ войску отступить в боевом порядке к мосту через Днестр и там, не торопясь, начать сражение. «Если наши войска. – говорил он, – не выдержат натиска кавалерии, тогда мы перейдем через мост и река будет нам защитой от неприятеля». Но Киайя был противоположного мнения. Он предполагал, что уже теперь поздно действовать по совету Яниш-паши и если войску отдадут приказ к отступлению, то на него, по всей вероятности, нападет паника. «Спаги, при помощи джамака, должны выдержать первый натиск конницы гяуров, хотя бы им пришлось всем до одного погибнуть. В это время к ним на помощь пойдут янычары, а когда первый натиск неверных будет выдержан, быть может. Бог пошлет победу».

Гуссейн принял совет Киайи. Многочисленная конница была выдвинута вперед. Справа от нее заняли место янычары, а «джамак» стал неподалеку от шатра Гуссейна. Это войско имело грозный и величественный вид. Старый Киайя, «лев Божий», седой как лунь, ехал по рядам, ободряя солдат и напоминая им о прежних боях и победах. Янычары были обрадованы предстоящей битвой, предпочитая ее стоянию под дождем и ветром, хотя из окоченевших рук их валялось оружие, но они надеялись отогреться во время бит-

вы. Но для спагов эта ночь была еще ужаснее, так как среди них было много уроженцев Малой Азии и египтян, которые положительно не могли выносить холод и едва остались живыми в эту страшную ночь. Также страшно страдали и лошади, и, несмотря на их богатую сбрую, они стояли, понутив головы, пар валил из их ноздрей. Посинелые лица солдат, их потухшие глаза – все свидетельствовало о страшных муках прошедшей ночи. Не о победе были теперь их думы, а мысли их носились далеко – там, где так сильно светит и греет солнышко. Они желали бы скорее умереть, чем пережить такую ужасную ночь, а лучше было бы умчаться туда, на родину.

Хотя в польском войске и замерзли некоторые воины на валах, но все-таки поляки пережили гораздо лучше эту ночь, чем турки; поляков поддерживала уверенность в победе, и кроме того, они, слепо повинуясь воле гетмана, не сомневались, что своими муками принесут победу Польше, а туркам поражение. Но все же первые лучи солнца были встречены ими радостно.

В это самое время на поле сражения явился гетман. Хотя заря в то утро не появлялась на небе, но она сияла на лице Собеского; он догадался о намерении неприятеля ждать нападения в лагере, а потому был убежден, что этот день будет роковым для турок. Гетман объезжал ряды войск, повторяя: «За оскверненные храмы! За хулы на имя Пречистой Девы в Каменце! За оскорбления христиан и Речи Посполи-

той За Каменец!» Солдаты молча глядели на него, но этот взгляд словно говорил: «Мы едва удерживаемся! Пусти нас, и ты увидишь, что мы сделаем!» Начало уже рассветать, и из тумана показались ряды лошадиных голов, фигуры людей, их оружие, потом стали видны и целые полки пехоты. И вот наконец все войско двинулось вперед.

Каждый военачальник получил инструкцию и знал, что ему делать. Контский участил выстрелы, неприятель моментально отплачивал ему тем же. И вдруг началась почти непрерывная пальба, и весь лагерь огласился страшными воплями, – атака началась.

Из-за небольшого тумана нельзя было видеть картину битвы, но к месту, которое было занято гусарами, доносились боевые звуки. Слышны были вопли сражающихся и звук оружия. Ко всему этому стал прислушиваться и Собеский, находившийся неподалеку от гусар и разговаривавший с русским воеводой.

– Пехота наша сразилась с джамаком, находящимся в небольших окопах впереди лагеря, – сказал гетман, обращаясь к русскому послу.

Через минуту перестрелка стихла, но затем внезапно раздался сильный залп, за ним и другой. По-видимому, легкая польская кавалерия сбила спагов и сразилась с янычарами.

Собеский помчался со своей большой свитой на место сражения, а пятнадцать эскадронов гусар под начальством русского воеводы приготовились по первому знаку помчатся-

ся в бой, чтобы решить исход битвы.

Однако они не скоро дождались этого; а тем временем шум битвы в центре лагеря все усиливался и усиливался. Время от времени битва как бы переходила то направо – к литовским отрядам, то налево – к войскам воеводы бельского. Выстрелы турок сделались неправильны, отряд же под командой Контского участил свои выстрелы. Через несколько времени русскому послу представилось, что сражение опять перешло на середину лагеря, как раз напротив того места, где стояли его гусары.

В это время вернулся Собеский со своей свитой. Он, по видимому, был сильно возбужден. Остановившись рядом с воеводой, он воскликнул:

– Теперь вперед, с Божьей помощью!

– Вперед! – громко повторил воевода русский.

Эту команду повторили и ротмистры. Затем пятнадцать эскадронов конницы, привыкшей истреблять все, встречавшееся на ее пути, помчались вперед.

После трехдневной битвы под Варшавой, когда Полубинский со своей литовской кавалерией ринулся в целую шведскую армию и, разделив ее пополам, промчался через нее насквозь, с тех пор никто не помнил такой быстрой и сильной атаки. Гусары, двинувшиеся с места рысью, проехав шагов двести, слышали команду ротмистров: «В караул!»; в ответ гусары грозно крикнули: «Бей! Руби!» – и поскакали во весь карьер, как ураган, с шумом и громом. Весь этот скачущий

отряд имел в себе что-то стихийное. И вот эти войска доскакали до поля битвы. Там еще продолжали сражаться – легкая кавалерия с турецкой конницей дрались на обоих флангах, и кавалерия уже заставила отступить турецкую конницу, а янычары еще стойко стояли посредине. Не один раз разбивали они отдельные эскадроны легкой кавалерии. Уничтожить эти густые ряды янычар стало теперь целью гусар.

И вдруг десятки тысяч выстрелов из винтовок полетели в эти густые ряды турецких войск Янычары стараются стоять бодро, но глаза их невольно закрываются при приближении страшной конницы, сердца их трепещут, зубы стучат, оружие дрожит в их руках А конница уже близка, – близка их смерть, гибель, уничтожение.

«Аллах! Иисус, Мария!» – эти восклицания, вырвавшиеся из тысячи грудей каким-то ужасным воплем, слились вместе. Поляки и турки перемешались между собою. Началось страшное побоище, от которого теплая кровь лилась по земле целыми потоками.

Один за другим десять рядов янычар были смяты натиском этой страшной конницы, изрублены саблями, стоптаны конями. Но вот Киайя, «лев Божий», привел новые отряды. Они гибнут – но все же сражаются; они приходят в ярость, жаждут смерти. Лошади все сильнее и сильнее напирают на них, топчут их, но янычары колют лошадей ножами в брюхо, и тысячи сабель рубят их самих, сабли быстро опускаются на их головы, плечи, руки, а янычары кусают гусар, рубят

их по коленям, по ногам, умирают и мстят за свою смерть.

Но Киайя, «лев Божий», неумолимо снова ведет свежие отряды на это побоище, он понукает их криками идти на смертный бой и, желая подать пример своему войску, сам бросается в схватку, высоко подняв кривую саблю. Вдруг один гусар колоссального роста, предавая гибели все попадающееся на его пути, пробрался к Киайе и, привстав на стремянах, с необычайною силою ударил старика саблей по седой голове. Старика не спасла ни сталь сабли, ни шишак, кованный в Дамаске. – он был разрублен чуть не до половины и упал под силою этого удара, как пораженный громом.

Этот воин-гигант, убивший Киайю, был Нововейский. Он уже много произвел опустошений в турецких отрядах, но, убив этого старика, он оказал полякам неоценимую услугу, так как этот Киайя один только и поддерживал бодрость в янычарах. Увидев смерть своего полководца, янычары с диким криком направили несколько десятков винтовок в грудь молодого гиганта. Нововейский бросился на янычар, мрачный как туча. И не успели товарищи подбежать к нему на помощь, как раздались выстрелы, и он судорожно схватился за поводья и зашатался на лошади. Тогда два воина поддержали его. Лицо умирающего озарено было улыбкою. Он что-то шептал, но слов нельзя было разобрать из-за шума битвы. Между тем поколебались в это время и остальные ряды янычар.

Мужественный Ящиш-паша желал, чтобы сражение еще

продолжалось, но турецкие воины охвачены были ужасом. И никакие угрозы, никакие усилия уже не помогали; на них напирала конница, а удары врагов сыпались со всех сторон, вследствие чего ряды их смешались и побежали в разные стороны; издавая дикие вопли, они бросали оружие и прикрывали головы руками. Польская конница бросилась в погоню за ними, а так как места для бегства было мало, то беглецы, соединясь, представляли одну массу, и конница польская ехала по ней, утопая в крови. Пан Мушальский ударом сабли по голове убил самого Яниш-пашу.

Все остальное турецкое войско, оставшееся в живых, спаслось на другом конце лагеря. Здесь находилась глубокая пропасть, а над нею возвышался крутой обрыв. К этому-то обрыву направились беглецы, и большинство побросалось в пропасть, чтобы только не попасть в руки поляков, где их также ожидала смерть. Коронный стражник, Бидзинский, желая удержать этих обезумевших воинов, бросился со своим отрядом им навстречу, но остатки турецкого войска увлекли за собою и Бидзинского с его отрядом и толкнули его на дно пропасти. Вскоре пропасть до краев была наполнена телами убитых, раненых и задавленных.

Ужасные стоны неслись со дна пропасти, не смолкая до самого вечера. Тела судорожно вздрагивали, толкали друг друга и царапали землю в предсмертной агонии. Но мало-помалу все стало затихать, и когда смеркалось, все уже было тихо, безмолвно.

Так окончилась эта атака, ужасная по своим результатам. Кроме спасшихся бегством и погибших на дне пропасти, восемь тысяч янычар изрублено было саблями, и трупы их лежали у рва, который окружал палатки Гуссейн-паши. Гетман Собеский торжествовал, и трубы уже возвестили победу, но в это время внезапно опять возгорелась битва.

Уцелевшая конная гвардия и конница, под командой великого турецкого гетмана Гуссейн-паши, направились к воротам, ведущим в Яссы, но встреченный хоругвями Дмитрия Вишневецкого, гетмана польского. Гуссейн со своими войсками волей-неволей должен был воротиться к обозу. Возвращаясь назад, он быстрым натиском моментально опрокинул легкую хоругвь семенскую, привел в замешательство пехоту, которая уже стала грабить обоз, и не дошел до Собеского только «на полпистолетного выстрела».

После этой битвы польский гетман писал, что, будучи уже в самом обозе, поляки чуть не отдали опять поле сражения в руки турок и удержали его только благодаря храбрости и стойкости гусар. Это стремительное нападение турок было еще ужаснее по своей неожиданности. Но гусары, еще не успев отдохнуть, помчались на нападающих во весь карьер. Хоругвь Прусиновского первая подъехала к обозу, и ей удалось задержать атакующих. Вслед за ним полетел Скшетуский, а затем вся кавалерия, пехота и обозная прислуга, и вся эта громада войск бросилась беспорядочно на турок. Битва возобновилась.

Турки бились с необыкновенным мужеством. Окруженные со всех сторон, они яростно отбивались от поляков, не позволяя взять себя живыми в плен. Хотя Собеский и разрешил своим воинам брать их живыми, но удалось взять только несколько человек. Наконец, через полчаса после начала битвы, поляки окончательно разбили их. Отдельные группы, а потом и отдельные воины, взывая к Аллаху, бились до последней капли крови. В этой битве гетман литовский собственноручно убил могучего пашу, который как раз атаковал пана Рудомину, Кимбара и Рдултовского; но гетман литовский, подъехавший в это время, отрубил паше голову; даже пан Собеский убил здесь спага, стрелявшего в него из пистолета; пан Бидзинский, стражник коронный, каким-то образом спасся из пропасти, вернулся на поле сражения, весь израненный, и сражался до тех пор, пока сильное изнеможение не заставило его упасть. После этого случая он несколько месяцев прохворал, но затем, выздоровевший и уже прославленный, опять отправился на войну.

Пан Рушич в этом сражении убил множество турок. Скушетуский со своими сыновьями выказал также много мужества. Все эти герои с горестью вспоминали о Володыевском, говоря, что многое бы он сделал в этом сражении, если бы год тому назад не скончался со славой. Но все ученики его, учившиеся у него сражаться, в этой битве приобрели славу как себе, так и своему великому учителю.

В этой вновь возгоревшейся битве погибли из прежних

хрептиовских воинов, кроме Нововойского, пан Мотовидло и пан Мушальский. Те, которые видели, как погиб пан Мотовидло, рассказывали, что его убили пули казаков, которые сражались до последней минуты в отрядах Гуссейна против родины и Святого Креста. А пану Мушальскому пришлось умереть от стрелы, пущенной в него каким-то турком в то время, когда уже битва совсем окончилась, и пан Мушальский, взяв колчан, намеревался пустить еще несколько смертоносных стрел в бегущих врагов, но сам был при этом сражен стрелою, пронзившей ему горло насквозь. Душа этого великого воина, по всей вероятности, соединилась с душой Дыдюка, чтобы скрепить их вечными узами дружбы, начало которой положено было на турецких галерах Товарищи этих погибших героев, бывшие с ними вместе в Хрептиове, отыскали их трупы, горько плакали над ними, хотя и завидовали их славной участи. На лице Нововойского как бы застыла улыбка, и выражение его было спокойное; пан Мотовидло, по-видимому, просто спал, а пан Мушальский с открытыми глазами, поднятыми вверх, казался молящимся. Они были похоронены все вместе на славном хотинском поле, под скалой, на которой вырезали их имена под крестом.

Гуссейн-паша, который спасся бегством на быстром азиатском коне, как предводитель всей турецкой армии получил в Стамбуле из рук султана шелковый шнурок. Из турецкой армии спаслись от гибели только небольшие отряды. Остальные эскадроны конницы Гуссейна переходили то

к литовскому гетману, который гнал их к Собескому, а этот последний, в свою очередь, прогонял их к гетманам литовским, а последние же опять к польскому, и все это происходило до тех пор, пока эскадроны эти окончательно не погибли. Никто из янычар не уцелел. Поле битвы, покрытое трупами, залито было кровью и одни только морозы, вороны и волки не боялись заразы от этих мертвых тел. Не успев хорошенько отдохнуть, польские воины, воодушевленные одержанной победой, овладели вслед за тем и Хотинном. Им досталась после сражения богатая добыча. Собеский прислал с Хотинского поля сто двадцать пушек и триста хоругвей и значков.

Окончив битву, гетман Собеский поместился в сияющем шатре Гуссейна и стал повсюду рассылать гонцов с радостной вестью о победе. Затем были собраны все польские войска, которые и построились в боевом порядке. Началось благодарственное молебствие, и на том самом майдане, где еще так недавно муэдзины выкрикивали «Ла-Иллага-иль-Алла!», раздалась молитва: «Тебя, Бога, хвалим!»

Распростертый крестом слушал обедню гетман, и когда он встал, то из глаз его текли радостные слезы. Увидев это, воины, еще не успевшие обмыться от покрывавшей их крови и шатающиеся от утомления, громко крикнули:

– Vivat Joannes Victor, vivat Joannes Victor, vivat Joannes Victor!

Прошло десять лет, и вот король Ян III победил турок под Веной, разбил в прах их могущество, и тот же крик «vivat» повторялся во всех христианских странах.

Вот этим и оканчивается ряд книжек, над которыми мы трудились немало в продолжение нескольких лет – для подкрепления сердец.